АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
Научно-популярная серия

Д. С. ЛИХАЧЕВ

РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ И ИХ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва 1947 *Ленинград*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение русской летописи ведется более 200 лет. Научная литература по частным вопросам летописания — огромна. Трудами академиков Срезневского, Бестужева-Рюмина, Сухомлинова, Шахматова может с полным правом гордиться наша наука. Больше того, западно-европейская филология не знает таких тщательных и вместе с тем таких смелых по своим выводам работ, как труды академика Шахматова.

Особенно много сделала наша наука в лице продолжателей А. А. Шахматова — М. Д. Приселкова, А. Н. Насонова и др.) для изучения сравнительной генеалогии летописных списков и летописных сводов.

В задачу этой книги не входит пересмотр выводов по изучению истории летописных списков и летописных сводов. Лишь в некоторых случаях мы вынуждены исправлять данные предшествующих исследований. Цель книги — дополнить генеалогию летописания общей историей самой работы летописцев, дать историю способов ведения летописания, приемов летописания — всегда различных в зависимости от условий, в которых велось летописание, дать историю летописания, как историю русской исторической и политической мысли.

Материалы для такого рода подхода к летописанию имелись уже отчасти и в предшествующих трудах. Подход этот безусловно облегчит и самое понимание истории русского летописания, бесконечно сложной и трудной для изучения.

Русская летопись не только важнейший исторический источник для XI—XVII вв., но и огромное явление русской средневековой культуры.

Летопись трактуется в книге как жанр — жанр развивающийся и изменяющийся. При этом, по убеждению автора, развитие летописания тесно зависело от самой жизни; под влиянием ее требований менялся характер летописания и его содержание. Чисто литературные задачи начинают доминировать в летописании лишь на пороге его гибели.

В книге подчеркнуты местные, оригинальные истоки русского летописания. Наблюдения, изложенные в главе 5, свидетельствуют против традиционного мнения о том, что русская летопись возникла „по образцу" византийских хроник и, вместе с тем, показывают, что интерес к истории своей родины, как результат достаточно развитого общественного сознания, предшествует появлению на Руси не только переводных византийских хроник, но и самой письменности. Родовые предания — эти „устные летописи"—определили в значительной части изложение старших киевских летописцев. Устные истоки летописания подчеркиваются в разделах, посвященных прямой речи и диалогу в летописях XI—XII вв. Становится очевидным, что к моменту перехода к нам славянской письменности русский язык был способен к выражению весьма сложного содержания, имел и некоторые устоявшиеся приемы речи юридической и воинской.

Часть II, посвященная Повести временных лет, относительно невелика по объему. Это объясняется тем, что многое из того, что следовало бы сказать о Повести временных лет, уже сказано в предшествующей части, где рассматривались начальные этапы летописания, отразившиеся и в самой Повести временных лет.

В части III рассматриваются различные формы областного летописания: личные и родовые летописцы князей, городские летописи, летописные обличительные повести о преступлениях князей, княжеские жизнеописания и т. д. Многообразные формы областного летописания не исчерпаны в этой

части: в ней выбраны лишь наиболее характерные для этого периода.

Часть IV посвящена подъему летописания в конце XIV—XV вв. В ней освещены по преимуществу два явления, которые признаю наиболее характерными для этого периода: возрождение традиций киевского летописания и победа идеи общерусского летописания.

Часть V стремится показать, с одной стороны, как хронограф ввел в историческое повествование новые задачи и новые художественные приемы, а, с другой стороны, что эта перемена в стиле летописания вытекала из перемещения задач документальности, точного историзма в архивы государственных документов. Летопись перестает быть тем предприятием общегосударственного значения, каким она была раньше: в ней появляются чисто литературные задачи повествования.

Последняя часть рассматривает летописание XVII в. Лишенное центрального ствола, летописание продолжает жить в многочисленных побегах. Глава 21 этой части посвящена главным образом сибирскому летописанию, как характерному примеру живучести летописных традиций, вновь возвращающихся в XVII в. к своим устно-фольклорным основам.

В приложении к книге мне казалось полезным дать общий обзор важнейших списков русских летописей. Обзор этот носит справочный характер и, отчасти, восполняет отрывочность и недостаточность сведений, которые даются в книге по генеалогии летописных сводов.

Предлагаемая книга двойственна по своему происхождению. Часть глав представляет собою сокращение более широких исследований; другая — писалась специально для этой книги. Так, например, §§ 1 и 2 главы 7 и частично глава 13 кратко излагают выводы уже опубликованных работ (в „Исторических записках" №№ 17 и 18, в „Трудах Отдела древне-русской литературы Института литературы АН СССР", т. V); главы 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21 являются сокращениями иссле-

дований автора, остающихся в рукописи. В интересах общей композиции работы пришлось подвергнуть особенно серьезному сокращению главу 3 части I, и без того разросшейся в размерах. В результате сокращения пострадала аргументация изложенной в ней концепции.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1

ЛЕТОПИСИ И РУССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА

Средневековье — это эпоха сталкивающихся контрастов и противоборств. Вот отчего так противоречивы и разнообразны самые попытки охарактеризовать средневековое мировоззрение, выделить общие черты средневековой культуры. С одной стороны, средневековая культура живет упорным стремлением к системе, к неподвижности „вечных" истин и форм. С другой, — средневековая культура испытывает на себе всеоживляющее и изменчивое воздействие действительности, непрерывно стремится к сближению с ней, отчетливо выражает политические идеи и тенденции своего времени, проникнута стремлением к „историзму".

Вот почему и в средневековой литературе борются две тенденции — „книжная" и народная, одна идущая от господствующей идеологической надстройки, от богословия и церковности, и другая, властно связанная с живой действительностью.

Русские летописи, как литературное явление, не были свободны от первой тенденции, но в основе своей отражали вторую: они служили непосредственному отражению нужд и потребностей русской жизни, они открывали собой широкий путь для воздействия живой действительности на русскую средневековую культуру в целом. По самому характеру задач,

которые перед ними ставились, русские летописи ближе, чем какой бы то ни было другой литературный жанр, отражали жизнь, а не „систему“ средневековья. Они служили основным руслом для проникновения в средневековую литературу прогрессивного влияния действительности; они ближе всего ответили потребностям национального пути развития русской средневековой литературы.

Проблема исторической достоверности составляла основную проблему повествовательной литературы древней Руси. Всякий повествовательный сюжет в русской средневековой литературе рассматривался как исторически бывший, как нечто, чему свидетелем был сам автор или те, от кого он слышал его, или у кого читал.

Действующими лицами древнерусских повествовательных произведений всегда были исторические лица, либо лица, хотя и не существовавшие, но историческое существование которых не подвергалось сомнению. Даже в тех случаях, когда в произведение древней русской литературы вводилось вымышленное лицо, оно окружалось роем исторических воспоминаний, создававших иллюзию его реального существования в прошлом.

Действие повествования всегда происходило в точно определенной исторической обстановке или, еще чаще, произведения древней русской литературы рассказывали непосредственно о самих исторических событиях (Слово о полку Игореве, Повести о рязанском разорении, Задонщина и мн. др.).

Вот почему в средневековой русской литературе не было произведений чисто развлекательных жанров, но дух историзма пронизывал собою всю ее от начала и до конца. Это придавало русской средневековой литературе отпечаток особой серьезности и особой значительности.

Вот почему так грандиозно развитие русского летописания. Вот почему так велико его значение в русской культуре, в литературе, в искусстве, в политике, в дипломатической практике и в развитии русского национального самосознания.

Летопись с ее государственным размахом, с ее громадным историческим содержанием стала одним из основных явлений русской жизни XI—XVI вв. В летописи скрещивались все важнейшие идейные течения древней Руси. Текст летописания всегда подвергался в древней Руси страстным политическим спорам и толкованиям.

Политически острая летопись постоянно служила своеобразным ориентиром в политической жизни городов, княжеств, а затем и русского государства в целом. Она была средством политического воспитания общества, складывалась как памятник политической жизни и служила важным дипломатическим документом.

Именно на основании летописей русское правительство без всяких колебаний заявляет свое право на господство над старыми „отчинами" московских князей — Киевом, Смоленском, Полоцком, Черниговом. Опираясь на летописи, Москва ведет свою объединительную политику. Летописи служат историческими доказательствами при спорах русских князей перед ханом о великом княжении: князь Юрий Дмитриевич обосновывал свои права на московское княжение „летописцами и старыми списками и духовною отца своего великого князя Дмитрия". Летописи и людей, умеющих „говорить" по русским летописям, т. е. отлично знающих их содержание, вез Иван III в обозе своих войск, наступая на Новгород в 1471 г. Подготовляя Ливонские войны, Иван Грозный твердо и неоспоримо устанавливает на основании летописей, что Дерпт — русский город Юрьев, выстроенный в XI в. Ярославом Мудрым, носившим христианское имя Юрий.

Настойчиво защищая права и притязания русского государства, московское правительство усиленно развивало летописное дело и пользовалось историческими ссылками и свидетельствами старых летописей с искусством, лишь одному ему свойственным.

На всем протяжении своей многовековой истории русское летописание было огромной движущей силой, формировавшей национальное сознание русского народа.

По обилию, полноте и разнообразию материала, по той систематичности, с которой велись летописные записи по городам и монастырям, — русская летопись не знает себе равных в Европе.

Летопись была своеобразной энциклопедией средневековых исторических знаний. Размах русского летописания грандиозен. Почти каждая область вела свою летопись. Сотни списков этих летописей дошли до нас в различной сохранности и в различных редакциях.

Глава 2

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕТОПИСИ

1

Объем русского летописания, непрерывно в разных концах Русского государства ведшегося почти 700 лет, — огромен. Более полутораста лет — со второй половины XVIII в. — ведется издание летописных текстов.[1] Более ста лет тому назад было предпринято издание Полного собрания русских летописей. В 1841 г. первым вышел III том этого Полного собрания русских летописей, содержавший старейшую рукопись русских летописей — Синодальный список Новгородской первой летописи.[2]

Уже самый объем русских летописей, количество списков, вынудили издателей и историков, пользовавшихся ими, уяснить себе предварительно состав и характер русского летописания, заняться его исследованием. И эти исследования начались еще в работах Татищева и Щербатова.

На рубеже XVIII и XIX вв. исследование русских летописей в работах русского академика А. Шлецера и замечательного слависта Добровского стало достоянием европейской

[1] Впервые летопись начала печататься в „Библиотеке Российской, содержащей древние летописи и всякие записки“, ч. 1, СПб., 1767.

[2] См. работу А. Ф. Бычкова: „Обзор хода издания летописей в России“, Журнал Мин. нар. просв., 1860, ч. CV.

науки.[1] Вместе с тем, европейская наука конца XVIII — начала XIX в. не обладала такими тщательными и такими обширными исследованиями собственных западно-европейских хроник, как исследование А. Шлецера „Нестор". Несмотря на свое отрицательное отношение к начальному периоду русской истории, А. Шлецер высоко оценил русские летописи, отдав им преимущество перед хрониками Западной Европы.

С тех пор изучение русских летописей непрерывно росло, совершенствовались и самые методы их исследования. Работы Карамзина, Строева, Срезневского, Бестужева-Рюмина, Сухомлинова и, наконец, труды Шахматова создали целую научную школу, замечательной особенностью которой явилась самая методология изучения летописных списков. Результатами работ этой школы пользовались и историки, и литературоведы, и лингвисты; методикой этой школы будет, очевидно, еще долго пользоваться в работах над летописями советская наука.

*

Первоначальные усилия исследователей русских летописей клонились, главным образом, к выяснению личности летописцев и к „очищению" основного авторского текста древних летописцев от позднейших наслоений.

В. Татищев считал первые русские летописи созданиями монаха Киево-печерского монастыря Нестора (в Киеве) и архиепископа Иоакима Корсунянина (в Новгороде). Он первый попытался отделять в летописи баснословие от исторической

---

[1] Работа А. Шлецера „Нестор" вышла в 5 томах на немецком языке (1802—1809 гг.), а затем появилась в русском переводе Языкова в 1809—1819 гг., где заняла три части. Работа И. Добровского „Wie soll Nestors Chronick aus somancherlei Recensionen des Textes, die in Handschriften zu finden, rein hergestellt werden" была приложена к книге Г. Миллера „Altrussische Geschichte nach Nestor", Berlin, 1812.

Русские летописи вызывали к себе интерес в Западной Европе и в XVI в. (С. Герберштейн), и в XVII в. (Гербиний, Берг); в начале XVIII в. интересовался летописью Лейбниц (см.: В. С. Иконников. „Опыт русской историографии", т. II, кн. 1, стр. 343).

правды, первый стремился уяснить себе работу летописцев, выделив в тексте летописи народные сказания и позднейшие наслоения. Он определял особенности списков (вплоть до языковых и почерка). Его заслуги в истории изучения русского летописания огромны и еще недостаточно оценены.

Придавая особенное значение авторскому тексту первого летописца, другой исследователь — А. Шлецер — посвятил сорок лет своей жизни специально критике текста Нестора. Он стремился „очистить" Нестора от описок переписчиков, объяснял темные места и исправлял ошибки.

Немало сделал для подготовки научного издания летописей Н. М. Карамзин. Его краткие, но очень существенные замечания о летописи рассеяны в разных местах „Истории Государства Российского".[1] Карамзин первый предложил группировать сходные списки и издавать каждую группу по лучшему списку, снабжая его вариантами и разночтениями из остальных. Тем самым Карамзиным был введен принцип издания летописей и древних литературных памятников, которыми пользуется наука и в настоящее время. Карамзин ввел в научный оборот ряд первостепенных по важности летописных списков и первым стремился вскрыть в работе летописца те идеи, которые двигали его рукой.

Новое слово в изучении русских летописей было сказано замечательным русским археографом П. М. Строевым. Строев рассматривал летописи как сборники, как „своды" разнородного предшествующего материала.[2] Тем самым Строев ввел новую основу в критику летописного текста. Летопись уже не казалась единым и цельным произведением одного летописца (Нестора, Иоакима, Иоанна, Сильвестра и др.), которое было лишь искажено и испорчено последующими переписчиками. В летописи открывалась возможность обнаруживать слои, принадлежащие разным эпохам, разным летописцам.

---

[1] Т. I, 1816 г.

[2] Взгляд этот высказан П. М. Строевым в предисловии к изданию „Софийского временника" (1820 г.).

Такое отношение к летописи благотворно сказалось в исследованиях М. П. Погодина и И. И. Срезневского. Наблюдения этих двух ученых обогатили науку огромным количеством казалось бы разрозненных, но верных фактов, значительно облегчивших последующим исследователям построение истории русского летописания.

Элементы истории летописания появились уже в статьях И. Д. Беляева,[1] которому принадлежит первая классификация видов летописей: государственных, фамильных, монастырских, летописных сборников. Он первый указал, что взгляды летописцев, их сочувствие или несочувствие изображаемому, очень часто определяются тем, к какой местности, к какому сословию принадлежал летописец, по указанию какого лица он работал.

Эти положения Беляева были позднее всесторонне применены к изучению летописей К. Н. Бестужевым-Рюминым. Бестужеву-Рюмину принадлежит очень важный в истории русской науки труд „О составе русских летописей до конца XIV в." (1868 г.). Он разложил летописный текст древнейших летописей на отдельные годовые записи и сказания. Соединение разнородного материала узнается Бестужевым-Рюминым по противоречиям, дурно соединенным, или совсем не тронутым, иногда по выражениям, по слогу. Он определял сочувствие летописца, его политические воззрения и пользовался также и ими, чтобы делить летописный текст на отдельные части. Но и для Бестужева-Рюмина, как и для Строева, летописные своды попрежнему казались чисто механическим и случайным соединением разнообразного материала. С точки зрения Бестужева-Рюмина летопись и, в частности, „Повесть временных лет" — это „архив, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы".[2]

---

[1] „О Несторовой летописи", Чтения Общ. ист. и древн. росс., 1847, № 5; „Русские летописи по Лаврентьевскому списку, с 1111—1169 г.", Временник Общ. ист., II, 1849; „О разных видах русских летописей", Временник Общ. ист., V, 1850.

[2] „О составе русских летописей до конца XIV в.", 1868, стр. 87, прим.

Еще раньше работы Бестужева-Рюмина вышла книга М. И. Сухомлинова „О древней русской летописи как памятнике литературном“ (1856 г.), в которой сделан опыт установления литературных источников Начальной летописи. Не станем упоминать работ Д. И. Иловайского, Н. И. Костомарова, И. П. Хрущева, И. П. Сенигова, Маркевича и др. В методологическом отношении они не внесли ничего нового. Лишь работы А. А. Шахматова произвели настоящий переворот в изучении русской летописи.

2

В истории русской науки труды А. А. Шахматова занимают одно из основных мест. Ученый необычайной эрудиции и вместе с тем огромной силы обобщающей мысли, А. А. Шахматов создал свою научную школу в славяно-русском языкознании, был блестящим исследователем древней русской литературы, древнейших судеб русского народа и исторической этнографии Восточной Европы. Несмотря на то, что исследованием русских летописей в XIX в. с успехом занимались такие крупные ученые, как Карамзин, Строев, академик Срезневский, академик Бестужев-Рюмин, академик Сухомлинов и многие другие, — можно смело сказать, что только А. А. Шахматов явился настоящим создателем научного изучения истории русского летописания. Им внесены в изучение летописания совершенно новые методы, введены в научный оборот многочисленные новые рукописные материалы, опубликованы новые важные списки летописей и сделаны смелые опыты восстановления утраченных летописных текстов XI—XII вв., — опыты, которые не знают себе равных в мировой науке по математической точности и почти художественной интуиции.

Метод работ А. А. Шахматова вызывал иногда резкие нарекания его оппонентов. Смущало то большое место, которое отводилось в исследованиях А. А. Шахматова гипотетическим построениям. Эти гипотезы казались и слишком смелыми и чрезмерно детализированными: он точно определял

каждый этап летописной работы; он дословно восстанавливал утраченные литературные произведения и летописные списки XI—XII вв. Но гипотезы А. А. Шахматова имели свои методологические особенности, которые редко принимались во внимание его оппонентами и которые рисуют всю исключительную дальнозоркость и ясность его научной мысли.

В самом деле, во всех эмпирических науках существуют гипотезы, приводящие в систему факты. Однако, обычно гипотезы покрывают собою лишь бо̀льшую или меньшую часть фактов, оставляя необъясненным некоторый остаток. Гипотезы большинства ученых — это лишь блестящие догадки, построенные на немногих фактах. Иное у А. А. Шахматова: его гипотезы строятся на огромном материале, он не игнорирует никаких данных. Воссозданная А. А. Шахматовым история русского летописания строится им на основании всех доступных ему списков. Он стремится воссоздать в с ю историю всего русского летописания в целом. Замечательно, что А. А. Шахматов приступил к работе над историей создания Повести временных лет только тогда, когда изучил максимально большое число списков — в том числе и самых поздних. Количество привлекаемых А. А. Шахматовым отдельных летописных списков всегда огромно. Нужно поражаться умению А. А. Шахматова удерживать в сознании множество данных и всеми ими оперировать одновременно.

А. А. Шахматов никогда не строил изолированных гипотез. Ни анализ синтезу, ни синтез анализу не предшествовали друг другу в его построениях. Работая над частями, А. А. Шахматов всегда имел в виду целое, общую картину. Вот почему отдельные аргументы могли казаться и кажутся иногда шаткими, но в целом этих аргументов у А. А. Шахматова во всех случаях огромное количество и их не всегда бывает легко учесть читателю работ А. А. Шахматова, так как ни одно из исследований А. А. Шахматова никогда не содержит всей аргументации по данному вопросу. Это стало особенно ясным после опубликования в 1938 г. его черновой рукописи „Обозрение русских летописных сводов

XIV—XVI вв.",[1] где приводились систематические данные о большинстве основных русских летописных списков. Даже в такой фундаментальной работе А. А. Шахматова, как его „Разыскания о древнейших русских летописных сводах", приведена далеко не вся та аргументация, которая имелась в более ранних работах А. А. Шахматова по тем же вопросам. А. А. Шахматов неоднократно указывал на необходимость строить выводы, исходя лишь из всей суммы фактов. „В истории литературы, — писал А. А. Шахматов, — переплетаются в самых разнообразных сочетаниях разные памятники, эволюционные цепи различных литературных произведений. Если следить только за одной из таких цепей, не принимая в расчет ни параллельных, ни перекрещивающих ее движений, то в результате могут получиться сплошные недоразумения..."[2]

Оппоненты А. А. Шахматова редко принимали в расчет эту особенность его метода. Выбирая из системы два-три аргумента, они забывали об остальных. Так, скажем, акад. В. М. Истрин и акад. Н. К. Никольский критиковали гипотезу А. А. Шахматова о существовании Начального летописного свода (что было особенно легко, так как А. А. Шахматов не дал в своих работах заключительного обозрения этой своей концепции) и забывали при этом, что не одна только система древнейших сводов Повести временных лет рушилась с отменой этой гипотезы, но и вся система позднего русского летописания. И акад. В. М. Истрин, и акад. Н. К. Никольский строили свои гипотезы о начале русского летописания, пользуясь лишь немногими данными древнейших списков русских летописей и тем игнорируя важнейшую особенность метода А. А. Шахматова — метода, который, по определению М. Д. Приселкова, может быть назван „методом больших

---

[1] К сожалению, рукопись эта была опубликована не целиком, а с существенными сокращениями.

[2] Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго „Повести о Мамаевом побоище": Отчет о XII присуждении премии митр. Макария, СПб., 1910, стр. 84 (6).

скобок"[1] и имеет законную силу даже в такой точной науке, как математика.

Необходимо отметить, что сам А. А. Шахматов постоянно подчеркивал гипотетический характер своих построений. А. А. Шахматов резко осудил работу М. Д. Приселкова „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв." за то, что в ней непосредственные исторические источники оказались заслоненными гипотетическими выводами исследования А. А. Шахматова о древнейших русских летописных сводах.[2]

А. А. Шахматов применил к летописи метод логически смыслового анализа. Каждая летописная запись, исправление или подновление оценивалось А. А. Шахматовым с точки зрения соответствия их идейному замыслу летописца. А. А. Шахматов опроверг установленный П. М. Строевым и К. Н. Бестужевым-Рюминым взгляд на летописный свод как на механическое соединение разнообразного материала. А. А. Шахматов отказался видеть в летописном своде какое бы то ни было проявление случайности или влияния неосознанных летописцем факторов. Во всех случаях А. А. Шахматов предполагал в летописи наличие сознательной, глубоко продуманной работы летописца, подбиравшего свой материал под влиянием серьезных и законченных политических идей и создававшего летописные своды, проникнутые внутренним

---

[1] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI — XV вв.", Л., 1940, стр. 13.

[2] „Автор должен был бы стать в теснейшую непосредственную связь с основным для него источником — русскою летописью, — писал А. А. Шахматов о М. Д. Приселкове, — между тем, он поставил между этим источником и собой мое исследование о древнейших русских летописных сводах. М. Д. Приселков идет при этом так далеко, что редко ссылается на Лаврентьевский или Ипатьевский списки, излагая события X и XI вв.; летописные тексты приводятся им по моему предположительному чтению (напр., стр. 55, 56). Разумеется само собой, что исследователь не только может, но и должен считаться с предшественниками и результатами их работ. Но отношение к ним должно быть, по[illegible] критическим" (Новый исторический журнал, 1914, [illegible] 45

идейным единством, спаянные острой политической мыслью. В своей работе летописец, по взглядам А. А. Шахматова, не знает ошибок, он всегда действует по своему умно, последовательно проводя свою политическую концепцию. Вместе с тем политическую мысль, вложенную в летописные своды, А. А. Шахматов считал зависящей не от личного произвола летописцев: она всегда принадлежит тому феодальному центру, где создается летопись, и взгляды которого летописец выражает.

Кроме того, А. А. Шахматов исходил из предположения, что переработка предшествующего летописного материала могла быть допущена составителем летописного свода лишь по очень веским основаниям, она максимально сохраняла предшествующий текст и носила строго определенные формы, ограничиваясь выработанными приемами сокращений, дополнений из других источников или некоторыми переделками, подновлениями языка и стиля. Ни произвольного искажения текста, ни фантастических добавлений и необоснованных утверждений летописцы, работавшие до XVI в., как правило, не допускали.

Таким образом, работа летописцев, по взглядам А. А. Шахматова, носила строго закономерный и единообразный характер. Летописи были внутренно цельные, политически заостренные и сложные по составу произведения. Такое представление о летописи, как о бережном, политически продуманном своде предшествующего летописного материала открывало перед исследователем широкие возможности восстановления лежащих в основе летописных списков древнейших летописей. Непрерывность летописной традиции и ее „закономерность" позволили А. А. Шахматову точно анализировать работу летописца, вскрывать в ней труд его предшественников, снимая одно наслоение за другим. Терпеливо распутывая логически смысловым анализом в списках XV—XVI вв. легшие в их основу комбинации предшествующих летописных сводов и анализируя их взаимоотношения, А. А. Шахматову удалось шаг за шагом восстановить всю огромную многовековую

историю русского летописания — вплоть до древнейших текстов половины XI века. Перед филологической наукой неожиданно открывались, таким образом, возможности восстановления давно утраченных памятников письменности.[1] Опыты восстановления древнейших памятников летописания явились одними из высших достижений русской науки. При этом лучшим и наглядным подтверждением правильности исследовательского метода А. А. Шахматова явилось открытие новых списков летописей (например, списка московского свода 1479 г., списка новгородского свода 1539 г.), полность оправдавших своим составом многие из положений А. А. Шахматова.[2]

---

[1] В работе 1898 г. „Житие Антония и Печерская летопись" (Журнал Мин. нар. просв., 1898, № 3) А. А. Ш а х м а т о в предпринял чрезвычайно смелую попытку восстановления состава и тенденции жития Антония Печерского, написанного в последней четверти XI в. и утраченного уже к XIV в. В работе 1904 г. „Сказание о призвании варягов". (Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1904, кн. 4) А. А. Ш а х м а т о в сделал попытку восстановить текст сказаний о призвании варягов. В работе 1908 г. „Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись" (Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1908, т. XIII, кн. 1) А. А. Ш а х м а т о в дает восстановленный им текст предисловия Начального свода. В приложении к „Разысканиям о древнейших русских летописных сводах" (Летопись занятий Археографической комиссии, т. XIII, СПб., 1908) А. А. Ш а х м а т о в издал реконструкции Древнейшего Киевского свода 1039 г. в редакции 1073 г. и Новгородского свода 1050 г. с продолжениями до 1079 г. Наконец, в 1916 г. А. А. Ш а х м а т о в опубликовал весь реконструируемый им текст Повести временных лет по второй и третьей редакции с выделением особым шрифтом текста Начального свода 1095 г. („Повесть временных лет", т. I, Вводная часть. Текст. Примечания, П., 1916). Таким образом, А. А. Ш а х м а т о в дал не только детально (вплоть до отдельных списков) разработанную обобщающую схему развития русского летописания: он стремился к живому, „наглядному", реальному воспроизведению русского летописания во всей его сложности.

[2] В работе 1904 г. „О так называемой Ростовской летописи" А. А. Ш а х м а т о в предположил существование свода 1479 г. и свода 1539 г. Затем уже А. А. Ш а х м а т о в нашел свод 1479 г. непосредственно в рукописи Публичной библиотеки в Ленинграде (Эрмитажный список № 416 *б*), так же и новгородский свод 1539 г. — в рукописи той же библиотеки (F. IV. 238). Впоследствии М. Н. Т и х о м и р о в нашел еще один список свода 1479 г. (Гос. Исторический музей, Уваровская № 1366).

Необычайный успех логически-смыслового анализа русских летописей, примененного А. А. Шахматовым, не мог не отразиться на исторической науке в целом. После выхода „Разысканий“ А. А. Шахматова одна за другой появляются исторические работы, в которых этот логически-смысловой анализ оказывался примененным не только к памятникам письменности, но и к политической истории древней Руси. Авторы этих работ исходили из убеждения в строгой *логической* и *смысловой* значимости каждого внешне-политического события. Они подходили к истории Руси в значительной мере как к истории борьбы различных политических концепций, многочисленных политических партий, феодальных центров. Подобно тому, как А. А. Шахматов видел в древних русских летописцах последовательных проводников политической позиции своих феодальных центров, историки — ученики А. А. Шахматова видели в политических деятелях древней Руси неизменно последовательных проводников строго определенных сложных политических концепций. Таковы в первую очередь талантливые работы М. Д. Приселкова,[1] В. А. Пархоменко,[2] А. Е. Преснякова[3] и др.

Необходимо отметить, что метод логически-смыслового анализа, примененный А. А. Шахматовым и его учениками-историками, исходил из чрезвычайно привлекательного отношения к писателям и политическим деятелям Древней Руси. В нем чувствовалось внутреннее, настоящее уважение к историческому прошлому нашей Родины, к людям, определявшим ее культурно-историческое лицо много сотен лет тому назад. Однако, в применении к чисто историческому материалу явственно обнаружились и коренные недостатки этого метода.

---

[1] В особенности „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.“, СПб., 1913. Ср. также особенно характерную в этом отношении его работу „Слово о полку Игореве как исторический источник“, Историк-марксист, 1938, № 6.

[2] „Начало христианства Руси“, Полтава, 1913, и некоторые другие.

[3] „Княжое право в Древней Руси“, СПб., 1909.

С ним оказалась неразлучной некоторая модернизация психологии деятелей древней Руси. Неотразимая сила логики исследования вносила личные мысли и положения ученого в материал истории. Отточенный анализ исследователя обострял значение мелких исторических фактов, иногда придавая им преувеличенную весомость. Но в целом метод, созданный А. А. Шахматовым, его глубокое уважение к историческому прошлому русского народа, готовность видеть в летописцах умных, энергичных, а главное, широко эрудированных историков оказали освежающее и плодотворное влияние на его многочисленных учеников — историков, литературоведов, лингвистов.

3

Метод логически-смыслового анализа никогда не применялся А. А. Шахматовым в чистом виде — отдельно от других подходов к материалу. Это был лишь один из способов анализа текста, но далеко не единственный. Так, например, анализируя летописное сказание о Борисе и Глебе, А. А. Шахматов методом логически-смыслового анализа вскрывает в нем разновременные слои, однако каждый раз корректирует свои наблюдения на различных древних редакциях жития Бориса и Глеба, где отразились древнейшие летописи. К своим наблюдениям над текстом Повести временных лет А. А. Шахматов широко привлекает данные новгородских летописей, данные Пролога, древнейших житий Ольги, Владимира и т. д., и т. п. Только разные подходы к тексту летописей, разные точки зрения давали наблюдениям А. А. Шахматова необходимую стереоскопичность, исследовательскую глубину. Только проверяя свои наблюдения разным подходом к материалу, разными приемами анализа, А. А. Шахматов убеждался в их правильности.

Восстанавливая историю русского летописания, указывая происхождение летописных списков и постепенно, свод за сводом, разматывая запутанный клубок русского летописания,

А. А. Шахматов выработал ряд искусных приемов изучения летописного текста.

Прежде всего необходимо отметить широкое применение А. А. Шахматовым сличения различных летописных списков. До исследований А. А. Шахматова сличение состава и проверка взаимоотношения отдельных летописных списков систематически не производились. Между тем, А. А. Шахматов применил этот прием ко всему материалу летописей. При этом А. А. Шахматов не доверял изданиям, а клал в основу своих построений непосредственно рукописные тексты, стремясь по возможности исчерпать родственные списки.

Сравнительное изучение различных родственных списков позволяло А. А. Шахматову обнаружить в их основе сходные элементы. Иногда эти сходные элементы оказывались результатом заимствований, но гораздо чаще они объяснялись общностью источника, что, при относительном богатстве сходных элементов в русском летописании, давало основания восстанавливать и текст источника, и его историю с относительной достоверностью. Отличить общий источник от заимствования почти всегда оказывалось возможным благодаря тому обстоятельству, что общий источник лучше сохранился не в одном из списков, а частично то в одном, то в другом. В разных списках в одинаковой мере встречаются и древнейшие чтения, и искажения. Почти во всех случаях такое распределение древнейших чтений и искажений служит гарантией существования общего источника обоих списков.[1] Самые искажения, описки, переделки, сокращения, дополнения последующих списков А. А. Шахматов внимательно изучал и на основании их характера стремился детально уяснить себе историю сводов и списков.

Прием кропотливого сличения рукописных текстов был основным приемом исследования А. А. Шахматовым истории

[1] Наблюдения затрудняются в тех случаях, когда неисправный летописный текст оказывался выверен летописцем по более исправному, что обычно установить нелегко.

русского летописания. Он разработал его до предельной точности. Поэтому отсутствие параллельных текстов всегда служило серьезным препятствием при установлении истории летописного текста. Так обстояло, например, с изучением текста Ипатьевской летописи за XII—XIII вв., до сих пор слабо исследованного из-за своего одинокого положения среди памятников летописания. И, наоборот, наличие большого числа параллельных текстов, как, например, в московском летописании XV в., позволяло А. А. Шахматову притти к выводам исключительной точности.

Установив взаимоотношения списков и составляющих их летописных сводов, А. А. Шахматов ставил второй своей задачей изучение места, времени, и обстоятельств создания каждого списка и каждого свода. В этом отношении А. А. Шахматову помогало изучение самого содержания летописных записей. Летописные записи давали прежде всего материал для определения того феодального центра, в котором они были созданы. Осторожными наблюдениями А. А. Шахматову удавалось установить вложенные в них политические тенденции: главным образом на основании тех изменений, которым подвергались в них записи предшествующих летописцев. Иногда случайные обмолвки летописцев, хронологические ошибки личных записей и т. д. предоставляли возможность определить время создания списка или свода и личность летописца. Таким образом, изучением состава летописных записей А. А. Шахматов стремился исчерпывающе представить историю летописания, дать цельную историческую картину летописной работы. Здесь А. А. Шахматов становился историком, его выводы принимали характер исторических выводов и выходили за пределы истории текстов. Летопись изучалась А. А. Шахматовым как историческое явление, как результат воздействия исторических факторов, исторической среды.

В качестве примера блестящего анализа летописных сводов, имеющего крупное общеисторическое значение, укажу на исследование А. А. Шахматовым обстоятельств, места, времени и политической тенденции составления „Владимирского

Полихрона" Фотия 1423 г.[1] Анализ этот дал исключительно богатую картину культурной и идейной жизни Руси первой половины XV в.[2]

Нет нужды приводить особые примеры того, как мастерски владеет А. А. Шахматов этими двумя приемами: их достаточно в каждом из исследований А. А. Шахматова по летописанию.

Кроме этих двух приемов, помогавших А. А. Шахматову расслоить летописный текст, выделить в нем отдельные своды, установить их взаимоотношения и весь процесс летописной работы, он пользовался и другими, носившими подсобный характер и позволявшими значительно уточнять выводы. Укажу на главнейшие.

При анализе состава летописных записей А. А. Шахматов особое внимание обращал на изучение всякого рода встречающихся в них хронологических указаний. Объяснение хронологических ошибок, неточностей, обмолвок, ретроспективных заметок, указывающих на исходные моменты летописания, давало А. А. Шахматову огромный материал, позволявший уточнять время составления сводов и списков. Так, например, остроумное истолкование причины хронологической ошибки русского Хронографа в определении числа лет царствования Иоанна Палеолога и его преемника императора Константина привело А. А. Шахматова к заключению, что первоначальная редакция русского Хронографа доводила свое изложение только до 1442 г.[3]

Можно считать, что А. А. Шахматов изучил всю хронологию известных ему списков русских летописей, подверг тща-

[1] „Общерусские летописные своды XIV и XV вв.", Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 163 и след.

[2] На анализ этот неоднократно ссылается А. Е. Пресняков в монографии: „Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XIV столетий", П., 1918.

[3] См.: „Пахомий Логофет и Хронограф". Журнал Мин. нар. просв., 1899, № 1; „К вопросу о происхождении Хронографа", Сб. Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. LXVI, 1899, № 8; „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.", Л., 1938, стр. 134—136.

тельному истолкованию все встречающиеся в них обмолвки и ошибки, уточнив тем самым многие этапы летописной истории.

Хронологические указания извлекаются А. А. Шахматовым также из встречающихся в летописях перечней и списков князей, митрополитов, епископов, посадников, русских епархий и т. д. Перечни эти доводились обычно составителем свода до своего времени. Его преемники по большей части оставляли эти списки без дополнений и поправок, и поэтому данные их могли указывать на время работы одного из летописных сводчиков. Так, например, на основании приписки в первой редакции Новгородской четвертой летописи имени ростовского епископа Ефрема, занимавшего ростовскую кафедру в 1427—1453 гг., А. А. Шахматов подтвердил свой вывод о том, что первая редакция Новгородской четвертой могла относиться только ко времени до 1454 г.[1] Время написания Ростовской летописи (Сборник б. Архива Министерства иностранных дел № 20—25), употребленной при составлении Воскресенской летописи, устанавливается А. А. Шахматовым на основании родословной, помещенной летописцем под 887 г., где последними названы сыновья Ивана III Васильевича: Василий (родился в 1479 г.) и Юрий (родился в 1480 г.) и не упомянуты Дмитрий, родившийся в 1482 г. и Семен, родившийся в 1487 г. Отсюда А. А. Шахматов делает вывод, что Ростовская летопись могла быть составлена только в 1480—1481 гг.[2] Хронологические данные для Софийского временника А. А. Шахматов извлекает из имеющихся в нем перечней великих князей киевских, новгородских князей, русских митрополитов, новгородских владык, русских епархий и новгородских посадников.[3] Анализ хронологической выкладки русских событий

---

[1] „Общерусские летописные своды XIV и XV вв.", Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 99.

[2] Там же, стр. 152.

[3] „Разыскания о древнейших русских летописных сводах", СПб., 1908, стр. 194 и 195.

в Софийской первой и Новгородской четвертой под 6360 (852) г. приводит А. А. Шахматова к выводу, подтверждающему составление второй (третьей) редакции Повести временных лет в 1118 г.[1] и мн. др.

Личные записи летописцев позволяли иногда А. А. Шахматову устанавливать составителей сводов. Так, например, имя составителя новгородского свода 1425 г. — Матвея Михайлова — выясняется А. А. Шахматовым на основании записей в Новгородской четвертой о его семье под 1375, 1382, 1405, 1406, 1411 и другими годами.[2]

Обильные данные извлекаются А. А. Шахматовым из анализа описок, общность которых сразу нескольким спискам дает весьма точные основания для суждения об истории этих списков. Так, например, в Московском своде 1479 г. А. А. Шахматов видит почти полное отражение сгоревшей Троицкой летописи (свода 1408 г.). Это устанавливается им, в частности, на основании того, что в летописях, связанных со сводом 1480 г. (Ростовской и Воскресенской), имеются те же описки, которые находились и в Троицкой: „так, в описании новгородского пожара 1369 г. в Ростовской и в Воскресенской, согласно с Троицкой (И. Г. Р., V, пр. 137), читаем «по Головине улице», вместо «по половине улице»“.[3]

Особое значение имеют случаи дублировок летописных записей. Дублировки эти могут быть двух типов: либо записи сделаны в разной форме, и тогда они указывают на слияние в летописи двух различных текстов, говоривших об одном и том же, что осталось незамеченным летописцами при составлении свода, либо обе записи приведены в летописи (чаще всего под разными годами) в одной и той же форме. В последнем случае дублировка указывает, что один и тот же летопис-

---

[1] „Разыскания о древнейших русских летописных сводах“, СПб., 1908, стр. 207—209. В „Поправках и дополнениях“ к „Разысканиям“ дата составления второй (третьей) редакции Повести временных лет уточняется началом 1119 г. (конец мартовского 6626 г.), стр. 669.

[2] „Общерусские летописные своды XIV и XV вв.“, Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 114.

[3] Там же, стр. 155—156.

ный источник прошел через разные летописи, которые затем были вновь сведены в одной, либо, что летопись в месте дублировки разбита вставкой. Так, например, в Новгородской четвертой и в Софийской первой под 1382 г. читается известие „преставися Михайло, отець Матфеев" два раза: сначала в летописной статье, предшествующей обширной повести о взятии Москвы Тохтамышем, а потом в статье, помещенной вслед за этой повестью. Ясно, что повторение этой летописной статьи, а в ней и домашнего известия новгородского летописца, явилось следствием вставки повести о взятии Москвы Тохтамышем.[1] На основании многочисленных дублировок известий в Новгородской четвертой и наблюдения над их составом, А. А. Шахматов делает вывод о том, что Новгородская четвертая летопись составлена на основе двух новгородских летописных сводов: Новгородской первой летописи и того обширного, сложного по составу своему свода, который послужил источником Софийской первой летописи.[2]

Особое место в исследованиях А. А. Шахматова генеалогии летописных сводов занимает также анализ летописного языка.

Отдельные погрешности языка, синтаксические неувязки и неправильные формы слов позволяют А. А. Шахматову устанавливать вставки (например вставку имени Свенельда в нескольких местах Начального свода),[3] пропуски и переделки.[4] Диалектизмы, встреченные А. А. Шахматовым в Радзивиловской летописи, привели его к уверенности в смолен-

---

[1] Там же, стр. 114.

[2] Там же, стр. 103.

[3] „Разыскания о древнейших русских летописных сводах", СПб., 1908, стр. 369 и след.

[4] Ср., например, анализ фразы: „И от тех Варяг, находьник тех, провъвася Руськая земля, Новьгородьци ти суть людье Новгородьци от рода Варяжьска, преже бо беша Словене" („Разыскания...", стр. 298—307), анализ рассказа об овладении Игорем или Олегом Киева (там же, стр. 318 и след.) и др.

ском происхождении ее списка.[1] На основании анализа языка русских известий Хронографа, А. А. Шахматов пришел к заключению, что первоначальная редакция Хронографа составлена сербом, работавшим в России. „В русских известиях Хронографа,— пишет А. А. Шахматов,— замечаются сербизмы, доказывающие, что они внесены в Хронограф сербом: так, Святослав и Святополк называются постоянно Цвѣтославом и Цвѣтополком..; так, в рассказе о борьбе отрока Переяслава с печенежином, бык (или вол) в русской летописи заменен словом юнец (ср. сербск. јунац = молодой бык); так, под 6915 г. читаем: «а москвичь били под Вязьмою» вместо: «а москвичи были под Вязьмою» и т. д".[2]

Разнообразие приемов, которые применял А. А. Шахматов, исключительно велико. Исчислять их в кратком обзоре невозможно. Мы привели лишь наиболее типичные.

Отдельные приемы исследования летописного текста были известны в изучении летописей еще до А. А. Шахматова: в частности, пользование дублировками известий, хронологическими обмолвками летописца и т. д. Они встречаются в работах по летописанию М. П. Погодина, И. И. Срезневского, Д. И. Прозоровского и др. Однако, А. А. Шахматов внес новое в самый принцип применения этих приемов. Отказавшись от эпизодических наблюдений летописного текста, А. А. Шахматов применил эти приемы ко всему материалу летописных списков в целом. Подобно тому, как обобщения А. А. Шахматова охватывали *все* известные ему летописные *списки*, его анализ охватывал *весь текст* каждого летописного списка в отдельности.[3]

---

[1] „Заметка о месте составления Радзивиловского (Кенигсбергского) списка летописи", Сборник в честь семидесятилетия Д. Н. Анучина, М., 1913, стр. 69—74.

[2] „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.", Л., 1938, стр. 143. Ср. также „Пахомий Логофет и Хронограф", Журнал Мин. нар. просв., 1899, № 1.

[3] Необходимо упомянуть и о существенных заслугах *А. А. Шахматова* в издании русских летописей. А. А. Шахматов впервые применил

Не все работы А. А. Шахматова одинаковы и по своему методу, и по методике исследования.

Метод А. А. Шахматова и приемы его исследования складывались постепенно.

Начав с блестящего исследования одной только начальной хронологический даты летописи,[1] А. А. Шахматов вскоре пришел к выводу о невозможности восстанавливать историю сводов путем эпизодических, хотя бы и чрезвычайно удачных наблюдений.

Поэтому уже в следующей статье он подверг общему изучению весь хронологический материал Повести временных лет и начальной части младшего извода Новгородской первой летописи.[2]

Необходимость изучения всего текста каждого списка и всей совокупности летописных списков как поздних, так и ранних, сказывается в самой последовательности работ А. А. Шахматова. Он начал с отдельных работ по истории летописания XI—XII вв., но затем обратился к изучению поздних летописных сводов XIV—XV вв., все шире и шире охватывая весь летописный материал, чтобы позднее возвратиться к на-

---

новый принцип подбора списков для издания той или иной летописи. Прежние издатели Полного собрания русских летописей группировали списки по принципу их внешнего сходства между собой; А. А. Шахматов исходил из истории списков, из истории летописных сводов. Именно этот „генеалогический" принцип, проверенный на изданиях поздних летописей, был положен А. А. Шахматовым и в основу реконструкции Повести временных лет. С. А. Бугославский (см. его статью „Повесть временных лет" в сб. „Старинная русская повесть", М., 1941) в своей характеристике метода А. А. Шахматова имел, в сущности, в виду только приемы издания Повести временных лет. При этом С. А. Бугославский неправильно охарактеризовал приемы издания А. А. Шахматова и, в сущности, предлагал вернуться к старым методам публикации, дав свою классическую для старых способов изданий древне-русских памятников схему группировки списков Повести временных лет.

[1] „Исходная точка летоисчисления Повести временных лет", Журнал Мин. нар. просв., 1897, № 3.

[2] „Хронология древнейших русских летописных сводов", Журнал Мин. нар. просв., 1897, № 4.

чальному русскому летописанию на базе исследования всех списков. Именно такой грандиозной и завершающей работой являются его замечательные „Разыскания о древнейших русских летописных сводах“.[1]

Так же точно неуклонно от исследования к исследованию усиливается и усложняется исторический метод в работах А. А. Шахматова. В начале своего изучения Повести временных лет А. А. Шахматов ограничивался исключительно данными анализа текста и на этой основе выделил две редакции Повести. Лишь впоследствии А. А. Шахматов пришел к выводу, что каждая из редакций Повести отразила в своем составе политические идеи различных партий, находилась в тесной связи с политической жизнью Киевской Руси. Анализ исторической жизни Киевской Руси конца XI — начала XII в. многое уточнил и изменил в предложенной им истории редакций Повести временных лет.

С точки зрения исторической аргументации особенно важны две работы А. А. Шахматова: „Общерусские летописные своды XIV и XV веков“[2] и „Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись“.[3] В первой работе на основании тонкого анализа политической идеологии московских митрополитов и состава летописных сводов XIV—XV вв. А. А. Шахматов установил тесную связь между объединением Руси и появлением общерусских по своему содержанию летописных сводов. „Цель настоящей статьи, — писал А. А. Шахматов, — объяснить указанный характер древнейших московских сводов и поставить его в действительную связь с идеями и интересами современной им эпохи“.[4] Во втором исследовании А. А. Шахматова интересен исторический анализ обстоятельств, связанных с созданием Начального свода, ярко осветивший политическое содержание и свода, и его предисловия. По убедительности общей картины созда-

---

[1] СПб., 1908.

[2] Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9 и № 11; 1901, № 11.

[3] Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XIII, кн. 1.

[4] Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 91.

ния предисловия, по яркости исторических доказательств и остроумию текстовых объяснений исследование это — одно из самых блестящих у А. А. Шахматова.

И в изучении русских летописей, и в изучении русского языка А. А. Шахматов с годами все более и более становился первоклассным историком. По-новому освещая летописный памятник, А. А. Шахматов одновременно по-новому освещал не только его историческое содержание, но и сопряженные с ним события и лица эпохи.

А. А. Шахматов впервые в своих работах дал грандиозную историю русского летописания. Эта история представляла собой генеалогию почти всех сохранившихся до наших дней летописных списков. Однако, вместе с тем, история русского летописания была в работах А. А. Шахматова и историей русской исторической мысли, историей русского общественного самосознания. Вместе с тем, изучение истории летописания чрезвычайно обогатило историческую науку новыми историческими показаниями. История тех или иных летописных записей позволяла прочесть в них много такого, что ускользало до тех пор от внимания историков.

Однако общей картине развития русского летописания так, как она восстанавливалась А. А. Шахматовым, нехватало известной рельефности, жизненных красок. В ней нашли себе слабое отражение индивидуальные манеры летописцев, в ней не получили отражения изменения в области литературных вкусов, изменения способов ведения летописания и т. д. История русского летописания была представлена в работах А. А. Шахматова, как генеалогическая история сводов. Главным для А. А. Шахматова всегда были даты составления каждого свода, состав свода и его генеалогическое отношение к другим сводам. А. А. Шахматов всегда был озабочен в первую очередь тем, чтобы вычертить „генеалогическое дерево“ свода. Это была работа чрезвычайно нужная, но, ограничиваясь ею, исследователь рисковал несколько сузить и обеднить содержание истории летописания.

Для А. А. Шахматова самый метод работы летописца представлялся одним и тем же. Типический состав летописи, стиль летописания — все это представлялось в исследованиях А. А. Шахматова неизменным в течение веков. А. А. Шахматов исходил в своих работах из предположения строгой осмысленности всей работы летописцев. Летописцы направлялись в своей работе определенными политическими концепциями, которым строго следовали и которым ни в чем не изменяли.

А. А. Шахматов стремился объяснить каждый факт летописной работы. Благодаря этому работа летописцев была представлена А. А. Шахматовым в чрезвычайно привлекательной сложности. Во всех случаях А. А. Шахматов предполагал в летописи наличие сознательной, глубоко продуманной работы летописцев, подбиравших свой материал под влиянием серьезных и законченных политических идей и создававших своды, проникнутые внутренним идейным единством, спаянные острой политической мыслью. Но основанный на таком понимании работы летописца метод логически-смыслового анализа текста вносил известную долю модернизации. Летописец наделялся в некоторой мере психологией политического деятеля XIX—XX вв. Самые приемы работы летописца, с точки зрения А. А. Шахматова, почти никогда не изменялись.

А. А. Шахматов был превосходным историком, однако некоторая „внеисторичность“ его метода сказалась в том, что в подходе к такому своеобразному и меняющемуся явлению как летопись, он не усмотрел ее изменчивости; к историко-литературному материалу летописи он не подошел как историк литературы.

После смерти академика А. А. Шахматова с попытками пересмотра его положений выступили академики В. М. Истрин и Н. К. Никольский. В. М. Истрин и Н. К. Никольский направили свои усилия, главным образом, на выяснение вопроса о начале русского летописания. В. М. Истрин, много работавший над переводными хрониками, предположил, что русское летописание началось путем продолжения и переделок

византийских хроник.[1] Н. К. Никольский — историк древней русской литературы по преимуществу — решил, что в основу русского летописания легло западно-славянское (мораво-паннонское) сказание о начале славянской письменности.[2] Однако, и работа В. М. Истрина, и работа Н. К. Никольского представляли собой в методологическом отношении шаг назад.

Работы Н. К. Никольского и В. М. Истрина не исходили из изучения всех списков летописей, они не принимали в расчет данных всего русского летописания. Это были гипотезы, основанные на весьма ограниченном числе фактов и не объяснявшие даже дошедшего до нас текста редакции Повести временных лет. Практически и Н. К. Никольский, и, в особенности, В. М. Истрин вернулись к старому взгляду на летописные своды, как на случайные и непродуманные соединения разнородного материала.

Метод А. А. Шахматова получил развитие, главным образом, в работах его последователя М. Д. Приселкова, которому принадлежит первая попытка систематического обзора развития русского летописания от XI до XV в. включительно: „История русского летописания XI—XV вв.“[3] М. Д. Приселков оставил почти без пересмотра всю древнейшую часть русского летописания, но значительно дополнил и уточнил историю московского летописания XIV—XV вв. Затем М. Д. Приселкову принадлежит великолепное, очень тщательно выполненное исследование Лаврентьевской летописи, во многом разошедшееся с выводами А. А. Шахматова.[4]

---

[1] „Замечания о начале русского летописания“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXVI, 1921 и т. XXVII, 1922.

[2] „Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры“, вып. I, Сборник по русск. яз. и слов. Ак. Наук СССР, т. II, вып. 1, Л., 1930

[3] Л., 1940.

[4] „Лаврентьевская летопись (история текста)“, Ученые записки Ленинградского Гос. университета, № 32; Серия исторических наук, вып. 2, Л., 1939.

М. Д. Приселков значительно усилил историческую сторону метода А. А. Шахматова. Это особенно касается его „Истории русского летописания XI—XV вв.“, где создание каждого свода объяснено в тесной связи с исторической обстановкой своего времени. Усилена в работах М. Д. Приселкова и историко-литературная сторона метода А. А. Шахматова. В „Истории русского летописания XI—XV вв.“ рассеяны многочисленные, по большей части краткие, но очень веские замечания, касающиеся стиля, а иногда и языка тех или иных сводов.[1]

Необходимо отметить, что работами А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова не были охвачены те памятники русского летописания, которые находились вне основного русла русского летописания и памятники летописания позднего времени, XVI—XVII вв. Поэтому усилия современных исследователей летописания направляются, главным образом, в эту сторону. Н. Ф. Лавров исследовал русское летописание XVI в.[2] А. Н. Насонов исследовал тверское летописание[3] и летописание Пскова.[4] Л. В. Черепнин изучил летописание галицкое и летописи первой половины XVII в.[5] С. В. Бахрушин и А. И. Андреев изучили сибирское летописание. М. Н. Тихомиров исследовал и опубликовал большее число летописных памятников XVI—XVII вв.

---

[1] Такова, например, характеристика стиля и языка Владимирского свода 1212 г. („История русского летописания XI—XV вв.“, Л., 1940, стр. 86). См. также его исследование о Лаврентьевской летописи (Ученые записки Ленинградского Гос. университета, № 32; Серия исторических наук, вып. 2, Л., 1939, стр. 111, 120—121, 124 и др.).

[2] „Заметки о Никоновской летописи“, Летопись занятий Постоянной историко-археографической комиссии, I (XXXIV), Л., 1926.

[3] „Летописные памятники Тверского княжества“, Известия Ак. Наук, СССР, 1930, №№ 9 и 10; „Летописные своды Тверского княжества“, Доклады Ак. Наук СССР, 1926, ноябрь—декабрь.

[4] „Псковские летописи“, вып. I, М.—Л., 1941. „Из истории псковского летописания“, Исторические записки, № 18, М., 1946.

[5] „Летописец Даниила Галицкого“, Исторические записки, № 12, М., 1940; „«Смута» и историография XVII в. (из истории древнерусского летописания)“, там же, № 14, М., 1945.

I. НАЧАЛО РУССКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ

Глава 3

ДРЕВНЕЙШИЕ ЭТАПЫ РУССКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ

БОЛЬШИНСТВО древнейших русских летописей — Лаврентьевская 1377 г., Ипатьевская XV в., Радзивиловская XV в. и др. — имеют в своем начале „Повесть временных лет", доведенную до десятых годов XII в. Повесть временных лет — едва ли не лучший памятник русского летописания, повествующий о начальном периоде истории Русской земли. Ее создатель был человеком, обладавшим и твердыми политическими убеждениями и своеобразным литературным вкусом. И то, и другое резко сказалось в составленной им Повести временных лет.

Однако более или менее пристальное наблюдение текста Повести тотчас же обнаруживает отдельные части, которые не могли быть написаны автором XII в. Летописец XII в. не мог знать, что поражение Всеволода половцами в 1061 г. произошло точно *2 февраля*, что Ростислав Тмутараканский умер *3 февраля* 1066 г., что в *1065 г.* рыбаки выловили в Сетомле неводом урода, что *3 марта* 1067 г. произошла битва на Немиге и мн. др.

Кроме того, в Повести временных лет обнаруживаются явные вставки, разрушающие логическое развитие рассказа. Так, например, рассказав о трех местях Ольги древлянам за убийство мужа — Игоря, летописец заключает: „и победиша деревляны". Казалось бы, после этих слов следует ожидать

сведений о той дани, которую Ольга возложила на побежденных. Но оказывается, что с древлянами не все покончено: древляне затворяются в своих городах, после чего летописец рассказывает о второй победе Ольги — о ее четвертой мести; и только после этого уже следуют слова: „възложиша на ня дань тяжьку". Ясно, что рассказ о четвертой мести Ольги древлянам искусственно вставлен в летописный текст.

Или еще пример вставки: в 971 г., видя убыль в своей дружине, Святослав решает вернуться из византийских пределов за новым войском: „поиду в Русь, — говорит он, — приведу боле дружины". И он действительно исполняет свое решение: „поиде в лодьях к порогом". Но между рассказом о решении и рассказом об исполнении этого решения находится повествование о заключении Святославом мира с греками и обширный текст договора. Ясно, что и здесь мы имеем дело со вставкой.

Вставки в тексте Повести временных лет были обнаружены различными исследователями,[1] но только А. А. Шахматов обратил внимание на то, что наличие этих вставок свидетельствует о том, что в основе Повести временных лет лежит летопись еще более древняя. Очевидно, что составитель Повести временных лет использовал труд своего предшественника летописца, расширив его этими самыми вставками и продолжив изложение событий до своего времени.

Восстановление А. А. Шахматовым летописных сводов, предшествовавших Повести временных лет, принадлежит к увлекательнейшим страницам филологической науки. Приведем лишь некоторые из остроумных догадок А. А. Шахматова, чтобы дать представление и о самом методе Шахматова, и о главнейших из выводов его исследований.

В начале списков первой Новгородской летописи[2] читается текст, частично сходный, а частично различный с Повестью

---

[1] Ср., например: А. А. Потебня, „К истории звуков русского языка", вып. II, стр. 16.

[2] Кроме Новгородской первой по Синодальскому списку, где начало рукописи утрачено.

временных лет. Исследуя этот текст, А. А. Шахматов пришел к выводу, что в нем сохранились отрывки более древней летописи, чем Повесть временных лет. В числе доказательств А. А. Шахматов приводит и отмеченные выше места, где в тексте Повести временных лет обнаруживаются вставки. Так, под 946 г. в Новгородской первой летописи отсутствует рассказ о четвертой мести Ольги и повествование развертывается логически: „и победиша древляны и возложиша на них дань тяжку“, т. е. именно так, как по предположению А. А. Шахматова читалось в летописном своде, предшествовавшем Повести временных лет.

Так же точно отсутствует в Новгородской первой летописи и договор Святослава с греками, который, как указывалось выше, разорвал фразу: „И рече: поиду в Русь и приведу больши дружине; и поиде в лодьях“.

Мысль, что в числе источников Новгородской первой летописи находился летописный свод более древний, чем Повесть временных лет, находит себе подтверждение еще и в следующих соображениях. Новгородская первая летопись не могла явиться простым сокращением Повести временных лет. В ней нет ни одной выписки из греческих хроник, ни одного договора с греками и т. д.: так систематически сокращать не могли древние летописцы; да и зачем было летописцу задаться целью опустить в своем труде все заимствования из греческой хроники Амартола, все четыре договора с греками и т. д.?

Но, кроме того, между Новгородской первой летописью и Повестью временных лет замечаются значительные расхождения и по существу. Эти расхождения опять-таки могут быть объяснены только при том предположении, что текст, лежавший в основе Новгородской первой летописи, древнее Повести временных лет.

Так, например, в Новгородской первой летописи рассказывается о том, что со смертью Рюрика вступил на княжеский престол его сын Игорь, у которого был воеводою Олег. В Повести же временных лет сказано, что Игорь, после

смерти Рюрика, был малолетен и за него правил не воевода, а князь Олег. Такое различие станет нам вполне ясным, если исходить из предположения, что Повесть временных лет составлена после начальчой части Новгородской первой летописи. Очевидно, что составитель Повести временных лет, включая в нее договор 911 г. Олега с греками, обратил внимание на то, что Олег является в нем вполне самостоятельным князем, и соответственно этому перестроил рассказ предшествующей летописи. Если же мы предположим, наоборот, что Повесть временных лет составлена ранее начальной части Новгородской первой и что составитель последней просто сокращал Повесть временных лет, то окажется совершенно непонятным, почему, выбросив договоры с греками, летописец перевел Олега из князей в воеводы.

На основании этих и многих других соображений, А. А. Шахматов пришел к выводу, что в основе начальной части Новгородской первой летописи лежит летописный свод более древний, чем Повесть временных лет. Летописец, составивший Повесть временных лет, расширил ее новыми материалами, различными письменными и устными источниками, документами (договорами с греками), выписками из греческих хроник и довел изложение до своего времени.

Однако свод, предшествовавший Повести временных лет, восстанавливается по первой Новгородской летописи лишь частично, например, в нем отсутствует изложение событий 1016—1052 гг. и 1074—1093 гг. Пробелы эти восполняются А. А. Шахматовым предположительно по самой Повести временных лет.

Свод, легший в основу и Повести временных лет, и Новгородской первой летописи, А. А. Шахматов назвал Начальным, предполагая, что с него именно и началось русское летописание. Шаг за шагом в различных исследованиях А. А. Шахматову удалось восстановить полностью его состав, установить время его составления (1093—1095 гг.) и показать, в какой политической обстановке он возник.[1]

[1] Последнюю работу А. А. Шахматова о Начальном своде см. в „Шахматовском сборнике", I, Л., 1947.

Начальный свод составился под свежим впечатлением страшного половецкого нашествия 1093 г. Описанием этого нашествия он заканчивался, размышлениями о причинах несчастий русского народа он начинался. Во вступлении к Начальному своду летописец писал, что бог казнит Русскую землю за „несытство" современных князей и дружинников. Им, алчным и своекорыстным, летописец противопоставляет древних князей и дружинников, которые не разоряли народ судебными штрафами, сами содержали себя добычей в далеких походах, заботились о славе князей и Русской земли.

Назвав этот свод „Начальным", А. А. Шахматов не думал, что вскоре это название окажется неточным. Дальнейшие исследования А. А. Шахматова показали, что и в составе Начального свода имеются различные наслоения и вставки. А. А. Шахматову удалось вскрыть в основе Начального свода два еще более древних свода.

Одним из главных аргументов в пользу существования предшествующих Начальному своду летописных слоев послужил для А. А. Шахматова анализ рассказа Начального свода о крещении князя Владимира.

Начальный свод, а за ним и Повесть временных лет рассказывают под 986 г., как к Владимиру пришли представители разных вер и убеждали его принять их веру. Последним выступил греческий „философ", который произнес обширную речь (в изданиях Повести временных лет она занимает три четверти авторского листа). Он подробно изложил христианское учение, закончив тем, что показал Владимиру „запону" с изображением страшного суда. Создается впечатление, что летописец подводит читателя к ожидаемому концу — согласию Владимира креститься. Однако на вопрос „философа" о согласии креститься Владимир отвечает несколько неожиданно: „«пожду еще мало», хотя испытати о всех верах". Под следующим 987 г. рассказывается о том, как избранные Владимиром люди объезжают все страны и возвращаются с тем же заключением, что греческая вера лучшая. Но и в этом случае Владимир не крестится, а задает боярам стран-

ный вопрос о том, где ему принять крещение. На этот вопрос бояре отвечают уклончиво: „где ти любо“. Под следующим 988 г. в летописи находится рассказ о крещении Владимира в Корсуни: независимо от уговоров „философа“, Владимир принимает греческую веру только потому, что византийский император соглашается отдать ему в замужество свою сестру при единственном условии: крещении Владимира.

Создается впечатление, что в летописи слиты два рассказа: в одном из них говорилось о крещении Владимира в Киеве, в результате „испытания вер“, а в другом о крещении в Корсуни, как условии женитьбы Владимира на сестре императора, причем последний рассказ был вставлен в первый. И, действительно, следы этой вставки явственно ощутимы в летописи.

Чтобы выяснить характер и происхождение обоих рассказов, А. А. Шахматов обратился к изучению всех житий Владимира, списков церковного устава Владимира и в особенности так называемого Жития Владимира особого состава (в Плигинском сборнике). В результате А. А. Шахматов пришел к выводу, что рассказ о крещении Владимира в Корсуни существовал первоначально в виде особого произведения и что древнейшая летопись, предшествовавшая Начальному своду, рассказывала о том, что Владимир крестился в Киеве непосредственно вслед за речью „философа“ в 986 г.; поход же на Корсунь был совершен Владимиром уже христианином в 989 г. Именно такая последовательность событий и нашлась в тех кратких извлечениях из какой-то очень древней летописи, которые имеются в „Памяти и похвале князю рускому Володимеру, како крестися...“.

Определить время составления этой древней летописи, предшествовавшей Начальному своду, помогает ряд наблюдений. Среди них А. А. Шахматов приводит и такое. Под 977 г. сказано, что Олега Святославича похоронили у города Вручего (современный Овруч) и что могила его есть „и до с е г о д н е у Вручего“. Но в дальнейшем летописец рассказывает, что „кости“ Олега Святославича и его брата Ярополка Свя-

тославича были выкопаны в 1044 г. из могил и похоронены в киевской церкви Богородицы. Отсюда ясно, что летописец, писавший о том, что Олег Святославич был похоронен у Вручего, где могила его есть „и до сего дне", работал до 1044 г.

А. А. Шахматов обратил внимание на то, что обширная запись до 1044 г. относится к 1037 г.: под этим годом подробно описана строительная деятельность Ярослава и помещена пространная похвала ему; все же последующие записи 1033—1044 гг. носят характер кратких приписок. Отсюда А. А. Шахматов делает заключение, что древнейший, первый летописный свод заканчивался на 1037 г. прославлением Ярослава и его деятельности.

Однако, между первым летописным сводом 1037 г. (или 1039 г.) и Начальным сводом 1093—1095 гг. А. А. Шахматов усматривает существование еще одного свода, обстоятельства составления которого и сам составитель выяснены им почти с полною достоверностью.

Начиная с 1061 г., в тексте Начального свода появляются точные датировки текущих событий. Летописец не только указывает год того или иного исторического факта, но, кроме года, — месяц и день. Это говорит за то, что события начинают записываться вскоре после их совершения.

Замечательно однако не это, а то, что записи с точными датировками отмечают первоначально события в Киеве (1061—1063 гг.), затем подробно же сообщают о событиях в далекой Тмутаракани (1064—1066 гг.), оттуда снова переносятся на Русь (под 1067 г. отмечены события в Полоцке) и в 1068 г. уже определенно ведутся в Киеве.

Принимая во внимание, что после первого летописного свода (1037—1039 гг.) летописание прочно утвердилось в Киево-печерском монастыре, А. А. Шахматов признал, что такого рода переход летописных записей из Киева в Тмутаракань, а затем снова в Киев должен быть с несомненностью связан с единственными в своем роде событиями, происшедшими в этом монастыре. Из „Жития Феодосия", составленного в конце XI в., мы узнаем, что монах Киево-печерского мона-

стыря Никон, по прозванию „Великий“, в начале февраля того самого 1061 г., на котором обрываются точные датировки киевских событий, бежал в Тмутаракань от гнева киевского князя Изяслава. В Тмутаракани Никон принимал активное участие в политической жизни и пробыл на черноморских берегах до февраля 1066 г., т. е. как-раз те годы, в течение которых летопись точно датирует события в Тмутаракани и не знает точных дат для событий, происходивших на Руси. Затем, по поручению жителей Тмутаракани, Никон отправился в Чернигов к князю Святославу, чтобы просить у него его сына Глеба на тмутараканское княжение. Святослава Никон в Чернигове не застал и дожидался его возвращения из похода на Всеслава Полоцкого, затем, в 1068 г., водворился в Киеве.

В Киеве Никон прожил до 1073 г., когда он вновь вынужден был покинуть его и вернуться в Тмутаракань. Но летописных записей в Тмутаракани Никон уже не продолжал, очевидно, закончив свою летописную работу на этом 1073 году.

Таким образом, история древнейшего русского летописания представляется А. А. Шахматову в следующем виде.

В 1037—1039 гг. была составлена первая русская летопись: Древнейший киевский свод. С начала 60-х годов XI в. игумен Киево-печерского монастыря Никон продолжил ведение летописания и к 1073 г. составил второй летописный свод. В 1093—1095 гг. в том же Киево-печерском монастыре был составлен третий летописный свод,—условно называемый Начальным. Наконец, в начале XII в. не сразу, а в несколько приемов, была составлена дошедшая до нас Повесть временных лет (к истории ее создания мы еще вернемся).

Эту схему истории древнейшего летописания, в общем хорошо обоснованную множеством соображений, и следует принять, несмотря на то, что уже после смерти А. А. Шахматова, ему были сделаны возражения академиками В. М. Истриным и Н. К. Никольским. Возражения В. М. Истрина и Н. К. Никольского исходили из неполного числа фактов и

не принимали в расчет всей аргументации А. А. Шахматова в целом. Между тем, воссоздавая свою картину древнейшего русского летописания, А. А. Шахматов пользовался всеми сохранившимися списками русских летописей, согласовывал свои положения со всей историей русского летописания в целом, с которой она и оказалась самым тесным образом связана.

Но А. А. Шахматов не останавливался на выяснении главнейших факторов истории начального русского летописания. Он стремился к восстановлению самого текста каждого из перечисленных выше сводов. В „Разысканиях о древнейших русских летописных сводах" (1908 г.) А. А. Шахматов дал восстановленный им текст древнейшего свода в редакции 1073 г., — т. е. текст свода Никона 1073 г., с выделением в нем при помощи особого шрифта тех частей, которые вошли в него из Древнейшего свода 1037—1039 гг. В более позднем своем труде „Повесть временных лет" (том I, 1916 г.) А. А. Шахматов дал текст Повести временных лет, в котором крупным шрифтом выделил те части ее, которые восходят к Начальному своду 1093—1095 гг.

Необходимо отметить, что в своей чрезвычайно смелой попытке наглядно представить всю историю русского летописания, восстановить давно утраченные тексты, А. А. Шахматов сталкивался с целым рядом вопросов, для решения которых не могло быть подыскано достаточного материала. Поэтому в этой последней части работы А. А. Шахматова — там, где он поневоле должен был решать все вопросы — даже и те, на которые было почти невозможно ответить, — выводы его носили только предположительный и недостаточно обоснованный характер.

Поэтому в дальнейшем, принимая в целом предложенную А. А. Шахматовым схему развития русского летописания, мы будем вынуждены отступать от некоторых из его выводов. В особенности это коснется предложенной А. А. Шахматовым картины составления Древнейшего русского летописного свода при Ярославе Мудром.

Следуя А. А. Шахматову, мы должны были бы предположить, что уже первая русская летопись соединила в себе все особенности русского летописания: манеру составлять новые записи по годам, особенности языка, широкое привлечение фольклорных данных для восстановления русской истории, наконец, самое понимание русской истории, ее основных вех и т. д.

Само собой разумеется, что такое начало летописания мало вероятно. На самом деле, как мы увидим ниже, летопись, ее форма и ее идейное содержание росли постепенно, меняясь под влиянием идей и направлений своего времени.

Глава 4

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕТОПИСАНИЯ

Русское летописание возникло не стихийно и не случайно. Чтобы понять это, следует присмотреться к целому кругу явлений, среди которых, как одно из звеньев, возникла летопись.

1

Принятие христианства Русью имело обоюдоострый характер. С одной стороны, оно приносило вновь обращенному народу высокую византийскую культуру, поднимало через церковь гражданские власти Руси до уровня византийской государственности, что являлось живой необходимостью для молодого феодализирующегося государства. С другой же стороны, принятие христианства угрожало политической самостоятельности Руси, грозило превратить Русскую землю в провинцию Империи. И эта опасность была во время осознана русскими князьями.

До самого падения Константинополя императорская власть представлялась в Византии властью всемирною и исключительною. Несмотря на несоответствие этих претензий реальному положению дел, греческие политические деятели не до-

пускали возможности существования рядом с византийским императором равных ему по силе и независимых от него властителей. Только император ромеев[1] мог быть единственным главою всех христиан, и в глазах византийцев эта теория освящалась доводами богословия.

В словах апостола Петра „бога бойтесь, — царя чтите" греки видели указание, что во вселенной должен и может существовать лишь один царь, власть которого была как бы тем самым освящена церковью. Иоанн Киннама с изумлением и негодованием говорит о домогательствах Фридрихом I Барбароссой титула императора.[2]

Притязания византийских императоров распространить свою власть на всю вселенную основывались на воззрении, что император является не только главою государства, но и главою церкви, а константинопольский патриарх является лишь его ближайшим помощником в сфере церковного управления.

В силу этого все органы церковного управления Империи были проникнуты идеей всемирного верховенства императора. До самого падения Константинополя Византия постоянно пыталась привести варварские народы к признанию того, что все христиане являются одновременно и подданными императора.

Во времена Комнинов Римская империя понималась как „страна, где живут христиане". Христиане же тем самым становились в свою очередь подданными Империи, где бы они ни проживали. Римские законы были для них обязательны, и отрицавшие это считались по меньшей мере схизматиками.

Патриарх Марк Александрийский спрашивал в письме к патриарху Феодору Вальсамону: „не подлежим ли мы, александрийцы, о с у ж д е н и ю за то, что в нашей стране нет шестидесяти книг Василик и по отношению к ним мы поэтому находимся в полнейшей темноте". Неимение последнего свода гражданских законов кажется Марку церковным преступлением. Ответ патриарха Феодора Вальсамона не менее ха-

---

[1] Греки Византийской империи называли себя римлянами — „ромеями".
[2] См. его Historia, V, 7: M i g n e, SGr., 133 col., 569—581.

рактерен. Он спешит извинить невольное преступление христиан-иноземцев, найти ему снисходительное оправдание, но самый факт церковной преступности, незнания римских гражданских законов признается им безусловно: „Все гордящиеся христианством, живут ли они на Востоке, или в Александрии, или где бы то ни было, носят имя римлян и обязаны жить по законам (римским). Но они не связаны законом, который гласит, что для римлян неизвинительно незнание законов. Ибо только живущие в Риме, т. е. в столице, богатой многочисленными знатоками законов, связываются законами, как оковами. Ибо для них, кто бы они ни были, было бы неизвинительно ссылаться на незнание законов, так как они могли узнать содержание законов от своих соседей. Живущие же вне Рима, т. е. сельчане и другие, а тем более александрийцы, не знающие законов, получают снисхождение“.[1]

Отсюда ясно, почему при распространении христианства среди таких народов, где не было византийской гражданской организации, церковь становилась основным проводником византийских гражданских законов. Церковная организация стремилась заменить отсутствующее у варваров византийское государственное управление. Обязательность для всех христиан, где бы они ни жили, римских законов ставила, таким образом, все новообращенные народы в политическую зависимость от Империи. Среди этих-то новообращенных народов, а также на территориях, занятых у Византии „варварами“, церковный строй призван был заменить собою недостающую византийскую государственную организацию. Вот почему Империя особенно дорожила на таких территориях епископами и митрополитами из греков. Эти ставленники византийской церкви были, вместе с тем, и проводниками императорской политики.

На обязанности духовенства в новообращенной стране лежало ознакомить варварский народ с римским правом и рим-

---

[1] Пл. Соколов. „Русский архиерей из Византии“, Киев, 1913, стр. 12—13.

ской культурой. Поэтому-то принятие христианства „варварским“ народом — Русью вело к приобщению его к новой европейской культуре Империи, но вместе с тем навязывало ему церковную организацию во главе с митрополитом или епископом — греком, становившимся фактически чиновником Империи, на котором держалась связь новообращенного народа с императором и на которого возлагалась задача постепенного введения новых „ромеев“ в состав Империи.

Осложняющим обстоятельством для Византии являлось наличие на Руси своей государственной организации. Епископ или митрополит-грек волей-неволей обязан был делить свою власть с местным князем. Самые принципы христианского римского права Византии требовали признания власти князя и в гражданском и, в какой-то мере, в церковном отношении. Поэтому Империя была особенно озабочена отношениями митрополита к князю на Руси, неустанно поддерживала авторитет митрополита, стремясь сделать его фактическим руководителем князя. Самого князя Империя стремилась ввести в состав византийской чиновничьей иерархии, а Русскую землю сделать провинцией Византии под управлением посылаемых из Византии митрополитов. И несмотря на то, что все христиане в равной мере официально признавались греками за ромеев, в Византии стремились все же вопреки теории, но последовательно в практическом отношении, назначать русского митрополита из ромеев-греков, а не из ромеев-русских.

2

Вот почему в годы могущественного княжения Ярослава Мудрого между молодым Русским государством и Византией завязывается острая борьба. Русский князь блестяще парирует все попытки Константинополя лишить русских церковной самостоятельности и превратить русскую церковь в агентуру Империи. Ярославу удается высоко поднять международный авторитет Руси и на основе общего подъема народного самосознания в первой половине XI в. заложить прочные основа-

ния русской политической и церковной самостоятельности, русской книжности, русского летописания, русской архитектуры и изобразительного искусства.

Византийский писатель Михаил Пселл писал про русских, имея в виду военное столкновение Руси и Империи в 1043 г.: „Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть против греческой гегемонии; при каждом удобном случае изобретая то или другое обвинение, они создавали из него предлог для войны с нами".[1]

Говоря о „яростной и бешеной ненависти" русских, Пселл, главным образом, считается с фактом постоянных попыток русских добиться признания независимости русской церкви и стать в независимое положение от Империи. Он ставит в связь эту ненависть русских к византийской гегемонии с походом Владимира Ярославича на Константинополь, закончившимся страшным поражением русских, во время которого с ними было поступлено как с бунтовщиками: пленные русские были ослеплены.[2]

Поход Владимира Ярославича на Константинополь был кульминационным пунктом борьбы Руси в эпоху княжения Ярослава за свою культурную, гражданскую и церковную самостоятельность. Неуспех похода Владимира Ярославича не сломил волю русских. Военное розмириē с Константинополем было только внешним и наиболее резким выражением той борьбы, которую вел вновь обращенный русский народ со своими крестителями. Эта борьба за свою самостоятельность захватывала все области духовной культуры Киевского государства; печатью этой борьбы отмечены и литературные произведения этой поры, и летопись, и бурное архитектурное строительство, и изобразительное искусство княжения Ярослава. Она совпала с высоким подъемом политического само-

---

1 В. Г. Васильевский. „Труды", т. I, стр. 304.

2 Аналогично смотрел на болгар Василий Болгаробойца, отказывавшийся видеть в них воюющую сторону и тысячами ослеплявший пленных болгар, как бунтовщиков.

сознания русского народа. Теоретическим основам императорской гегемонии, средневековым притязаниям на универсальность гражданской и церковной власти русские противопоставили свои идеалы равноправности народов, резко отличные от государственных идеалов Запада и Византии.

В 1037 г. Ярослав Мудрый добился учреждения в Киеве особой митрополии константинопольского патриархата. Назначение особого митрополита для молодого Киевского государства было немалым успехом Ярослава, поднимавшим международный престиж Русской земли.

Давая разрешение на установление отдельной Киевской митрополии, греки все же надеялись, что новый митрополит, избираемый императором не из русских, а из угодных ему греков, станет надежным агентом Византийской империи и будет проводить политику полного подчинения Руси императору. В свою очередь, Ярослав рассматривал назначение особого киевского митрополита как успех своей политики и рассчитывал добиться впоследствии полного признания независимости русской церкви от Константинополя.[1]

Торжество русской политики, первый крупный политический успех в отношениях с Империей и свои надежды на жизненно-крепкое будущее Руси Ярослав подкрепил богатым строительством: „В лето 6545. Заложи Ярослав город великый, у него же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, митрополью; и по семь цьркъвь на Золотых воротех святое Богородице Благовещенье, по семь святаго Георгия манастырь и святыя Ирины".[2] Ярослав смотрел на назначение киевского митрополита только как на первый успех своей политики, это доказывается тем, что сразу же после 1037 г. Ярослав продолжал свои домогательства в Константинополе, добиваясь расширения прав русской

---

[1] Мы не останавливаемся на спорной проблеме Охридского архиепископата, в данном случае для нас несущественной. См. об этом: М. Д. Приселков. „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.", СПб., 1913, стр. 33 след.

[2] Лаврентьевск. лет., 1037 г.

митрополии и постепенного освобождения ее из-под опеки константинопольского патриарха и византийского императора. Для этого Ярослав стремится к канонизации ряда русских святых. Цель этих домогательств Ярослава понятна: канонизация русских святых усиливала позиции русской церковной самостоятельности. Она должна была свидетельствовать о том, что русская церковь вышла из младенческого состояния, обладает собственными святынями и не нуждается в пристальной опеке Византии.

Ярослав упорно настаивает на признании святыми княгини Ольги, варягов-христиан (отца и сына), убитых язычниками в Киеве при Владимире, и своих братьев Бориса и Глеба. Канонизация Ольги и варягов-мучеников была решительно отклонена Византией, но настойчивость Ярослава в отношении Бориса и Глеба сломила упорство императора. Ярославу удалось добиться канонизации своих братьев князей Бориса и Глеба и тем самым увенчать ореолом святости и свою собственную княжескую власть.

Установление почитания первых русских святых явилось торжеством национальной политики Ярослава и приобрело формы национального культа. Память Бориса и Глеба праздновалась с необычайною торжественностью шесть раз в году. День 24 июля — главный из этих празднеств — причислялся к великим годовым праздникам.[1]

Жития Бориса и Глеба были составлены в наиболее своеобразной, отличной от обычной византийской форме, а самое почитание их, как это мы увидим ниже, связалось с идеями необходимости национального единения и прекращения братоубийственных раздоров князей. Даже многочисленные церкви, воздвигавшиеся Борису и Глебу, строились в наиболее национальных, русских архитектурных формах.[2]

[1] „...праздник Бориса и Глеба, яже есть праздник новый Русьския земли“ (Лаврентьевск. лет., 1093 г.).

[2] См. об этом: Н. Н. Воронин. „У истоков русского национального зодчества“, Архитектура СССР, 1944, № 5, стр. 35.

Почитание Бориса и Глеба быстро перешагнуло русские пределы. В самой Византии был принят этот культ: в константинопольской Софии была поставлена икона Бориса и Глеба; в Испигасе была построена им церковь.[1] Сохранился армянский пролог о Борисе и Глебе, очевидно переводный с греческого.[2] Наконец, культ Бориса и Глеба был установлен и в Чехии: в Созавском монастыре был построен в их честь придел.

3

Политические идеи Ярослава получили наиболее яркое воплощение в „Слове о законе и благодати" пресвитера загородной дворцовой церкви Ярослава в Берестове — Илариона, ставшего затем первым киевским митрополитом из русских.

Тема „Слова" — тема равноправности народов, резко противостоящая широко распространенным в средневековье теориям вселенской империи или вселенской церкви (теориям всемирной власти императора „Священной римской империи", византийского императора или папы). Иларион указывает, что евангелием и крещением бог — „все народы спас",[3] прославляет русский народ среди народов всего мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на вселенское господство Нового Рима — Византии.

Идеи эти изложены в „Слове" с пластической ясностью и конструктивной цельностью. Точность и ясность замысла отчетливо отразились в самом названии „Слова": „О законе Моисеом данеем, и о благодати и истинне Иисус Христомь бывшим, и како закон отъиде, благодать [же] и истина всю землю исполни и вера в вся языки простреся и до нашего языка [народа] русьскаго, и похвала кагану нашему Владимеру,

---

[1] „Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII в.", с пред. и прим. П. Савваитова, СПб., 1872, стр. 79 и 159.

[2] В. Н. Бенешевич. „Армянский пролог о св. Борисе и Глебе", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1909, I.

[3] „Памятники древне-русской церковно-учительной литературы" под ред. А. М. Пономарева, вып. 1, СПб., 1894, стр. 59.

от негоже крещени быхом (и молитва к богу от всеа земли нашеа)".[1]

Трехчастная композиция „Слова", подчеркнутая в названии, позволяет органически развить основую тему „Слова" — прославление Русской земли, ее „кагана" Владимира и князя Ярослава. Каждая часть легко вытекает из предшествующей, постепенно сужая тему, переходя от общего к частному, от общих вопросов мироздания к частным его проявлениям, от универсального к национальному, к судьбам русского народа. Основной пафос „Слова" лежит в систематизации, в приведении в иерархическую цепь фактов вселенской истории в духе средневековой схематизации.

Первая часть произведения касается основного вопроса исторических воззрений средневековья: вопроса взаимоотношения двух заветов — Ветхого и Нового, — „закона" и „благодати". Взаимоотношение это рассматривается Иларионом в обычных символических схемах христианского богословия, в последовательно проведенном символическом параллелизме. Символические схемы этой части традиционны. Ряд образов заимствован в ней из византийской богословской литературы. В частности, неоднократно указывалось на влияние „Слова" Ефрема Сирина на Преображение.[2] Однако самый подбор этих традиционных символических противопоставлений оригинален. Иларион создает собственную патриотическую концепцию всемирной истории. Он нигде не упускает из виду основной своей цели: перейти затем к прославлению Русской земли и ее „просветителя" Владимира. Иларион настойчиво выдвигает вселенский, универсальный характер христианства, Нового Завета, „благодати", сравнительно с национальной ограниченностью Ветхого Завета, „закона". Подзаконное состояние при Ветхом Завете сопровождалось рабством, а „благодать", Новый Завет — свободой. „Закон" сопоставляется с тенью,

[1] Там же.

[2] С. П. Шевырев. „История русской словесности", ч. 2, изд. 2, М., 1860, стр. 26.

светом луны, ночным холодом — благодать с солнечным сиянием, с теплотой. Взаимоотношение людей с богом раньше в эпоху Ветхого Завета устанавливалось началом рабства, несвободного подчинения — „закона“, в эпоху же Нового Завета — началом свободы — „благодати“. Время Ветхого Завета символизирует образ рабыни Агари, время Нового Завета — свободной Сарры.

Особенное значение в этом противопоставлении Нового Завета — Старому Иларион придает моменту национальному. Ветхий Завет имел временное и ограниченное значение, Новый же Завет вводит всех людей в вечность. Ветхий Завет был замкнут в одном народе, а Новый имеет всемирное распространение. Иларион приводит многочисленные доказательства того, что время замкнутости религии в одном народе прошло, что наступило время свободного приобщения к христианству всех народов без исключения; все народы равны в своем общении с богом. Христианство как вода морская покрыло всю землю[1] и ни один народ не может хвалиться своими преимуществами в делах религии. Всемирная история представляется Илариону как постепенное расширение христианства на все народы мира, в том числе и на русский. Развивая эту свою мысль, Иларион явно полемизировал с идеями византинизма, противопоставляя им новое учение, резко расходившееся с притязаниями средневековья на универсализм светской и церковной власти. Излагая эту идею, Иларион прибегает к многочисленным параллелям из библии и упорно подчеркивает, что для новой веры потребны новые люди. „Лепо бо бе благодати и истине на новыя люди въсияти, не вливают бо — по словеси господню — вина новаго — учения благодатна в мехы ветхы... но новое учение, новы мехы, новы языкы [народы], новое и съблюдеться, якоже и есть“.[2]

По мнению исследователя „Слова“, И. Н. Жданова, митрополит Иларион привлекает образы иудейства, Ветхого Завета

[1] „Памятники...“, стр. 63.

[2] Там же, стр. 67.

только для того, чтобы „раскрыть посредством этих образов свою основную мысль о призвании язычников: для нового вина нужны новые мехи, для нового учения нужны новые народы, к числу которых принадлежит и народ русский“.[1] Сама по себе эта мысль была явно направлена против идеалов византинизма. Поэтому во многих из укоров Ветхому Завету можно видеть прямые укоры Византии, стороннице не свободного, а рабского наделения христианством.

Прямою угрозою по адресу Константинополя звучали напоминания Илариона о конечном разорении Иерусалима за стремление замкнуть в себе дело религии.[2]

Итак, подчеркивая и настойчиво варьируя свою мысль о преимуществах новых народов перед старыми, о награждении меньших перед большими, о разрушении Иерусалима за ограничение божественного откровения, Иларион явным образом имел в виду греко-русские отношения своего времени. „Слово“ родилось в обстановке подготовки военного похода на Константинополь Владимира Ярославича,[3] в обстановке противодействия греков канонизации Владимира.[4] „В судьбах новых народов «сбывается», что в символических образах представлено в истории ветхозаветной, — писал о „Слове“ акад. И. Н. Жданов. — Нужно только уметь понимать эти образы: «да разумеет, иже чтеть»“.[5]

Подчеркнув значение новых народов в истории христианского учения, Иларион свободно и логично переходит затем ко второй части своего „Слова“, сужая свою тему, — к описанию распространения христианства по Русской земле: „вера бо благодатная по всей земли распростресе и до нашего языка

---

[1] И. Н. Жданов. Сочинения, т. I, стр. 80.

[2] Памятники..., стр. 66.

[3] Общее оптимистическое, жизнерадостное содержание „Слова“, настроение торжества, повидимому, свидетельствует о том, что „Слово“ возникло до похода Владимира Ярославича 1043 г.

[4] См. об этом: М. Д. Приселков. „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.“, СПб., 1913, стр. 66 и след.

[5] И. Н. Жданов. Сочинения, т. I, 1904, стр. 19.

руськаго доиде... Се бо уже и мы съ всеми христианы славим святую Троицу..."[1] Русь равноправна со всеми странами и не нуждается ни в чьей опеке: „вся страны благий бог помилова, и нас не презре, въсхоте и спасе ны и в разум истиный приведе..."[2] Воззрения русских, подчеркивает Иларион, диаметрально противоположны национально-исключительным воззрениям греков: „а не июдейскы хулим, но хрестьянски благословим, не съвета творим, якоже распяти, но яко распятому поклонитися".[3]

Русскому народу принадлежит будущее, принадлежит великая историческая миссия. Патриотический и полемический пафос „Слова" растет по мере того, как Иларион описывает успехи христианства среди русских. Словами Писания Иларион приглашает всех людей, все народы хвалить бога. Пусть чтут бога все люди и возвеселятся все народы, все народы восплещите руками богу. Патриотическое воодушевление Илариона достигает высшей степени напряжения в третьей части „Слова", посвященной прославлению Владимира I Святославича. Если первая часть „Слова" говорила о вселенском характере христианства, а вторая часть — о русском христианстве, то третья часть предназначена для похвалы князю Владимиру. Органическим переходом от второй части к третьей служило изложение средневековой богословской идеи, что каждая из стран мира имела своим просветителем одного из апостолов.[4] Есть и Руси кого хвалить, кого признавать своим просветителем. Русская земля и до Владимира была славна в странах, в ней и до Владимира были замечательные князья. Владимир — „внук стараго Игоря, сына же славнаго Святослава".[5] Оба эти князя „в своя лета владычествующа, мужьством же и храбрьством прослуша [прославились] в странах многих и

---

[1] „Памятники...", стр. 67.

[2] Там же, стр. 67.

[3] Там же, стр. 68 (исправляю в тексте опечатки издания. — *Д. Л.*).

[4] Там же, стр. 69.

[5] Там же, стр. 70.

поминаются ныне и словут [славятся]".[1] Иларион высоко ставит авторитет Русской земли среди стран мира. Русские князья и до Владимира „не в худе бо и не в неведоме земли владычествоваша, но в руской, яже ведома и слышима есть всеми конци земля".[2] Владимир — это только „славный от славных", „благородный от благородных".[3] Иларион описывает далее военные заслуги Владимира, силу и могущество русских князей, славу русской земли. „Единодержавство" Владимира и его военные успехи Иларион описывает с нарочитою целью — показать, что принятие христианства могущественным Владимиром не было вынужденным, что оно было результатом свободного выбора Владимира. Описав абстрактными чертами добровольное, свободное крещение Владимира, отметая всякие возможные предположения о просветительной роли греков, Иларион переходит затем к крещению Руси, приписывая его выполнение исключительной заслуге Владимира, совершившего его без участия греков.[4] Подчеркивая, что крещение Руси было личным делом одного только князя Владимира, так как это позволяло ему соединение в нем „благовериа с властью", Иларион явно полемизирует с точкой зрения греков, приписывавших себе инициативу крещения „варварского" народа.

Затем Иларион переходит к описанию личных качеств Владимира и его заслуг, очевидным образом имея в виду указать на необходимость канонизации Владимира, против которой возражали греки. Довод за доводом приводит Иларион в пользу святости Владимира.

Сопоставление дела Владимира для Руси с делом Константина для ромеев-греков тенденциозно направлено против греческих возражений канонизации Владимира: равное дело требует равного почитания.[5] Нетерпимое и обидное для греков-

---

[1] Там же.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 71.
[5] Там же, стр. 73.

ромеев сопоставление Владимира с Константином Иларион развивает особенно пространно, а затем указывает на продолжателя дела Владимира — на его сына Ярослава, перечисляет его заслуги, его строительство. Патриотический пафос этой третьей части, прославляющей Владимира, еще выше, чем патриотический пафос второй. Он достигает сильнейшей степени напряжения, когда, пространно описав просветительство Владимира, новую Русь и „славный град" Киев, Иларион обращается к Владимиру с призывом восстать из гроба и посмотреть на плоды своего подвига.

За третьею, заключительною частью „Слова" следовала молитва к Владимиру, пронизанная тем же патриотическим подъемом, патриотическою мыслью. „И донелиже стоит мир, — обращался Иларион в ней к богу, — не наводи на ны [т. е. на русских] напасти искушениа, ни предай нас в руки чуждих [т. е. врагов], да не прозовется град твой [т. е. Киев], град пленен, и стадо твое [т. е. русские] пришельцы в земли не своей...".[1]

Итак, истинная цель „Слова" Илариона не в догматико-богословском противопоставлении Ветхого и Нового Заветов, как думали некоторые его исследователи.[2] Иларион прославляет Русь и ее „просветителя" Владимира.

Византийской теории Вселенской церкви и Вселенской империи Иларион противопоставил свое учение о равноправности всех народов, свою теорию всемирной истории, как постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства.

Широкий универсализм характерен для произведения Илариона. История Руси и ее крещение изображены Иларионом как логическое следствие развития мировых событий. Чем больше сужает Иларион свою тему, постепенно переходя от

---

[1] Там же, стр. 78.

[2] Первоначально считали, что „Слово" было направлено против иудейского учения. Мнение это опроверг И. Н. Жданов (1872 г.): Сочинения, т. I, стр. 1—80.

общего к частному, тем выше становится его патриотическое одушевление.

Таким образом, все „Слово" Илариона от начала до конца представляет собой стройное и органическое развитие единой патриотической мысли. Впоследствии своим принятием сана митрополита без санкции Константинополя, единственно по выбору русских епископов, Иларион практически выступил против гегемонии Византии, на деле доказывая, что русская церковь — церковь свободы, а не рабства, а Киев равноправен Константинополю.

Подъем национального самосознания времени Ярослава Мудрого имел огромное значение для возникновения летописания. Русская летопись родилась в той же атмосфере борьбы за свою культурную и политическую самостоятельность, которая пронизывала собою всю эпоху Ярослава. Летопись была также в основном направлена против византийских притязаний и защищала идею равноправия народов.

„Летопись — это один из самых ярких показателей высоты древнерусской культуры, — пишет академик Б. Д. Греков. — Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов,

Глава 5

ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

Политические идеи эпохи Ярослава Мудрого вызвали к жизни интерес к русскому прошлому. Именно в это время, в обстановке патриотического подъема первой половины XI в. закладывается основание русской летописи, ее высокой идейности и ее своеобразной литературной формы.

Само по себе возникновение летописания, вызванное желанием иметь историю своего государства, говорит о высоком уровне политического самосознания русского народа в начале XI в.

„Летопись — это один из самых ярких показателей высоты древнерусской культуры, — пишет академик Б. Д. Греков. — Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов,

которые вместе с русским народом были объединены в одно Киевское русское государство".[1]

1

Происхождение русского летописания и самый характер его очень долгое время принято было связывать с влиянием византийских хроник. Мысль эта естественно вытекала из того общего представления о культуре древней Руси, в особенности ее начального периода, которое выводило всю древнюю русскую культуру из Византии — архитектуру, живопись, прикладное искусство и письменность.

Эта точка зрения на русскую летопись была выдвинута еще в конце XVIII в. первым крупным исследователем русского летописания Авг. Шлецером: „весь временник Нестора, — писал Шлецер, — сделан на покрой византийский"; целые места внесены в его творение „слово в слово" из хроник Кедрина, Скилиция, Ксифилина, Зонары.[2]

Точка зрения эта, без критического исследования, легко вошла в науку о русском летописании, поскольку анализ летописи, как памятника литературного, в сущности, почти не производился.

„Некоторым исследователям, — писал И. И. Срезневский, — кажется несомненным, что первые образцы летописей, в подражание которых стали у нас составлять русские летописи, явились к нам из Греции, что древнейшие из наших летописей были сколки с летописей византийских. Многие обстоятельства подтверждают это мнение, повидимому, неопровержимо".[3]

---

[1] Акад. Б. Д. Греков. „Развитие исторических наук в СССР за 25 лет", Под знаменем марксизма, 1942, № 11—12, стр. 121.

[2] А. Шлецер. „Нестор", I, стр. ѕ҃і, н҃і и др. Ср. об этом у М. Н. Сухомлинова: „О древней русской летописи, как памятнике литературном", Ученые записки II отделения Акад. Наук, кн. III, СПб., 1856, стр. 27 и след.

[3] И. И. Срезневский. „Чтения о древне-русских летописях", Приложение к тому II Записок Академии Наук, СПб., 1862, стр. 9 и след.

Впервые обоснование этому предвзятому положению было дано исследованиями В. М. Истрина, в которых мысль эта была тесно увязана с общей его концепцией о начале русского летописания,[1] а затем в работах М. Д. Приселкова.

Развивая излюбленную им точку зрения на зависимость русского летописания от византийских исторических схем, М. Д. Приселков в сущности поддерживал ту же теорию византийского происхождения древней русской культуры. М. Д. Приселков считал, что составление первого летописного свода 1039 г. принадлежало исключительно инициативе киевского митрополита-грека Феопемпта, который „вступив в управление новой митрополии цареградского патриархата, задался целью составить летописец, где изложить возникновение Киевской державы и историю установления своей митрополии".[2]

В другом месте М. Д. Приселков высказался еще более определенно: „... обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому случаю з а п и с к у и с т о р и ч е с к о г о х а р а к т е р а (разрядка моя.— *Д. Л.*) о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому «русскому» митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и «игемонию» Империи,— должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования".[3]

---

[1] См.: В. М. И с т р и н. „Очерк истории древнерусской литературы", П., 1922, стр. 142—145; о н ж е. „Замечания о начале русского летописания", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXVII, 1924, стр. 78—79.

[2] М. Д. П р и с е л к о в. „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.", СПб., 1913, стр. 82.

[3] М. Д. П р и с е л к о в. „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 26; аналогичное высказывание у А. А. Ш а х м а т о в а в его „Разысканиях о древнейших русских летописных сводах", СПб., 1908, стр. 416—417.

Доказать это положение М. Д. Приселков смог бы только в том случае, если бы показал, что и форма, и содержание древнейшего русского летописного свода находятся в полном соответствии с формой и содержанием подобных „исторических записок“ или даже византийских хроник. Между тем, совершенно ясно, что даже самый выбор языка — русского, а не греческого — находится в полном противоречии с утверждением М. Д. Приселкова.

Возражая сторонникам византийского происхождения формы русского летописания, акад. Н. К. Никольский авторитетно утверждает, что характер, тип русских летописей не может быть возведен к византийским хроникам: „Вопреки установившемуся мнению о начале русского летописания, образцами для утраченных «повестей» о поляно-руси не могли послужить греческие хроники. Несмотря на присутствие во вводных статьях отрывков (вставок) из греческой письменности,[1] ни по своему содержанию, ни по своей конструктивной форме, ни по подробностям излагаемых эпизодов и основной тенденции, начальная часть нашей летописи не примыкает к памятникам византийской хронографии, среди которой до сих пор не открыто ни одного произведения, которое могло бы быть признано литературным прототипом не только для вводных статей, но и их продолжения“.[2]

Отвечая на вопрос о том, откуда же явились идейные и внешние особенности русского летописания, Н. К. Никольский заменил византийскую теорию — теорией зависимости историографической схемы начальной русской летописи от предполагаемой западно-славянской хронографии.[3] Мнение Н. К.

---

[1] А. А. Шахматов. „Повесть временных лет“, т. I, стр. XXIII и др.; В. М. Истрин. „Замечания о начале русского летописания“, Изв. Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXVII, стр. 68, 74 и др. [примеч. Н. К. Никольского].

[2] Н. К. Никольский. „Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры“, вып. I, Л., 1930, стр. 45; см. также стр. 46 и след.

[3] Там же, стр. 47 и след.

Никольского в общем не встретило сочувствия. Предложенная им теория оказалась еще менее убедительной, чем теория византийской зависимости.

Забегая несколько вперед, скажем, что разгадка этого вопроса окажется близкой и разрешимой, если мы откажемся от предвзятого мнения о том, что форма летописи создалась одновременно, сразу — под влиянием чужих образцов или по личному изобретательству первого летописца.

Всмотревшись в состав Повести временных лет, мы убедимся, что жанр русских летописных статей создался далеко не сразу, исходил из готовых образцов, но затем под влиянием требований русской жизни изменился и приобрел, наконец, ту характерную форму и те характерные особенности, которые составляют отличие русской хронографии и от византийской, и от западно-европейской.

В том, что русские летописи приобрели свой типичный облик постепенно и под влиянием властных требований самой русской жизни, лежит объяснение и их народного, глубоко национального характера.

2

Основной недостаток реконструируемого А. А. Шахматовым начального летописания заключается в том, что воссозданный им Древнейший летописный свод 1037—1039 гг. отличается не большей цельностью, чем и сама Повесть временных лет.

В самом деле, вставки, переделки, дополнения, соединения разнородного идейно и стилистически материала характеризуют и Древнейший летописный свод так, как он восстанавливается А. А. Шахматовым.

Легко обнаруживаются в нем два слоя: с одной стороны, церковные сказания о первых русских христианах, а с другой — народные предания о первых русских князьях-язычниках.

Оба эти слоя явно не могли принадлежать одному автору: они различаются и идейно, и стилистически. В церковных

сказаниях проводится та точка зрения, что русская история началась только с проникновением на Русь христианства, что христианство несомненно выше язычества, что язычники — „невегласы“ и т. д. В тех же частях летописи, которые составлены на основании устных преданий, говорится о диаметрально противоположном: „невегласы“ оказываются и „мудры“, и „смыслены“. О мудрости-хитрости русских князей-язычников — Вещего Олега, Игоря, язычницы Ольги — и повествуют главным образом эти народные предания.

Если отделить друг от друга эти два слоя, то сразу заметим, что церковные сказания составляют как бы одно целое, представляют собою законченное повествование о начале христианства на Руси, а слой устных преданий лишь прикреплен к ним и не может составлять самостоятельного произведения. Отсюда-то и заключаем, что повествование о начале христианства на Руси древнее прикрепляемых к ним устных преданий.

Обратим внимание на шесть различных произведений, объединяемых единством темы — прославления христианства на Руси — и единством стиля. Это — сказания о крещении и кончине Ольги, сказание о первых русских мучениках — варягах-христианах, сказание о крещении Руси (включая речь „философа“ и похвалу Владимиру), сказание о князьях Борисе и Глебе и обширная похвала Ярославу Мудрому под 1037 г.

Сказание о крещении Ольги легко отделяется от привнесенных в него народных преданий. Народные элементы проглядывают в отношении Ольги к греческому царю (известный летописный рассказ о том, как Ольга обманула его в самый момент крещения), церковные — в отношении ее к патриарху.[1] Те же два слоя выделяются и в сказании о кончине Ольги.[2]

Остальные из перечисленных нами сказаний выделяются легко, и их обособленность в летописном тексте не нуждается

---

[1] Народные элементы выделены А. А. Шахматовым: „Разыскания о древнейших русских летописных сводах“, СПб., 1908, стр. 113.

[2] См. там же, стр. 114 и след.

в особых доказательствах. Но вот что важно: все шесть произведений обнаруживают свою принадлежность одной руке: несмотря на то, что все они перебиты многочисленными позднейшими вставками и частично сокращены — они обнаруживают теснейшую взаимосвязь между собою: композиционную, стилистическую и идейную.

Так, например, в тесной связи с рассказом о крещении Ольги находится рассказ о ее кончине. Вопрос этот уже рассматривался А. А. Шахматовым, признавшим, что и рассказ о крещении Ольги, и рассказ о ее кончине восходят к единому внелетописному произведению, отразившемуся также и в статье Пролога под 11 июля, связно рассказывавшему об обоих событиях.[1]

Взаимною близостью отличаются также сказание о крещении Ольги и сказание о крещении Руси. Так, например, похвала Ольге схожа и стилистически, и по существу с похвалою Владимиру.[2] Сравнение Ольги с царицой Еленой поддерживается сравнением Владимира с Константином. Перед нами единая мысль, проведенная в обоих сказаниях: дело Ольги и Владимира для Руси то же, что дело „равноапостольных" Елены и Константина для Византии.

Сказание об Ольге постоянно имеет в виду будущее крещение Руси. Ольга молится о том, чтобы земля Русская была просвещена крещением;[3] вся ее деятельность с точки зрения автора была предвестием будущего крещения Руси. С другой стороны, и летописное сказание о крещении Руси

---

[1] См.: А. А. Шахматов. „Разыскания...", стр. 115 и 116.

[2] В похвале Владимиру: „схраниша тело его с плачемь, б л а ж е н а г о к н я з я" и дальше „се есть новый Костянтин великого Рима" (Лаврентьевск. лет., 1015 г.); а в рассказе об Ольге: „сей похорони б л а ж е н у ю Ольгу. Си бысть предътекущия крестьяньстей земли, акы деньница пред солнцемь" (Лаврентьевск. лет., 969 г.). В похвале Владимиру: „сего бо память держать Русьстии людье, поминающе святое крещенье, и прославляють бога" (Лаврентьевск. лет., 1015 г.); а в похвале Ольге: „сию бо хвалят Рустие сынове аки начальницю... Се бо вси человеци прославляють [бога], видяще [ю] лежащю в теле на многа лета" (Лаврентьевск. лет., 969 г.).

[3] См. Лаврентьевск. лет., 955 г.

постоянно ссылается на княгиню Ольгу, как на первую русскую христианку, хотя фактически она была далеко не первой.[1] Пример Ольги, принявшей христианство, служит для Владимира таким же стимулом к крещению, как для киевлян пример самого Владимира. Таким образом, и в рассказе об Ольге, и в рассказе о Владимире лежит общая мысль: они взаимосвязаны и стилистически едины.

В тесной связи со сказанием о крещении Руси находится и сказание о первых мучениках-варягах. Оба они называют язычников-русских редким термином „невегласы", оба они одинаково изображают сетования побежденного христианством дьявола; тесное сходство намечается и в рассуждениях варяга-христианина и немцев-проповедников об истинном боге и идолах.[2]

Все шесть сказаний о первоначальном русском христианстве пронизывает единая терминология, только в этих сказаниях и встречающаяся. Таков, например, термин, „новые люди", применяемый в отношении русских христиан. Термин этот употребляется в речи „философа", в прославлении крещения Руси, в изображении крещения, при свершении Десятинной церкви, в похвале Владимиру, в сказании Борису и Глебу, в похвале Ярославу Мудрому[3] и нигде больше.

Таким образом, перед нами единое произведение: все шесть сказаний не только написаны в единой стилистической манере, посвящены единой цели прославления деятельности первых русских христиан, но связаны между собою единою мыслью о постепенном торжестве христианства на Руси.

---

[1] См.: В. Пархоменко. „Начало христианства Руси IX—X вв.", Полтава, 1913, стр. 51 и след.; В. И. Ламанский. „Славянское житие св. Кирилла, как религиозно-эпическое произведение", П., 1915.

[2] В сказании о варягах-мучениках: „не суть то бози, но древо... а бог есть един, ему же служать грьци и кланяются, иже створил небо и землю, звезды и луну, и солнце и человека... а си бози что сделаша? Сами делани суть" (Лаврентьевск. лет., 983 г.). Ср. в сказании о крещении Руси: „кланяемся богу, иже створил небо и землю, звезды, месяць и всяко дыханье, а бози ваши древо суть" (Лаврентьевск. лет., 986 г.).

[3] См. Лаврентьевск. лет., 988, 996, 1015, 1037 гг.

Сказание об Ольге и сказание о варягах-мучениках — это приступ к основному рассказу о крещении Руси. Ольга, как „деньница пред солнцем", как „заря пред светом" предшествует Владимиру. Ярослав же — продолжает дело Владимира, и не случайно, что похвала Ярославу почти буквально повторяет похвалу Владимиру.[1]

Поразительно, что и идейно, и стилистически это сказание о постепенном распространении христианства на Руси близко подходит к „Слову о законе и благодати" митрополита Илариона.

3

Исследователи неоднократно обращали внимание на стилистические и идейные соответствия „Слова" Илариона и первоначальной русской летописи.[2] Замечательно, однако, что все эти совпадения падают в летописи только на ту часть ее, которую мы выделили выше и условились называть „Сказанием о распространении христианства на Руси".

И „Слово" Илариона и „Сказание" основываются на общем материале выдержек из „священного писания". Можно было бы думать, что совпадения эти случайны, если бы цитатный материал не сопровождался одинаковыми толкованиями и одинаковыми замечаниями.[3]

И в „Слове" Илариона, и в „Сказании" одинакова характеристика языческой дохристианской Руси. И в „Слове",

---

[1] „Володимер же, рад быв... рече: боже... призри на новыя люди сия... и мне помози, господи, на супротивьнаго врага" (Лаврентьевск. лет., 988 г.); ср.: „и радовашеся Ярослав... зело, а враг сетоваšеться, побежаем новыми людьми хрестьяньскыми" (Лаврентьевск. лет., 1037 г.).

[2] А. А. Шахматов. „Разыскания...", стр. 417 и след.; В. П. Адриано - еретц: „История русской литературы" т. I, ч. 1, М—Л., 1941, гл. II, стр. 40.

[3] Так, например, слова Гедеона и в „Сказании" (Лаврентьевск. лет., 986 г.) и в „Слове" Илариона („Памятники древне-русской церковно-учительной литературы", под ред. А. И. Пономарева, вып. 1, СПб., 1894, стр. 63) замыкаются одним и тем же выражением „и бысть тако".

и в „Сказании“ подчеркивается, что бес изгнан из страны, не видевшей апостолов.[1] Но и в „Слове“, и в „Сказании“ говорится о том, что хотя апостолы не приходили на Русь — „апостольская труба“ огласила Русскую землю наравне со всеми странами мира.[2]

Единственные из русских источников, и „Слово“, и „Сказание“ единогласно свидетельствуют о человеческих жертвоприношениях языческой Руси.[3]

Одинаково изображено в обоих произведениях крещение Владимира и Руси. Владимир свободно, по своему усмотрению, а не по греческой указке, избирает византийское христианство среди других религий. Рассказывая о событиях крещения, автор „Сказания“ подчеркивает, что Владимир мог принять любую религию: магометанскую, еврейскую, христианство католического Запада, но избрал восточное православие по своему личному усмотрению, а не под влиянием давления греков. Та же самая идея лежит и в основе „Слова“ Илариона. Иларион подчеркивает личную инициативу Владимира в принятии христианства. Владимир пришел к Христу „токмо от благааго помысла и остроумия“.[4]

Крещение Руси выдвинуло на историческую арену новый народ — русских, и оба произведения подчеркивают богоизбранность „новых людей“ — русского народа.

Полностью совпадает и в „Сказании“, и в „Слове“ похвальная характеристика крещения Руси. Она выдержана в одинаковых образах: язычество — ночь, христианство — день.[5] В тождественных выражениях и в „Слове“, и в „Сказании“ восхваляется крещение.

Иларион говорит, что на месте разрушенных капищ Владимир ставил церкви, на месте поверженных идолов явились

---

[1] „Памятники...“, стр. 72, Лаврентьевск. лет., 983 г. и 988 г.

[2] „Памятники...“, стр. 71, Лаврентьевск. лет., 983 г.

[3] „Памятники...“, стр. 67, Лаврентьевск. лет., 983 г.

[4] „Памятники...“, стр. 72.

[5] „Памятники...“, стр. 71, Лаврентьевск. лет., 988 г.

иконы святых, бесы бежали, крест осиял города, были поставлены священники, епископы, и пресвитеры, и дьяконы возносили „бескровную жертву“.[1] В „Сказании“ аналогично рассказывается о том, что сразу же по своем крещении Владимир „повеле рубити церкви и поставляти по местом, идеже стояше кумир Перун... И нача ставити по градом церкви и попы, и люди на крещение приводити“.[2] И в „Слове“, и в „Сказании“ сходно описывался сбор людей на крещение.

Даже бегство бесов, упоминаемое Иларионом,[3] имеет параллельный рассказ в „Сказании“, драматизированный сетованиями изгоняемого дьявола, в которых он отрицает за Владимиром те самые качества „апостола“ и „мученика“, которые отрицали и греки, но признания которых упорно добивались — Иларион в своем „Слове“, а Ярослав в своей церковной политике: „и се уже побежен есмь от невеигласа, а не от апостола, ни от мученик“.[4]

Полемически направленное против греков сравнение Владимира с императором Константином Великим имеет центральное значение и для „Слова“,[5] и для „Сказания“.[6]

С точки зрения Илариона русские — это новый народ, пришедший на смену старым (в том числе и грекам). Новый народ — воспринял новое учение, как новые меха — новое вино: не вливают новое вино в старые меха. Так указывается Иларионом историческая миссия русского народа. Та же терминология лежит и в основе „Сказания“. Не один раз называет автор „Сказания“ русских „новыми людьми“,[7] избранными богом.

Одинакова и характеристика Ярослава как последователя и продолжателя дела Владимира. Характеристика Ярослава

---

[1] „Памятники...“, стр. 71.

[2] Лаврентьевск. лет., 988 г.

[3] „Памятники...“, стр. 71.

[4] Лаврентьевск. лет., 988 г.; ср. „Памятники...“, стр. 75.

[5] „Памятники...“, стр. 73 и 74.

[6] Лаврентьевск. лет., 1015 г.

[7] Там же, 996, 998 (дважды), 996, 1015, 1037 гг.

искусно перевита у Илариона с похвалою его строительному делу.[1] Теми же чертами строителя и распространителя христианской веры характеризует Ярослава и „Сказание", причем замечательно, что описание строительной деятельности Ярослава дается в „Сказании" в той же последовательности, что и в „Слове". В тождественных выражениях говорит и „Слово", и „Сказание" об украшении собора Софии.[2]

Но особенно разительно совпадение символического толкования посвящения Благовещению церкви на Золотых воротах Киева. Благовещение — это благая весть, которую принес архангел Гавриил богородице. Церковь же Благовещения в Киеве — это благая весть Киеву. Архангел сказал богородице: „радуйся, обрадованная, Господь с тобою", к городу же архангел как бы обращается со словами: „радуйся, благоверный граде, Господь с тобою".[3] Так патриотически толкует и „Слово", и „Сказание" строительную деятельность Ярослава.

Хвалой Ярославу заканчивалось „Сказание", хвалою же Ярославу логически заканчивалось и „Слово" Илариона.

Итак, условно называемое нами „Сказание о распространении христианства на Руси", из которого, как мы предполагаем, развилось русское летописание, чрезвычайно близко и по идейному исполнению, и по стилю, и по композиции, и по материалу цитат из св. писания к „Слову о законе и благодати" ставленника Ярослава — Илариона. Можно было бы предположить что либо „Сказание" зависело от „Слова", находилось под его влиянием, либо, наоборот, „Слово" зависело от „Сказания". Однако ближайшее рассмотрение сходных мест отчетливо убеждает, что ни одной из этих зависимостей установить нельзя. Вся богословская тематика подробнее и яснее развита в „Слове" и, как будто бы, пред-

---

[1] „Памятники...", стр. 74.

[2] В „Сказании": „украси ю златомь и серебромь и сосуды церковными" (Лаврентьевск. лет., 1037 г.); в „Слове": „украси... златом и сребром и каменнем драгыим, и съсуды честными" („Памятники...", стр. 74).

[3] „Памятники...", стр. 74—75. Ср. в Ипатьевском и Хлебниковском списках под 1037 г.

полагает зависимость „Сказания“ от „Слова“, однако историческая сторона развита в „Сказании“ детальнее и, казалось бы, говорит об обратной зависимости. Нельзя думать, что и „Слово“, и „Сказание“ восходят к какому-то третьему, более подробному, недошедшему до нас произведению: против этого говорит различие в самых жанрах „Слова“ и „Сказания“. Отсюда сам собою напрашивается вывод, что автором обоих произведений было одно лицо — Иларион, или тесный круг ярославовых книжников, проводивших политические идеи Ярослава.

А. А. Шахматов отнес составление Древнейшего летописного свода ко времени построения Софии и основания митрополичьей кафедры в Киеве, т. е. к 1037—1039 гг. Действительно, в заключительной части Древнейшего свода так, как он восстанавливается А. А. Шахматовым, читалась обширная похвала христианской деятельности Ярослава, в которой упоминалось и о закладке им Софии, что было совершено в 1037 г. Эта заключительная похвала Ярославу и с нашей точки зрения завершала собою первое произведение по русской истории. Однако нельзя считать, что все перечисленные в этой статье деяния Ярослава, его обширная строительная деятельность (закладка города, Златых ворот, Софии, церкви Благовещения, Георгиевского монастыря) — относились целиком к 1037 г. Ведь отнесение этой статьи к 1037 г. было сделано летописцем позднее — по времени наиболее известного события — закладки Софии. На самом же деле в статье этой дается характеристика деятельности Ярослава не одного какого-либо года, а более или менее обобщенная.

Совпадения между „Сказанием о распространении христианства“ и „Словом“ Илариона позволяют нам отнести его создание к несколько более позднему времени — к началу 40-х годов XI в. (когда было создано и „Слово“ Илариона), после чего, как это мы увидим ниже, это первое произведение по русской истории, касавшееся в начале только церковной истории Руси, начало неудержимо развиваться, насыщаясь сведениями и по истории Русского государства.

4

Итак, при Ярославе Мудром было составлено „Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси". В него вошли рассказы о христианстве Ольги, о первых русских мучениках-варягах, о крещении Руси, о Борисе и Глебе и о просветительной деятельности Ярослава.

Перед нами одно из первых русских исторических произведений, но это еще не летопись. Оно своеобразно по жанру, не имеет еще хронологической канвы,[1] близко к житиям или к произведениям учительной литературы. Произведение это посвящено главному событию в жизни Руси X — начала XI в. — ее крещению. Оно исследует его предисторию, начиная от первых русских христиан — Ольги и варягов-мучеников. Оно рассказывает только церковную историю Руси, игнорируя ее военную историю, что вполне естественно для представителя новой культуры, для одного из тех „новых людей" — христиан-русских, о которых говорит и „Слово" и „Сказание".

Мы видели выше, какое огромное политическое значение имел для эпохи Ярослава церковный вопрос, и нам понятно теперь, почему необходимо было составить произведение, правильно — с русской, а не с византийской точки зрения — излагавшее церковную историю Руси. Мысль о праве Руси на культурную и церковную самостоятельность пронизывает собою „Сказание". Его автор прославляет благочестие русских людей, проводит мысль о свободном, а не о подневольном принятии Русью христианства и о равенстве всех народов.

Автор „Сказания о распространении христианства на Руси" имел в виду дать нравоучительный рассказ и вместе с тем опровергнуть греческую точку зрения на Русь. Он не увлекается передачей самих событий, а обращает внимание, главным образом, на их „сокровенный" смысл. Создается впечатление, как будто бы он повествует о событиях, которые еще свежи в памяти его читателей, и поэтому он занят тем, чтобы лишь

[1] Как известно, даты внесены в летопись позднее.

интерпретировать их. Вот почему „Сказание" дает по преимуществу общие суммарные характеристики деятельности Ольги, варягов-мучеников, Владимира и Ярослава.

Но „Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси" не было создано одновременно, как единое произведение. Оно также создавалось постепенно. И чтобы понять его характер и цели, необходимо проследить возможные пути его создания.

Наиболее крупную и, вместе с тем, центральную часть „Сказания" составляет так называемая „речь философа": „философ"-грек обращается с речью ко Владимиру, в которой излагает основы христианского учения и убеждает его креститься.

„Речь философа" — „Чего ради бог съниде на землю" — занимает большую часть „Сказания". Она представляет собою изложение исторических судеб человечества по Библии от „сотворения мира" и „падения" первого человека до жизни Иисуса Христа и его учеников включительно. Показав план „божественного домостроительства", „философ" заключает свою речь указанием на грядущие судьбы человечества. Затем „философ" развернул перед Владимиром „запону" с изображением последнего, страшного суда и наглядно показал Владимиру будущую судьбу праведных христиан, в веселии идущих в рай, и грешников-язычников, идущих в муку.

Уже давно было высказано сомнение в том, что речь „философа" — оригинальное русское произведение, с самого начала обращенное к князю Владимиру. В одном случае „философ" назван Константином, что заставляет предполагать, что под „философом" следует подразумевать Константина-Кирилла — крестителя славян. Это дало основание В. И. Ламанскому считать, что речь Константина Философа относится ко времени хазарской миссии Константина, когда им были якобы крещены и русские.[1]

С другой стороны, А. А. Шахматов считал, что речь „фило-

---

[1] В. И. Ламанский. „Славянское житие св. Кирилла, как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник", П., 1915, стр. 176 и др.

софа" первоначально было обращена к болгарскому царю Борису, которого „философ" (он не Константин-Кирилл, а Мефодий) крестил при патриархе Фотии (в церковном уставе Владимира I последний принимает крещение также от Фотия). Через какую-то болгарскую летопись речь этого „философа" Мефодия, первоначально обращенная к Борису, попала на Русь и здесь была приурочена к крещению Владимира.[1]

И в самом деле, речь „философа" лишь внешне прикреплена к Владимиру, однако вопрос о ее происхождении решается проще. Действительно, „речь философа" принадлежит к составу широко распространенных сюжетов о крещении царя-язычника греческим проповедником. Она представляет собою распространенный в греческой учительной литературе так называемый сократический диалог. Между двумя лицами — язычником (обычно царем, князем, халифом) и греческим иерархом — происходит диспут о вере. Диспут этот направляется вопросами язычника, который не возражает, а лишь спрашивает. Изложение, рассказ сосредоточивается в ответах христианина-грека, занимающих в диалоге главное место. Христианин излагает основы православного вероучения. Под конец диспута язычник убежден своим собеседником и принимает христианство.

Таких учительных рассуждений византийская литература знает немало.[2] В греческом житии Григория Омиритского читается прение православного архиепископа Григория с Ерваном.[3] В последней четверти XIII в. было составлено прение Панагиота с Азиматом.[4] Исключительный интерес для выяснения характера речи „философа" имеет житие Федора

---

[1] А. А. Шахматов. „Разыскания...", стр. 154.

[2] См.: И. Малышевский. „Александрийский патриарх Мелетий Пигас", I, Киев, 1872, стр. 281.

[3] Перевод жития Григория Омиритского напечатан в М., 1894. См. также Четьи Минеи митрополита Макария под 19 декабря.

[4] А. К. Дорошкевич. „Критични замітки", Записки істор.-філолог. відділу Всеукр. Академії Наук, кн. 2—3, Київ, 1923.

Эдесского,[1] написанное его племянником, епископом Василием. В главах XXVIII—XXXVI жития Федора рассказывается об обращении в христианство „царя" (халифа Багдада) Моавии. Беседуя с Моавией, Федор читал ему и объяснял Евангелие. На другой день Моавия высказал желание креститься. Федор вручил Моавии написанные им на местном, сирийском, языке Символ веры, „Отче наш" и др. Моавия предал проклятию Махаммеда (Магомета) и его учение. На берегу Тигра Федор крестил Моавию, назвав его Иоанном, и вместе с ним крестил трех его слуг. В порыве религиозного воодушевления Моавия просит Федора отправиться в Царьград и достать ему частицу креста, на котором был распят Иисус Христос. В Царьграде Федор был встречен торжественно и радушно, он присутствовал на богослужении (ср. посланцев Владимира, присутствовавших на богослужении в Царьграде). Вернувшись, Федор рассказал Моавии о столице и „наполнил душу его божественным утешением". Моавия одарил епископа многими дарами, он помышляет о суете всего мирского и заботится о своем спасении. Федор поощряет его к этому.

Несмотря на ряд очень близких совпадений между отдельными эпизодами жития Федора Эдесского и рассказом о крещении Владимира (содержание речей епископа, посольство в Царьград, желание Моавии, как и Владимира, отказаться от мирского управления и др.) и на древнее знакомство с этим житием на Руси,[2] установить прямую зависимость рассказа о крещении Владимира от соответствующих эпизодов жития Федора Эдесского нельзя. Перед ними просто сюжетное совпадение в пределах одного жанра: жанра повествования

---

[1] См. изд. И. В. Помяловского: СПб., 1892. Изд. Общ. любит. древней письм. Исследование о нем В. Г. Васильевского: Журнал Мин. нар. прос., 1893, кн. 3, стр. 201.

[2] Славянские списки этого жития относятся только к XV в., однако А. А. Васильевски считает, что житие было известно уже Даниилу Паломнику. В „Хождении" Даниил указывает, что он видел мощи Федора: „и святый Федор ту лежит и Михаил сыновець его" („Хождение Данила", изд. Веневитинова, Палестинский сборник, т. I, вып. 3, 1884, стр. 55).

о крещении иноверного монарха. Такие повествования создавались с определенными целями: с одной стороны, заразить подданных примером их главы-царя и убедить их также креститься, а с другой стороны, изложить вновь обращаемому народу в наиболее доступной диалогической форме самые основы христианского учения.

Само собой разумеется поэтому, что автор „Сказания о распространении христианства на Руси“ для догматического и исторического содержания мог воспользоваться уже готовыми, к сожалению, нам неизвестными образцами.[1]

5

Итак, начало русского летописания рисуется нами с некоторыми поправками к той концепции, которая была предложена А. А. Шахматовым. А. А. Шахматов прочно и неоспоримо доказал, что начало русского летописания относится к княжению Ярослава Мудрого. Не следует, однако, считать, что первый летописный свод возник точно в 1037 или 1039 году и имел уже все особенности законченного летописного свода. Сам А. А. Шахматов признавал, что „речь философа“ создалась раньше Древнейшего свода, что отдельные сказания имеют между собою много общего и цельны по замыслу, что все они вместе сходствуют со „Словом“ Илариона, что первоначальный свод был посвящен главным образом восхвалению церковной деятельности Ярослава, так как именно церковный вопрос был при Ярославе одним из главнейших в отношениях Руси и Византии. Мы лишь продолжили эти наблюдения А. А. Шахматова и пришли к выводу, что древнейшее повествование по истории Руси слагалось постепенно.

---

[1] Так, например, в житии Константина Философа находились его беседы о вере в опровержение мусульманства. Эти „беседы сарацынские, — как предполагает В. И. Ламанский, — были не столько написаны, то есть, сочинены жизнеописателем, сколько впоследствии (в XII—XIII вв.) извлечены из разных обличительных статей против мусульманства“ (В. И. Ламанский. „Славянское житие св. Кирилла...“, П., 1915, стр. 14).

Условно называемое нами „Сказание о распространении христианства“ сложилось при Ярославе. Его окончательное оформление, прежде чем быть расширенным в историю Руси в целом (не только церковную, но и политическую), относится к первой половине 40-х годов XI столетия. Оно было направлено против византийской государственной идеологии и тесными узами связано с подъемом политического самосознания русского народа при Ярославе Мудром.

Вот из этого-то первого русского исторического произведения, в своем роде замечательного патриотизмом содержания, и выросло впоследствии постепенно русское летописание. Как увидим ниже, русское летописание родилось из постепенного присоединения совсем иных — народных в своей основе — сведений к этому церковному ядру, носившему еще традиционный для церковной письменности характер „патерика“, но уже обладавшего элементами историзма, которые и привлекли к нему внимание и творческую инициативу жаждавших сведений по родной истории русских читателей.

Глава 6

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙНОЙ ОСНОВЫ ЛЕТОПИСАНИЯ

1

„Сказание о распространении христианства" было составлено книжниками киевской митрополии при храме Софии. Своими идеями равенства всех народов между собою и, в частности, русского народа народу греческому, „Сказание" было тесно связано со всей политической деятельностью Ярослава Мудрого.

Этот первый обширный труд по русской истории, еще понимавшейся как церковная история по преимуществу, не получил, однако, дальнейшего продолжения в Софии. Книжная деятельность этого церковного центра Руси замирает, что объясняется крупными переменами в ее политическом положении. Константинопольская патриархия, очевидно, решительно

отказалась утвердить Илариона на Киевской митрополии. Этот отказ был смягчен браком сына Ярослава Мудрого — Всеволода на греческой царевне, и в Киеве водворяется новый митрополит — грек Ефрем. Таким образом, Ярославу не удалось довести до конца своего дела. „Русская митрополия" — София — перешла в греческие руки и стала отныне в течение многих десятилетий опорой греческого влияния на Руси.

Как выяснено обстоятельными исследованиями М. Д. Приселкова,[1] новым центром русского просвещения, оппозиционным к власти митрополита-грека, становится с середины XI в. Киево-печерский монастырь, где получали образование первые русские епископы и священники и где книжность и литература нашли себе до поры до времени надежное пристанище.

С Киево-печерским монастырем связан весь начальный период русского летописания. По существу все внешние особенности русского летописания — его связь с фольклором, с деловою речью (посольской, воинской, юридической и т. д.), хронологический принцип изложения (построение его по годовым статьям) и т. д. — все это определилось уже здесь — в Киево-печерском монастыре. Здесь же определились и многие идейные черты русского летописания — его публицистические тенденции, его учительный по отношению к княжеской власти характер, его рассудительность и принципиальность.

Политическая позиция, которую занял Киево-печерский монастырь, позволяет понять многое в идейной направленности первых русских летописных сводов.

Киево-печерский монастырь на первых порах его существования не был княжеским монастырем. Его игумены по временам вступали в резкие отношения с киевскими князьями, хотя иной раз умело пользовались их расположением и охотно получали от них богатые вклады. Не был Киево-печерский монастырь и митрополичьим: еще чаще чем с князьями мона-

---

[1] „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв., СПб., 1913.

стырь вступал в конфликты с киевскими митрополитами-греками.

Это был крупный центр оппозиции и власти константинопольской патриархии и власти киевского митрополита-грека.[1] Эта оппозиция исходила из очень четких и последовательно продуманных политических взглядов митрополита Илариона.

Самое возникновение монастыря было связано с Иларионом. Когда Иларион был попом в загородном селе Ярослава — Берестове, он ископал себе на холмистом берегу Днепра среди „великого" леса „печерку" (пещерку) и обычно удалялся туда для уединенной молитвы. В 1051 г. Ярослав поставил Илариона митрополитом и пещера оказалась заброшенной. В ней-то, очевидно не без совета Илариона, и поселился затем Антоний, основавший здесь на берегу Днепра Киево-печерский монастырь. В дальнейшем монастырь практически продолжал дело Илариона.

Монастырь постоянно выступал во второй половине XII в. как духовный руководитель того общерусского или антигреческого направления, которое созрело на Руси в пору княжения Ярослава Мудрого. Монастырь не раз поднимал свой голос в политических делах русской церкви и русского государства и к голосу этому прислушивались и князья, и правящая знать.

Монастырь возник в ту пору, когда в самой Византии нравственный и идейный уровень монашества был чрезвычайно низок. И вот замечательно, что первые русские деятели

---

[1] Монахи Киево-печерского монастыря в своих литературных произведениях не раз противопоставляли свой монастырь другим: митрополичьим и княжеским. Так, например, составитель „Сказания, чего ради прозвался Печерский монастырь" пишет: „мнози бо монастыри от цесарь и бояр и богатства поставлени, но не суть таци, каци суть поставлены слезами, пощеньем, молитвою, бдениемь" (Лаврентьевск. лет., 1051 г.). Составители печерских житий подчеркивают, что Антоний не имел золота и серебра, а Феодосия первоначально из-за бедности одежды не принимали ни в один монастырь.

Киево-печерского монастыря не руководствуются действующими в Византии монастырскими правилами, а стремятся к самостоятельному возрождению монашества и вводят забытый в Византии строгий монастырский устав, который разыскивают в архивах Константинополя. Тем самым, первые деятели Киево-печерского монастыря брали на себя смелый почин, практически осуществляя свое убеждение, что русские способны самостоятельно разбираться в делах религии и итти впереди своих „учителей", строже осуществляя заветы христианства. Замечательно, что почин монастыря нашел широкий отклик, и большинство русских монастырей постепенно начинает перестраиваться по примеру Киево-печерского.

Киево-печерский монастырь становится крупным центром русской образованности, где получали свое образование будущие священники и епископы русской церкви;[1] он стремился к установлению самостоятельной церковной организации, свободной от мелочной опеки Византии. Это была задача большой национальной важности. Вот почему монастырь с самого начала оказывается в оппозиции и к митрополичьей кафедре в Киеве, и к деятельности константинопольской патриархии.

Совсем иную почву имели выступления монастыря против киевских князей. Конфликты, в которые вступал Киево-печерский монастырь с Изяславом, Святославом, Святополком и др., не были направлены против княжеской власти вообще. Наоборот, конфликты эти обусловливались деятельным стремлением монастыря сохранить целостность княжеской власти, прекратить междоусобия и внести порядок в наследование киевского стола. По характеристике М. Д. Приселкова, в задачу монастыря входило выступать „в пору политических волнений с проповедью безусловного исполнения крестоцелования в междукняжеских отношениях, с проповедью братской любви князей

[1] В начале XIII в. печерский воспитанник епископ Симон с гордостью писал в Печерский монастырь, что из его стен вышло около пятидесяти епископов.

под руководством старейшего во имя крепости и силы Русской земли".[1]

Для Киево-печерского монастыря были обычными всякого рода выступления общественного характера. Можно думать, что большинство монахов Киево-печерского монастыря принадлежало к верхам городского общества.[2] Вот почему монастырь так часто выступает на стороне „кыян".

Тревожные события разыгрались в 1068 г. Князья Изяслав, Всеволод и Святослав потерпели поражение от половцев. Изяслав и Всеволод бежали в Киев. Недовольные киевляне стали вечем на торговище и требовали от Изяслава продолжить борьбу с половцами, выдать им оружие и коней. Отказ Изяслава вызвал восстание киевлян. Изяслава изгнали из Киева, и киевляне освободили Всеслава Полоцкого, год назад посаженного в „поруб" ярославичами, нарушившими тем самым свое крестоцелование. Характерно, что вокняжение Всеслава приветствуется Печерским монастырем. Совпадение освобождения Всеслава из поруба с днем воздвижения креста толкуется в монастыре как наказание божие Изяславу за его нарушение целования креста. После этого через некоторое время в Киев вступил сын Изяслава — Мстислав, жестоко расправившийся с участниками восстания. Мстислав иссек 70 человек, других ослепил, третьих, по словам печерского летописца, „без вины погуби, не испытав".[3] Печерский летописец явно сочувствует киевлянам, чьи действия описываются им с подробностями, характерными для очевидца, а может быть и для участника событий. Расправа Мстислава с противниками его отца коснулась и печерского монастыря. Сам его основатель, Антоний, вынужден был ночью тайно бежать в Чернигов к князю Святославу.

---

[1] „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X — XII вв. СПб.", 1912, стр. 181.

[2] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI — XV вв." Л., 1940, стр. 32.

[3] Лаврентьевск. лет., 1069 г.

Еще более серьезным было второе политическое выступление Киево-печерского монастыря, и опять-таки против княжеских клятвопреступлений.

В 1072 г. союз трех братьев сыновей Ярослава распался: Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский изгнали из Киева своего старшего брата Изяслава. События эти грозили чрезвычайными последствиями для всей Русской земли. Был нарушен принцип старшинства в наследовании киевского стола, узко-семейные распри князей становились общенародным бедствием.

Киево-печерский монастырь и в этом случае выступил с политическим протестом. Игумен Феодосий отказался явиться на пир, которым Святослав собирался ознаменовать свое вокняжение в Киеве, а затем неоднократно обличал Святослава в проповедях, посланиях („епистолиях") и через приходивших к нему „вельмож", которых просил передать Святославу свое осуждение его поступков. Феодосий утверждал, что Святослав „не по закону"[1] сел в Киеве, прогнав своего старшего брата, которого должен был иметь вместо отца. Феодосий запретил поминать имя Святослава на монастырских службах, и в монастыре попрежнему поминали Изяслава. После одной из „великих зело" епистолий, в которой Феодосий сравнивал Святослава с Каином и „иными многими древними гонителями, убийцами и братоненавистниками", Святослав пришел в страшный гнев. Он бросил на землю послание Феодосия и „яко лев" рыкнул „на праведного".[2] С трудом произошло затем примирение Святослава и Феодосия. Феодосий стал считаться с Святославом как с киевским князем, но поминал его на богослужении всегда на втором месте после Изяслава. Авторитет монастыря был к этому времени уже настолько велик, что Святослав, радуясь примирению, дарит монастырю близлежащее место, на котором приступлено было тотчас же к воз-

[1] „Киево-печерский патерик", под. ред. Д. И. Абрамовича, Киев, 1931, стр. 66.

[2] Там же, стр. 67.

ведению „великой“ церкви — Успенского собора Киево-печерского монастыря.

2

После водворения в Киеве митрополита-грека, сменившего русского митрополита Илариона, работа над „Сказанием о первых русских христианах“ продолжается в новом оплоте антигреческой политики — Киево-печерском монастыре. Здесь это „Сказание“ получает добавление, касающееся светской истории Руси, поскольку военное столкновение с Византией 1043 г. перевело русско-византийское разногласие из области церковных вопросов на общеполитическую почву. Здесь появляются добавления в „Сказании“ из народных исторических преданий, поскольку монастырь занимал в целом демократические позиции; здесь создается хронологический принцип разбивки всего изложения по годовым статьям и т. д. Одним словом, первое русское историческое произведение, созданное при Ярославе Мудром, разрастаясь добавлениями, сделанными к нему в Печерском монастыре, постепенно становится тем, что мы привыкли называть летописью.

Идейное содержание печерской летописи (а добавления летописного характера стали вестись в Киево-печерском монастыре с 60-х годов XI века) целиком определяется политической позицией Киево-печерского монастыря. Летопись эта была выразительницей идей и настроений не верхов феодального общества, а его средних и низших слоев; не правящего верха, а „управляемых“.[1]

И А. А. Шахматовым, и М. Д. Приселковым основательно доказано участие в печерском летописании сподвижника Антония и Феодосия печерских — Никона, биография которого многое объясняет в летописании Печерского монастыря. В Несторовом житии Феодосия Никон этот назван „великим“, он изображается за неустанной книжной работой: „сидящу

[1] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.“, Л., 1940, стр. 31.

и строащу книгы".[1] Гипотеза М. Д. Приселкова предполагает в нем первого русского митрополита Илариона, принявшего схиму с именем Никона.[2] Именно поэтому Никон пользовался таким уважением с самого начала своего пребывания в монастыре, вот почему и монастырь проводил в своей деятельности такую широкую программу, целиком продолжавшую взгляды Ярослава. Смещенный с митрополичьей кафедры, Иларион принужден был скрыться в монастыре. Он принял схиму как раз в день памяти Никона, чьим именем по обычаям того времени он и назвался. Впоследствии пребывание Илариона-Никона в Киево-печерском монастыре вызывало постоянное неудовольствие киевского митрополита-грека.

Так думает М. Д. Приселков; но кем бы ни был Никон, перед нами ученый и деятельный политик, смелый продолжатель дела, начатого еще при Ярославе.

В пещере Илариона Никон, Антоний и Феодосий прожили почти десять лет. Очевидно, в 1060—1061 гг. стало возможным получить от киевского митрополита официальное разрешение на устроение монастыря, и Никон постриг в своей пещере двух киевских вельмож (Варлаама и Ефрема). Разгневанный князь Изяслав потребовал, чтобы к нему привели Никона. Изяслав в гневе говорил ему: „на заточение послю тя и сущаа с тобою и печеру вашу раскопаю".[3] В дальнейшем Изяслав примирился с обитателями „печеры", но Никону пришлось бежать в Тмутаракань. Никон основал близ Тмутаракани монастырь и скоро становится одним из самых авторитетных людей в Тмутараканском княжестве. В феврале 1067 г. Никон, после смерти Ростислава, „умолен бысть от людей тех" просить на тмутараканское княжение сына Святослава — Глеба,[4]

---

[1] „Киево-печерский патерик", под ред. Д. И. Абрамовича, Киев, 1931, стр. 46.

[2] „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.", СПб., 1913, стр. 181—184, см. он же. „Нестор летописец", П., 1923, стр. 22.

[3] „Киево-печерский патерик", 1931, стр. 33.

[4] Там же, стр. 45.

Никон вернулся на Русь, но не застал в Киеве Святослава, ушедшего походом на Всеслава Полоцкого. Феодосий просил Никона вернуться в Печерский монастырь, что Никон вскоре и исполнил, выполнив поручение тмутараканских жителей. В монастыре Никон поучал братию „от книг", тогда как Феодосий поучал братию „духовными словесы".[1] Вскоре по возвращении Никона в монастырь вновь произошли тревожные события: монастырь вмешался в восстание киевлян 1068 г., после подавления которого Антоний вынужден был бежать в Чернигов. В 1073 г. монастырь вновь выступил против княжеских раздоров и нарушения принципа старшинства двумя Ярославичами. На этот раз уезжает из монастыря Никон. Он вторично едет в Тмутаракань, несмотря на уговоры Феодосия, просившего его остаться. Никон был непреклонен и не желал итти на примирение с нарушителями заповеди Ярослава. Вернулся Никон в Киево-печерский монастырь лишь после смерти Феодосия (1074 г.), был избран затем в игумены монастыря и умер в весьма преклонном возрасте в 1038 г.

В предшествующей главе мы видели, что „Сказание о первых русских христианах" не знало расположения материала по годам и не заботилось о точности датировок событий. На появление современных событиям записей о них в приписках к Сказанию указывает точность датировок, которая начинает проявляться с 60-х годов XI в. С 1061 г. (т. е. с года организации Печерского монастыря) летопись начинает указывать даты событий — месяц, число, иногда день недели. Такая точность свидетельствует о том, что к „Сказанию о первых русских христианах" уже в самом начале 60-х годов начинают прибавляться записи о текущих событиях. Появляется забота о своевременном записывании фактов истории; „Сказание" продолжается, и по существу возникает летопись с ее наиболее типичным признаком — погодностью записей. Под 1061 годом указан день поражения Всеволода Ярославича впервые напавшими на Русь половцами — 2 февраля. Под 1066 г.

[1] Там же.

отмечен день кончины Ростислава Владимировича в Тмутаракани — 3 февраля. Под следующим 1067 г. отмечены день битвы на Немиге — 3 марта и захвата Всеслава Ярославичами — 10 июля. Под 1068 г. определен день освобождения из поруба Всеслава — 15 сентября и день победы Святослава над половцами — 1 ноября; под 1069 г. день возвращения Изяслава в Киев — 2 мая. Начиная с 1072 г. точные хронологические указания становятся все чаще.

Как мы уже говорили выше, биография летописца Никона дает основания понять точность этих дат: все датированные киевские события произошли именно тогда, когда Никон был в Киеве, все же тмутараканские события, которые отмечены точными датами, относятся ко времени пребывания Никона в Тмутаракани.

Никон отбыл в Тмутаракань в первых числах февраля 1061 г. О поражении Всеволода 2 февраля Никон узнал еще в Киеве. С февраля 1061 г. по февраль 1067 г. Никон вынужден был провести в Тмутаракани. Показательно, что в летописных статьях 1062—1066 гг. почти вовсе нет событий, которые относились бы к Киеву. Напротив, в них отмечены три события, относящиеся к Тмутаракани. 3 февраля 1067 г. умер при нем от отравы Ростислав Тмутараканский. В марте 1067 г. Никон был уже на Руси; вот почему в летописи определенно отмечены события 3 марта (битва на Немиге) и 10 июля (захват Всеслава Ярославичами), а затем точно отмечены события 1068, 1069 и последующих годов.

Точность датировок определенно свидетельствует о том, что Никон придавал большое значение хронологии и строил изложение событий, располагая их по годам. Эти годовые статьи ясно определяются уже в летописном рассказе 60-х годов.

Причины этого перелома в летописании ясны. Никон был в ссоре с киевским князем Изяславом, а затем и Святославом. Поэтому для Никона был неприемлем византийский способ расположения исторического материала по царствованиям монархов (ср. в Хронике Георгия Амартола и др.). Да и са-

мые пределы княжений в обстановке начавшихся междоусобий становились все менее и менее определенными. Вот почему Никон в своем стремлении к хронологической точности повествования пришел к новому способу изложения летописного материала по годовым статьям; определял их не княжениями, а годами от „сотворения мира“.

Самая же форма погодных записей могла явиться у Никона под влиянием пасхальных таблиц (т. е. таблиц, указывающих даты празднования Пасхи в каждом году). В этих таблицах нередко делались краткие летописные отметки (например, в пасхальной таблице в рукописи б. Синодальной библиотеки № 325 — теперь в Государственном Историческом музее). На связь погодной формы изложения в летописях с пасхальными таблицами было указано еще акад. М. И. Сухомлиновым,[1] отметившим и то, что именно от пасхальных таблиц могла произойти и такая черта русских летописей, как встречающееся в ней иногда обозначение годов без описания событий. Например:

> В лето 6519. Преставися царица Володимеряя Анна.
> В лето 6520.
> В лето 6521.
> В лето 6522. Ярославу же сущу Новегороде.

И т. д. Ср. в пасхальной таблице б. Синодальной библиотеки:

> В лето 6805.
> В лето 6306. Дмитрий родися.
> В лето 6807.
> В лето 6308.
> В лето 6309.
> В лето 6810. Борис преставися князь.

И т. д.

Итак, на основании вышеизложенного можно думать, что Никон приступил к собиранию материала еще в начале 60-х годов XI в. Он продолжал собирать этот материал и в Тмута-

[1] М. И. Сухомлинов. „О древней русской летописи как памятнике литературном“. Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. 85, № 1, СПб., 1908, стр. 32 и след.

ракани и затем снова в Киеве. Замечательно, что Никон заносил в свою летопись не только современные ему события, но и прошлые и восполнял недостаток письменных материалов устными источниками. Так, например, только Никон мог записать в свою летопись целый ряд тмутараканских событий, случившихся как-раз в те годы, когда Никон был в Тмутаракани. Таков рассказ Никона о борьбе из-за Тмутаракани Ростислава Владимировича с Глебом Святославичем Черниговским; таков рассказ об отравлении Ростислава греческим наместником („котопаном") и о том, как затем жители Корсуни побили этого наместника камнями. Никон же воспользовался в Тмутаракани и местным преданием: какими-то фольклорными данными о поединке тмутараканского князя Мстислава Владимировича с косожским князем Редедею (эпизод этот помнил впоследствии и автор Слова о полку Игореве), затем каким-то местным рассказом о том, как хозары собрали с полян дань мечами и как старцы хозарские увидели в этом недобрый знак: предвестие того, что когда-нибудь русские сами будут собирать дань с хозар.

Использование фольклора Причерноморья привело Никона, как догадывался В. Л. Комарович,[1] и к переработке рассказа „Сказания" о крещении Руси. Никон ввел в свою летопись так называемую Корсунскую легенду, рассказывавшую о взятии Корсуни Владимиром, о сватовстве Владимира и, наконец, о крещении его именно в Корсуни (а не в Киеве или Васильеве): „Се же, не сведуще право, глаголють яко крестился есть в Киеве, и инии же реша [в] Василиви",[2] пишет Никон, опровергая версию своего предшественника — составителя „Сказания о первых русских христианах". В этом рассказе Никона есть ряд фольклорных мотивов, свидетельствующих об устном происхождении легенды. По топографической точности легенда несомненно принадлежала Причерноморью. В ней указаны и детали устройства водопровода в Корсуни из колодца вне

[1] „История русской литературы", изд. Института литературы Ак. Наук СССР, т. I, 1941, стр. 271.

[2] Лаврентьевск. лет., 987 г.

города; указано место, где стояла церковь святого Василия, в которой крестился Владимир: „в Корсуне граде, иде же торг деють корсуняне"; указано место, где стояла палата Владимира: „с края церкви" Василия; о палатах Владимира отмечено, что они сохраняются „и до сего дне"[1] и т. д.

Чтобы внести Корсунскую легенду в рассказ „Сказания", Никону пришлось прибегнуть к целому ряду искусственных приемов, оттянувших крещение Владимира до Корсунского похода.

Отмечу как ошибку попытку А. А. Шахматова[2] и особенно М. Д. Приселкова[3] истолковать Корсунскую легенду как греческий памфлет на Владимира. Действительно, при взятии Корсуни Владимир-язычник бесчестит дочь корсунского князя на глазах родителей, отдает ее в жены своему дружиннику, а затем убивает и корсунского князя, и княгиню; Владимир не сразу исполняет свое обещание креститься, за что бог „наказывает" его слепотою, от которой он исцеляется только при крещении. Но каковы бы ни были грехи Владимира-язычника, они не могли ставиться с христианской точки зрения в укор Владимиру-христианину. Наоборот, чем ниже был нравственный уровень Владимира до крещения, тем выше становился его подвиг принятия христианства, тем резче выступал происшедший в нем перелом, тем более величественным становился самый акт крещения. Этим лишь подчеркивалась идея спасительности крещения. Не случайно христианская литература настойчиво описывает случаи нравственного перелома, которые приносило крещение.

Никон встретился в Тмутаракани с новгородцем Вышатой, рассказами которого пользовался в своей летописи. Повидимому, все новгородские известия Повести временных лет, имеющиеся в ней как раз до 1064 г.— года встречи Вышаты и Никона,— вставлены в летопись именно Никоном на основа-

---

[1] Лаврентьевск. лет., 987 г.

[2] См. „Разыскания...", стр. 396.

[3] „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XI вв.", СПб., 1912, стр. 274 и след.

нии рассказов Вышаты. Неточные хронологически и несистематические, они носят на себе все признаки устного происхождения.[1]

Как утверждают А. А. Шахматов и М. Д. Приселков, Никон ввел в свою летопись целый ряд сказаний о первых русских князьях. В рассказ о крещении Ольги Никон ввел эпизод о состязании Ольги с константинопольским царем в хитрости, затем рассказ о каком-то длительном стоянии Ольги в кораблях под Константинополем, ввел героические эпизоды борьбы Святослава с греками[2] и т. д. Можно думать, что все вообще рассказы о походах русских на Константинополь были впервые введены в летопись именно Никоном. Они были неприличны в повествовании „Сказания", где рассказывалось о крещении русских от греков, но были понятны в летописи Никона, раздраженного попытками греков установить греческую гегемонию на Руси. К тому же его снабжал своими рассказами Вышата, возможно ослепленный греками,[3] и уж во всяком случае порядочно раздраженный против них. Участник последнего похода на Царьград, Вышата, конечно, слышал много рассказов о предшествующих более удачных походах русских. Вот почему в летописи так подробно и красочно рассказывалось о походах русских князей против Византии и ничего не сообщалось о походах на восток и юго-восток к берегам Каспийского моря, о которых мы знаем из других источников.

---

[1] Так предполагаю, вопреки утверждениям А. А. Шахматова о том, что в новгородских известиях Повести временных лет отразился новгородский летописный свод 1050 г., использованный составителем киево-печерского Начального свода. Вполне согласен с мнением М. Н. Тихомирова, что слабым местом концепции А. А. Шахматова является построение существования киевского свода 1037 г. и новгородского свода 1050 г. (М. Н. Тихомиров. „Источниковедение истории СССР", т. 1, М., 1940, стр. 55). Подробнее о рассказах Вышаты см.: Д. Лихачев. „«Устные летописи» в составе Повести временных лет", Исторические записки, № 17, 1945.

[2] См. об этом: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 33.

[3] Так догадывается об этом М. Д. Приселков: там же, стр. 18.

Наконец, Никон поместил в своей летописи ряд киевских известий и известий, касающихся истории Киево-печерского монастыря.

Соединив устные предания — киевские, киево-печерские, северночерноморские, новгородские — с данными „Сказания о первых русских христианах", Никон создал первую систематическую историю русского народа. Именно он придал своему произведению ту форму летописи, которая стала затем отчасти традиционной; именно он расположил материал по годовым статьям и воспользовался многими особенностями формы устных произведений, которые он так широко привлекал для восполнения недостатка письменных источников по истории Руси.

Никон в значительной мере был создателем самой формы летописного повествования, но он же сыграл огромную роль и в формировании идейной стороны летописания.

Идеям „Сказания о первых русских христианах" Никон придал публицистическую остроту. Идее равноправия всех народов он придал ясно выраженную антигреческую направленность. С темпераментом политического борца Никон полемически заострил историческое изложение, сделал его откровенно тенденциозным, внес в него общественный размах и патриотический подъем.

Идею „Сказания" о том, что Русская земля не нуждается в греческой опеке, а имеет собственную славную христианскую историю, Никон продолжил тем, что дал не только церковную историю Руси, но и ее светскую историю. Русь не нуждается в опеке Византии ни церковной, ни государственной. Русский народ имеет за собой много славных побед — в том числе и над самой Византией. Именно с этой целью Никон ввел рассказы о походах русских князей на Царьград — Аскольда и Дира, Олега, Игоря и Святослава. Никон ввел в летопись рассказ о хозарской дани, характеристику Святослава и рассказ о его подвигах и т. д. Даже в истории Киево-печерского монастыря Никон подчеркнул те же стороны: Печерский монастырь основался без помощи киевского митро-

полита-грека. Антоний в греческих архивах нашел забытый в Византии студитский устав, по которому и была организована жизнь монахов Печерского монастыря. Под 1071 г. Никон дал обширное повествование о волхвах на основании рассказов Вышаты, непосредственного участника борьбы с волхвами.[1] И опять-таки, как и в предыдущих случаях, это было сделано со всё тою же антигреческою целью: Никон стремился доказать, что русские сами способны бороться с язычеством.

Замечательна та настойчивость, с которой Никон подчеркивает роль народа в обороне Русской земли. В рассказе о восстании киевлян 1068 г. Никон приводит слова, сказанные киевлянами князю Изяславу, потерпевшему поражение от половцев: „дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними".[2] Эти слова по смыслу почти буквально совпадают с тем, что, по рассказам Вышаты, говорили новгородцы Ярославу, потерпевшему поражение от Святополка и Болеслава, запрещая ему бежать дальше за море: „хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомъ";[3] или с тем, что говорили новгородцы Ярославу на Ракоме при известии о тревожных событиях в Киеве: „аще, княже, братья наша иссечена суть, можем по тобе бороти".[4]

Точку зрения Печерского монастыря выразил Никон и в своем осуждении княжеских распрей. Выше мы говорили уже о том, что Киево-печерский монастырь вмешивался в порядок наследования киевского стола, требуя точного соблюдения принципа наследования по старшинству. Никон вложил в уста умирающего Ярослава обращение к сыновьям, в котором он просит их быть „в любви межю собою", потому, что они „братья единого отца и матере", и не погубить „землю отець и дедь своих", „иже налезоша трудомь своимь великымъ". Никон призывал русских князей „не преступати предела брать-

---

[1] См. подробнее: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV". Л., 1940, стр. 33.

[2] Лаврентьевск. лет., 1068 г.

[3] Там же, 1013 г.

[4] Там же, 1015 г.

ня, ни сгонити".[1] Нарушение этой заповеди Ярослава „и божьей" Никон видел в событиях 1073 г., когда „дьявол" воздвиг „котору" (распрю) между братьями, и Святослав изгнал Изяслава из Киева. Это событие вставлено Никоном в раму всемирной истории: так точно поступили потомки Хама, покусившись на землю Сифа, так поступил и Исав, нарушив „заповедь отца своего"[2] и т. д.

В рассказ „Сказания" о убийстве Бориса и Глеба Никон вставил нравоучительные строки, изобразив святых братьев идеалом княжеского братолюбия: „се, коль добро и коль красно, еже жити братома вкупе!".[3] Образцом той же идеи княжеского братолюбия выставляет Никон и тех князей, которые пользовались его сочувствием. Так, например, о тмутараканском князе Ростиславе Никон замечает, что он ушел из Тмутаракани не из страха перед Святославом, но потому, что не хотел „противу строеви [т. е. стрыеви — дяди] своему оружья взяти".[4] Образцом братолюбия выставляет Никон и Мстислава Владимировича, также бывшего одно время тмутараканском князем. Мстислав по-братски разделил с Ярославом Русскую землю. Несмотря на то, что Мстислав победил Ярослава, он все же предлагает ему киевское княжение: „понеже ты еси старейшей брат"[5] Никон вставил рассказ об ужасной смерти братоубийцы Святополка в пустыне „межю Ляхы и Чехы", которую бог „сотворил" нарочно „на наказание [т. е. на поучение] князем русьскым".[6]

Можно думать, что на основании рассказов Вышаты было вставлено Никоном в свою летопись и новгородско-изборско-белозерское предание о призвании трех братьев-варягов. Вышата, живший в Новгороде, бывавший на Белоозере (в 1064 г.) и, возможно, в Изборске (вместе с Владимиром Ярославичем)

[1] Там же, 1054 г.

[2] Там же, 1073 г.

[3] Там же, 1015 г.

[4] Там же, 1064 г.

[5] Там же, 1024 г.

[6] Там же, 1019 г.

рассказывал Никону местные предания Изборска о родоначальнике русских князей Труворе, затем новгородские предания о родоначальнике русских князей Рюрике и белозерские — о родоначальнике князей Синеусе. Никон, заинтересованный в проведении идеи братства князей, объединил все эти местные предания утверждением, что Рюрик, Синеус и Трувор были братьями и были *призваны для того именно*, чтобы прекратить местные раздоры.[1]

Такое объединение было тем легче сделать, что эпические предания о трех братьях-основателях городов или родоначальниках правящей династии были широко распространены и, в частности, в Киеве, знавшем легенду об основании своем Кием и его двумя братьями.

После смерти братьев Рюрик остается единственным властителем. Власть его *переходит к сыну — Игорю. Игорь* — лицо историческое. Также историчен и другой князь Олег. Но, чтобы не создавать других династических линий, Никон отрицает княжеское достоинство Олега и утверждает, что Олег был воеводой Игоря. Олег, прибивший первоначально в Новгороде, овладевает Киевом. Игорь провозглашает киевских князей Аскольда и Дира незаконными захватчиками: „Вы неста князя, ни роду княжа, но аз есмь роду княжа".[2] Со свержением Аскольда и Дира на Руси установилась единая княжеская власть Игоря, затем перешедшая к его роду. Таким образом вновь подчеркнуто единство княжеского рода.

---

[1] В отличие от А. А. Шахматова, мы полагаем, что новгородские известия *Повести временных лет*, в том числе и легенда о призвании варягов, восходят не к новгородскому своду 1050 г., где новгородские записи были уже *соединены с киевскими*, а *принадлежат* рассказам Вышаты, который сообщил Никону свои родовые предания, рассказы о походах русских князей на Царьград, *новгородские известия и легенду* о призвании трех братьев-варягов. Во всем остальном соглашаемся с А. А. Шахматовым („Сказание о призвании варягов", *Известия Отдела русск. яз. и слов*. Ак. Наук, 1904, т. IX, стр. 284—365). См. о Вышате ниже.

[2] Лаврентьевск. лет., 882 г.

3

Менее ясно, чем работа Никона, выступает вся дальнейшая история киево-печерского летописания в XI в.

Не подлежит, однако, сомнению, что заветы Никона по ведению летописания с общерусскою и антигреческою направленностью твердо выполнялись. Никон сумел внушить в монастыре сознание важности летописной работы. Забота о ведении летописания перешла из рук умершего Никона к монастырю в целом.

Мы увидим в дальнейшем, как сознание важности летописной работы распространяется и за пределами монастырских стен, вызывая неоднократные вмешательства в летописание княжеской власти. Авторитет летописи неуклонно растет во всех слоях киевского общества.

Вновь и вновь, со все возрастающей настойчивостью обращаются киево-печерские летописцы к идее единства княжеского рода — единственного, с их точки зрения, связующего Русскую землю политического устройства. Они требуют от князей активной борьбы с половцами — далеких степных походов.

В особенно резкие отношения вступил монастырь с князем Святополком (1093—1113 гг.) в начале его княжения. Киево-печерский патерик свидетельствует, что Святополк „много насилие людем сътвори", что он богатства „многы отъим" (отнял) и тем самым ослабил русских: „и быша брани многы от половець, к сим же и усобица бысть в та времена, глад крепок, и скудость велиа при всем в Руской земли".[1] Игумен Иоанн открыто обличал Святополка „несытства ради, богатства и насилия ради".[2] Те же обличения Святополка в разорении людей и в отсутствии крепкого отпора степи, в результате чего половцы укрепились „и много насильствующем нам",

---

[1] „Киево-печерский патерик", под ред. Д. И. Абрамовича, Киев, 1931, стр. 149.

[2] Там же, стр. 154.

встречаем мы и у составителя рассказа о чуде Бориса и Глеба, освободивших невинно заключенных Святополком.[1]

Именно к этим перовначальным годам княжения Святополка, отмеченным резкими конфликтами с ним Киево-печерского монастыря,[2] относится составление нового печерского летописного свода, названного А. А. Шахматовым Начальным. Его состав устанавливается А. А. Шахматовым, как мы уже говорили, на основании новгородских летописей.

Начальный свод имел особое название: „Временник, еже нарицается летописецъ рускых князь и како избра бог страну нашу на последнее время, и гради почаша быти по местом...[3] по статии Киева, како въименовася Киев".[4] За заглавием следовало предисловие, содержание которого замечательно. Оно начинается с патриотических высказываний летописца. Киев назван по имени Кия, подобно тому как Рим назван по имени царя Рима, Антиохия по имени Антиоха, Селевкия по имени Селевка, а Александрия по имени Александра. Промыслу божию было угодно, чтобы на месте, где прежде приносили жертвы бесам, возникли златоверхие каменные церкви и монастыри, наполненные черноризцами, проводящими время в молитвах. Если и мы прибегнем к святым церквам, то получим большую пользу душе и телу. Автор предисловия пишет, что в его задачу входит рассказать о начале Русской земли

---

[1] Успенский сборник XII в. Моск. Синодальн. библиот. № 175/78; теперь в Гос. Историческом музее. Сказание о Борисе и Глебе издано Бодянским (Чт. в Общ. ист. и древн. росс., 1870, кн. 1) и А. А. Шахматовым и П. А. Лавровым („Сборник XII в. Московского Успенского собора", вып. I, 1899, отт. из Чт. в Общ. ист. и древн. росс.).

[2] Ср., например, конфликт на почве продажи соли (см. в Киево-печерском патерике рассказ о Прохоре Лебеднике).

[3] Дальнейшие слова, читающиеся теперь в новгородских летописях „преже новгородьская волость и потомь Кыевьская", считаю вставленными в Новгороде. Мысль эта была типична для Новгорода XII—XIII вв. В 1206 г. Всеволод III говорил: „а Новгород Великии старейшинство имать княженью во всей Русьской земли" (Лаврентьевск. лет., 1206 г.).

[4] Софийская первая летопись, Полн. собр. русск. лет., т. V, вып. 1, Л., 1925, стр. 8.

и о русских князьях — как и откуда они явились. Затем автор обращается с просьбою к читателям с любовью внимать его рассказу о том, каковы были древние русские князья и их мужи, как они обороняли Русскую землю и покоряли другие страны. Противопоставляя тех князей нынешним, автор пишет: те князья не собирали себе большого имения и не теснили людей вирами и продажами. А дружина князя кормилась, воюя другие страны, и не обращалась к князю с жалобой на то, что ей мало предложенного ей жалованья. Автор предисловия приводит речи, с которыми обращались старые дружинники к своим князьям. Они говорили „братие! потягнем по своемь князи и по Руской земли“, а теперешние говорят: „мало мне, княже, 200 гривен“.[1] Старые не воскладали на своих жен золотых обручей, как нынешние, а ходили жены их в серебряных. Те, старые, „расплодили“ Русскую землю, теперь же за наше „несытство“ навел бог на нас поганых. Скот, села, богатства — все взяли поганые, а мы злых своих дел не прекращаем. Далее следуют благочестивые увещания.

Текст предисловия Начального свода дошел до нас в новгородских летописях не в полном виде. Можно предполагать, что в предисловии были пропущены упреки князьям за междоусобные войны и плохую оборону Русской земли. Упреки эти были чрезвычайно существенны для Начального свода, идеи которого воспроизводило предисловие, но они были невыгодны новгородцам в XII в., когда это предисловие было пересажено в новгородскую летопись, и применено там в целях антикняжеской пропаганды. Новгород в XII в. выигрывал от ослабления княжеской власти, но он существенно страдал от поборов, конфискаций, вир и других тягот, которыми князья облагали население. Поэтому новгородцы сохранили в предисловии упреки князьям в „несытстве“, но устранили все, что относилось к слабости князей: критику их междоусобий и плохой обороны Русской земли. А что такая критика когда-то имелась в предисловии, — видно из заключительной части Начального

[1] Текст Софийской первой летописи; там же, стр. 9.

свода. В нем под 1093 г. читались строки, во многом повторявшие мысли предисловия.[1] Читались в заключении и проникновенные описания разорения Русской земли от половцев. Отдельные элементы этого описания относятся к самым трогательным строкам русской летописи; таково, например, описание мучений русских в половецком плену.[2]

Но характерно, что, толкуя половецкое разорение как наказание божие за грехи князей и дружины, автор не усматривает в этом признаков бессилия Руси. Наоборот: кто дерзнет сказать, что мы ненавидимы богом, спрашивает летописец, кого еще бог так возлюбил, как нас, кого так почтил, как нас, прославил и вознес? — никого! Потому-то так строго и наказывает нас, чтобы мы исправились.

Таким образом, Начальный свод ставил себе публицистические задачи. Примером древних русских князей он стремился исправить новых. Русская история рассматривалась как назидательное и воспитывающее патриотизм чтение.

Такое же значение, какое имели для Никона рассказы Вышаты, — для составления Начального свода имели рассказы сына Вышаты — Яна. Впервые приводит летописец сведения о Яне Вышатиче под 1071 г., где записывает со слов Яна об усмирении им восстания волхов в Белозерье, куда Ян прибыл

---

[1] Ср. в заключении Начального свода: „Да никътоже дьрзнеть рещи яко ненавидимы богъмь есмы! Да не будеть. Кого бо тако бог любить, якоже ны възлюбил есть? Кого тако почьл есть, якоже ны прославил есть и възнесл есть? Никого же“ (Лаврентьевск. лет., 1093 г.); и в Предисловии: „Велик бо есть промысел божий еже яви в последняя времяна! Куда же древле поганин жряху бесомь на горах, тода же ныне святыя церкви стоят златоверхия, каменозданныя, и монастыреве, исполнени черноризець, беспрестани славяще бога в молитвах, в бдениих, в постех, в слезах, их же ради молитв мир стоит“ (Софийская первая лет., там же, стр. 21).

[2] „Стражюще, печални, мучими, зимою оцепляеми, в алчи, и в жажи, и в беде опустневше лици, почерневше телесы, незнаемии страною, языком испаленым, нази ходяще и боси, ногы имуще сбодены терньем со слезами отвещеваху друг к другу глаголюще: «аз бех сего города», и други: «аз: сея вси» [села]. Тако съупрашаются со слезами род свой поведающе и въздышюче“ (Лаврентьевск. лет., 1093 г.).

от князя Святослава для сбора „полюдья". К Святославу Черниговскому Ян, очевидно, попал на службу из Тмутаракани, пользуясь теми тесными связями, которые существовали между Тмутараканью и Черниговом. Затем Ян появился в Киеве — очевидно опять-таки в дружине Святослава, когда последний стал киевским князем. Здесь в Киеве Ян достиг при Всеволоде поста тысяцкого,[1] но уже в конце правления Всеволода его положение стало непрочным: он жалуется на то, что Всеволод стал „любить смысл уных" дружинников и отстранять „первых" (т. е. прежних), к которым принадлежал сам.[2] При Святополке Ян был вовсе отставлен от политической деятельности, примкнул к числу недовольных и делился с печерским летописцем своей досадой.

Чем так недовольны были старые дружинники и почему Всеволод и Святополк отстранили Яна Вышатича? Ответ на этот вопрос дает М. Д. Приселков: „Такое единомыслие в дружинном вопросе двух князей, представителей двух враждебных ветвей княжеского дома, представителей двух сменявших друг друга поколений, нельзя, конечно, отнести к личному капризу их, как казалось это Яну, а проистекало из того, что условия жизни круто менялись, и новые условия требовали новых исполнителей. Легко догадаться, сопоставляя этот факт с «Правдою» Ярославичей, что, князья «Руской земли» переходили от сборов полюдья и даней к феодальной эксплоатации, что, конечно, существенно меняло весь строй жизни и князей и дружинников, из которых «первые» не умели и не могли приспособиться к условиям новой жизни, упрекая князей в том, что они «вирами и продажами» разоряют население, забыв о былых покорениях чужих земель, как лучшем средстве содержания себя и дружины.

Ян, как и все старики, срывал свой гнев на «юных» дружинниках тем, что в рассказе о заседаниях боярской думы

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1089 г.

[2] См.: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XVвв"., Л., 1940, стр. 19.

Святополка (1093 г.) делил дружину (как, смягчая выражения Яна, записал летописец) на «смысленных» (т. е. стариков) и «несмысленных» (т. е. новых дружинников)".[1]

Трижды ссылается печерский летописец на речи „смысленных людей", состав которых определяется самим летописцем так: „Янь и прочии". В уста этих „смысленних людей" летописец влагает совет Святополку не выступать против половцев в одиночку, а только сообща, соединившись с войском Владимира Мономаха. „Смысленные люди" говорили Святополку: „не кушайся противу им [против половцев], яко мало имаши вои". Но Святополк отвечал: „имею отрок своих 800, иже могуть противу им стати". Его поддержали „несмысленные": „поиди, княже". Снова и снова настаивают „смысленные" на необходимости соединенных военных усилий против степи: „аще бы пристроил [их] и 8 тысячь, не лихо то есть: наша земля оскудела есть от рати и от продажь; но послися к брату своему Володимеру [Мономаху], да бы ти помогл".[2] „Смыслении мужи", и между ними Ян, обращаются к русским князьям с призывом: „почто вы распря имате межи собою? а погании губять землю Русьскую; последи [потом] ся уладита, а ноне поидита противу поганым, любо с миром, любо ратью".[3]

Личное чувство раздраженных своим отстранением от дел стариков перерастает у них в широкий протест общественного значения. Призывы „смысленных мужей" к согласованному отпору степным кочевникам роднят заключительную часть Начального свода со Словом о полку Игореве. Именно это широкое общерусское содержание речей „смысленных людей" и между ними в первую очередь, конечно, Яна, а не только личное чувство обиженного, заставляло прислушиваться к их речам составителя Начального свода, очевидно, отбиравшего из „речей" Яна для своих записей лишь то, что

---

[1] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 19.

[2] Лаврентьевск. лет., 1093 г.

[3] Там же.

имело широкий общественный интерес и опускавшего все то, что было продиктовано только личной обидой. Этим умением отобрать материал, умением придать своей критике княжеских раздоров и княжеской политики по отношению к степи характер широкого общественного протеста, высокой оценкой русской истории в целом летописание Печерского монастыря приобретало все больший и больший авторитет.

Направление летописания тревожит Святополка. Он воспринял, очевидно, составление Начального свода как политическое выступление монастыря против него и в защиту его врага — Мономаха. Игумен монастыря Иван был арестован и сослан в Туров — город, где княжил Святополк до своего занятия киевского стола. Этот разрыв Святополка с монастырем продолжался до 1098 г. Затем Святополк, заинтересованный в идейной поддержке монастыря, примиряется с ним и оказывает всяческую поддержку монастырю в его неладах с киевским митрополитом-греком. Святополк становится деятельным сторонником общерусских традиций монастыря.

Глава 7

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕТОПИСНОЙ ФОРМЫ

1. Основы летописания в исторических преданиях

Чем объяснить то огромное распространение, которое получает летопись в XI, XII и последующих веках? Откуда явилось такое беспримерное тяготение к историческим записям, по своей форме глубоко отличным и от византийской и от западно-европейской хронографии?

Кажется вероятным, что еще до того, как установилась летописная традиция в письменности, в устной практике уже существовало тяготение к систематизации исторических сведений. Фольклор всех народов на определенных стадиях развития тяготеет к „историзму“: исторические предания рода, историческая сказка, историческая местная легенда и т. д.

Типичный переход от исторического устного предания к историческим письменным произведениям представляют собою скандинавские саги.

Саги — ни что иное, как изустные летописи — летописи родов. Это „подробные родословные со всеми именами мужских и женских предков и рассказы о их жизни и подвигах".[1] *Они рассказывались не для забавы: их главная цель — образовательная.* Исландские саги ценились за точные и обстоятельные сведения, даваемые о деятелях исландского самоуправления и происшествиях на острове.[2]

Такое отношение к сагам, как к изустной истории своего народа, побудило уже в конце XII столетия к их записыванию.

Записанные саги являлись своеобразными летописями родов, изложенными тем стилем, который был свойствен им еще в их устном предании. *Характерно, что первые записыватели* саг были настоящими историками, соотнося отдельные известия саг и снабжая их перекрестными ссылками. Однако сравнительно небольшое количество знатных родов в Исландии и ограниченность самого предания не позволили этим первым записям саг превратиться в настоящую историю народа. Саги не были соединены в единое произведение по истории всего народа. Летописи знатных скандинавских родов не были соединены в историю страны.

Иной была судьба устных родовых преданий на Руси. Исторические предания знатных родов существовали на русской почве так же, как они существовали повсеместно.

В частности, внимательный анализ киевского летописания XI — начала XII в. показывает, что многие записи сделаны

---

[1] С. Н. Сыромятников. „Саги скандинавского севера", Сборник *„Древне-северные саги и песни скальдов в переводах русских писателей"*, СПб., 1903, стр. 254.

[2] См.: Ф. Д. Батюшков. *„Древне-северные саги и сага о Финнбоге Сильном"*, там же, стр. 216. Собственно родовые саги на русский язык не переведены. Типичная родовая сага недавно издана *в переводе на* английский язык: „The Vatnsdalers' Saga". Translated by Gwyn Jones, New York, 1944.

в нем на основании устных рассказов двух лиц: Вышаты и его сына Яна Вышатича. О последнем летописец сам свидетельствует под 1106 г.: „от него же и аз многа словеса слышах еже и вписах в летописаньи семь, от него же слышах".[1]

Три поколения летописцев Киево-печерского монастыря были в дружественных отношениях с Вышатой и его сыном Яном на протяжении 1064—1106 гг.[2] Можно установить, что круг рассказов Вышаты и Яна Вышатича, использованных летописцами, был шире тех сведений, которые приписаны Вышате и Яну в исследованиях академика А. А. Шахматова.[3] Повидимому, эти рассказы были связаны с преданиями их древнего рода, судьбу которого можно проследить в летописи на протяжении семи поколений.

В самом деле, Вышата был сыном новгородского посадника Остромира, с именем которого связан древнейший из дошедших до нас памятников русской письменности — знаменитое Остромирово евангелие 1056—1057 гг. Об этом прямо заявлено в летописи: „бежа Ростислав Тьмутороканю, сын Володимерь, вьнук Ярославль, и с нимь бежа Пореи и В ы ш а т а, с ы н О с т р о м и р ь воеводы Новьгородьского".[4] Остромир

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1106 г.

[2] Никон, составитель Начального свода 1093 г. и Нестор летописец.

[3] А. А. Ш а х м а т о в. „Разыскания о древнейших русских летописных сводах", СПб., 1908, стр. 226 и др.

[4] Ипатьевск. лет., 1064 г. В последнее время М. Д. П р и с е л к о в („История русского летописания XI—XV вв.", 1940, стр. 18) высказал сомнение в правильности этого указания летописи. В Повести временных лет сказано, что к моменту смерти Яна Вышатича в 1106 г. ему было 90 лет. В таком случае отец Яна — Вышата должен был быть сверстником Остромира и не мог приходиться ему сыном. Между тем легче допустить ошибку летописца в определении возраста Яна, чем в определении отца Вышаты. Число 90 обычно употреблялось в качестве эпического определения преклонного возраста. Ср., например, в былине о Василии Буслаевиче: „А и жил Буслай до девяносто лет"(К. Д а н и л о в, № 9), или: „жил Святослав 90 лет" (Г и л ь ф е р д и н г, № 73). Естественно, что летописец, записавший от Яна Вышатича ряд рассказов о весьма отдаленных временах, несколько преувеличил возраст своего корреспондента и прибег к обычному определению старости. Если

же был сыном новгородского посадника Константина. Факт этот в свое время был установлен еще известным археологом Д. И. Прозоровским.[1] Константин был сыном новгородского посадника Добрыни[2] — будущего героя русских былин — Добрыни Никитича. Добрыня же был сыном Малка Любечанина или Мстищи-Люта Свенельдича,[3] а этот последний — сыном знаменитого в русских летописях воеводы Свенельда.[4] Судьба всех этих предков Яна Вышатича отражена в летописи на основании устных рассказов Вышаты и самого Яна.

же признать указанный летописцем возраст Яна правильным, то мы должны были бы притти к заключению, что в 50 лет Ян пользовался еще очень малой известностью, состоя дружинником черниговского князя; в 70 лет Ян достиг поста тысяцкого в Киеве; в 80 лет был в зените своей деятельности и вел чрезвычайно энергичную политику и только после был отстранен от политической деятельности „уными" дружинниками Всеволода, а затем и Святополка по политическим соображениям, хотя и после стремился попрежнему вступить в политическую борьбу своего времени, а накануне своей смерти участвовал в походе против половцев, победил их и преследовал на огромном расстоянии от Заречьска до самого Дуная. Аналогичная неточность в определении возраста идеализируемого князя имеется в „Слове о князех" (Памятники древней письменности, XCVIII, 1894, стр. 9): возраст Давида Святославича определен в „Слове" как девяностолетний; на самом деле Давид умер гораздо моложе.

[1] Д. И. Прозоровский доказывает это припиской в так называемом „Остромировом евангелии" 1056—1057 гг., где Остромир назван „близоком" князя Изяслава, т. е. его дальним родственником. Остромир не князь и не мог быть князем как посадник. Среди посадников мы, вообще, почти и не встречаем людей княжеских фамилий. Поэтому, — утверждает Д. И. Прозоровский, — посадника Остромира следует рассматривать как сына посадника Константина, который в свою очередь был сыном „уя" (дяди) Владимира I — Добрыни.

[2] Ср., например, в Лаврентьевской летописи под 1018 г.: „посадник Коснятин сын Добрынь..."

[3] О том, что отец Добрыни был Малк Любечанин прямо говорится в Повести временных лет под 970 г., где приводятся данные о происхождении Добрыни и князя Владимира. Шахматов установил, что отец сестры Добрыни Малуши-Малфреди древлянский князь Малк Любечанин идентичен с Мстиславом Лютым.

[4] См. под 945 г. о Свенельде: „тоже отець Мистишин".

Глава XIV „Разысканий о древнейших русских летописных сводах" А. А. Шахматова — „Мстиша Свенельдич и сказочные предки Владимира Святославича", черезвычайно ценная по своим материалам и выводам, целиком посвящена отцу и деду Добрыни — Мстише Люту Свенельдичу и Свенельду. Выводы этой главы „Разысканий" А. А. Шахматова дают важный материал, подтверждающий существование устного предания о роде Яна Вышатича.

В своем исследовании А. А. Шахматов пришел к выводу о резком расхождении в сведениях о Мстише-Люте и Свенельде между Древнейшим сводом и сводами более поздними — конца XI — начала XII в. И тут, и там отразились два различных ряда исторических преданий о Свенельде и его сыне.

Первоначальный вариант устных исторических преданий о Свенельде тесно связывал Свенельда с убийством Игоря. Игорь дал Свенельду право сбора дани в Деревской земле. Повидимому, в Древнейшем своде читалось об Игоре: „И бе у него воевода именьмь Свенельд. И иде Игорь... И примучи угличе и възложи на ня дань и въдасть Свенельду; и дасть же дань деревьскую Свенельду; и имаше по чьрне куне от дыма. И реша дружина Игорева: се дал еси единому мужеви мъного отроци Свенельжи изоделися суть оружием и пърты, а мы нази" и т. д.[1] Побуждаемый ропотом дружины Игорь идет походом в Деревскую землю. Свенельд не отказывается от прав на Деревскую дань. Игорева дружина сражается с дружиной Свенельда и подданными Свенельда — древлянами. В происшедшем столкновении Игорь убит сыном Свенельда — Мстишей (Мстиславом Лютым).[2]

В последующем летописании этот ход события резко изменен. Изменения эти очень важны своею тенденциозностью. Изменено начало рассказа об уступке Игорем дани Свенельду. Иному освещению подвергся самый ход столкновения Игоря с древлянами. Мстиша-Лют находится уже на службе у киев-

---

[1] „Разыскания...", стр. 106 и след.

[2] Там же, стр. 365.

ского князя, не он убивает киевского князя, а его самого убивает древлянский князь, когда *он зашел на его землю.* „Исключен всякий намек на то, что убиение Игоря возникло в конце концов на почве соревнования дружины Игоревой с дружиной Свенельда...“ [1]

На основании позднейших устных сказаний летописец конца XI в. стремится всячески подчеркнуть, что и Свенельд, и его сын Мстиша не враждебны киевскому *князю*, но что *они* его верные слуги. Характеризуя этот второй слой устных преданий о Свенельде и Мстише и работу позднейшего редактора-летописца, А. А. Шахматов пишет: „Для редактора важно одно: благополучно довести до конца свой рассказ, отступивший от основного источника, и устранить мысль о *том, что Игорь* убит Свенельдом и Мстишей — этими народным героями, а не самими древлянами“.[2] „Устраняя из лагеря противников киевского князя Свенельда и Мстишу, — пишет А. А. Шахматов, — составитель Начального свода руководствовался таким источником, который прямо называл их слугами и приверженцами этого князя“.[3]

Обратим внимание на еще одну тенденциозную вставку, сделанную в рассказе о возвращении Святослава на Русь из Болгарии. Свенельд советует Святославу не итти мимо порогов: „поиди, княже, около на коних: стоять бо печенези в порозех. И не послуша его, нъ поидоша в лодьях“.[4] Ослушание Святославом Свенельда ведет к его гибели.

А. А. Шахматов не мог точнее определить этот устный источник и причину сочувствия этому устному источнику летописца-редактора. Однако зная, что Свенельд и Мстиша были предками Яна и Вышаты, что Ян и Вышата были в дружественных отношениях с тремя поколениями летописцев, ясно видим вызывавший сочувствие летописцев устный источник — это родовые предания их друзей Яна и Вышаты.

[1] Там же, стр. 367.

[2] Там же, стр. 369.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 370.

Героизация своего рода, настойчивое, упорное подчеркивание преданности своего рода роду киевских князей характерны для всего цикла родовых преданий Яна и Вышаты.

Все летописные известия о Добрыне, которые А. А. Шахматов считает также зависящими от устного предания, имеют ту же родовую тенденцию. В летописной статье 970 г. подробно рассказывается о родстве Добрыни и князя Владимира: Добрыня „уй" (дядя) Владимира. Затем говорится о том, что Владимир I Святославич стал новгородским князем при помощи Добрыни: Добрыня посоветовал новгородцам просить к себе на княжение Владимира. С этим рассказом явно связано сообщение 980 г. о сватовстве Владимира к Рогнеде. Сообщение это о сватовстве Владимира к Рогнеде, дочери полотского князя Рогволода, об отказе Рогнеды пойти замуж за сына рабыни и о последующем походе Владимира на Полотск и о захвате Рогнеды в то самое время, когда ее уже хотели вести к Ярополку, развит характерными подробностями в рассказе Лаврентьевской летописи 1128 г. о том же сватовстве Владимира к Рогнеде. Там в активной роли выступает Добрыня „храбор и наряден мужь". Характерна и тут специфически „родовая" точка зрения рассказчика. Владимир — племянник Добрыни по матери. Эта мать Владимира и сестра Добрыни была ключницей — по имени Малуша (дочь Мала). За нее то Рогнеда и укоряет Владимира именем „робичича" (сына рабыни), но „робичичь" Владимир оказывается все же удачливее своего более высокого по рождению брата Ярополка. Гордая Рогнеда достается именно ему, а не Ярополку.

Под 980 г. снова говорится о Добрыне и снова упоминается о том, что он приходится дядей Владимиру. Владимир выгнал из Новгорода посадников Ярополка, — „родового" врага своего и Добрыни, — сменив их, повидимому, Добрыней. Ярополк снова посрамлен, и кем же? — дядею Владимира по матери-рабыне — Добрынею.

Под 985 г. рассказывается о походе Владимира и Добрыни на болгар. Вновь подчеркивается, что Добрыня приходился дядею Владимиру; вновь Добрыня выступает в активной роли,

покровительственно относясь к пассивному Владимиру: после победы над болгарами Добрыня говорит Владимиру: „съглядах колодник, ожи суть вси в сапозех; сим дани нам не даяти, поидем искат лапотников“.[1]

В те же отношения, что Свенельд и Святослав, Добрыня и Владимир, вступает и сын Добрыни — Константин с Ярославом. Испорченный текст известия 1017 г. „Ярослав иде и погоре церкви“ А. А. Шахматов на основании одной записи в росписи князей новгородских в поздних новгородских сводах предлагает читать, с известной долей вероятности, следующим образом: „Ярослав, идя Киеву, посади Новегороде Костянтина Добрынича“.[2] В следующих новгородских известиях посадник Константин, сын Добрыни, играет ту же активную роль, что и его отец. После победы Болеслава Ярослав прибежал в Новгород и хотел уже бежать дальше за море, но новгородцы во главе с Константином, сыном Добрыни, рассекли ладьи Ярослава, а затем заявили: „хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомь“.[3] Новгородцы собрали деньги, снарядили дружину, и Ярослав вышел победителем в борьбе, заняв киевский стол. Как Владимир был обязан княжением Добрыне, так Ярослав обязан киевским столом его сыну Константину Добрыничу.

С Остромиром не связано в летописи определенных преданий, но он сам заявил о своем родстве князю Изяславу в приписке к Остромирову евангелию (см. выше).

Что же касается до Вышаты, то в его рассказах о собственных подвигах — опять присутствует та же „родовая“ тенденция. В одном из летописных сводов второй половины XI в. рассказ о поражении сына Ярослава — Владимира в 1043 г. был переработан так же, как были переработны и рассказы о Свенельде и Мстише-Люте. В летописную статью 1043 г. были сделаны вставки. Можно считать достоверным, что вставки

---

1 Лаврентьевск. лет., 985 г.

2 „Разыскания...“, стр. 178.

3 Лаврентьевск. лет., 1018 г.

эти были сделаны на основании рассказов Вышаты или Яна Вышатича. В этих вставках подчеркнуто воеводство Вышаты, причем так, точно Вышате принадлежало главное воеводство, хотя в первоначальном рассказе воеводой значился Иван Творимирич.

И Вышата, и Ян рассказывали, кроме того, летописцам о своей борьбе с волхвами, о сборе полюдья в Белозерском крае (1071 г.).

Кроме родовой тенденции, в рассказах Вышаты и Яна Вышатича о своих предках отчетливо выступают и ноты личной обиды. И Вышата, и Ян сблизились с летописцами уже на закате своей служебной карьеры. Летопись указывает, что Всеволод стал „любить смысл уных" дружинников и отодвигать „первых" (т. е. прежних). В числе обиженных был и Ян Вышатич. Старые дружинники упрекали Всеволода в том, что они „вирами и продажами" разоряли свою собственную землю, а не в далеких походах[1] искали наживы для прокормления себя и дружины.

Служебные неудачи Вышаты и его сына Яна Вышатича, их воззрения на политические события своего времени превосходно объясняют характер сообщенных ими сведений о своих предках. С упорством обиженных подчеркивают Вышата и Ян Вышатич свое родство роду киевских князей. Выяснение этого родства через Малушу составляет один из существенных моментов летописных известий о Добрыне. Свое родство с Изяславом подчеркивает Остромир. Напомнить о своих родственных отношениях входило в задачи Вышаты и Яна. И Вышата, и Ян упорно говорят о тех мудрых советах, какие давали их предки киевским князьям. Нежелание послушать совета Свенельда послужило причиной гибели Святослава. Владимир неоднократно исполнял советы Добрыни и даже добился руки полоцкой княжны Рогнеды благодаря содействию Добрыни. Владимир — вообще любимейший князь этих устных

[1] См. об этом подробнее: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI — XV вв.", Л., 1940, стр. 19.

преданий. Неоднократно подчеркивается его большая удачливость сравнительно с братом от другой матери — *Ярополком.* Это и понятно: именно Владимир, а не Ярополк, был племянником Добрыни по матери Малуше. Владимир же изгнал из *Новгорода посадников Ярополка, посадив* на их место Добрыню. Слушается советов сына Добрыни Константина и Ярослав. Именно Константину был обязан Ярослав своей победой над Святополком и дальнейшим вокняжением в Киеве. Тенденциозность этих рассказов ясна — в них подчеркивается, что киевские князья не гнушались советов „смысленных людей", как гнушаются ими нынешние, предпочитающие им молву „несмысленных".

Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что в деятельности всех решительно представителей рода Вышаты и Яна отмечаются их дальние походы, их сборы даней и полюдья, что должно было служить косвенным упреком современным им князьям, которые не думают о сборе дани с соседних народов, предпочитая „вирами и продажами" разорять собственное население. О походах за данью повествуется в известиях о Свенельде и Мстише-Люте. О сборах дани с болгар рассказывается *в летописных статьях о Добрыне.* В собственной деятельности Вышата и Ян отмечают именно эти далекие походы, участниками которых они были: на Константинополь (Вышата), за сбором полюдья в Белозерье (Ян).

Предания о роде Яна Вышатича и Вышаты были известны, однако, не только в узких пределах этого рода. Они получили широкое распространение.

Уже в 1128 г., через 22 года после смерти Яна, летописец привлек исторические *предания о Добрыне* для объяснения родовой вражды полоцких князей рогволодовичей с ярославичами. Изложив под этим годом некоторые события в *Полоцком княжении,* летописец переходит к изложению предания о Владимире I Святославиче и Рогнеде, в котором в активной роли выступает и Добрыня. Историческое предание это летописец передает уже не со слов какого-либо представителя рода Добрыни, а как народную молву. На это прямо указыва-

ют первые же слова рассказа: „о сих же Всеславичих сице есть яко сказаша ведущии преж“.[1] Далее летописец рассказывает как Владимир, княживший еще в Новгороде, послал своего воеводу Добрыню к Рогволоду просить руки его дочери Рогнеды. Рогнеда не пожелала выходит замуж за „робичича“ — сына Малуши („она же рече: «не хочю розути робичича»“). Владимир гневается и жалуется Добрыне. Добрыня же „исполнися ярости“, идет походом на Полотск, берет город приступом, а Рогволода, жену его и дочь уводит в плен. Владимир убивает Рогволода и женится на Рогнеде, назвав ее Гориславой.

Эпизод этот сохранен русским героическим эпосом в былинном сюжете о Добрыне-свате. Но рассказ на этом не прерывается, и дальше сообщается легендарная история ссоры Владимира и Рогнеды, во время которой малолетний сын их Изяслав вступается за мать с мечом в руках.

Приведя это историческое предание о Владимире и Рогнеде-Гориславе, летописец замечает: „и оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлих внуком“,[2] мотивируя тем самым вставку в летописный текст народного сказания.

Итак, перед нами ясное свидетельство того, что уже в начале XII в. предания о Добрыне, выделившись из родового предания потомков Свенельда, получили широкое распространение в народе.

Исследователями давно отмечена связь современных былинных сюжетов о Добрыне с летописными известями о нем же. Обратим внимание на некоторые стороны этой связи, на которые до сих пор не обращалось достаточного внимания. Добрыня и в былинах, и в летописи занимается сбором дани с соседних народов. Как в тмутараканском предании, в котором русские первоначально платили дань хазарам, а затем сами стали ее собирать с них, так и в былинах Добрыня вместо того, чтобы отвезти дань Идолищу, сам собирает ее и при-

---

1 Лаврентьевск. лет., 1128 г

2 Там же, 1128 г.

возит Владимиру. Вместе с тем былины подчеркивают родство Добрыни и Владимира, подобно тому, как это делает летопись. В былинах Добрыня „племянник“ Владимира, т. е. его родственник — „соплеменник“ (см. *Толковый словарь Даля*). Значение этого слова в древне-русском языке также не вызывает сомнений: это родственник, соплеменник.[1]

В русский былевой эпос проникли из родовых преданий Вышаты и Яна Вышатича не только воспоминания о Добрыне. В разное время в нем отразились следы каких-то припоминаний об отце Добрыни-Мстише, его сестре Мальфредь Мистинишне, сыне Константине, брате Яна Вышатича — Путяте, о самом Яне Вышатиче и др.

На исторический прообраз Никиты Залешанина в лице Мистиши Древлянина было указано еще А. А. Шахматовым в „*Разысканиях*“: „...былины сохранили отчество Добрыни, вытекавшее из первоначального о нем рассказа в Древнейшем Киевском своде: они называют его Никитичем, а Древнейший Киевский свод указывал, что он был сыном Мистиши. В виду этого мы вправе искать в былинах воспоминаний о самом Мистише, которого ждем, между прочим, в виде Никиты.

Предполагаю, что образ Никиты Залешанина (Заолешанина) отразил в себе образ Мистиши Древлянина;[2] замечательно, что он богатырь не киевский, — поэтому, когда Илья Муромец выдал себя за Никиту, его *никто* не узнал в княжеском тереме кроме, впрочем, Добрыни Никитича, очевидно, не в пример другим киевским богатырям, знавшего Никиту Залешанина. Впрочем, в некоторых былинах он назван в ряду других киевских богатырей.[3] Мальфредь Мистинишну или Мстиславну следует, быть может, видеть в Мар-

[1] См.: И. И. Срезневский. „Материалы для словаря древне-русского языка“, т. II. Наше же значение слова „племянник“ последовательно передается в древней Руси словом „сыновец“.

[2] Ср. Песни Киреевск., IV, 46 (примеч. А. А. Шахматова).

[3] Напр. Песни Киреевск., IV, 46 (примеч. А. А. Шахматова).

фиде Всеславьевне, хотя повидимому, самый образ Маррфида заимствует у Запавы Путятичны".[1]

В числе воевод, разбивших в 1106 г. половцев у Заречьска, Ипатьевская летопись упоминает брата Яна Вышатича — киевского тысяцкого Путяту, двор которого был разграблен во время бунта киевлян против Святополка. Это известное в свое время лицо Вс. Миллер считал возможным отождествлять с былинным Путятиным Путятовичем[2] в былине о Даниле Ловчанине,[3] возводить к нему отечество Запавы Путятичны и некоторые отголоски народных сказаний о Добрыне и Путяте в истории Татищева.[4] Якимовская летопись, как известно, делает Путяту сотоварищем Добрыни и современником Владимира I Святославича. Нельзя видеть в этом исторического свидетельства существования какого-то второго Путяты, отличного от Путяты времени Владимира Мономаха, так как сама Якимовская летопись использует народные предания, в которых объединены в единое лицо Владимир Святославич и Владимир Всеволодович Мономах.

Характерно, что Запава Путятична называется иногда племянницей князя Владимира, чем подчеркивается принадлежность обоих к одному роду. С Путятой Вышатичем, братом Яна, связан и другой герой русского эпоса Казарин, которого Вс. Миллер не без основания отождествляет с летописным воеводой Казариным — сотоварищем Путяты Вышатича и Яна Вышатича по походу на половцев в 1106 г.[5]

---

[1] „Разыскания...", стр. 378.

[2] Вс. Миллер. „Очерки русской народной словесности", т. II, 1910, стр. 28 и след.

[3] Киреевский, III, стр. 29.

[4] Вс. Миллер. „Очерки...", стр. 28 и след. Необходимо отметить, что время княжения Владимира описано в Якимовской летописи „со многими пирами и веселием" („История российская", кн. 1, ч. 1, М., 1768, стр. 38) и подверглось, очевидно, значительному влиянию со стороны былин.

[5] Вс. Миллер. „Очерки...", т. II, глава „К былине о Казарине", стр. 1—31.

Наличие в X—XI вв. развитого родового предания настолько сильного, что оно проникло в летопись и сохранилось в современном былевом эпосе, — факт большого историко-культурного значения. Перед нами своеобразная устная летопись семи поколений.

Участие носителей устного родового исторического предания *Вышаты и Яна Вышатича* в летописании знаменательно. Несомненно, что из всех видов исторического эпоса — именно родовое предание по огромному периоду времени, которое оно охватывало, ближе всего стояло к летописанию. Родовые предания и в самом деле могут быть определены как своего рода устные „летописи“. И не случайно, что родовые предания скандинавского севера начинают так рано записываться, заменяя собой отсутствовавшую на севере летопись.

В русских условиях летописание более чем на столетие обогнало первые записи скандинавских саг, оно также основывалось, главным образом вначале, на устных преданиях. Но оно не клало в свою основу лишь одно устное предание. Летописец использует многие предания, многие формы исторического эпоса, заносит из них лишь те сведения, которые имели общий интерес, и как историк выбирает из различных версий ту, которая кажется ему наиболее достоверной.

Значение родовых преданий и генеалогий в образовании первых исторических письменных памятников было полностью осознано еще В. С. Иконниковым: „Первую ступень исторического предания составляет г е н е а л о г и я, сохранение замечательных и м е н, связанных первоначально, как например, в Египте, с вещественными памятниками, до тех пор, пока не является на помощь письменность, прежде которой немыслима историография... Постепенно, с присоединением к генеалогическим данным событий и замечательных подвигов, генеалогия переходит в х р о н и к у“.[1]

---

[1] „Опыт русской историографии“, т. II, кн. 1, Киев, 1908, стр. 20.

Вышата и Ян Вышатич, по свидетельству самого летописца, передавшие ему для записи свои предания, наглядно иллюстрируют этот переход генеалогии в хронику.

Сложная работа, которую производили летописцы, сводя в единую историческую картину различные устные предания, в значительной мере нивелировала особенности каждого предания, однако, огромная роль этих преданий в выработке самой летописной формы не подлежит сомнению.

2. Прямая речь в летописи

Одна из самых характерных особенностей русской летописи, резко отделяющих летописное изложение от изложения византийских и западно-европейских хроник, — это обилие случаев прямой речи. Обилие прямой речи, вкрапливаемой в летописное повествование, не может быть объяснено только тем, что древне-русской литературе в целом была более свойственна прямая речь, чем косвенная, что синтаксис русского языка XI—XIII вв. не выработал еще всех форм косвенной речи. В других жанрах русской средневековой литературы прямая речь встречается гораздо реже, чем в летописи, причем прямая речь в летописи отличается своим жизненно-конкретным, а не вымышленным характером. Это не книжная, а живая, устная речь, близко отражающая действительно произнесенные слова. Именно в прямой речи летописи более всего ощущается зависимость летописи от самой жизни. Русские летописи с поразительной точностью заносили сказанные в исторических обстоятельствах слова, они верно сохраняли все формулировки.

Чтобы понять, каким образом летописец мог относительно верно знать речи, которым он не был послухом, и почему именно русские летописцы так единодушно добросовестно относились к прямой речи, стремясь к дословному ее воспроизведению, следует несколько остановиться на том, чем была устная речь в русской дипломатической, воинской и вечевой практике XI—XIII вв.

***

И в XI, и в XII, и в XIII вв., а частично и значительно позднее все дипломатические переговоры на Руси велись устно — через устные передачи послов. Русские князья исключительно редко пересылались между собою грамотами. Их вполне заменяли „речи", точно передававшиеся послами и более или менее точно заносившиеся в летопись.

Повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского, включенная в Повесть временных лет под 1097 г., живо и конкретно передает самую процедуру посылки посла и выполнения им дипломатического поручения. Василий был непосредственным участником переговоров 1097 г., и свидетельство его представляет поэтому особенную ценность: И Давыд (ослепитель Василька), и Василько призывает выполнявшего дипломатические обязанности Василия, усаживают его как равного, беседуют с ним и отдельно сообщают ему те „речи", которые Василий должен был передать по назначению. Замечательно, что поручение сообщается Василию в форме прямой речи от лица посылающего: „иди к Давыдови и рци ему: «пришли ми Кульмея»" (слова Василька Василию).

Из этого рассказа попа Василия выясняется, что посол посылался не с грамотами, а с „речьми". Это выражение „послать с речьми" встречается в летописи неоднократно: оно есть и в Ипатьевской летописи, и в Лаврентьевской, и в Новгородской.[1]

Когда переговаривающиеся стороны взаимно посылают друг к другу послов, летопись применяет выражение „сослаться речьми".[2]

---

[1] Так, например, под 1140 г. в Ипатьевской летописи рассказывается, „и посла Вячьслав и Изяслав Мьстиславичь послы свои к Всеволоду с речьми, рядитися..." Под 1151 г. в той же Ипатьевской летописи говорится, что Изяслав Мстиславич послал „с речьми" к венграм, причем следует отметить, что одни из этих „речей" предназначены для венгерского короля, а другие, отдельно, для его подданных.

[2] „И ста Святополк в граде, а ляхове на Бугу, и сослася речьми Святополк с ляхы" (Лаврентьевск. лет., 1097 г.).

Из летописи видно, что послу давался общий наказ о том, как должен себя вести посол в том или ином случае, и отдельно поручались „речи", которые посол не мог изменять по-своему и передавал, соблюдая грамматические формы первого лица — от лица пославшего. В общий наказ послу входило, например, поручение передать поклон, спросить о здоровье и т. д.[1]

Приехав по назначению, и перед тем, как передать порученные ему „речи", посол обычно объявлял: „тако ти молвить князь", „а тако ти глаголеть" и т. п.[2]

Характерно, что термин „править посольство" относился первоначально только к той части переговоров, в которой посол передавал порученные ему речи, но не к выполнению других обязанностей посла. Это отчетливо видно из подробного описания под 1288 г. в Ипатьевской летописи посольства перемышльского епископа Мемнона к Владимиру Васильковичу: „Пр сла же потомь ко Володимеру Лев епископа своего перемышлескаго, именемь Мемнона. Слуги же его поведаша ему: «владыка, господине, приехал». Он же рече: «который владыка?» Они же поведаша: «Перемышлеский, ездить от брата

[1] Вот как, например, отряжал своего посла к Юрию Долгорукому Вячеслав Киевский. Вячеслав передает Юрию весь ход своих отношений с Изяславом, а потому просит его и его брата Ростислава присутствовать при самом „отряжении" своего посла, как живых поручителей его правдивости: „Вячеслав же рече мужеви своему: «поеди к брату Гюргеви, брата от мене целуй»; а вы брата и сына, Изяславе и Ростиславе, слушайте, перед вами и отряжю; тако молви брату моему: «аз есмь, брате, тобе (т. е., конечно, Юрию, а не послу) много молвил и Изяславу, обеима вама, не пролейта крови хрестьянскы, ни погубита Рускы земле...»" и т. д. (Ипатьевск. лет., 1151 г.).

[2] В 1149 г. посол Изяслава явился к Святославу: „И рече ему (Святославу) посол Изяславль: «тако ти молвить Изяслав, брат твой...»" (Ипатьевск. лет., 1149 г.); а затем объявил и самые „речи" Изяслава. Послы князя Глеба, отправленные к Михаилу Переяславскому, „устроиша й [Михалка], рекуще: «Глеб ся кланяеть, река: «аз всемь виноват, а ноне ворочю все...»»" и т. д. (Лаврентьевск. лет., 1176 г.). Посол Болеслава к Шварну так выполнил свое поручение: „посол же рече Шварнови: «тако ти молвить князь Болеслав: «я на Литву не жалую. .»»" и т. д. (Ипатьевск. лет., 1268 г.).

ть ото Льва». Володимер же бе разумеа древняя и задняя, на што приехал, посла по него. Он же войде к нему и поклонився ему до земле, река: «брат ти ся кланяеть». И веле ему сести. И нача посольство правити: «брат, ти, господине, молвить: стрый твой Данило король, а мой отець, лежить в Холме...»" и т. д.[1]

Записывая в летопись о том или ином посольстве, о тех или иных переговорах, летописец обычно опускал подробности отъезда и приезда посла, опускал даже иногда самые сведения о после, не упоминал его вовсе, *но стремился сохранить* самое существенное — „речи". Летописец всегда записывал их в той форме, в которой они были поручены послу или произнесены *им, т. е. в форме обращения от лица* пославшего, и никогда не передавал их от лица посла.[2]

Поручая „речи" послу, посылавший всегда употреблял форму прямого обращения к тому, к кому он посылал посла; например: „Володимери же мужи [и] Изяславли рекоша ему [послу]: «брат ти [т. е. Изяславу, а не послу] молвить Володимир и Изяслав мы есме хрест целовали, яко всим нам быти за один, а ве, брате, доспеваеве; а ты, брате, такоже доспевай»".[3]

Такое игнорирование личности посла, передача через него „речей" в форме строго личного обращения, очень часто приводило исследователей к мнению, что „речи" эти пересылались в письменной форме. Между тем порядок этих пересылок

---

[1] Ипатьевск. лет., 1288 г.

[2] „И посла Мьстислав по Ярослава, глаголя: «сяди Кыеве, ты еси старейшей брат; а мне буди си сторона»" (Лаврентьевск. лет., 1024 г.).

[3] Ипатьевск. лет., *1149 г. Также строго от лица князя* обращается и посол Изяслава Мстиславича к черниговским князьям Владимиру и Изяславу Давидовичам: „И рече им Изяславль посол: «аже устоите у крестьном целованьи, и я в [Изяслав, а не произносящий эти слова посол Изяслава] вам, брата, являю: тако ми вошло во уши, оже мя ведете лестью, а ко Святославу есте хрест целовали к Олговичю, яко на сем пути вам любо мя яти, любо убити в Игоря место, а есть ли то, братья [братьями мог называть Владимира и Изяслава Давидовича, конечно, только Изяслав Мстиславич, а не его посол], тако, или не тако»" (Ипатьевск. лет., 1147 г.).

„речьми“ отмечен в летописи еще для такого периода, когда русские послы явно не могли передавать письменных поручений. В тех же выражениях рассказывает летописец о посольских сношениях Ольги, Святослава и др.[1]

Передача „речей“ от лица посылающего со строгим соблюдением форм личного обращения князя не была вызвана тем, что посол рассматривался как безличный и механический передатчик. Послы в древней Руси никогда не были только гонцами. В послы выбирались „лепшие люди“.[2] Известны случаи, когда князья посылали послами своих сыновей. В 1128 г. Мстислав Владимирович отправил послом сына своего Ростислава; в 1151 г. Изяслав Мстиславич отправил в посольство сына Мстислава и т. д.

Объяснение, думается, лежит в ином: посол, передавая „речи“ князя, во всех случаях являлся его заместителем, фактотумом. Посол говорил от лица пославшего, как будто бы сам являлся в момент передачи „речей“ этим пославшим. Поэтому-то и оскорбление, нанесенное послу, было равнозначно оскорблению того лица, которое его послало.[3]

Таков был общий порядок исправления посольских обязанностей в древней Руси XI—XIII вв. Порядок этот был резко отличен от греческого, где все дипломатические сношения велись грамотами. Русская летопись отметила это различие. Под 1164 г. летописец рассказал, что епископ Антон, „родом. гречин“ послал г р а м о т у к Святославу Всеволодовичу, Характерно при этом, что, передавая содержание этой грамоты, летописец прибегает к тому же термину „река“, к которому привык и при передаче устных „речей“ послов: „исписав грамоту и посла к Всеволодичю, р е к а тако...“.[4] Из русских

---

[1] Ср. под 946 г.: „И стоя Ольга лето, не можаше взяти града, и умысли сице: п о с л а по граду, г л а г о л ю щ и...“; ср. также под 971, 980 и др. годами.

[2] Ср. в Лаврентьевск. лет. под 971 г.

[3] См. в Ипатьевск. лет. под 1174 г. об оскорблении, нанесенном Андрею Боголюбскому в лице его посла.

[4] Там же, 1164 г.

князей только Владимир Мономах, также родом „гречин“ (по матери), посылал „грамотицу“ князю Олегу Святославичу. Однако с другими русскими князьями Мономах никогда не пересылался грамотами, строго придерживаясь русского обычая пересылки „речьми“.

Характерна встреча обоих обычаев — греческого письменного и русского устного при заключении договоров с греками 945 и 971 гг. Русские послы правили свое посольство согласно русскому обычаю — устно, но греки записывали речи русских послов, вводя тем самым „речи“ русских послов в традиции своей собственной посольской практики. „Посла Игорь муже своя к Роману, Роман же созва боляре и сановники. Приведоша Руския слы, и велеша глаголати [и] псати обоих речи на харатье“.[1] „[И] повеле писцю писати вся речи Святославле [переданные через посла] на харатью; нача глаголати сол вся речи и нача писець (писець) писати. Глагола сице...“.[2]

Русский обычай „ссылаться речьми“, а не грамотами, был очень прочным. Хотя происхождение его восходит, несомненно, к дописьменному периоду истории Руси, но тем не менее и позднее, даже спустя несколько веков после введения письменности, русские послы попрежнему изустно говорят порученные им „речи“, не занося их на грамоты. Развитие письменности не изменило этого обычая, хотя не подлежит сомнению, что большинство русских послов, как, например, поп Василий, игумен Федос, Петр Бориславич и др. — были людьми хорошо грамотными, а иногда и незаурядными писателями.

Поразительно, что даже тогда, когда русские послы стали составлять подробные и литературно безупречные отчеты о выполненных ими дипломатических поручениях, включавшиеся иногда и в летопись, и в ней дававшие одни из самых ярких страниц, — даже и тогда русские послы продолжали попрежнему изустно передавать поручаемые им „речи“. Так, например, поп Василий, составивший блестящий отчет о своей диплома-

---

[1] Лаврентьевск. лет., 945 г.

[2] Там же, 971 г.

тической деятельности — живую, драматическую, психологически наблюдательную повесть об ослеплении Василька Теребовльского, — все посольские поручения выполнял исключительно устно. Устно же передавал поручаемые ему „речи" и Петр Бориславич, также составивший подробный отчет о своей миссии к галицкому князю Владимирку.[1] В Ипатьевской летописи в изложении событий XII в. можно обнаружить фрагменты нескольких письменных отчетов послов о выполненных ими поручениях,[2] но передача „речей" неизменно велась по заведенному исстари обычаю — устно.

Посольские „речи" от лица князей настолько вошли в практику русской жизни, что летописец, нередко говоря о посольских „речах", не упоминал о после, который эти „речи" передавал. Отсюда очень часто при чтении русской летописи создается впечатление, что князья, разделенные огромными расстояниями, свободно переговариваются друг с другом. Так, например, Святослав Ольгович в 1149 г. передавал „речи" послу Изяслава Мстиславича; летописец рассказывает об этом так, как будто бы Святослав обращался к Изяславу непосредственно: „И рече Святослав Ольгович к Изяславу Мстиславичю: «а вороти ми товара брата моего со што любо, а яз с тобою буду»".[3] Только из предшествующего и последующего изложения ясно, что „речь" эта была передана Святославом через посла.[4]

---

[1] О попе Василии и Петре Бориславиче см. ниже в главе „Летописные обличительные повести о политических преступлениях князей".

[2] Ср., например, в Ипатьевской летописи под 1147 г. отчет посла Изяслава, ездившего для переговоров к давидовичам в Чернигов.

[3] Там же, 1149 г.

[4] Так же точно Святополк и Владимир Мономах из разных мест обращаются к Олегу Святославичу в Чернигов так, как будто бы всех троих не разделяли никакие расстояния: „Святополк же и Володимер рекоста к нему: «да се ты ни на поганые идеши, ни на свет к нама, то ты мыслиши на наю и поганым помагати хочеши, а бог промежи нами будеть»" (Лаврентьевск. лет., 1096 г.). Речи эти были, конечно, составлены Святополком и Владимиром в результате предварительного сговора через послов, пере-

* * *

„Речи" передавались послами в более или менее законченных формулировках. Формулировки эти запоминались и послами, и участниками переговоров. Они могли передаваться из уст в уста, как своего рода готовые официальные определения создавшейся ситуации. Вот почему и летописец в своих записях бережно сохранял эти формулировки, внося через них в летопись живую струю обыденной, не книжной речи.

Необходимо отметить, что уже самая процедура передачи „речи" послу, а затем воспроизведения ее послом перед лицом, к которому она обращена, свидетельствует о стремлении к максимальной точности. Мы видели выше, что посол всегда передает поручаемые ему „речи" в первом лице — от пославшего, а не от себя. „Речь" посол предваряет словами „тако ти глаголет" или „тако ти молвит", — как бы подчеркивая ими „цитатный" характер передаваемых слов. Посылающий, или отвечающий, требуя передать свои „речи", также произносит их от своего лица и обращается не к послу, а непосредственно к тому, к кому его посылают.

На точность и продуманность формулировок указывает и ряд других косвенных признаков. Эти формулировки повторяются в переговорах, передаются из „речи" в „речь", их цитируют — следовательно считают установившимися и как бы закрепленными применительно к отдельным фактам.

Так, например, отпуская в 1151 г. венгров, Изяслав Мстиславич велел им передать венгерскому королю: „Бог ти помози, брате, оже нам еси тако помогл, толико можеть так учинити брат рожений или сын отцю, како же ты нам еси учинил". Изяслав предупредил венгров, что отрядит вслед им особого посла к королю: своего сына Мстислава. Очевидно, что венгры не могли представительствовать личность Изяслава. И действительно, отпустив венгров, Изяслав, посоветовавшись с Вячеславом, от лица обоих посылает Мстислава, повторяя

сылавшихся между Киевом и Переяславлем (Русским), и через послов же переданы Олегу в Чернигов.

свои слова, уже переданные однажды через венгеров, но теперь в посольстве Мстислава облеченные официальностью: „и ты нама еси тако учинил, якоже можеть так брат роженый брату своему, или сын отцю, акоже ты нама помогл“.[1]

Другой факт свидетельствует о том, что отдельные формулировки посольской речи запоминались не только самим пославшим, но и теми, к кому они были обращены. Когда Владимир Мономах послал послов к Давиду и Олегу Святославичам (1097 г.), он передал следующие „речи“: „да поправим сего зла, еже ся створи се в Руськей земьли и в нас, в братьи, оже вверже в ны ножь“.[2] Яркая образность этой формулы — „оже вверже в ны ножь“ — запомнилась и Давиду и Олегу. В свою очередь посылая к Святополку, они передают ему: „что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны?“

Точность, с которою запоминались посольские „речи“, допускала иногда довольно длинное их цитирование. Так, например, киевский князь Вячеслав обратился к Юрию Долгорукому через посла с „речью“, в которой процитировал слова Изяслава Мстиславича.[3]

Правильность подобного рода цитирования поддается проверке. Так, например, когда в 1149 г. Изяслав киевский вел переговоры с сыном Юрия Долгорукого Ростиславом, он прислал к нему послов, и те передали Ростиславу следующие речи, в которых Изяслав вспоминал свои переговоры с ним, ведшиеся в 1158 г.: „се, брате, ты если ко мне от отца

---

[1] Ипатьевск. лет., 1151 г.

[2] Лаврентьевск. лет., 1096 г.

[3] „Любо дай Изяславу чего ты хочешь, пакы ли, амо [в Ипатьевской ошибочно „яз“] поиди полкы своими ко мне, заступи же волость мою; Изяслав ми то молвить: «ты ми буди в отца место, поиди сяди же в Киеве, а с Гюргем не могу жити; не хочешь ли мене в любовь прияти, ни Киеву поидеши седеть, яз хочю волость твою пожечи»; ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло, пакы ли, брате, не поедеши, на мя не жалуй, аже моей волости пож[ж]ене быти“ (Ипатьевск. лет., 1149 г.).

пришел еси, оже отець тя приобидил и волости ти не дал; яз же тя приях в правду, яко достойного брата своего, и волость ти есмь дал, ако ни отец того вдал, что я тобе вдал, а еще есмь и Руской земли приказал стеречи тобе; а то ти есмь рекл: се аз, брате, иду на отца твоего, а на своего стрья, а ты постерези Руской земли, любо ся с ним умирю, пакы ли, а како мя с ним бог управить".[1]

Набранные в разрядку места точно повторяют содержание речей Ростислава и Изяслава, занесенных в летопись под 1148 г. Когда Ростислав бежал от отца своего Юрия и явился в Киев к Изяславу, он сказал ему: „отець мя переобидил и волости ми не дал",[2] а когда Изяслав отправился в поход на отца Ростислава Юрия, он оставил Ростислава в пограничном со степью Божеске, сказав ему: „пребуди же тамо доколе я схожю на отца твоего, а любо с ним мир възму, пакы ли, а како ся с ним улажю, а ты постерези земле Руской оттоле".[3]

Как видно из этого примера, несмотря на то, что „речи" послов прошли и через передачу летописца, и приводились (через год) по памяти Изяславом, — отдельные формулировки продолжали сохраняться, хотя порядок этих формулировок и оказался переставленным в этой тройной передаче (посла, Изяслава и летописца).

Об относительно точном воспроизведении речи послов в летописи свидетельствуют различные наблюдения. Характерно, например, что речи новгородских послов сохраняют весь свой северный новгородский колорит даже в передаче киевской летописи. Так, например, в Повести временных лет рассказывается под 1102 г., что новгородские послы (их несколько, как всегда от Новгорода) явились к киевскому князю Святополку и сказали ему: „се мы, княже, прислани к тобе, и ркли ны тако: не хочем Святополка; ни сына его; аще ли

[1] Ипатьевск. лет., 1149 г.

[2] Там же, 1148 г.

[3] Там же, 1148 г.

2 главе имееть сын твой, то пошли и́; сего ны дал Всеволод, а вскормили есмы собе князь, а ты еси шел от нас".[1] Эта речь новгородских послов настолько насыщена типичными новгородизмамя, что точность ее воспроизведения в стилистически иной — южной, киевской летописи не вызывает сомнений. В ней и характерная новгородская формула изгнания князя не принятая в других русских областях („а ты еси шел от нас"), и понятное только в устах новгородца определение „а въскормили есмы собе князь", и типично новгородское пристрастие к грубоватым поговоркам: „аще ли 2 главе имееть сын твой то пошли и́", и т. д.[2]

Итак можно думать, что и сами послы передавали поручаемые им „речи" в более или менее устойчивой форме, и летописцы заносили их в свои летописи в той же почти дословной передаче. Летописец не выдумывал „речи" послов, а записывал слышанное.

Устойчивость формы „речей" послов, их донесений и отчетов была такова, что даже черев многоустную передачу она сохранялась нередко неизменной.[3] Так, например, сооб-

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1102 г.

[2] Такая же точность в передаче новгородских „речей" явственно ощущается в другой летописи — в киевском продолжении к Повести временных лет. Под 1148 г. в ней записан очень характерный для новгородцев ответ на обращение Изяслава Мстиславича. Новгородцы отвечали в формуле, характерной и понятной только для новгородцев и, следовательно, правдиво отраженной в Киевской летописи: „Ты нашь князь, ты нашь Владимир, ты наш Мстислав! ради с тобою идем своих деля обид" (Ипатьевск. лет., 1148 г.). Под Владимиром новгородский ответ разумел, очевидно, не Владимира Мономаха, а Владимира Ярославича, а под Мстиславом — Мстислава Владимировича, чья деятельность как новгородского князя была слабо отмечена в киевской летописи, но зато хорошо памятна самим новгородцам. Также типичен для новгородцев и другой их ответ, приведенный в Ипатьевской летописи под тем же годом несколько ниже: „княже! ать же поидем, и всяка душа; аче и дьяк, а гуменце ему пострижено, а не поставлен будеть, [и тъи поидеть, а кто поставлен, — так, Хлебниковск. сп.] ать Бога молить" (Ипатьевск. лет., 1148 г.).

[3] Речи послов запоминались точно не только на Руси. Такой же обычай существовал, повидимому, на Востоке. По поводу речи Атиллы, помещен-

щения русских летописей о первом появлении татар на границах Руси облетело все русские области и отразилось в летописях новгородской, Переяславля Русского, владимирской, ростовской и галицкой в более или менее сходной форме. И это сходство сохраняется даже в тех летописях, между которыми нельзя установить непосредственной письменной связи.

Мало того, сообщение о появлении татар достигло в том же году и западно-европейских стран и там отразилось в хрониках в формулах, опять-таки сходных с русской. Цезарий Гестербахский в 47 главе X книги своей хроники пишет о Калкской битве: „В прошедшем году еще какой-то народ вошел во владения руссов и истребил там весь народ унский: нам неизвестно, что это за народ, откуда идет и куда стремится“.[1] Ср. в Новгородской первой летописи по Синодальному списку: „Том же лете, по грехом нашим, придоша языци незнаеми, их же добре никто же не весть, кто суть и отколе изидоша... мы же их не вемы, кто суть...“ „...и не съведаем откуду суть пришли и кде ся деша опять; бог весть отколе приде на нас, за грехы наша“.[2]

* * *

Само собой разумеется, что „речи“, изустно передаваемые при переговорах, иногда очень сложных, могли точно запоминаться только при том условии, если самые формулировки отдельных обстоятельств дела отличались лаконизмом, выра-

---

ной у Иорнанда (главе 39). А м. Т ь е р р и пишет, что она сохранилась в точной устной передаче („Hist. d'Attila et de ses sucsesseurs en Europe, I, p. 186). На Западе наизусть помнились законы (Э. Н. Б е р е н д с. Об источниках финляндского права, первая лекция по финляндскому праву, СПб., 1902; Melchior de P o l i g n a c. „Notes sur la littérature hongroise“, P., 1900 и др.).

[1] „Quaedam etiam gens anno praeterito intravit regna Ruthenorum et totam ibidem gentem Unam delevit: de qua nobis non constat, quae sit, unde veniat, vel quo tendat“. Ученые записки Академии Наук по I и III отдел., т. II, 1854, стр. 760.

[2] Цитировано по изданию 1888 г.

зительностью и в известной мере традиционностью формы, облегчавшей их понимание и их передачу.

Есть все основания думать, что еще в дописьменном периоде русской истории существовало высокое искусство устной речи: поэтической и деловой. В существовании искусства поэтической речи убеждает наличие фольклора, развитого и сложного; в существовании искусства деловой речи убеждает самый характер русской политической и социальной истории до XI в.: развитость норм обычного права, наличие обширных дипломатических сношений с соседними народами и между отдельными племенами.

Летопись донесла до нас многочисленные образцы различных типов устной речи. Яркою выразительностью, и в известной мере традиционностью, отличались, например, воинские речи, которыми русские князья перед битвой „подавали дерзость" своим воинам.

Вот, например, речи князя Святослава своим дружинникам: „уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино";[1] „уже нам некомо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имем..." и т. д.[2] „Аще жив буду, [то] с ними, аще погыну, то с дружиною", — говорит Вышата о своей дружине.[3] „Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети", — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами.[4] „Да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю", — говорит Василько Теребовльский.[5] „Луче, братье, измрем сде, нежели сесь [сей] сором възмем на ся", — говорит Изяслав Мстиславич черным клобукам.[6] С такими же речами обращается к своей дружине и Игорь Святославич Новгород-северский перед

---

[1] Лаврентьевск. лет., 971 г.

[2] Там же.

[3] Там же, 1043 г.

[4] Там же, 1068 г.

[5] Там же, 1097 г.

[6] Ипатьевск. лет., 1150 г.

битвой с половцами: „братья! сего есмы искале, а потягнем",[1] или: „Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будеть грех сих выдавше поидемь; но или умремь, или живи будемь на единомь месте".[2] „Братья моя милая Русь! потягните за едино сердце", говорит своим воинам Кондрат.[3] Такие же речи встречаем и в Псковской летописи: „братия мужи псковичи, потягнете за святую Троицу и за святыа церкви и за свое отечьство",[4] или: „братие не посрамим отець своих и дедов, кто стар той отець, кто млад той брат; се же, братие, живот и смерть нам предлежит; постражем за свой живот".[5]

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной „воинской" речи, о наличии традиционных формул, своеобразных воинских афоризмов. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их „братьями", и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина.[6] Но больше всего поражают они стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

Своеобразие этого воинского ораторства станет особенно ясным, если сравнить приведенные выше обращения князей перед битвами с речью, произнесенной в аналогичных обстоятельствах епископом Митрофаном. Епископ Митрофан задался тою же целью — подбодрить людей перед решительным сражением, он выражает те же мысли о равнодушии к смерти, о необходимости мужественной защиты. Но речь его лишена и лаконизма, и искусства, навычного для князей: „Чада! — говорит Митрофан, — не убоимся о прельщеньи от нечестивых, и ни приимемь си во ум тленьнаго сего и скороминующего житья, но ономь не скороминующемь житьи попечемься, еже

---

[1] Там же, 1185 г.

[2] Там же.

[3] Там же, 1281 г.

[4] Псковск. первая лет., 1230 г.

[5] Там же, 1323 г.

[6] Например, в словах Мстислава Ростиславича: „мы бо аще ныне умрем, умрем же всяко", Ипатьевск. лет., 1178 г.

со ангелы житье; аще и град нашь пленьше копиемь возмуть и смерти ны предадуть, аз о том, чада, поручьник есмь, яко венца нетленьнаа от Христа Бога приимете".[1]

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались и речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминающейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: „камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем".[2] Также энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: „даже буду виноват, да буду ту мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, Господи",[3] и многие другие.

Можно привести много других случаев, в которых сама действительность настойчиво требовала высокой культуры устной речи. Вспомним речи, произносившиеся при клятвенных заверениях на кресте,[4] речи на княжеских „снемах" (съездах) и т. д.

По самому своему содержанию „речи", передаваемые через послов, были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские, крестоцеловальные или даже произносившиеся на вече. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем, они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Дипломатическая практика XI—XIII вв. также соприкасалась со всеми областями жизни, как она соприкасается и сейчас. Тем сложнее были те задачи, которые

---

[1] Ипатьевск. лет., 1237 г.

[2] Новгородск. I лет., Синод. сп., 1214 г.

[3] Там же, 1218 г.

[4] Например, крестоцеловальные речи на Любечском съезде (Лаврентьевская лет., 1097 г.) ср. также Новгородск. I лет., Синод. сп. 1132 г.

ставились дипломатическому языку XI—XIII вв. и тем более блестяще *они разрешались*.

„Речи", передававшиеся изустно через послов, были очень ответственным моментом политической жизни древней Руси. Чтобы не быть искаженными в устной передаче, они должны были хорошо запоминаться, быть в достаточной мере краткими и выразительными. Действительно, посольские „речи", занесенные в различные списки русских летописей, во всех случаях отличаются высоким уровнем культуры устной речи в древней Руси.

Прежде всего поражает образность и лаконизм поручаемых послам „речей".

„Аз уже бородат, а ты ся еси родил", — вспоминает Вячеслав Киевский „речи", переданные им Изяславу Мстиславичу.[1] „Оже есте мой Городець пожгли и *божницю*, то *ся* тому о т ъ ж г у противу" — говорит Юрий Долгорукий Святославу Ольговичу.[2] Юрий Всеволодович следующим образом *формулировал* свое *требование*, переданное через новгородских послов: „выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тьхверью, а еще Волховомь напою".[3] Не менее выразителен и лаконичен ответ Ярослава Всеволодовича новгородским *послам*: „мира не хочем, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо".[4]

Особенное значение в посольских „речах" имела всегда выразительная антитеза: „да еще [вам] любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо",[5] „а поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы",[6] „годно ти ся с ним [Юрием] умирати, — умиришися пакы

[1] Ипатьевск. лет., 1151 г.

[2] Там же, 1152 г.

[3] Новгородск. I лет., Синод. сп., 1224 г.

[4] Там же, 1216 г.

[5] Лаврентьевск. лет., 1100 г.

[6] Ипатьевск. лет., 1148 г

ли а рать зачнеши с ним",[1] „аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же",[2] и т. д.

Нелишне отметить, что и самое построение посольской „речи" в известной мере отличается традиционностью. Так, например, если „речь" посла содержала в себе описание существующих феодальных отношений, то оно всегда ставилось впереди, а предложение или требование, предъявляемые послом на основании этой констатации, — в конце „речи".

Всеволод Суздальский прислал в Новгород к Мстиславу Мстиславичу следующие „речи": „Ты ми еси сын, а яз тъбе отець; пусти Святослава с мужи, и все, еже заседел, исправи; яз гость пускаю и товар".[3] В 1186 г. владимирцы послали к Всеволоду следующее обещание: „ты отець, ты господин, ты брат; где твое обида будеть мы переже тобе главы своя сложим..."[4] Иногда описание положения заменялось в начале речи ораторским вопросом: „пошто еси приехал и кто тя позвал? еди же у свой Чернигов".[5]

Не следует думать, что посольские „речи" на всем протяжении XI—XIII вв. оставались неизменными по своей форме; традиционность их претерпевала существенные изменения. Так, начиная с XII в., в связи с ростом христианского влияния в княжеском быту, заключительные концовки в требованиях ультимативного характера приобретают резко церковный оттенок: „што нам бог даст";[6] „не хощеши ли того створити, а за всим бог";[7] „ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло";[8] „а ка-

[1] Ипатьевск. лет., 1154 г.

[2] Лаврентьевск. лет., 1186 г. и т. д.

[3] Новгородск. I лет., Синод. сп., 1210 г.

[4] Лаврентьевск. лет., 1186 г.

[5] Ипатьевск. лет., 1154 г.

[6] Там же, 1149 г.

[7] Там же.

[8] Там же.

ко нам бог дасть";[1] „акоже ты с ним бог дасть";[2] „ать вси по месту видим, што явить ны бог";[3] а тогда како ны бог дасть с ним";[4] „да бог за всим";[5] „оже бог дасть";[6] „а то богови судити";[7] „како нам с ним бог дасть"; [8] „како ми с ним бог дась, да любо аз буду в Угорьской земли, любо он в Галичьской";[9] „а нам с королем с тобою како бог дасть";[10] „како ны с ними бог дасть и святая богородица";[11] „но како ны бог дасть"[12] и т. д., и т. п.

Итак, речи", передававшиеся через послов при переговорах, речи „воинские", речи, произносившиеся на вече, на княжеских снемах и т. д. обладали устойчивым содержанием и устойчивой формой. К устной речи в древней Руси выработалось *особое отношение: устные речи, произнесенные в официальных обстоятельствах, могли носить такой же „документальный" характер, какой теперь иногда носят письменные произведения.* Посольские, воинские и вечевые речи обладали своеобразно высокой культурой.

Такое отношение к устной речи вынуждало и летописцев бережно соблюдать и содержание, и самые формулировки речей, произнесенных в официальных обстоятельствах. Таким образом, *прямая речь, обильно включаемая в летопись,* сохраняла элементы своеобразной высокой культуры устной речи. Сама действительность оказывала мощное влияние на летописную форму.

---

[1] Там же, 1150 г.

[2] Там же.

[3] Там же, 1151 г.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Там же, 1152 г.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] Лаврентьевск. лет., 1176 г.

[12] Ипатьевск. лет. 1185 г.

3. Диалог в летописи

Выше было установлено, что одна из самых характерных черт русской летописи — прямая речь, всегда обильная в летописи, всегда жизненно-реальная и только редко книжная; прямая речь эта зависела непосредственно от действительности, от тех форм устной речи, которые были выработаны в дипломатической, военной и вечевой практике XI—XII вв. Эта зависимость ощущается главным образом в речи монологической. Но русская летопись отличается также и превосходными диалогами: живыми, точными, сжатыми, употребленными к месту.

В отношении диалога можно установить, что он зависел не только непосредственно от действительности, но и от фольклора.

Среди тех фольклорных произведений, которые отразились в летописи, можно указать несколько, в самой основе которых лежит превосходный, очень „сценичный" диалог. К таким остаткам исторического фольклора в летописи, в основе которых лежит диалогическая форма, принадлежат рассказы о трех местях княгини Ольги древлянам за убийство мужа — Игоря.[1]

Первая месть происходит на дворе у княгини Ольги. Между древлянами-сватами и Ольгою разыгрывается диалог: Ольга говорит иносказательно о мести, послы же древлян не понимают иносказательного языка Ольги и воспринимают лишь поверхностный, прямой смысл ее речей, считая их лишь традиционной свадебной обрядностью. „Добри гостье [т. е. купцы] придоша"[2] — иронически приветствует их Ольга. Послы не догадываются об ироническом смысле ее вопроса и простодушно отвечают: „придохом, княгине". Ольга спрашивает послов:

---

[1] Рассказ о четвертой мести (птицами), как известно, вставлен в текст летописи позднее — Нестором (см.: А. А. Шахматов. „Разыскания...", стр. 3, 109 и др.).

[2] Здесь и ниже цитирую по Лаврентьевск. лет., 945 г.

„да глаголете, что ради придосте семо?“ Послы, не догадываясь *вновь о коварстве Ольги, вновь же простодушно* отвечают: „посла ны Деревьска земля, рькуще сице: мужа твоего убихом, бяше бо мужь твой аки волк восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь нашь за Мал“. Ольга притворно соглашается и обещает воздать послам величайшую честь: „Люба ми есть речь ваша, уже мне мужа своего не кресити;[1] но хочю вы почтити наутрия пред людьми своими, а ныне идете в *лодью свою*, и *лязите в лодьи* величающеся, аз утро послю по вы, вы же рьцете: не едем на конех, ни пеши идем, но понесете ны в лодье; и възнесуть вы в лодьи“. Этим предложением Ольги вводится центральный драматический момент диалога. Ольга как бы загадывает загадку: почтить кого-либо имеет затаенный смысл — убить кого-либо, совершить акт мести.[2] Вместе с тем такой же двойной смысл имеет и само передвижение по суху в ладьях: с одной стороны это знак величайшей *силы*, знак *гордости* (ср. ладьи Олега, двигавшиеся по суху к стенам Царьграда), с другой — это, очевидно, знак смерти (ср. описание погребения руса у Ибн-Фадлана: руса хоронят в ладье).[3]

---

[1] *„Уже мне... не кресити“* — повидимому стереотипная формула отказа от родовой мести. Ср. в летописи под 1015 г. Ярослав говорит избившим его варяжскую дружину новгородцам, примиряясь с ними: „уже мне сих не кресити“ (Лаврентьевск. лет.). Затем в Ипатьевск. лет. под 1151 г.: долго плакал Изяслав над братом своим Владимиром, „рече Изяслав Давыдовичю: «сего нам уже не кресити»“. Дважды встречается эта формула и в Слове *о полку Игореве*.

[2] Ср. в Повести о Николе Заразском: пленные дружинники Евпатия Коловрата *говорят Батыю*: „... *послани все ото князя* Ингоря Ингоревича Рязанского тебе сильна царя почтити и честно проводити, и честь тобе воздати, да не подиви царю не успевати *наливати чаш на великую силу* татарскую“ (Рукопись Публичной библиотеки в Ленинграде, Погодинское собрание, № 1594, л. 48 об. Ср. также Временник Моск. *Общ. ист. и древн.*, кн. 15, М., 1852, стр. 17).

[3] См.: „Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу“, перевод и комм. под ред. акад. И. Ю. К р а ч к о в с к о г о, М.—Л., 1939, стр. 81. В переводе всюду „корабль“, „хотя, — говорит переводчик, — в нашем представлении эти древ-

Таким образом, внешне обещая воздать послам величайшие почести, затаенно, в прикровенной форме Ольга обрекает их на смерть. Послы не понимают затаенного смысла этого предложения Ольги, — смысла, который, очевидно, должен быть понятен читателям (или слушателям) этого рассказа. Ольга как бы загадывает сватам загадку. Как это обычно бывает в сказках, женихи или сваты, не сумевшие разгадать загадки царевны-невесты, должны умереть.

Итак, послы древлян принимают предложение Ольги и уходят к своим злополучным ладьям. На утро Ольга посылает за ними посланцев. „Зоветь вы Ольга на честь велику“, — говорят древлянам посланные от Ольги. Выполняя совет Ольги и, тем самым, как бы сами идя навстречу своей участи, древляне отвечают: „не едем на коних, ни на возех [ни пеши идем],[1] понесете ны в лодьи“. Посланные соглашаются, — „нам неволя; князь нашь убьен, и княгини наша хоче [хочет[2]] за вашь князь“; древлян несут в ладьях. Чтобы увеличить комический эффект действия и подчеркнуть ошибку древлян, летописец прибавляет „они же седяху в перегъбех в великих сустугах гордящеся“. Древлян приносят на двор Ольги. Ольга сидит высоко в тереме. Перед теремом во дворе выкопана яма „велика и глубока“. В эту яму посланные Ольгой сбрасывают древлян вместе с ладьями. Ольга сходит с терема и, приникнув к яме, спрашивает послов, иронически продолжая свою загадку: „добра ли вы честь?“ Древляне на этот раз понимают Ольгу, но уже поздно. Они отвечают: „пуще ны Игоревы смерти“. Ольга велит засыпать их в яме живыми, завершая тем самым над ними и в самом деле обряд погребения, загадочно начатый несением в ладьях.

ние «ладьи» не являются собственно кораблями“ (вступительная статья, стр. 35).

[1] Слова, заключенные в скобки, взяты из Ипатьевск. лет., вся остальная цитация по Лаврентьевск. лет.

[2] Так в списках Радзивиловском и б. Московской духовной академии, № 5—182.

Таким образом, в основе первого рассказа о мести Ольги лежит загадка, — загадка, неразгаданная сватами и потому повлекшая за собою их смерть. Характерна сама форма этой загадки с выключением *загадываемого предмета*: „не... на коних, ни на возех, ни пеши, но понесете ны в лодьи". Ср. аналогичную форму в загадках: „Умылся не так, приоделся не так, и сел не так, и поехал не так, засел я в ухаб, не выехать никак".[1] Отгадка этой загадки та же, что и в мести Ольги — похороны.

Сюжет об испытании жениха, или сватов жениха невестой-царицей распространен в сказках по всей Европе и Азии. Нет нужды перечислять их все. Обратим внимание лишь на самый тип загадки, который в нем встречается. Это опять-таки те же загадки с выключением загадываемого предмета. *Сватам обычно предлагается* „пойти ни конем, ни пешком";[2] сваты говорят: „ночевали мы ни на земле, ни на телеге, по утру вставали, умывались ни водою, ни *божьей росою*, а утирались ни тканым, ни пряденым".[3]

---

[1] Д. Садовников. „Загадки русского народа", СПб., 1876, № 2121. Ср. еще №№ 239, 405, 459—461, 529, 749, 1446, 1622 и др.

[2] J. de Vries. „Die Märchen von Klygen Rätsellösern", FFC, Helsinki, 1928, № 73, стр. 323.

[3] Сюжет № 851 по классификации Аарне-Андреева. Иносказания и околичности обычны в свадьбах. Они имели целью скрыть от злых духов и недоброжелателей истинный смысл происходящего. С целью обмана духов на свадьбах в сказках жениху или невесте предлагается явиться „*ни нагой*, ни одетой" и испытуемый выполняет эту задачу являясь завернутым в рыболовную сеть, „ни пешком, ни на лошади" и испытуемый является верхом на козе или козле, „ни по дороге, ни без дороги" и испытуемый едет по колее вдоль дороги или по канаве, „ни днем, ни ночью" и испытуемый является в сумерки или в полночь, в полнолуние или в новолуние и т. д. См. подробнее: Д. К. Зеленин. „Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии", Сб. Муз. Антр. и Этн., т. VIII, 1929, стр. 23; Е. К. Кагаров. „Состав и происхождение свадебной обрядности", Сб. Музея антр. и этн., т. VIII, 1929, стр. 161; Морева. „Традиционные формулы в приговорах свадебных дружек", Худож. фольклор, II—III, М., 1927.

Таким образом, несение в ладьях — это обряд и похоронный, и свадебный, загадка Ольги может быть разгадана и как угроза смерти, и как предложение женитьбы.

Вторая месть Ольги по существу также представляет собой драматизированную загадку, хотя изложена она и кратче первой.

Первая загадка Ольги древлянам — ладья, вторая — баня. Вновь прибывают послы-сваты древлян, лучшие представители их рода. Как и в первом случае, Ольга обещает послам оказать величайшие почести: „повеле Ольга мовь створити, рькуще сице: «измывшеся придите ко мне»". Так же, как и в первом случае, послы древлян не понимают сокровенного языка Ольги. Они, „влезают" в „истопку" и начинают мыться, но люди Ольги запирают послов в бане и сжигают их там. Вновь Ольга казнит смертью не сумевших разгадать ее загадки послов. Символический смысл понятия бани, как смерти, страдания, мести, причем страдания „добровольного" был, как мне кажется, ясен на Руси в XI в. Напомню шутку апостола Андрея над моющимися в бане новгородцами, приводимую в летописи: „и то творять мовенье собе, а не мученье".[1]

Третья загадка Ольги, заданная ею древлянам — пир. В этой третьей загадке драматическая ситуация нарастает. Ольга уже сама идет к древлянам, она ведет переговоры со всеми древлянами, а не с отдельными представителями. Она приглашает древлян на тризну по своему мужу. Она справляет эту тризну непосредственно на могиле мужа, и здесь во время пира убивает древлян. Ольга шлет к древлянам со следующим предложением: „се уже иду к вам, да пристройте меды многи в граде, идеже убисте мужа моего, да поплачюся над гробом его, и створю трызну мужю своему". Значение пира, как смерти, так же как и значение ладьи —

[1] Лаврентьевск. лет., вводная часть. С баней связана не только шутка апостола Андрея, но и космогония волхвов (в летописи под 1071 г.). В народных обычаях для покойников вытапливали печку, ставили воду и т. д.

смерти, бани — смерти основывается на обрядовой стороне русского язычества.[1] Несение в лодьях — первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон, баня для покойника — вторая загадка Ольги — второй момент похорон, тризна по покойнику — последняя загадка Ольги — последний момент похорон.

Ольга задает сватам загадки, имитируя обычную свадебную обрядность, но сама свадьба оказывается метафорой мести. Метафоричность свадебной обрядности оказалась надстроенной еще одной метафоричностью — похорон. Вот почему древлянские послы оказались несостоятельными перед „мудростью-хитростью“ „мудрейшей из всех людей“ Ольги.

Диалог, лежащий в основе летописного рассказа о местях Ольги, не стоит одиноко в летописи. Близок к рассказам о местях Ольги рассказ летописи о смерти Аскольда и Дира, также имеющий в своей основе диалог. Олег подплыл к киевским горам, притворившись купцом (враги-гости обычная средневековая метафора) и послал к Аскольду и Диру со словами: „яко гость [купец] есмь, идем в греки от Олга и от Игоря княжича; да придета к нам к родом своим“. Когда Аскольд и Дир пришли к ладьям, Олег и его воины вышли из лодей „и рече Олег Асколду и Дирови: «вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа»“.[2] Затем вынесли малолетнего

---

[1] Свод данных о языческих тризнах см. Н. М. Гальковский, „Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси“, т. I, гл. VI, Харьков, 1916. Метафору пир — смерть см. в Слове о полку Игореве: „ту кровавого вина не доста“ (ср. „пристройте меды многи“); ср. также в Новгородской первой летописи перед битвой со Святополком Ярослав посылает к своему стороннику во вражеском лагере спросить в загадочной, метафорической форме: „«что ты ѳому велити творити: меду мало варено, а дружины много?» И рече ему мужь тъ: «рчи тако Ярославу: даче меду мало, а дружины много, да к вечеру вдати». И разуме Ярослав, яко вь нощь велить сецися“ (Новгородск. I лет., Синод. сп., СПб., 1888, 1016 г.).

[2] Лаврентьевск. лет., 882 г.

Игоря и сказали: „и се есть сын Рюриков“. После этой демонстрации истинного князя Аскольда и Дира убивают.[1]

Менее отчетливо, но также диалогически разработаны в летописи сцены смерти Вещего Олега и Святослава. Как и в предшествующих четырех случаях — эти два эпизода также трактуют причину смерти как недостаток смысла. Вещий Олег не понял затаенного смысла прорицания волхва и умер от собственного коня. Святослав не послушался своего воеводу Свенельда и был убит у Днепровских порогов.

Диалогически разработанные состязания в „мудрости-хитрости“ могли быть связаны в фольклоре X—XI вв. не только с темой смерти. Дважды мы можем подозревать их в основе летописных рассказов о заключении мира. Мы имеем в виду рассказ 968 г. об обмене символическими подарками между воеводой Претичем и печенежским князем и рассказ 971 г. о заключении мира между Святославом и греческим императором. Особенно характерен последний рассказ. После победы Святослава греческий „царь“ созвал к себе „в полату“ всех своих бояр и обратился к ним с вопросом: „што створим, яко не можем противу ему [т. е. против Святослава] стати?“[2] И ответили ему бояре: „посли к нему [т. е. к Святославу]

---

[1] Так же точно в сагах, в былинах (например, о Глебе Володьевиче) очень часто перед убийством происходят диалоги с убиваемым (иногда также в форме загадывания загадок) с целью переложить вину в смерти на самого убиваемого (не для того ли, чтобы избавиться от мести рода или духов рода?). В договоре Игоря 945 г. русские таким образом отказываются от мести за себя в случае своей гибели за неисполнение договора: „Аще ли же кто... преступить се, еже есть писано на харатьи сей, будеть достоин своим оружьемь умрети“ (Лаврентьевск. лет., 945 г.). Ср. там же: „И иже помыслить от страны Руския разрушити таку любовь... да не ущитятся щиты своими, и да посечени будуть мечи своими, от стрел и от иного оружья своего“ (Лаврентьевск. лет., 945 г.). Ср. в договоре Святослава: „и своим оружьемь да исечени будем“ (Лаврентьевск. лет., 971 г.). В этом пункте договоров видим объяснение основанных на том же поверье, фольклорных в своей основе, летописных рассказов о гибели от своей дани — меча — хазар, о кончине от своего коня Олега, о смерти по собственной недогадливости древлян и т. д.

[2] Лаврентьевск. лет., 971 г.

дары, искусим й, любьзнив ли есть злату, *ли паволокам?*"[1] И послал царь к Святославу „мужа мудра" с золотом и с паволоками, наказав ему: „глядай взора и лица его и смысла его". Святослав, узнав *о приходе послов,* сказал: „въведете я семо". Послы вошли к Святославу, поклонились и положили перед ним золото и паволоки. Но Святослав, „кроме зря", т. е. *не взглянув даже на дары,* сказал отрокам: „схороните" (спрячьте). Посланные вернулись к царю. Вновь созвал царь своих бояр и поведали посланные: „*яко придохом к нему,* и вдахом дары, и не зре на ня, и повеле схоронити". Тогда один из бояр посоветовал: „искуси и [т. е. его] еще, посли ему *оружье*". К Святославу принесли „меч и ино оружье", „он же, приим, нача хвалити, и любити, и целова (приветствовал) царя". Послы вернулись к царю и рассказали ему все, что произошло. И сказали бояре: „лют се мужь хоче быти, яко именья [богатства] не брежеть, а оружье емлеть; имися по дань". После этого царь послал к Святославу со словами: „не ходи к граду, возми дань, еже хощеши". Святослав взял дань не только на всех своих воинов, но и на убитых, а затем вернулся в Переяславец „с похвалою великою".

Нет нужды анализировать все случаи отражения в летописи фольклорных диалогов. Для нас важны не они сами по себе, а то, как фольклорный диалог повлиял на летописный. И надо признать, что летопись дает этому богатый материал.

Удивительно ясный, мастерски веденный и драматически законченный диалог русской летописи явился первоначально лишь в пересказах произведений народной словесности. Весьма показательно в этом *отношении,* что вслед за диалогическим рассказом о смерти Вещего Олега в развитие своей мысли о знании волхвами будущего, летописец приводит сведения о волхвах греческих, — сведения, явно почерпнутые в книжных источниках, но ни диалога, ни прямой речи вообще в них нет.

Таким образом, диалог вошел в летопись из произведений устного творчества. Очень быстро диалог входит в литера-

[1] Так в списках Радзивиловском и б. Московской духовной академии № 5-182; в Лаврентьевской *летописи* — „павокам".

турную практику летописцев, самостоятельно его разрабатывающих. При этом диалог, вводимый летописцами в свой рассказ, явно зависит по своей форме от диалога фольклорного. В самом деле, стоит сравнить фольклорный диалог между Ольгой и сброшенными ею в яму послами с диалогом Яна Вышатича и белозерских кудесников — вполне историчным[1] и отнюдь не фольклорным, чтобы ясно представить себе зависимость второго от первого.

Оба диалога „предсмертные". Ян говорит с кудесниками перед тем, как их убить, изобличая в них отсутствие всё той же „мудрости-хитрости". Обличив верования кудесников, Ян предупреждает их: „вама же и сде муку прияти от мене, и по смерти тамо". Кудесники отрицают возможность своей смерти: „нама бози поведають — не можеши нама створити ничтоже". Вновь настаивает Ян: „лжють вама бози". Вновь отрицаются кудесники: „нама стати пред Святославом, а ты не можьшь створити ничтоже". Чтобы убедить кудесников в своей власти, Ян приказал бить их, дергать за бороды, а затем вновь спросил их: „что вама бози молвять?" Кудесники ответили, попрежнему настаивая на своем: „стати нам пред Святославом". Тогда Ян повелел вложить им в рот рубль,[2] привязать к „упругу" и пустил их перед собою в ладье. На устье Шексны в последний раз иронически спросил Ян волхвов: „что вам бози молвять?" Только на этот раз кудесники поняли свое положение: „сице нама бози молвять, — не быти нама живы от тебе".

В диалоге Ольги с послами древлян смерть последних наступает немедленно после признания ими своего бессилия. Диалог же Яна с кудесниками продолжается и дальше. Ян

---

[1] Рассказ о белозерских кудесниках, как указано А. А. Шахматовым („Разыскания...", стр. 443 и др.) записан в летопись непосредственно со слов участника событий — Яна Вышатича. Цитирую по Лаврентьевск. лет., 1071 г.

[2] Как указал мне Л. А. Мацулевич, вкладывание рубля в рот могло означать приготовление к смерти: серебро вкладывали обычно в рот покойнику.

иронически подтверждает „правоту" богов: „то ти вама право поведали". Кудесники пытаются вымолить себе жизнь; „но аще на̀ [т. е. нас] пустищи, много ти добра будеть; аще ли наю [т. е. нас] погубиши, многу печаль примеши и зло". Но Ян не боится угроз языческой религии и опирается на верования христианства: „аще ваю [вас] пущю, то зло ми будеть от бога; [аще ли вас погублю, то мзда ми будеть[1]]". После этого, чтобы выгородить себя из круга родовой мести, Ян предлагает, чтобы кудесникам мстили родственники убитых: „И рече Янь повозником: «ци кому вас кто родин [родственник] убьен от сею». Они же реша: «мне мати, другому сестра, иному роженье». Он же рече им: «мьстите своих». Они же поимше, убиша я и повесиша е на дубе".[2]

Повешенные на дереве и съеденные медведем трупы волхвов служат наглядным доказательством отсутствия в волхвах „вещей" силы и посрамления их „мудростью-хитростью" христианина Яна: „И тако погыбнуста наущением бесовскым, инем ведуща и гадающа, а своея пагубы не ведуща".

Сравнительно с фольклорными по своему происхождению диалогами — диалог Яна с кудесниками отличается меньшей лаконичностью и меньшей композиционной стройностью. Начало его чрезмерно растянуто повторными вопросами Яна и ответами кудесников, не вносящими ничего нового. Смерть кудесников оттянута попытками кудесников угрозами избавиться от смерти. Самое важное отличие диалога Яна с кудесниками от диалогов, например, Ольги с послами древлян состоит в том, что в основе его нет уже элемента загадки, метафорического языка, состязания в обмане. Замечательно при этом, что все остальные функции диалога сохраняются. Так же как и Ольга, Ян вынуждает кудесников признать свое поражение в „мудрости", но на этот раз не в способности разгадывать загадки, а в отсутствии дара предвидения буду-

---

1 Так в списках Радзивиловском и б. Московской духовной академии № 5–182.

2 Лаврентьевск. лет., 1071 г. — здесь и ниже.

щего. Вырывая у кудесников это признание, Ян также стремится как бы сделать их самих виновниками своей смерти.

В фольклорных диалогах победа одной стороны над другой обусловлена обманом: Ольга побеждает послов — древлян, потому что те не поняли ее загадочного, метафорического языка. Победа же Яна над кудесниками объясняется летописцем иначе: общею несостоятельностью язычества. В диалоге Яна и кудесников спорят представители двух мировоззрений. Превосходство христианства над язычеством обусловливает собой победу Яна. Кудесники оказались несостоятельными не „на словах", а на деле; не в своей способности разгадать язык противной стороны, а в своих верованиях: они не смогли предвидеть своего будущего, и боги за них не заступились. Смысл диалогов Ольги и древлян не требует особых разъяснений — он весь „на поверхности", он традиционен в обусловивших его представлениях; смысл же диалога Яна и кудесников потребовал от летописца специального заключительного объяснения о преимуществах христианства перед язычеством.

Близок к диалогу Яна с белозерскими кудесниками диалог новгородского князя Глеба с волхвом — главарем восставших язычников.[1] Спрятав топор под одеждой, Глеб подошел к волхву и просил его: „то веси ли, что утро хощеть быти, и что ли до вечера?". Волхв ответил утвердительно: „проведе вся". Глеб вновь спрашивает волхва „то веси ли, что хощеть быти днесь?". Волхв ответил: „Чюдеса велика створю".[2] Тогда Глеб вынул топор и разрубил волхва. Волхв упал мертв, и восставшие разошлись.

Таким образом, диалог, обильно представленный в русском фольклоре X—XI вв., оказал огромное влияние на блестящий диалог русской летописи, подобного которому не знает ни византийская анналистика, ни западная.

Прямая речь византийских хроник почти всегда монологична и, если в ней и встречается диалог, то он не пред-

[1] Диалог этот также записан либо на основании рассказа самого Глеба, либо Яна Вышатича.

[2] Лаврентьевск. лет., 1071 г.

ставляет никаких аналогий к энергичному и отчетливо „сценическому“ диалогу русских летописей. Зависимость последнего от фольклора X—XI вв. несомненна. В начале диалог встречается в летописи только в передаче фольклорных произведений (например, в рассказе о трех местях Ольги), затем диалог почти в той же форме переходит и в передачу реально имевших место событий — в летописные записи рассказов их очевидцев и участников (Яна Вышатича, князя Глеба).

* * *

Итак, одна из самых характерных черт русской летописи, особенно первоначальной, — обилие в ней прямой речи, диалогов, живая связь с фольклором. Черта эта выработалась в летописи под властным влиянием самой жизни. Первоначально образование летописи было связано с произведениями церковно-житийной и церковно-учительной литературы, однако очень быстро (через какие-нибудь два десятка лет) русская летопись вступает на путь совсем иного развития. Она формировалась под влиянием разнородных факторов, но все эти факторы крылись в реальной действительности, в веками сложившихся обычаях и в фольклоре и лишь очень немногие имели отношение к инородной болгарско-византийской книжной традиции. Ниже мы увидим этому положению и другие подтверждения: русская летопись и русская жизнь были самым крепким образом связаны на всем протяжении. Именно этой связью следует объяснять удивительную живучесть летописания и его способность отвечать на самые разнообразные запросы русской действительности.

Выше мы видели, что еще до образования письменных летописей на Руси существовали своеобразные „устные летописи“ знатных родов. Одну из таких „устных летописей“ — „летопись“ рода Яна Вышатича и Вышаты донесла до нас в своем составе Повесть временных лет. В XI в. эти устные родовые летописи уже выказывали тенденцию выйти из узких пределов только родовых преданий и стать устной историей всей страны.

Под влиянием самой жизни сложился язык летописи: простой и доступный в основной своей части. Он образовался на основе развитой традиции устного языка своего времени. Летопись бережно донесла в своем составе многочисленные образцы различных типов устной речи. Свои традиционные формы имели речи, которыми князья „подавали дерзость" своим воинам перед битвой. Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вече. Но особенное значение для летописи имели речи послов. „Речи" передавались послами устно в более или менее законченных формулировках. Формулировки эти запоминались и послами и участниками переговоров. Они могли передаваться из уст в уста, как своего рода готовые, официальные определения создавшейся ситуации. Вот почему и летописец в своих записях бережно сохранял эти формулировки, внося через них в летопись живую струю обыденной, не книжной речи.

Наконец, фольклор XI в., с его развитым, выразительным диалогом, оказал живое воздействие на форму летописи. Под влиянием традиционных черт фольклорного диалога выработался и диалог летописи.

Впоследствии форма летописи, ее стиль, характер работы летописателей постоянно менялись. Они были различны в зависимости от того, в чьих руках находилось летописание и чьим целям оно служило, но всегда и всюду в период своего расцвета летописание находилось под определенным воздействием бытия. Воздействие чисто литературное было второстепенным и лишь на пороге прекращения центрального ствола летописания, как это мы увидим ниже, начало вызывать в нем существенные изменения.

II. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

На рубеже XI и XII вв. Киевская Русь испытывает на себе наиболее тяжелые удары кочевников, ставшие жесточайшим народным бедствием. Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и с юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства. В 1096 г. половецкий хан Боняк чуть не ворвался в Киев, ограбил и разорил Печерский монастырь, когда монахи спали по кельям. Теснимая с севера половцами и печенегами, а с моря турецким флотом с Чахой во главе, союзная Киеву Византия была бессильна предотвратить грозившую ей самой опасность.

В этот тяжелый период русской истории в Киевской Руси консолидируются силы, стремящиеся к решительному нажиму на степь. Подъем этот совпадает с освободительным движением в Испании против господства мавров и с общим движением в Европе на Восток в отпор наступающим туркам, прервавшим европейскую торговлю с Азией. Русь, составлявшая левый фланг европейской обороны против напора кочевых и полукочевых народов, полукольцом охвативших Европу, под властью Владимира Мономаха переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь. Степные походы Мономаха сбивают волну половецких набегов и спасают самую Византию от гибели.

Напор степных народов на внешние границы Киевского государства вызвал ряд попыток приостановить процесс фео-

дальнего дробления, объединить русских князей единством внешнеполитических задач.

В 1097 г. в городе Любече собрался первый княжеский съезд. „Здесь съехались князья с тем, чтобы устроить и укрепить между собой мир, — пишет акад. Греков. — Решили, чтобы каждый из князей держал свою вотчину, т. е. полученную от отца землю, и не покушался бы на чужое. Целовали крест на том, что если кто-нибудь из князей поднимется на другого, то все князья должны встать на зачинщика. На этом съезде уже совершенно четко было констатировано наличие нового политического строя. Было официально произнесено и признано съездом: «кождо да держит отчину свою». Съезд признал этот факт основой дальнейших политических междукняжеских отношений“.[1]

Второй съезд был созван в Витичеве в 1100 г., третий у Долобского озера в 1103 г. Необходимость единства князей и совместных наступательных походов против половцев каждый раз все вновь и вновь провозглашалась на этих съездах.

Наконец, была сделана попытка сплотить все классы населения — все с той же целью укрепить обороноспособность страны.

В 1113 г. в Киеве вспыхнуло восстание. Чтобы прекратить восстание, господствующие группы населения решились вызвать в Киев популярного в народе Владимира Мономаха. Нарушив постановление Любечского съезда, согласно которому ему надлежало держаться своей „вотчины“, Мономах явился в Киеве, успокоил волнения, сделав ряд уступок в пользу эксплоатируемых слоев городского и сельского населения.

Таким образом, несмотря на начавшийся распад Киевского государства, сознание единства Русской земли было чрезвычайно острым. Борьба со степными народами породила, кроме того, сознание единства всех европейских народов, в число которых русский народ входил как важнейшая часть.

---

[1] Акад. Б. Д. Греков. „Киевская Русь“, М., 1944, стр. 295.

Именно в это время составляется замечательный памятник русского летописания — Повесть временных лет, вся проникнутая единой мыслью о Русской земле, о ее защите, о необходимости единения перед лицом внешней опасности.

Глава 8

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ И НЕСТОР

В 1098 г. состоялось примирение Печерского монастыря и Святополка. Как произошло это примирение и каковы были его причины, — все это еще далеко не выяснено. Во всяком случае, Святополк откликнулся на антигреческое направление монастыря. Ему удалось ослабить формы греческой церковной гегемонии. Он поддерживает русский культ князей Бориса и Глеба и добивается частичной[1] канонизации Феодосия Печерского.

Святополк сделал Печерский монастырь своим княжим монастырем. Он имел обыкновение заходить в него перед походами, приписывал свои победы заступничеству Феодосия Печерского и добился для Печерского монастыря признания его архимандритией, что давало монастырю некоторую независимость от киевской митрополии. Наконец, что особенно важно, Святополк начинает поддерживать печерское летописание, и княжеская поддержка необычайно поднимает авторитет печерских летописцев. Политическое значение летописи хорошо осознавалось Святополком, и он сделал все, чтобы летопись не походила более на антикняжеский свод 1093 г., а служила бы в первую очередь его целям.

Повидимому, около 1113 г. в Печерском монастыре составляется новый памятник русского летописания — Повесть временных лет.

Выполнителем нового исторического труда явился, по всей вероятности, монах Киево-печерского монастыря Нестор. В непосредственном виде труд Нестора не дошел. Он сохра-

[1] Е. Голубинский. „История русской церкви", т. I, ч. 2, стр. 389.

нился лишь в переделках и доработках последующих редакторов. Эти редакторы, принадлежавшие к другой политической ориентации и к другому, враждебному печерянам монастырю, изъяли имя Нестора из заглавия летописи. Но в одном из списков, — так называемом Хлебниковском, имя Нестора все-таки сохранилось: „Нестера, черноризца Федосьева манастыря Печерьского".[1] Можно думать, что это не позднейшая вставка, так как еще в XIII в. имя Нестора твердо связывали с созданием Повести временных лет: в своем послании к епископу Симону 1232 г. Поликарп в числе прочих постриженников Печерского монастыря упоминает и Нестора „иже написа Летописець".[2]

Правда, признание Нестора составителем Повести временных лет встречало в науке неоднократные возражения. Исследователи ссылались на противоречия, существующие между отдельными сведениями, читающимися в Повести временных лет о Киево-печерском монастыре, и теми, которые даются о том же монастыре в достоверно принадлежащих Нестору произведениях, в частности, в житии Феодосия. Однако противоречия эти отнюдь не могут свидетельствовать против авторства Нестора: Повесть временных лет, как доказывает А. А. Шахматов, была составлена Нестором на 25 лет позднее Жития Феодосия и противоречащие в ней Житию Феодосия места не принадлежат Нестору: они находятся в ней в составе той части, которая целиком была заимствована Нестором из предшествующего летописного свода.

* * *

Уже два ранних житийных произведения Нестора — „Чтение" о князьях Борисе и Глебе и Житие Феодосия Печерского —

---

[1] Имя Нестора сохранили также списки Голицынский и Раскольничий. След от старого заглавия Повести временных лет с именем Нестора остался в Ипатьевской летописи и сходных с нею списках, где нет имени Нестора, но сказано, что она принадлежит „черноризцу Федосьева монастыря".

[2] „Киево-печерський патерик", под ред. проф. Д. И. Абрамовича. Киев, 1931, стр. 126; ср. также стр. 133.

характеризуют его как писателя, склонного к большим историческим обобщениям и к тщательной проверке исторического материала. Он называет лиц, со слов которых записаны им события или у которых можно было бы проверить сообщаемые им сведения. В Житии Феодосия он ссылается на свидетельство не только монахов своего Печерского монастыря — современников Феодосия, но и на лиц сторонних: на черниговского игумена Павла, на выдубицкого игумена Софрония, на боярина Гегуевича Здеслава и др. Характеризуя историческую работу Нестора в Житии Феодосия, М. Д. Приселков писал: „Всё произведение может вызвать во внимательном читателе чувство удивления перед тем искусством автора, с каким сшивает он этот ковер пёстрых и отрывочных эпизодов жизни Феодосия в связное и живое произведение, в котором соблюдены, однако, внутренняя хронология и большая точность“.[1]

Исключительный интерес, для выяснения исторических взглядов Нестора представляет собою его „Чтение“ о Борисе и Глебе. Так же, как и русская часть летописи Нестора, — Житие Бориса и Глеба вставлено Нестором в общеисторическую раму. В „Чтении“ о Борисе и Глебе Нестор проводит идею, близкую к концепции Илариона, но осложненную публицистическим стремлением убедить князей прикончить губительные для русского народа усобицы.

История человеческого рода, с точки зрения Нестора, есть история борьбы добра и зла. Дьявол, искони ненавидевший добро, соблазнил Адама и Еву, и они были изгнаны из рая. По наущению дьявола, потомки Адама и Евы предались язычеству и стали поклоняться идолам. Бог послал пророков, но люди „и тех не послушаша, нъ и темь досадиша, а инех побиша“.[2] Тогда милосердный бог послал своего сына для спасения человечества, и апостолы разнесли его учение

---

[1] М. Д. Приселков. „Нестор летописец“, П., 1923, стр. 99.

[2] Памятники древне-русской литературы, вып. 2, Жития св. муч. Бориса и Глеба, под ред. Д. И. Абрамовича, П., 1916, стр. 2.

по всем странам света. Но Русская земля осталась без апостольского просвещения: бог хранил Русскую землю для последнего часа. В этот последний час бог призвал Русскую землю. Князь Владимир просветил учением Христа русский народ, крестившийся без сопротивления и ропота. Перед русским народом стояла великая историческая миссия: как последний из призванных, он должен был стать первым в историческом процессе. Но дьявол решил поразить Русскую землю в самое сердце — в „корень" крестившего ее Владимира. Он воздвигает распрю в семье Владимира, в которой среди многих сыновей как „две звезде светле" сияли Борис и Глеб. По наущению дьявола, брат Святополк убивает их. Однако безропотная смерть Бориса и Глеба, оставшихся верными и покорными своему старшему брату — убийце Святополку, разрушает замыслы дьявола. Борис и Глеб подали своею смертью всем русским князьям пример братской любви и покорности. Их устами провозглашен принцип старшинства: „Не отъиду, ни отбежю от места сего, ни пакы супротивлюся брату своему, старейшому сущю", говорит Борис;[1] „Ни пакы смею противитися старейшому брату", вновь и вновь повторяет Борис.[2]

Таким образом, культу Бориса и Глеба Нестором придано широчайшее историческое значение. С этим культом связано торжество Русской земли над кознями дьявола, пытающегося посеять раздоры среди князей. Распри князей, князей-братьев (русские князья все потомки одного родоначальника — Рюрика), — последняя надежда дьявола воспрепятствовать торжеству добра в мире. Однако, Борис и Глеб собственной смертью защитили Русскую землю от покушений дьявола, подали спасительный пример всем русским князьям и после смерти продолжают оказывать покровительство Русской земле.

Так, идея братолюбия князей и их „покорения" старшему в роде выдвигалась Нестором как центральное звено истори-

[1] Там же, стр. 9.

[2] Там же, стр. 10.

ческих событий последних лет. Публицистические идеи печерских летописцев были, таким образом, соединены Нестором в его „Чтении" с всемирно-исторической концепцией первых официальных произведений времени Ярослава Мудрого. То же соединение философско-исторической схемы, по которой Русской земле отводилось первое место, с публицистическими тенденциями и страстной злободневностью было характерно и для крупнейшего из произведений Нестора — Повести временных лет.

Повесть временных лет, завершившая собою историю печерского летописания XI в., по самому характеру своего изложения свидетельствовала вместе с тем о своеобразном возвращении к спокойно-эпическому тону и философским обобщениям „Сказания о первых русских христианах". Это и понятно: перед Нестором стояли совсем иные задачи, чем перед его предшественниками — печерскими летописцами второй половины XI в. Летопись из оппозиционной становилась официальной и государственной, хотя и сохраняла кое-что из публицистического направления первых печерских сводов. Отсюда торжественный характер Повести временных лет, отсюда ее сдержанность в оценке событий русской истории и исключительное внимание к начальному периоду русской истории: к вопросам происхождения Русского государства, русского народа, отдельных племен, их названий и т. д. Это произведение, рассчитанное на все слои населения. Оно стремится объединить интересы всего русского народа единой патриотической целью.

Вместо того, чтобы оставаться „временником" современных летописцу событий, летопись уделяла главное внимание общим проблемам русской истории. Свои задачи Нестор точно сформулировал в самом названии своего труда: „Се Повести времяньных лет, откуду есть пошла руская земя, кто в Киеве нача первее княжити и откуду руская земля стала есть".[1]

[1] Цит. по Лаврентьевск. лет.

Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение в истории европейских стран. Показать Русскую землю в ряду других держав мира, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, — такова замечательная по своему времени цель, которую поставил себе составитель Повести. Повесть временных лет должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широта замысла сообщила спокойствие и неторопливость рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом.

Начало Повести временных лет посвящено событиям всемирной истории в ее средневековом понимании. Летописец вводит русскую историю в мировую, сообщая самые разнообразные сведения — географические, этнографические, культурно-исторические. Неторопливо раскрывает летописец ту историческую обстановку, в которой родилось Русское государство.

Повесть временных лет открывается историко-этнографическим введением. Нестор ведет свой рассказ от „всемирного потопа" и распределения Земли между сыновьями Ноя. Он перечисляет страны, отошедшие к Симу, затем земли Хама и, наконец, особенно подробно останавливается на тех „полунощных" (северных) и западных странах, которые отошли к Иафету. Нестор подчеркивает при этом, что разделив всю Землю по жребию на три части, братья обещали „не преступати никому же в жребий братень, живяхо каждо в своей части".[1]

Затем Нестор рассказывает об образовании народов и языков. Он передает библейскую историю о Вавилонском столпотворении, во время которого люди разделились на народы

---

[1] Лаврентьевск. лет., вводная часть.

и заговорили на разных языках, и отмечает *образование* славян „от племени" Иафета.

Первоначально, утверждает Нестор, славяне жили по Дунаю, — там, где ныне Венгерская („Угорьска") и Болгарская земли. Отсюда-то и *произошло* расселение славян, приведшее затем к *образованию* различных славянских племен и народностей. Свои названия славянские племена получили по тем местам, где они первоначально сидели: „от тех словен разидошася по земле и прозвашася имены своими: где седше на котором месте".[1] Летописец указывает западных славян — мораву и чехов, южных — белых хорватов, сербов и хорутан. Расселение дунайских славян было вызвано нашествием волохов, под которыми А. А. Шахматов предлагает видеть западных франков — народы монархии Карла Великого.[2] Часть славян ушла от волохов на Вислу и прозвалась ляхами (поляками).

Ляхи, в свою очередь, распались на *полян*, *лутичей*, *мазовшан* и *поморян*. Некоторые из дунайских славян сели по Днепру и назвались *полянами*, другие — *древлянами* потому, что „сели в лесе", третьи сели между Припятью и Двиною и прозвались *дреговичами*, четвертые сели на реке Полоте и прозвались *полочанами*. Наконец, часть „словен" села около озера Ильменя, прозвалась „своим имянем" (т. е. славянами) и построила город, названный Новгородом. Затем Нестор указывал место поселения племени северы, после чего следовала заключительная фраза: „тако разидеся словеньский язык"[3] и сообщалось, что по имени славян назвалась и грамота славянской.

За этими обстоятельными сведениями о расселении племен летописец переходит к сообщению географических сведений о Русской земле. Просто и наглядно дает летописец геогра-

---

[1] Там же.

[2] А. А. Шахматов. „Повесть временных лет и ее источники", Труды отдела древне-русской литературы, IV, 1940, стр. 29.

[3] Лаврентьевск. лет., *вводная часть.*

фическое описание Руси, путей, связывающих ее с другими странами, с замечательною последовательностью начиная свое описание с водораздела рек Днепра, Западной Двины и Волги. „Днепр бо потече из Оковьскаго леса, и потечеть на полъдне [на юг], а Двина ис того же леса потечеть, а идеть на полунощье [на север] и внидеть в море Варяжьское [Балтийское]; ис того же леса потече Волга на въсток, и вътечеть семьюдесят жерел в море Хвалисьское [Каспийское]. Тем же и из Руси можеть ити (по Волзе) в Болгары и в Хвалисы, и на (ста) въсток дойти в жребий Симов, и по Двине в варяги, а из варяг до Рима, от Рима (же и) до племени Хамова. А Днепр втечеть в Понетьское море жерелом, еже море словеть Руское...“ [1]

Вслед за географическим описанием Руси, Нестор передает легенду о трех братьях основателях Киева — Кие, Щеке и Хориве, читавшуюся еще у его предшественника.

Затем Нестор переходит к рассказу о постепенном политическом обособлении русских племен: полян, древлян, дреговичей, словен и полочан и перечисляет соседние русским народности: весь на Белоозере, мерю на Ростовском озере и на Клещине, мурому у устья Оки. Упоминание других народностей вынуждает Нестора дать точный перечень славянских народов, населяющих Русь, а также неславянских, платящих дань русским и входящих в политический союз Руси. К последним относятся Нестором чюдь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печора, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, либь. Все эти народы говорят на языках „от колена Афета“.[2]

---

[1] Лаврентьевск. лет., вводная часть. Предполагаю, что географическое описание Руси не принадлежит к рассказу об апостоле Андрее, как думал А. А. Шахматов. Правда, географическое описание вводится фразой „поляном же жившим особе“, которая повторяется вслед за рассказом об Андрее — „полем же жившем особе“. Но фраза эта встречается и еще раз ниже после рассказа об обрах, примучивших дулебов: „поляном же живущем особе“, и таким образом не свидетельствует о вставке в этом месте.

[2] Лаврентьевск. лет., вводная часть.

Перечисление народов, платящих дань Руси, вызывает у Нестора воспоминание о тех временах, когда славяне сами бывали *покоряемы другими народами*. Он рассказывает о народах, временно угнетавших славян: о болгарах, покоривших себе дунайских болгар, о белых уграх, овладевших славянскою землею, об обрах (аварах), печенегах и, наконец, о черных уграх, проходивших около Киева при Вещем Олеге. Смысл этого перечисления ясен: народы, угнетавшие славян, все исчезли или ушли, а славяне остались и сами берут дань на других народах. Именно поэтому летописец передает народный рассказ об обрах, угнетавших славянское племя дулебов. Обры эти были телом велики и умом горды, они впрягали в телеги дулебских женщин и ездили на них, как на скоте, *но бог* истребил их без остатка так, что есть и сейчас поговорка на Руси: „погибоша, аки обре".

Упомянув еще несколько славянских племен, не вошедших в прежние перечисления — радимичей, вятичей, уличей, тиверцев, — Нестор переходит к описанию нравов славянских племен, населяющих Русскую землю. Это описание нравов подчинено единой идее: каждая народность и каждое племя имеет свой „закон" и свой „нрав", переданный им от отцов их. В подтверждение этой своей мысли летописец ссылается в конце своего описания на византийского историка Георгия Амартола и приводит из него несколько ссылок на нравы народов Востока и Европы. Летописец противопоставляет в своем описании „кроткий и тихий" образ жизни полян нравам древлян, радимичей, вятичей и север, живущих „звериньским образом". В этом выделении полян заметен местный патриотизм киевлянина. Свой обзор образа жизни различных племен и народов Нестор заканчивает краткой характеристикой нравов главных врагов Руси — половцев — и отмечает *преимущества христианских нравов Руси, как более высоких*. Как здесь, так и в других местах Повести, Нестор осознает русских — цивилизованным и культурным народом.

Постепенно и логично сужая свою тему, Нестор переходит затем к древнейшим судьбам полян. Он повествует о покоре-

нии полян хазарами, сведения о которых были им почерпнуты из предшествующего летописного свода. Покорение это сопровождалось пророчеством „хозарских старцев", предсказавших, что поляне, давшие в качестве дани обоюдоострые мечи, сами когда-нибудь станут собирать дань на хозарах; что и сбылось,— прибавляет от себя летописец. Таким образом, и здесь настойчиво повторяется та же мысль о том, что русские, когда-то угнетавшиеся и платившие дань другим народам, ныне сами вершат судьбами своих соседей.

На этом заканчивается вводная часть Повести временных лет. За нею следует собственно историческая часть, которую летописец стремится вложить в строгую хронологическую сеть годовых статей.

Нестор проделал огромную работу по уточнению хронологической сети летописания. Повидимому, даты первоначальных русских княжений до Нестора не были определены по принятому в средние века летоисчислению „от сотворения мира". Возможно, что первые печерские летописцы знали лишь, что Игорь княжил 23 года, Святослав — 28 лет, Ярополк — 8 лет и т. д. Лишь Нестором была сделана попытка вычислить точные хронологические данные русских княжений на основании различных источников. Этими источниками послужили для него показания византийских хроник, в которых даты отсутствовали, но которые могли, тем не менее, помочь Нестору в его заботах о точности, затем данные Сказания о Кирилле и Мефодии и договоры с греками, о которых скажем ниже.

Древнейшая хронологическая веха Повести временных лет — 852 год — заимствована Нестором от его предшественника — составителя печерского Начального свода.

Первую дату русской истории Нестор сопровождает большой хронологической таблицей главнейших событий всемирной и русской истории. „Тем же отселе почнем и числа положим", говорит Нестор. Действительно, строгий хронологический принцип изложения кладется Нестором в основу всего дальнейшего изложения. Мы видели выше, что введение

в летописание хронологического принципа следует относить к 60-м годам XI в., т. е. ко времени работы летописца Никона, однако, только Нестор полностью осознал важность этого принципа и проделал поражающую своей кропотливостью работу по уточнению основных хронологических вех русской истории.

Вслед за хронологической таблицей, приведенной под 852 г., Нестор поместил ряд годов, многие из которых вовсе не отмечены записями, очевидно, ввиду невозможности найти для них какой бы то ни было исторический материал. Вставляя эти пустые года в свое летописание, Нестор подчеркивал этим самый принцип, самую летописную форму, а может быть даже давал тем самым как бы задание для разысканий своим продолжателям.[1]

Следующие русские события записаны в летопись под 859 и 662 гг.: это история призвания варягов на Русь. Мы видели выше, как упорно стремился Нестор объяснить теми или иными путями происхождение названий племен и народностей. Естественно, что важнейшей задачей Нестора было бы объяснение названия „Русь". Нестор не дал его в своем месте — там, где объяснял названия славянских народностей, — отодвинул это объяснение к изложению легенды о призвании варягов.

Свою теорию Нестор строит, не избежав натяжек. У своего предшественника Нестор прочел „и седе Игорь княже в Киеве, и беша у него варязи мужи словене, и оттоле прозвашася Русью".[2] Отсюда Нестор объясняет название Руси так: Русь это и есть варяги. Русь — варяжское племя — то самое, откуда происходили призванные братья — Рюрик, Синеус и Трувор. Название варяжского племени Русь передалось славянским племенам, призвавшим к себе представителей Руси. Вот почему,

---

[1] Авг. Шлецер пишет: „Русские временники, подобно англосаксонским, имеют странный обычай означать и тот год, в котором ничего не сделалось" („Нестор", I, стр. 259).

[2] Новгородск. I лет., Синод. сп., 854 г.

чтобы избежать противоречий, Нестор вставляет имя Руси в принадлежавшее его предшественнику летописцу перечисление племен и народов, населявших европейский Север: „варязи, свеи, урмане, [готе], р у с ь, агняне, галичане, волхва“,[1] и т. д. В самый рассказ о том, как были призваны варяги, Нестор к словам предшествующей летописи „и идоша за море к варягом“ добавил: „к Руси; сице бо тии звахуся варязи Русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гъте, тако и си“. Но как избегнуть возражения, что сейчас (во времена летописца) скандинавский Север не знает племени Русь? Нестор находит выход из этого затруднения в утверждении, что три брата явились на Русь со всем своим племенем: „пояша по собе всю Русь“. Вся Русь, таким образом, переселилась на юг без остатка; вот почему ныне и нет среди скандинавских племен племени с названием Русь.[2]

Итак, Нестор явился первым норманистом в русской истории. Он утверждал норманское происхождение княжеского рода и самого названия Руси. Чем же объяснить, что летописец, столь последовательно стремившийся утвердить значение русского народа в мировом историческом процессе, был склонен выводить и название Руси, и княжеский род из-за моря — от варягов?

Мы видели, что легенда о призвании братьев-варягов складывалась постепенно и искусственно. Она служила целям борьбы с княжескими усобицами, утверждая собою идею единства княжеского рода, что равнялось по тем временам идее единства Русского государства. Нестор воспринял легенду о призвании варягов из предшествующей печерской летописи как важнейшую в русской истории. Естественно, что он связал

---

[1] Лаврентьевск. лет., вводная часть.

[2] См. подробнее „Разыскания...“ гл. XIII: „Сказание о первых русских князьях“, а также: „Сказание о призвании варягов“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1904, кн. 4.

с ней и свое объяснение названия Руси. Нестор не мог предвидеть, какие политические выводы сделают из нее в XIX—XX вв. сторонники теории несамостоятельного происхождения Русского государства. Больше того, легенда о призвании варягов в XI и в XII вв. служила как-раз обратной цели: она была одним из главных обоснований самостоятельности и независимости русского государства от вмешательства извне Византии.

В самом деле, и в XI, и в XII вв. „варяги" не представляли собой существенной политической силы. С норманского Севера Русскому государству не угрожала более опасность. Иными были наши отношения к византийскому Югу. Согласно смыслу византийской теории императорской власти, все христианские народы должны были стать и в политическую зависимость от Империи. Византия и в XI, и в XII и в последующие века настаивала на тесной зависимости русской государственности от Византийской империи и стремилась поддержать это мнение на Руси раздачей византийских придворных чинов русским князьям.[1]

С точки зрения греков, Русское государство было обязано своим происхождением Византии. Законная власть явилась на Русь лишь после ее крещения и была неразрывно связана с церковью. Вот с этой-то греческой точкой зрения и боролись печерские летописцы. Она представляла собой существенную опасность, поскольку ее проводником являлся киевский митрополит-грек. В своей общерусской и антигреческой политике печерские монахи были последовательными противниками киевского митрополита, его политики и его теории. „Норманская теория" печерских монахов была теорией прежде всего антигреческой и, по тем временам, общерусской. Она утверждала прямо противоположную точку зрения на происхождение Русского государства: не с визан-

---

[1] См. Пл. Соколов. „Русский архиерей из Византии", Киев, 1913, стр. 37 и след.

тийского юга, а со скандинавского севера. Русское государство оказывалось образованным еще до принятия христианства и, следовательно, было независимо от церкви; независимость же от церкви означала прежде всего независимость от митрополита-грека, к чему настойчиво стремился и сам Киево-печерский монастырь.

Почему же, однако, в своем утверждении независимости Русского государства от Византии Нестор не обратился к утверждению об исконной независимости Русского государства от чьей бы то ни было опеки, а прибег к теории иноземного происхождения рода князей? Ответ на этот вопрос может быть только один: в традициях ученой средневековой историографии было возводить происхождение правящей династии к иностранному государству.[1]

Вслед за изложением легенды о призвании трех братьев — варягов, рассказ Нестора начинает основываться главным образом на греческой хронике Георгия Амартола и его продолжателя. Собственно русских известий в нем немного; водворение Олега в Киеве, женитьба Игоря, поход Олега на Царьград, второй поход Олега и смерть Игоря. Замечательно, что, собирая эти сведения о русской истории IX и самого начала X в., Нестор умело преодолевал огромные трудности. В некоторых случаях он поступал как настоящий исследователь, которому приходится на основании чрезвычайно скудного материала создавать цельную картину ис-

---

[1] В Западной Европе происхождение народов, основателей городов, родоначальников династий очень часто возводилось к лицам, принимавшим участие в троянской войне. В происхождение французов от Франка сына Гектора, а французских королей от троян верили даже в XVI стол. Многие из своих династий немцы выводили из Рима, швейцарцы от скандинавов, итальянцы от германцев. Близкую к нашему сказанию о призвании варягов легенду передает Видукинд Корвейский, рассказавший в своей хронике о призвании трех братьев — саксов. См. свод данных по этому вопросу у В. С. Иконникова. „Опыт русской историографии", т. II, кн. 2. Киев, 1908, стр. 65 и след.

торического развития. У продолжателя Амартола Нестор нашел сообщение о походе русских на Царьград (под 866 г.) и вставил в него имена Аскольда и Дира — русских князей, предводителей похода, очевидно сопоставив рассказ Амартола с какими-то русскими народными преданиями о походе Аскольда и Дира.

Под 882 г. Нестор сообщил о вокняжении Олега и дальше под ближайшими годами рассказал о покорении им древлян, северян, радимичей. Под 887 г. в Повести временных лет читаются известия из продолжателя Амартола, а затем следует ряд незаполненных лет. Под 898 г. Нестор рассказывает о прохождении угров (венгров) мимо Киева и приводит легендарную историю об обретении славянских письмен Кириллом и Мефодием и о их миссии в Моравию. Под 902 г. снова находятся известия из византийской истории, заимствованные у продолжателя Амартола. Под 903 г. сообщается о женитьбе Игоря. Под 907 г. читается длинный рассказ о походе Олега на Царьград с приложением к нему текста договора Олега с греками.

Сообщение 911 г. о комете, повидимому, заимствовано у продолжателя Амартола. Затем, под 911 г. приводится новый текст договора Олега с греками и рассказывается известная легенда о смерти вещего Олега от собственного коня. В подтверждение того, что волхвы могут иногда предсказывать будущее, а может быть и для того, чтобы оправдать себя от возможных обвинений в доверии к волхвам, Нестор приводит ряд аналогичных случаев о волшебной силе Аполлония Тианского. Затем следует рассказ о вокняжении Игоря, о первых его столкновениях с древлянами и снова ряд византийских известий из продолжателя Амартола. *Постепенно русские известия становятся все более и более частыми, Нестор начинает все более и более следовать изложению предшествующей летописи.* В ней он находит уже более твердую опору для своего повествования и ему меньше приходится изыскивать на стороне исторические данные.

Существенным приобретением Нестора для русской истории были впервые извлеченные им из княжеского архива тексты договоров русских с греками. Использование этих договоров в летописи стало возможным благодаря дружественным отношениям, которые установились между Киево-печерским монастырем и Святополком. Последний, очевидно, идя навстречу монастырю, открыл для его летописцев свои архивы. Нестор ясно осознал историческую ценность этих документов и не только вставил их текст в свое изложение, но использовал их показания для выверки хронологических данных и уточнения княжеской генеалогии.

Что же это были за документы договоров, которыми воспользовался Нестор? По свидетельству Менандра,[1] обычно все договорные грамоты изготовлялись в Византии в двух экземплярах. Один экземпляр составлялся от имени императора, а другой — от имени правителя страны, с которой велись переговоры. Само собой разумеется, что основным текстом считался первый, а второй был лишь видоизменением первого.[2] С этого последнего экземпляра делался перевод на язык народа, с которым договаривались, и хартия этого перевода хранилась у правителя этого народа. Именно эти-то вторые экземпляры договоров русских с греками и были, очевидно, выданы Нестору из княжеской казны.

Вот почему в тексте этих договоров „мы", „нашь" относятся к русской стороне, а „вы", „вашь" — к греческой. Однако замена форм первого лица вторым и обратно произведена не всюду достаточно последовательно: мы имеем случаи употребления местоимения „мы", „нашь" в отношении к греческой стороне.

Что тексты договоров, хранившихся в казне Святополка, были славянские и что переводы их должны были совпадать

---

[1] Эверс. „Древности русского права", стр. 148.

[2] Ср. в договоре 945 г.: „едина харатья... на ней же есть крест и имена наша написана, а на другой послы ваши и гостье ваши" (Лаврентьевск. лет., 945 г.).

со временем фактического ведения переговоров, доказано исследованием акад. С. П. Обнорского. По его заключению, „перевод договора 912 г. (т. е. 911 г. — Олега. — *Д. Л.*) — неискусный, очень близкий к оригиналу, пестрит грецизмами всякого вида, обилен соответственно и нарушениями требований русского синтаксиса“,[1] он был „сделан болгарином на болгарский язык, но этот перевод был выправлен русским справщиком“.[2] Перевод другого договора — 945 г. (Игоря) принадлежит иному переводчику, он сделан „более умелою рукою, более удобопонятен, не так заполнен грецизмами, относительно мало грешит в интересах русского синтаксиса“,[3] его переводчиком „должен был быть русский книжник, соответственно и отразивший в переводе смешение и русской и болгарской книжной стихии“.[4]

Кроме договора Олега 911 г. и договора Игоря 945 г., Нестор занес в летопись еще два договора — Олега же — 907 г. и Святослава — 972 г. Однако, как доказано исследованиями А. А. Шахматова, договор 907 г. представляет собой простую выборку некоторых статей из договора 911 г. А. А. Шахматов считает, что договора 907 г. не существовало вовсе, летописец механически отнес некоторые статьи 911 г. к 907 г., предполагая, что одержанная Олегом в 907 г. победа над греками была также завершена особым договором, который он гипотетически и воспроизвел на основании текста 911 г. Договор 972 г. скорее представляет собою текст присяги, данной Святославом грекам. Он краток, сжат и носит на себе следы свежего впечатления от неудачи похода.

Договоры 911, 945 и 972 гг. не только уточнили даты походов русских на Константинополь: наличие самостоятель-

---

[1] С. П. Обнорский. „Язык договоров русских с греками“, сб. „Язык и мышление“, VI—VII, 1936, стр. 102.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 102—103.

11*

ных договоров Вещего Олега с греками убедило Нестора в том, что Олег был не воеводой, а князем. Вот почему Нестор отказался от версии Начального свода о воеводстве Олега (см. выше), а предположил, что Олег был родственником Игоря, княжившим во время малолетства Игоря вместо него. Утверждение это совпало с народным преданием, знавшим Олега как князя.

Народным преданием Нестор воспользовался не один раз. В этом отношении он действовал по примеру своих предшественников — печерских летописцев. На основании народных преданий Нестор включил в Повесть временных лет рассказ о сожжении Ольгою Искоростеня с помощью птиц, к которым был подвязан зажженный трут, затем — рассказ о белогородском киселе, который белгородцы по совету одного старца налили в колодец и тем убедили осаждавших их печенегов, что их кормит сама земля.

Нестору же, повидимому, принадлежит пересказ устного сказания о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем на реке Трубеже „на броде, где ныне Переяславль“.[1] Следуя своему обычному стремлению объяснять происхождение названий, Нестор воспользовался этим сказанием для того, чтобы истолковать самое слово — Переяславль. Нестор объяснил его тем, что здесь, на месте будущего города отрок-кожемяка „переял славу“ печенежского богатыря.

Сказание рассказывает, как вызванные на единоборство русские тщетно искали поединщика, который смог бы противостать печенежскому богатырю, как затем начал „тужить“ Владимир Киевский, посылая по всем воинам и как, наконец, объявился некий „стар мужь“ и рассказал Владимиру о своем оставшемся дома меньшем сыне, кожемяке, который мог бы бороться с печенежином.

Приведенный к князю, неказистый на вид юноша просит предварительно испытать его, вырывает у разъяренного быка

---

[1] Лаврентьевск. лет., 992 г.

бок с кожей, „елико ему рука зоя́“,[1] а затем побеждает в поединке превеликого и страшного богатыря-печенежина. Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, назвав его Переяславлем, а скромного кожемяку сделал „великим мужем“.

В легенде о кожемяке мы имеем единственный в своем роде *случай, доказывающий,* что *сложение народного цикла* вокруг Владимира I Святославича началось уже на рубеже XI—XII вв. В самом деле, город Переяславль упоминается еще задолго до княжения Владимира — в договоре с греками 911 г. Поэтому легенда об основании Переяславля, очевидно, не была первоначально приурочена к княжению Владимира. Только впоследствии — во времена Нестора — она связалась с популярным именем Владимира I, свидетельствуя тем самым о каких-то мало известных еще нам фактах начавшейся циклизации русского эпоса вокруг Владимира.

Последнюю часть своей летописи по 1110 г. Нестор писал в значительной мере на основании лично им собранных сведений. Мы имеем лишь слабое представление об этой работе Нестора, так как именно конец Повести временных лет подвергся через несколько лет коренной переработке.

Замечательно, что здесь, в этой части его летописи, сказалась столь типичная для Нестора манера изложения от первого лица, — своеобразный эгоцентризм его повествования. Достоверно Нестору принадлежат три рассказа: о перенесении мощей Феодосия под 1091 г., о набеге половцев на Печерский монастырь в 1096 г. и об удачном походе Святополка в 1107 г.

Рассказ Нестора об открытии мощей Феодосия в своем роде замечателен. В противоположность обычной для средневековой литературы обобщенности и схематичности повествования, Нестор подробно описывает, как он сам с помощником монахом ночью втайне откапывал гроб Феодосия в пещере,

[1] Там же.

как тщетны были в первое время его усилия, как, устав копать, передал он свою „рогалию“ другому „брату“, как снова взял от него „рогалию“ и стал копать сам, а „брат“, усталый, лег спать перед пещерой, как затем в монастыре ударили в било. Брат, лежавший при входе в пещеру, сказал об этом Нестору, который как раз в это время докопался до гроба. Нестор рассказывает, как его объял при этом ужас и как он начал взывать „Господи, помилуй“.

Такою же картинностью отличается и рассказ Нестора о нападении половцев на Печерский монастырь. Нестор повествует, как половцы „придоша в монастырь Печерьскыи нам сущим по кельям почивающим по заутрени. И кликнуша около монастыря, и поставиша стяга два пред враты монастырскими, нам же бежащим задом манастыря, а другим възбегшим на полати“.[1]

Последний из бесспорно принадлежавших Нестору рассказов летописи — о победе над половцами в 1107 г. подчеркивает роль Печерского монастыря в военных удачах Святополка. Святополк имел обыкновение заходить в монастырь перед отправлением в поход и молиться у гроба Феодосия. Вернувшись после победы над половцами, Святополк прямо направился в монастырь, где целовал братью и „с радостью великою“ произнес перед ней краткое слово, тут же записанное в летописи.

Создание Повести временных лет свидетельствует о широкой начитанности Нестора. Уже в своем житии Феодосия Нестор сам называет свои византийские образцы. Это большое (из 92 глав) Житие Антония Великого, составленное в IV в. Афанасием Александрийским, и Житие Саввы Освященного, написанное в VI в. Кириллом Скифопольским. Но там же заметны следы начитанности Нестора и в других произведениях византийской литературы.

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1096 г. Манера вести повествование от первого лица и подчеркивать свое участие в событиях типична и для житийных произведений Нестора.

Начитанность, проявленная Нестором при создании Повести временных лет, — исключительна. Однако Нестор не следует литературной манере своих источников, или, если и следует, то лишь в некоторых случаях. Он использует византийские произведения не как литературные образцы, а как исторические источники.

Широко пользуется Нестор византийской хроникой Георгия Амартола и его продолжателя, имевшейся ко времени Нестора в славянском переводе.[1] Георгий Амартол изложил всемирную историю *до 812 г.*, а *его продолжатель — до 948 г.*

Нестор воспользовался, кроме того, Летописцем, составленным константинопольским патриархом Никифором (доведшим *изложение до года своей смерти — 829*),[2] Житием Василия Нового,[3] а именно тою частью его, в которой описывался поход Игоря на Константинополь, каким-то хронографом особого состава, в который входили отрывки из известной хроники Иоанна Малалы, Пасхальной хроники, хроники Георгия Синкелла и того же Георгия Амартола. Нестор использовал затем Сказание о переложении книг на словенский язык, Откровение Мефодия Патарского, статью Епифания Кипрского о 12 камнях на ризе иерусалимского первосвященника и т. д.

Замечательно, что, пользуясь сведениями своих источников, Нестор свободно перестраивает их текст: сокращает и упрощает стилистически. Так, например, вместо выражения продолжателя Амартола „*почтен бысть Роман Кесарево саном*“,[4]

---

[1] Впервые указал на пользование Нестора Амартолом П. М. Строев в статье „О византийском источнике Нестора“, Труды Общества истории и древн., 1828 г., т. IV. См. подробно: А. А. Шахматов, „Повесть временных лет и ее источники“, Труды Отдела древне-русской литературы, IV, 1940, стр. 41—62.

[2] А. А. Шахматов, там же, стр. 62—66. Летописец Никифора именуется в русских рукописях „Летописцем вскоре“.

[3] Впервые указал А. Н. Веселовский в Журнале Мин. нар. просв. 1889, № 1.

[4] *В. М. Истрин. „Хроника Георгия Амартола“*, т. I, П., 1920, стр. 552.

Нестор пишет „поставлен царь Роман в греках“;[1] вместо выражения „злое пришествие Антиохово“,[2] Нестор пишет просто „Антиохово нашествие“[3] и т. п.

Иногда в стилистической переработке источников чувствуется патриотическая рука. Нестор не только изменяет стиль, но отчасти, очень осторожно, перерабатывает и самое освещение событий. Так, например, в Житии Василия Нового говорится о сражении Игорева войска с греками: „и брани межю ими бывши, побежени быша Русь и биша их грецы бежащих“.[4] Нестор же излагает это событие так: „и брани межю ими бывши зьле, одва [едва] одолеша греци“.[5] В другом месте того же описания в Житии Василия Нового говорится: „и бысть видети страшно чюдо како боящеся пламене огненаго“, Нестор опускает обидное для русских слово „боящеся“ и заменяет его словом „видящи“: „Русь же видящи пламянь“.[6]

В целях чисто литературной обработки изложения Нестор привлек чрезвычайно обширный материал из книг Ветхого и Нового заветов. В Повести временных лет находим выписки из книг Бытия, Исхода, Левита, Царств, Притчей Соломона, Премудрости Соломона, Екклезиаста, Иова, пророков Даниила, Исаи, Иезекииля, Михея и Амоса, Псалтири, Евангелия, Посланий апостольских, Деяний апостольских и мн. др.

Высокое литературное образование Нестора, его исключительная начитанность в источниках, умение выбрать в них

---

[1] Лаврентьевск. лет., 920 г.

[2] В. М. Истрин. „Хроника Георгия Амартола“, т. I, стр. 200.

[3] Лаврентьевск. лет., 1065 г. Возможно, однако, что сокращение хроники Амартола принадлежит не Нестору. Последний мог заимствовать цитаты из Амартола в уже сокращенном виде. В таком сокращенном виде они могли находиться в особом „Хронографе по великому изложению“, восстанавливаемом В. М. Истриным.

[4] См. Труды Отдела древне-русской литературы, IV, 1940, стр. 71.

[5] Лаврентьевск. лет., 941 г.

[6] Там же.

все существенное, сопоставить разноречия и т. д. сделали Повесть временных лет не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочинением, связанным с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельной, литературно изложенной историей Руси.

Можно смело утверждать, что никогда ни прежде, ни позднее, вплоть до XVI в., русская историческая мысль не поднималась на такую высоту ученой пытливости и литературного умения.

Патриотическая возвышенность рассказа, широта политического горизонта, живое чувство народа и единства Руси составляют исключительную особенность создания Нестора.

Глава 9

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ И СИЛЬВЕСТР

Смерть Святополка ввела Владимира Мономаха в Киев (1113 г.). По приглашению киевлян Мономах является в Киев и ему устраивают торжественную встречу.

Вступление Мономаха на золотой киевский стол повело к долгим годам упадка Печерского монастыря. Трудно сказать, стал ли Мономах на сторону киевского митрополита, хотя в числе встречавших его в Киеве был и митрополит, перед тем отсутствовавший на похоронах Святополка. Мономах, как и Святополк, продолжает заботиться о безусловно русском культе Бориса и Глеба, но он становится противником Печерского монастыря и вступает с ним в борьбу.

Мономах изымает из Печерского монастыря ведение летописания, которое теперь стало уже одним из важнейших общественных явлений русской действительности. Он передает его в свой княжой Выдубицкий монастырь, основанный в 70-х гг. XI в. его отцом Всеволодом Ярославичем. После этого литературная работа Печерского монастыря надолго замирает. Лишь во второй половине XII в. заметны следы оживления печерской летописной работы.

Переработка Повести временных лет была возложена Мономахом на выдубицкого игумена Сильвестра, закончившего свою работу в 1116 г. Сильвестр опустил в заглавии Повести слова „Нестера чьрноризьца Феодосиева манастыря Печерьскаго" и вставил в конце летописи собственное имя: „Игумен Силивестр святаго Михаила [т. е. Михайловского монастыря на Выдобыче] написах книгы си летописець, надеяся от бога милость прияти, при князи Володимере [Мономахе], княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святаго Михаила в 6624, индикта 9 лета; а иже чтеть книгы сия, то буди ми в молитвах".

Переработка Сильвестром текста Повести временных лет коснулась главным образом ее последней части — той, где описывались княжения Святополка и Владимира Мономаха. В начальной же части Повести временных лет, которая удовлетворила, повидимому, всех, Сильвестр сделал лишь одну вставку — о посещении Руси апостолом Андреем. Андрей благословил киевские горы, а в Новгороде посмеялся банному обычаю, „како ся мыють и хвощются [хлещутся] младыми прутьями" и обливаются „квасом уснияным"... „И того ся добьють, едва слезут ле живи и облеются водою студеною и тако оживуть". „И то творять мовенье собе, — прибавляет Андрей, — а не мученье".[1]

Рассказ этот противоречил исторической концепции Нестора, согласно которой „не беша бо ни апостоли ходили" на Русь.[2] Но легенда, легшая в основу летописного рассказа, прочно держалась в семье Мономаха, где культ апостола Андрея был весьма развит. Эта легенда была усвоена Мономахом из византийских кругов: император Михаил Дука писал отцу Мономаха Всеволоду, что первым проповедником христианства на Руси был апостол Андрей. Вот почему Всеволод после получения этого послания строил церкви, посвященные

---

[1] Лаврентьевск. лет., вводная часть.

[2] „Чтение о Борисе и Глебе". См. „Жития Бориса и Глеба" под ред. Д. И. Абрамовича, П., 1916, стр. 3.

Андрею, а его сын включил рассказ о посещении апостолом Андреем Руси в свою летопись.

Решительной перестройке подверг Сильвестр рассказ Нестора о событиях последних 1093—1113 гг. Сильвестр выдвинул роль Владимира Мономаха в борьбе со степными кочевниками. Он живо и картинно воспроизвел речи Мономаха и вставил несколько новых статей, благоприятных Мономаху. К числу последних относится и знаменитая повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. В этой повести выдвинута роль Владимира Мономаха, выступившего в защиту ослепленного Василька. Ниже мы еще вернемся к этому полному жизненной правды талантливому рассказу Василия.

Изменения и переработки, сделанные Сильвестром в летописи Нестора, коснулись лишь вопросов текущей политики; они не внесли ничего нового в самую форму Повести временных лет и не затронули ее большого патриотического замысла. Предположения В. Л. Комаровича о том, что выдубицкая литературная школа отличалась большею демократичностью, простотою и склонностью к народному языку, вряд ли могут считаться полностью обоснованными:[1] слишком незначителен материал для подобных суждений.

Повесть временных лет, несмотря на все изменения, сделанные в ней выдубицкими летописцами, может считаться созданием Печерского монастыря. Нестор соединил в своем произведении особенности старых печерских сводов 1073 и 1093 гг., с их антигреческим и общерусским направлением, и официальную сдержанность нового княжеского летописания, которому предстояло такое широкое развитие в XII и последующих веках. Повесть временных лет стоит на рубеже двух эпох, она соединяет в себе культурные черты прошлого и будущего, она заимствует все лучшее из прошлого и предугадывает многое из лучшего в будущем.

---

1 „История русской литературы", изд. Института литературы АН СССР, т. I, 1941, стр. 284.

Умение подняться до общерусской точки зрения на события, умение широко осветить всю русскую историю сделали из Повести временных лет книгу, на которой в течение многих веков русские люди учились русской истории, учились понимать государственные интересы России и воспитывали свое национальное чувство.

Вот почему Повесть временных лет ставилась впоследствии в начало большинства русских летописей, служа для них и своеобразным политическим введением и литературным образцом.

III. ОБЛАСТНОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ XII—XIII вв.

Тринадцатый, а также двенадцатый века русской истории резко выделяются и внешними, и внутренними особенностями. В XII и в XIII веках происходит интенсивный процесс политического дробления Руси, дробления экономического, культурного и т. д. Сужается круг политических интересов русских князей; замыкается в более тесные границы культурная и экономическая жизнь Руси, на время подтачиваются общерусские начала, идея русского единства.

Это разделение Русской земли началось еще в первой половине XI в. при Ярославе Мудром, когда обособилась Полоцкая земля, оставшаяся во владении „Рогволожих внуков". В конце XI в. резко обособляется Черниговское княжество, закрепившееся за Олегом Святославичем и его потомством. Тогда же обособилось Галицкое княжество, закрепившееся за ростиславичами. Во второй четверти XII в. выделяется Муромо-Рязанское княжество и княжество Смоленское. Все большую самостоятельность приобретают Новгород, Владимиро-суздальское княжество и т. д. Русская культура, которая в эпоху расцвета „империи Рюриковичей" была по преимуществу культурой Киева, дробится и концентрируется вокруг многочисленных культурных областных гнезд: Новгорода, Чернигова, Полоцка, Смоленска, Владимира Волынского, Галича, Ростова, Суздаля, Владимира Залесского и т. д. Все эти областные центры решительно стремятся не только к политической самостоятельности, но и к культурному отъединению.

Политическая жизнь постепенно отливает от Киева.

Киевское наследство дробится и перестает притягивать интересы князей. Андрей Боголюбский, захватив Киев, затем предоставляет его младшим князьям: Киев его не интересует. Так же поступают Всеволод Большое Гнездо и галицкий князь Роман.

Распад Киевского государства был связан с развитием производительных сил на местах, с образованием новых областных центров, городов, с подъемом активности городских масс населения. Время это не было временем культурного упадка. Рост областных центров имел первостепенное значение в интенсивном культурном развитии Руси XII — начала XIII вв.

„Каждая из обособившихся земель, — пишет акад. Б. Д. Греков, — обращается в целую политическую систему, со своей собственной иерархией землевладельцев (князей и бояр), находящихся в сложных взаимных отношениях. Эти разрозненные ячейки, все больше замыкаясь в тесном пространстве своих узких интересов по сравнению с недавним большим размахом международной политической жизни Киевского государства, заметно мельчали. Однако, внутренняя жизнь этих политически разрозненных миров текла интенсивно и подготовила базу для образования новых государств в восточной Европе и самого крупного из них — Московского“.[1]

Диалектические особенности говоров, бытовые различия, местные литературные школы, резко своеобразные черты в зодчестве каждой из областей, в живописи, в прикладном искусстве — развиваются, крепнут и кристаллизуются именно в этот период. Зодчество Владимира Залесского в XII в. резко отлично от зодчества соседней Рязани, от зодчества Смоленска, Новгорода и других русских городов. Стилистические различия архитектуры всех этих городов настолько велики, что кажется будто бы былое единство утрачено навсегда; то же происходит в живописи и в литературе.

---

[1] Акад. Б. Д. Греков. „Киевская Русь“, изд. 3, М.—Л., 1939, стр. 277.

Это образование отдельных местных и областных культур, с их своеобразными, индивидуальными чертами, было связано и с другой характерной чертой культурного развития XII—XIII вв. — интенсивным влиянием на утонченную культуру верхов русского общества многовековой местной народной культуры. Эти местные народные черты могут быть без труда вскрыты еще в первых произведениях каменного зодчества Руси,[1] в ее книжности и в прикладном искусстве. С конца же XI в. и на протяжении XII и начала XIII вв. русская культура испытывает особенно существенное изменение под воздействием местной народной культуры и сама широко распространяется в городских и сельских слоях населения. На почве этого взаимопроникновения создается новая, высшая культура Руси XII в., более тесно связанная с народом, с местными традициями и с государством.

Проникновение в высокое искусство Руси местных традиций, вкусов непосредственных исполнителей, вносивших в свои произведения черты народного искусства, находилось в зависимости от чрезвычайного развития ремесел, появления многочисленных отраслей строителей, живописцев, от роста городов.

Широкое проникновение народных начал в книжность, в архитектуру, в живопись XII—XIII вв., так же как и рост вечевых собраний с конца XI в., говорит о том, что широкие массы населения все более сознают свое значение в общей жизни страны.

Канун татаро-монгольского нашествия был периодом чрезвычайно значительной, но подспудной, внутренней работы, чреватой величайшими последствиями. Мало заметная вначале, эта работа приводит к ощутимым результатам уже со второй половины XII в., когда в противовес общей децентрализации русской жизни начинают сказываться идейные стремления к объединению князей, княжеств, — гораздо раньше, чем аналогичные тенденции возникли на Западе.

---

[1] Н. И. Брунов. „К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X—XII вв.", Сб. „Русская архитектура", 1940.

Одним из характерных явлений культуры XII—XIII вв. был огромный рост потребности в историческом осмыслении событий. В XII—XIII вв. создаются новые центры летописания по городам; ведением собственных летописей озабочены князья, городские общины, отдельные церкви; создаются новые формы летописания, новые жанры исторических произведений.

Глава 10

ЛИЧНЫЕ И РОДОВЫЕ ЛЕТОПИСЦЫ КНЯЗЕЙ

1

В XII веке вырабатывается новая форма летописания — личные летописцы князей. Эти летописцы охватывали по преимуществу историю семьи или рода того или иного князя. Сюда заносились сведения о рождении детей, о свадьбах, о смертях и т. д. — в тесных пределах семьи или рода. Выше мы уже видели наличие родовых преданий в устной традиции: Ян Вышатич и Вышата снабжали нескольких летописцев историческими сведениями, почерпнутыми из своих воспоминаний, связанных с историей их рода. Характерно, что ни византийская, ни западно-европейская хронография не знали подобного рода личных, семейных или родовых летописцев. Допустимо видеть в русских личных летописцах — местную особенность, восходящую к устной традиции родовых преданий.

Начатки личного княжеского летописания явно обнаруживаются уже в Повести временных лет. Вторая редакция Повести в значительной мере идет по пути превращения этого грандиозного произведения общерусской исторической мысли в личное княжеское летописание Владимира Мономаха. Мы уже видели, что Мономах передал ведение летописи в свой княжой Выдубицкий монастырь, построенный его отцом — Всеволодом, и поручил его игумену Сильвестру переработку Повести временных лет в духе проводимой им политики. Сильвестр переделал предшествующее изложение Повести временных лет за 1093—1113 гг., включил под 1096 г. пространный

рассказ попа Василия, доказывавший правоту политики Владимира Мономаха, добавил легенду о пребывании на Руси апостола Андрея, связанную с новой церковной теорией Мономаха, и др.

Но эти черты личного летописания Мономаха были еще более усилены в третьей редакции Повести временных лет, созданной инициативой старшего сына Владимира Мономаха Мстислава. Здесь, в текст этой третьей редакции Повести летописец включил значительное количество приписок, касающихся отца Мономаха — князя Всеволода и его семьи. В этих приписках было точно датировано вокняжение Всеволода (1 января 1076 г.), отмечены обстоятельства закладки Всеволодом Андреевской церкви и монастыря при ней, пострижения в нем его дочери Яньки (1086 г.), сообщено о закладке Мономахом церкви в Смоленске (1101 г), говорилось о рождении у Мономаха сына Андрея, о смерти дочери Всеволода Ярославича — Евпраксии, причем подробно давалось описание ее могилы (1109 г.) и т. д. Не случайно также в третью редакцию Повести временных лет были включены сведения, касавшиеся перемен на византийском императорском престоле: Владимир Мономах по матери был в родстве с императорским домом Византии.

Главное внимание третья редакция Повести временных лет уделяла старшему сыну Мономаха — Мстиславу. Под 1102 г. рассказывалось о приходе Мстислава из Новгорода и о переговорах, которые он вел под Киевом, сидя в „ыстобце" (в избе). В третьей редакции была подробно освещена деятельность Мстислава в Новгороде, где Мстислав одно время княжил (см. сведения под 1096, 1113, 1114 гг.).

Наконец, совсем особый интерес представляют собою два рассказа о разговорах, имевших место в Ладоге и занесенных в летопись под 1114 и 1096 гг. В 1114 г. летописец был в Ладоге на закладке ладожских стен и здесь слышал о разных диковинах северных стран: о том, например, как падают из туч молодые „веверицы" (белки) и олени, как в самой Ладоге волховская вода выполаскивает „глазкы стекляныи

и малыи, и великыи, провертаны".[1] Их во множестве находят дети и сам автор этой летописной заметки набрал их „боле ста". Под 1096 г. читается рассказ о беседе летописца с новогородцем Гурятой Роговичем о народах на Печоре и о „Угре", причем автор этого рассказа разъяснял Гуряте Роговичу, что народы эти те самые, которых заклепал Александр Македонский в горах, по свидетельству византийского писателя Мефодия Патарского.

Оба рассказа — и рассказ 1114 г., и рассказ 1096 г. — составлены сходно: в обоих дело идет о далеких полунощных странах, в обоих случаях рассказ заключается учеными справками автора — ссылками на византийскую историческую литературу. Замечательно, что оба рассказа относятся к одному и тому же — 1114 г. К этому 1114 г. относится не только разговор с ладожским посадником Павлом, но и разговор с Гурятой Роговичем. Этот разговор занесен в летопись под 1096 г., но имеет справку „яже слышал преже сих 4 лет": редакция Мстислава Повести временных лет была составлена в 1118 г.,[2] следовательно разговор имел место в том же 1114 г.

Оба рассказа составлены от первого лица: „се же хощю сказати, яже слышах преже сих 4 лет, яже сказа ми Гурята Роговичь Новгородець...",[3] „мне же рекшю к Гуряте",[4] „пришедшю ми в Ладогу, поведаша ми Ладожане",[5] „сему же ми ся дивлящю, рекоша ми...",[6] „сему же ми есть послух посадник Павел Ладожскый и вси Ладожане".[7]

---

[1] Очевидно бусинки, вымываемые Волховом из культурных слоев каких-то древнейших поселений. Ипатьевск. лет., 1114 г.

[2] А. А. Шахматов. „Повесть временных лет", т. I, П., 1916, стр. III и след.

[3] Ипатьевск. лет., 1096 г.

[4] Там же.

[5] Там же, 1114 г.

[6] Там же.

[7] В 1114 г. в Ладоге Мстислав закладывал вместе с ладожским посадником Павлом (он-то и рассказывал под 1114 г. о северных странах) каменные стены ладожского детинца. Ипатьевск. лет., 1114 г.

Конечно, как замечает М. Д. Приселков, автором этих заметок, включенных в официальную летопись князя Мстислава, был не рядовой человек. По тому снисходительному тону, которым он говорит о ладожском посаднике Павле и о Гуряте, по тому, наконец, что *пребывание в Ладоге* автора этих заметок совпадает по времени с пребыванием в Ладоге самого Мстислава,[1] который закладывал в ней каменные стены вместе с посадником *Павлом, можно* заключить, что автором их был сам князь Мстислав.

Личный, семейный характер третьей редакции Повести временных лет подтверждается и тем обстоятельством, что в нее было включено Поучение Мономаха, предназначенное, очевидно, Мономахом своему старшему сыну Мстиславу.

Включение Поучения Мономаха именно в редакцию его сына Мстислава доказывается тем, что оно находится в летописи в непосредственной связи с личными заметками Мстислава, и тем еще, что последним событием, упомянутым Мономахом, является его поход 1117 года, — года непосредственно предшествовавшего составлению этой редакции Повести временных лет.

Характерно, что в *Поучение Мономаха,* в отличие от всех иных средневековых поучений отца к детям, вошли составной частью его автобиографические записки — личный счет его *„путей"* *(походов)* и *„ловов"* (охот) — первый образец личного княжеского летописания: „А се вы поведаю, дети моя, труд свой, еже ся есмь тружал, пути дея и ловы 13 лет... А из Чернигова до Кыева нестишь (около 100 раз) ездих ко отцю, днем есм переездил до вечерни; а всех пути 80 и 3 великих, а прока не испомню менших. И миров есм створил с Половечьскыми князи без одиного 20... А се в Чернигове деял есм: конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20 живых конь, а кроме того иже по Рови (Роси) ездя имал есм своима рукама те же кони дикие. Тура мя 2 метала на розех и с конем, олень мя один бол (*бодал*), а 2 лоси, один

---

[1] „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 44.

ногами топтал, а другый рогома бол, вепрь ми на бедре мечь оттял, медведь ми у колена подъклада укусил, лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже... И с коня много падах, голову си розбих дважды, и руце и нозе свои вередих... Еже было творити отроку моему, то сам есмь створил, дела на войне и на ловех, ночь и день, на зною и на зиме, не дая собе упокоя...“[1]

Таким образом, Мстислав в своей заботе о личном летописании поступал по заветам своего отца Мономаха. Так же как Мономах, он озабочен ведением официальной летописи своего княжения, возможно, что так же как Мономах, он лично ведет летописные записи.

Летописание Мстислава — Повесть временных лет в третьей редакции — имело огромное значение для всего последующего летописного дела на Руси. Ее имели во главе своих княжеских летописей все представители рода Мономаха. Третья редакция Повести временных лет легла в начало летописания Новгорода, где первоначально княжил Мстислав, а затем его сын Всеволод; она легла в начало княжеского летописания Переяславля Русского, где также одно время княжил Мстислав и, наконец, — Киева, куда Мстислав перешел княжить после смерти отца. Из Переяславля Русского Повесть временных лет в третьей редакции (редакции Мстислава) в соединении со второй (Сильвестровской — Сильвестр с 1117 г. был епископом Переяславля Русского) передалась на северо-восток — во Владимирско-суздальскую землю, где впоследствии отразилась в летописании Москвы.

2

Три отростка когда-то единого ствола общерусского летописания — новгородское, переяславское и киевское — стали наиболее мощными ветвями, которые в первой четверти XII в. дало летописание мономаховичей. Вслед за тем, летописание продолжает дробиться, многочисленными побегами охватывая

[1] Лаврентьевск. лет., 1096 г.

все наиболее значительные княжества Руси. Ко второй половине XII в. окончательно выкристаллизовываются местные особенности летописания: новгородского, владимиро-суздальского, Переяславля Русского, черниговского и, как можно предполагать, галицкого. Вместе с тем определяется и характер личных, семейных и родовых княжеских летописцев. Их становится все больше, они входят в культурный обиход русских князей.

В записях этих летописцев, — все равно велись ли эти записи самими князьями или кем-либо из их подчиненных, — отмечены главным образом события семейной и личной жизни князей: рождения детей, браки, смерти, монашеские постриги, перемены княжения и изредка походы. Насколько предшествующее общерусское летописание было обширным по теме и по исполнению, настолько это княжеское летописание оказалось узким по содержанию и несложным по выполнению. Однако в летописании княжеском — личном и семейном — имеется и положительная сторона — это интенсивность исторического самосознания, сознание исторической ценности личной деятельности, стремление сохранить для потомства частности своей биографии. Нас поражает сейчас распространенность этой заботы об историческом отображении собственной деятельности. Это новое явление, снижая общую тему летописания, как летописания всей страны, было тем не менее закономерно и в известной мере целесообразно связано с общей децентрализацией русской жизни XII в., с углублением процесса феодализации.

Записи семейных и личных княжеских летописцев были обнаружены внимательным наблюдением М. Д. Приселкова в сложной по своему составу Ипатьевской летописи. Все они относятся к XII в. Повидимому, эти княжеские летописцы были использованы в Киеве в Выдубицком монастыре при составлении свода 1200 г., который затем вошел в состав Ипатьевской летописи.[1]

[1] См. о своде 1200 г.: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 47 и след.

Из семейных и родовых княжеских летописцев в Ипатьевской летописи мы должны прежде всего отметить семейную хронику ростиславичей, братьев киевского князя Рюрика Ростиславича, заботливо включенную в киевский свод Рюрика Ростиславича 1200 г. его составителем — игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем. Здесь были отмечены описания смерти и некрологи следующих князей: Святослава Ростиславича (под 1172 г.), Мстислава Ростиславича (под 1178 г.), Романа Ростиславича (под 1180 г.) и Давида Ростиславича (под 1198 г.). Некрологи эти „ничего не сообщают о фактической стороне биографии умершего князя, о местных делах и отношениях, — пишет о них М. Д. Приселков, — а главным образом рисуют похвальные (всегда шаблонные) черты для князей, как и полагается в некрологах".[1]

Значительно больше упорства в собирании сведений и ведении записей в родовом летописце Игоря Святославича — героя Слова о полку Игореве. Подробности семейных дел Игоря Святославича отмечены в Ипатьевской летописи последовательно и без пропусков. Под 1151 г. отмечено рождение Игоря Святославича. Под 1173 г. отмечено рождение у Игоря сына Владимира; под 1176 г. — рождение сына Олега, под 1177 г. — рождение сына Святослава. Под 1188 и 1190 гг. отмечены браки детей Игоря и т. д. К 1198 г. относится последнее известие этого летописца о смерти Ярослава Всеволодовича Черниговского и о вокняжении „благоверного князя Игоря Святославича".

Из родственников Игоря Святославича особо отмечены в его летописце события жизни его брата Всеволода, идеализированного Словом о полку Игореве („буй-тур"). Проникновение сведений о нем в Ипатьевскую летопись именно из летописца Игоря доказывается тем, что дважды летописец определяет его как „Игорева брата". Так пояснено под 1180 г. и под 1196 г., где отмечена смерть „брата Игоря" Всеволода

[1] М. Д. Приселков. „История русского летописания XII—XV вв.", Л., 1940, стр. 49.

Святославича и дан краткий некролог его, совпадающий с характеристикой, данной ему в Слове о полку Игореве: „во Олговичех всих удалее рожаемь, и воспитаемь, и возрастом и всею добротою, и можьственою доблестью, и любовь имеяше ко всим“. Отмечена в летописце Игоря судьба Владимира Галицкого сына Ярослава Осмомысла. Этого Владимира Ипатьевская летопись дважды отмечает как „шюрина“ Игоря. Владимир, рассорившись с отцом, нигде не находил себе приюта, пока его не удержал у себя Игорь и не помирил их.[1]

Летописец Игоря Святославича включил в себя, как составную часть, летописец отца Игоря — Святослава Ольговича и летописец брата *Игоря — Олега* Святославича. Состав летописца Святослава Ольговича резко отличается от состава летописца Игоря Святославича своею большею подробностью; это может быть отчасти объяснено тем, что Святослав Ольгович был одно время князем киевским. Сторонник Святослава Ольговича явно чувствуется в летописной статье 1146 г., где даже имеется попытка передать мысли Святослава,[2] и в сочувственном сообщении о смерти дядьки Святослава „доброго старца“ Петра Ильича, „иже бе отца его мужь, уже бо от старости не можаше ни на конь всести, бе ему лет 90“.[3] Под следующими 1148 и 1149 гг. снова сообщается о чисто семейных событиях Святослава Ольговича (сватовство, рождение дочери, перенос тела брата Святослава Игоря в усыпальницу черниговских князей — собор Спаса, женитьба сына, замужество дочери, смерть жены).

Таков состав и известий летописца Олега Святославича.[4] Оба эти летописца — летописец Святослава Ольговича и Олега Святославича — попали в Киевский свод 1200 г. не непосред-

[1] См. Ипатьевск. лет., 1183 г.

[2] „Святославу же бы из головы, любов иже дати жену и дети и дружину на полон, любо голову свою сложити“ (Ипатьевск. лет., 1146 г.).

[3] Ипатьевск. лет., 1147 г.

[4] См. ряд известий в Ипатьевск. лет. под 1167, 1170, 1179 и другими годами.

ственно, а через летописец Игоря Святославича, куда они были включены. Это ясно видно из того, что они подверглись соответствующей обработке. Так, например, к известию летописца Святослава Ольговича о княжеском съезде 1159 г. в Лутаве было добавлено имя Игоря.[1] Ясно, что это не реальный факт, а позднейшее тенденциозное добавление сторонника Игоря, так как Игорю в год съезда было всего лишь 8 лет и принимать в нем участие он не мог.

Таким образом, в Ипатьевской летописи явственно различаются известия, почерпнутые из обширного летописца Игоря Святославича, включившего в свой состав семейные летописцы его родственников. Летописец этот — самый обширный из всех личных, семейных и родовых летописей XII—XV вв.

3

Следует всячески подчеркнуть, что узость личных летописцев никогда не удовлетворяла князей. Личные летописцы либо включаются в состав более обширных по своей теме летописей, либо сами стремятся расширить состав своих известий до общерусского охвата.

По ряду признаков можно думать, что отсутствие по настоящему общерусского летописания очень остро ощущалось в XII в. Например, в 70-х — 80-х годах XII в. в ряде русских областей делаются попытки восстановить былую широту общерусского летописания. В частности, чрезвычайно важно то обстоятельство, что рассмотренное выше летописание Игоря Святославича пытается стать общерусским. Факт этот проливает некоторый свет, как это мы увидим ниже, и на обстоятельства создания Слова о полку Игореве.

---

[1] „И сняшася в Лутаве Изяслав, и Святосдав Олговичь, и сын его Олег, И г о р ь, и Всеволодичь, и Володимиричь Святослав и бысть любовь велика" (Ипатьевск. лет., 1159 г.).

Отрицая существование отдельной и систематической черниговской летописи,[1] М. Д. Приселков обращает внимание на то, что „летописец Святослава Ольговича, может быть, в пору его княжения в Чернигове, делал попытки выходить из рамок личного летописца этого князя, превращаться в черниговское летописание“.[2] Доказательством этого стремления летописца Святослава Ольговича стать летописцем Чернигова М. Д. Приселков считает включение в его состав повести об убиении брата Святослава — Игоря Ольговича. И действительно, летописная повесть об убиении Игоря Ольговича, как мы об этом будем говорить в следующей главе составлена из трех отдельных рассказов, один из которых, выдержанный в житийных тонах, был тесно связан своим возникновением с Святославом Ольговичем, выдвинувшим убийство своего брата Игоря как главное обвинение против своих противников — мономаховичей. Для целей этой борьбы Святослав делает попытку канонизации Игоря, торжественно переносит его тело (в повести „мощи“) в Чернигов в церковь Спаса и заказывает его житие, внешне подражающее Житию Бориса и Глеба. Житие Игоря Святослав, очевидно, и включает затем в свой летописец.

Кроме того, в Ипатьевской летописи под 1120, 1123, 1140, 1142, 1143 и другими годами встречаем ряд известий, касающихся черниговских князей и епископов. М. Д. Приселков считает, что эти известия также входили когда-то в состав летописца Святослава Ольговича.[3]

Однако если уже летописец Святослава Ольговича делал попытки включения в свой состав летописания Чернигова, то можем ли мы предположить, что летописец его сына Игоря Святославича, включивший и летописец отца Игоря и летописец брата Игоря, оставался в узких пределах родового княжеского летописца?

---

[1] Черниговскую летопись в составе Ипатьевской предполагал А. А. Шахматов (см. „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.“ Л., 1938, стр. 72 и след.).

[2] „История русского летописания XI—XV вв.“, Л., 1940, стр. 51.

[3] Там же.

Действительно, внимательный анализ большого числа переяславских известий, читающихся сейчас в Ипатьевской летописи, показывает, что все они прошли через редакторскую обработку в летописи Игоря Святославича. Из этого видно, что летопись Игоря Святославича пыталась одно время стать общерусской.

В самом деле, как уже было доказано исследованиями А. А. Шахматова, и в составе Лаврентьевской летописи, и в составе Ипатьевской летописи читаются сейчас известия из летописей Переяславля Русского („Южного"). Летописи Переяславля Русского были дважды использованы в летописании Владимира (откуда известия их и попали в Лаврентьевскую летопись) и однажды в какой-то из летописей, вошедших затем в состав Ипатьевской. Но в какой именно? М. Д. Приселков предполагает, что известия летописей Переяславля Русского были использованы в Киевском своде Рюрика Ростиславича 1200 г. Однако сличение переяславских известий в Ипатьевской летописи и в Лаврентьевской ясно показывает, что в Ипатьевской летописи они переработаны сторонником ольговичей черниговских и следовательно были первоначально включены из переяславской летописи в какой-то летописец ольговичей, а им мог быть по ряду причин только летописец Игоря Святославича, составление которого относится как-раз к тем годам, когда уже был закончен летописец Переяславля Русского (он был доведен до года смерти переяславского князя Владимира Глебовича — 1187).

Переяславль Русский или Южный входил как часть в наследство Всеволода Ярославича и прочно удерживался во владениях этой отрасли княжеского рода. Несколько раз Переяславль Русский переходил от мономаховичей к Мстиславичам и обратно, пока не достался сыну Юрия Долгорукого — Глебу. В 1169 г. там сел двенадцатилетний сын Глеба — Владимир. Владимиро-суздальские князья прочно удерживали Переяславль Русский в сфере своего влияния, как оплот их политики на юге Руси. Сами князья пограничного со степью Переяславля вели упорную и многолетнюю войну со степными

кочевниками и были заинтересованы в прекращении губительных междоусобных войн мономаховичей и ольговичей, хотя по большей части становились на сторону первых, осуждая недостаток военных талантов ольговичей черниговских и их обычное пользование половецкою помощью.

Резкая критика ольговичей снята в Ипатьевской летописи. В Ипатьевской летописи под 1136 г. заметно смягчение враждебного отношения к ольговичам летописца Переяславля Русского; пропущен ряд известий об ольговичах, сохранившихся в Лаврентьевской: „в то же лето почаша с ольговичи рать имети и многы пакости створиша“, и дальше: „и паки крамола бысть к них немала: шедши бо ти же ольговичи с половци...“ Под 1138 г. пропущено и другое известие о крамолах ольговичей. Под 1139 г. частично пропущен, а частично переработан текст, резко направленный против ольговичей в изображении начала княжения Всеволода Ольговича. Под 1140 г. пропущен текст, враждебный к Всеволоду Ольговичу. Под 1141 г. пропущено заявление новгородцев, отказавшихся принять ольговичей. Под 1142 г. пропущена порочащая мотивировка действий Игоря Ольговича, которого ольговичи стремились изобразить святым.[1] Под 1146 г. внесена фактическая поправка в известие о Святославе Ольговиче — отце Игоря Святославича.[2] Также переработано в Ипатьевской и сообщение летописца Переяславля Русского о приходе сына Юрия Долгорукого Ростислава Юрьевича, рассорившегося с отцом, к Изяславу. В летописце Переяславля Русского главной причиной прихода Ростислава к Изяславу выставлялось его нежелание соединиться с ольговичами. В Ипатьевской же летописи всякое

---

[1] Пропущены слова: „враг же роду хрьстьянску дьявол ражже сердце Игореви Олговичю“ (Лаврентьевск. лет., 1142 г.).

[2] В летописце Переяславля Русского Святослав вбегает с остатками дружины в Новгород Северский (Лаврентьевск. лет., 1146 г.), в Ипатьевской же летописи Святослав вбегает в Чернигов „с малом дружины“. Затем Святослав посылает по своим братьям, ведет переговоры с Владимиром и Изяславом и только после этого: „а сам еха Курьску уставливат людий, и оттуда Новугороду приде“.

упоминание вражды Ростислава и ольговичей снято, оставлено лишь упоминание о корыстных расчетах самого Ростислава. Ряд исправлений в летописце Переяславля Русского был сделан под 1151 г. и др. Внимательному пересмотру подверглись все сведения о внешних сношениях Святослава Ольговича (под 1154, 1155, 1159 и следующими годами).

Примеры тенденциозной переработки летописца Переяславля Русского легко могли бы быть увеличены.

Летописец Переяславля Русского кончался некрологом переяславскому князю Владимиру Глебовичу под 1187 г. Следовательно, включение его в состав летописей Игоря Святославича могло произойти не ранее этого времени, но не могло произойти и значительно позднее, так как обработка переяславской повести о поражении Игоря Святославича в 1185 г., читающаяся сейчас в составе Ипатьевской летописи,[1] хранит следы свежей памяти о несчастных событиях Игорева поражения.

Летописный свод Игоря Святославича кончался записью о вокняжении Игоря Святославича в Чернигове в 1198 г.

---

[1] Сличение текстов обоих летописных рассказов о походе Игоря Святославича (в Ипатьевской и в Лаврентьевской) обнаруживает, что в основе рассказа Ипатьевской летописи, т. е. в конечном счете летописца Игоря Святославича, лежит изложение Переяславской летописи. В частности, к Переяславской летописи восходит отрывок — описание осады половцами Переяславля Русского (он схож в Лаврентьевской и в Ипатьевской). Текстуальная близость Ипатьевской летописи и Лаврентьевской встречается и еще в ряде мест. В частности, как замечает акад. А. С. Орлов, — „перечень пленных половецких князей, имеющийся в Ипатьевской летописи, хотя и дан Лаврентьевской летописью в ином порядке имен, но все же четыре имени расположены одинаково" (акад. А. С. Орлов. „Слово о полку Игореве", Л., 1933, стр. 164). Эта общность отдельных мест в летописных рассказах о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г. прямо ведет нас к тому положению, что в основе рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря лежит сильно распространенное добавлениями и измененное повествование летописи Переяславля Русского. Именно этим объясняется упоминание в этих общих местах покровительницы Переяславля — богородицы и сочувственное отношение к Владимиру Глебовичу Переяславскому.

Предполагаем, что вокняжение Игоря Святославича в Чернигове побудило его озаботиться составлением обширного летописного свода, общерусского по идее, куда вошли летописцы Святослава Ольговича (отца *Игоря*), Олега Святославича (брата *Игоря*), Святослава Всеволодовича Киевского, житие Игоря Ольговича, повесть о походе Игоря Святославича 1185 года и летописец Переяславля Русского (летописец князя Владимира Глебовича). Это был летописный свод с широким политическим горизонтом, и понятно почему уже через два года, в 1200 г. его использовал киевский летописец Выдубицкого монастыря.

Если таков состав летописного свода Игоря Святославича, тогда нам станут ясны и основные, ведущие идеи его, поразительным образом совпадающие с общей политикой Игоря Святославича и Святослава Всеволодовича Киевского, клонившейся к активному наступлению против половцев и примирению княжеской вражды.

4

Традиционная политика черниговских ольговичей, искавших мира и союза с беспокойным населением смежных степей,[1] претерпела резкие изменения в середине 80-х годов XII в.

Под влиянием усилившихся в 70-х и 80-х годах XII в. набегов половцев, идея необходимости объединения Руси вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства.

---

[1] Основы союза с половцами, как традиционной политики ольговичей, выяснены в работе В. В. Мавродина. „Очерки по истории левобережной Украины", Л., 1940, стр. 210 и след.

Ольговичи, постоянно пользовавшиеся половецкою помощью в своих походах на соседние русские княжества, теперь деятельно ищут союза с ростиславичами и мономаховичами против тех же половцев.

В истории перелома политики ольговичей очень важную роль сыграл „ольгович" Игорь Святославич. В самом деле, еще в 1180 г. половцы деятельно помогали Игорю Святославичу Новгород-северскому. Во время военного размирья Святослава Всеволодовича Черниговского со Всеволодом Суздальским Игорь и брат его Ярослав оставались в Чернигове, беречь его от ростиславичей. Не видя ниоткуда нападения, Игорь и Ярослав сами решили напасть на смоленских князей и направились к Друцку, „поемше с собою Половце", на союзника ростиславичей Глеба Рогволодовича. На помощь Игорю выступили Всеслав Василькович Полоцкий, Брячислав Витебский и др. „с толпами ливов и литвы: так, вследствие союза полоцких князей с черниговскими, в одном стане очутились половцы вместе с ливами и литвою, варвары черноморские с варварами прибалтийскими".[1] Однако, на помощь Глебу явился Давид Смоленский со всеми полками, и обе стороны не решались напасть друг на друга. Только приход Святослава Всеволодовича позволил ольговичам принять активные действия против своих врагов.

Вместе с тем и Рюрик двинулся из Киева в Белгород и отправил войско против Игоря Святославича, который со своими деятельными союзниками-половцами, ханом Кончаком и Кобяком залег у Долобска. Однако, половцы лежали не сторожась, надеясь на свою силу и на Игорев полк. Результатом этого небрежения половцев Игоря явилось их страшное поражение. Много половцев утонуло в Черторые, другие были перебиты и пленены. В этой битве убили половецкого князя Козла Сотановича, Елтута кончакова брата, захватили в плен двух кончаковичей, и Тотура, и Бякобу, и Кунячюка богатого, и Чюгая.

---

[1] С. М. Соловьев. „История России", т. II, гл. 6, изд. 2, стлб. 531.

Игорь, видя поражение своих половцев, вскочил сам-друг с ханом Кончаком[1] в ладью и успел уплыть на Городец к Чернигову. Поражение Игоря Святославича киевский летописец рассматривал как поражение половцев: „И тако поможеть бог Руси и возвратишася во свояси, и приемше от Бога на поганыя победу“.[2]

Одержав победу над союзными ольговичам половцами во главе с их вождем Игорем Святославичем, Рюрик своеобразно воспользовался ее плодами. Он не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы удержать в своей власти Киев. Он оставил на великом княжении Киевском — ольговича Святослава Всеволодича, а себе взял остальные города Киевской области.

Киев был уступлен Рюриком Святославу на условиях, о которых мы можем лишь догадываться: Святослав целовал крест Рюрику о военном союзе против половцев — извечных союзников ольговичей — и честно выполнил свою клятву. Начиная с этого времени, Святослав и Рюрик совместно организуют ряд степных походов на половцев. Резко меняет свои дружественные отношения к половцам на враждебные Игорь Святославич. Святославу и Рюрику удается широко организовать союзные отношения русских князей в отпор усилившемуся нажиму степи. Вслед за союзом Святослава и Рюрика, был заключен мир и со Всеволодом Большое Гнездо. Антиполовецкая политика Святослава и Рюрика при-

---

[1] Как предполагает Лященко („Этюды о Слове полку Игореве“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXXI, 1926), именно в 1180 г. была условлена между Кончаком и Игорем свадьба сына Игоря Владимира на дочери Кончака. Вот почему еще в 1183 г. Кончак именуется „сватом“ Игоря, хотя свадьба состоялась лишь в 1185 г. Свойством с Кончаком очевидно объясняется та сравнительная свобода, которой пользовался Игорь в плену. „Волю ему даяхуть: где хочеть, ту ездяшеть и ястребом ловяшеть, а своих слуг с 5 и с 6 с ним ездяшеть; сторожеве же те слушахуть его и чьстяхуть его, и где послашеть кого, бес пря творяхуть повеленое им. Попа же бяшеть привел из Руси к собе, со святою службою“ (Ипатьевск. лет., 1185 г.).

[2] Ипатьевск. лет., 1180 г.

мирила княжеские раздоры. Всеволод возвратил Святославу его сына Глеба, которого держал в заключении. Мир мономаховичей и ольговичей был закреплен брачными союзами: „князь Кыевьскый Святослав Всеволодичь ожени 2 сына, за Глеба поя Рюриковну, а за Мьстислава ясыню из Володимеря Суждальского, Всеволожю свесть; бысть же брак велик“.[1]

Таким образом, одно из условий, на котором глава ольговичей Святослав Всеволодович получил киевское княжение, — было обязательство активной политики против степных кочевников. Сам Святослав Всеволодович мог держаться в обессиленном и обедневшем Киеве только примиряя интересы враждующих княжеств, и, начиная с этого времени, он деятельно служит общерусской оборонительной политике. Сразу же по своем вокняжении в 1182 г. он помогает Всеволоду Суздальскому против волжских болгар говоря: „дай Бог, брате и сыну, во дни нашемь нам створити брань на поганыя“.[2]

Перемена политики главы ольговичей Святослава не могла не отразиться и в политике рядовых ольговичей. Внушения Святослава и собственное страшное поражение подействовали отрезвляющим образом на Игоря Святославича. Он осознает всё растущую половецкую опасность для Русской земли и обращает всю свою неукротимую энергию против половцев. Он рвет со своей прежней политикой, раскаивается в ней, объявляет себя врагом своих прежних союзников — хана Кобяка и хана Кончака. Вот почему ни один половец не заслужил в летописном своде Игоря Святославича и вообще в русской летописи таких отрицательных отзывов как этот бывший союзник Игоря — хан Кончак, с которым он когда-то спасся в лодке. Летописец Игоря Святославича говорит о нем в таких выражениях: „придоша иноплеменьници на Рускую землю безбожни измаилтяне, окаяньнии Агаряне, нечиствии ищадья делом и нравом сотониным, именемь Кончак, злу началник правоверным крестьяномъ, паче же всим церквам,

[1] Ипатьевск. лет., 1182 г.

[2] Там же.

идеже имя божие славиться, сими же погаными хулится, то не реку единемь крестьяном, но и самому богу врази: то аще кто любить врагы божия, то сами что приимуть от бога? Сий же богостудный Кончак, со единомыслеными своими приехавше к Переяславлю, за грехы наша много зла створи крестьяном, оних плениша, а иныи избиша, множайшия же избиша младенець".[1]

Вторично отрицательная характеристика Кончаку дана в летописце Игоря Святославича под 1184 г., когда „оканьный, и безбожный и треклятый Кончак" отправился походом на Русь.

Вот почему и сам Игорь Святославич, знаменуя перелом в своей политике, каялся — и предавал свое покаяние обнародованию в своем летописце. В описании похода Игоря Святославича 1185 г. летописец вкладывает в уста Игоря длинную покаянную речь, поражающую пространным перечислением княжеских преступлений и необычайною смелостью: „помянух аз грехы своя пред господом богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадех хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений [детей] своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от матерей своих, и подруга от подругы своея, все смятено пленом и скорбью тогда бывшюю, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнемь от жизни сея искушение приемши... и та вся сотворив аз, рече Игорь"...[2]

Вторично кается Игорь, находясь в плену у хана Кончака: „аз по достоянью моему восприях победу от повеления твоего, владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужьная вся, их же есмь приял аз".[3]

---

[1] Ипатьевск. лет., 1179 г.

[2] Там же, 1185 г.

[3] Там же.

Вернувшись из половецкого плена, Игорь не мог занять позицию безупречного героя. Ему приличнее всего было признать свою вину. Настроение покаяния, раскаяния — по существу политического, но облеченного в приличествующие религиозные формы, выдвижение новых, надиндивидуальных политических идей — было естественным следствием неловкого положения, в которое попал Игорь по возвращении из плена. Эта позиция Игоря целиком отвечала интересам Святослава Киевского, пытавшегося неоднократно сколотить коалицию русских князей для отпора половцам. Именно это же могло быть причиной „разрешения“ со стороны Игоря на написание летописной повести о своем несчастном походе.

Характерно, что, продолжая политическую программу Игорева „покаяния“, автор Слова о полку Игореве вспоминает события 1180 г., когда Игорь и Всеволод выступили во главе половцев против коалиции русских князей: „тии бо два храбрая Святъславича, Игорь и Всеволод, уже лжу убудиста которою; ту бяше успил отец их Святъславь грозный великый Киевский грозою“. Вот почему Игорь по приезде в Киев прежде всего идет к Пирогощей, заложенной в 1130 г.[1] Мстиславом Владимировичем, но освященной в 1136 г. Ярополком, приурочившим это событие к своему примирению с ольговичами. Вот почему, наконец, и летописец Игоря, и автор Слова о полку Игореве в одинаковой мере могли пользоваться рассказами своего князя Игоря Святославича и отразить в своем изложении и личные переживания Игоря, и детали его пребывания в плену.

Отсюда понятны также и многие особенности летописного свода Игоря Святославича. Понятно, почему он привлек летописец Владимира Глебовича, внимательно описавший взаимоотношения русских и половцев, степные походы русских. Понятен и тот повышенный интерес, который выказывает

[1] Лаврентьевск. лет., 1131 г.

летописец Игоря к военным операциям против степи; понятно почему он и пересматривает всю политику ольговичей, удаляя из предшествующего летописания ольговичей следы дружественного отношения к половцам и подчеркивая миролюбие ольговичей в междукняжеских спорах.

Вся русская история рассматривалась в летописце Игоря Святославича как борьба с „безбожными агарянами" — половцами. Вот почему под 1187 г. летописец Игоря давал описание взятия „агарянами" — Иерусалима, связывая этот эпизод с общей борьбой европейских народов против степных язычников. Так же, как и поражению Игоря, взятию Иерусалима предшествовало затмение. Летописец говорит дальше, что это предвестие несчастия касается обычно только той земли, где затмение видно. Затмение 1187 г. было видно в Галиче, но не было видно в киевской стороне. И сразу же после рассуждения о затмении летописец сообщает о смерти галицкого князя Ярослава („Осмомысла" Слова о полку Игореве). Это рассуждение летописца невольно наводит на сопоставление с рассказом Слова о полку Игореве о затмении перед походом Игоря: солнце тьмою заслоняет от Игоря воинов его, грозя гибелью им, но не Игорю.

Пленение Иерусалима, вызывая летописца на мировые сопоставления, подчеркивая всеобщность наступления язычников на тесный мир христиан, не обезнадеживает его. Как „исповедають" книги Царств, бог в свое время возвратил из плена скрижали Завета, и царь Давид „веселия исполнися, скакаше играя". Вот почему и нам, — рассуждает летописец, — „укореным сущим" и принимающим позор от беззаконных тех агарян, следует чаять „божия благодати и лика преславна". На „избавление" от какого „позора" от агарян, намекает летописец, рассказывая о пленении скрижалей Завета и о последующем возвращении их из плена? Ясно, что летописец имеет в виду в своем рассуждении пленение Игоря и его возвращение.

Итак, в центре внимания летописца Игоря Святославича стояла общерусская борьба с половцами. Именно поэтому

летописец Игоря включил в свой состав летопись пограничного со степью Переяславля Русского, внимательно следившую за всей историей русско-половецких отношений. Поход Игоря Святославича 1185 г., в котором участвовали войска Владимира Глебовича Переяславского,[1] исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения его летописца к летописанию Игоря Святославича. Таким образом, создание летописцем Игоря Святославича общерусского свода идет под знаком необходимости примирения враждующих князей — ольговичей, ростиславичей, мономаховичей и активизации борьбы на внешних границах Руси. Узкое летописание ольговичей прерывает тип родового, личного, семейного летописания и пытается вернуться на широкую дорогу летописания общерусского.

***

Личное и родовое летописание князей типично для периода феодальной раздробленности. Оно ярко отражает сужение политического горизонта „котòрающихся" князей. Летописные памятники этого рода незначительны по размерам и по содержанию, хотя и многочисленны. Однако нельзя считать, что личные и родовые княжеские летописцы удовлетворяли потребностям тех же князей в исторических знаниях. Мы увидим ниже, что летописи этого рода не были в XII—XIII вв. единственной формой исторических произведений. Многообразная, все усложняющаяся жизнь создает многие другие новые формы исторических произведений. Сами родовые и личные летописи князей выказывают постоянное стремление выйти из узких пределов семейного и родового взгляда на события русской истории и превратиться в летописание общерусское.

---

[1] М. Д. Приселков. „Слово о полку Игореве как исторический источник". Историк-марксист, 1938, № 6.

Глава 11

ГОРОДСКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ

(Летописные своды Новгорода XII в.)

Процесс, которым шло дробление летописания, появление в нем местных народных черт и отражение непосредственных потребностей самой русской жизни, — лучше всего может быть показан на истории новгородского летописания XII в.

1

Перемещение торговых путей Европы в конце XI в., поведшее к обеднению таких старых русских городов, как Киев и Чернигов,[1] сказалось благоприятно на торговле Новгорода с бассейном Волги: через Новгород и владимиро-суздальские города направляются новые пути европейской торговли с Востоком. Новгородцы в изобилии вывозят пушнину из своих северо-восточных владений, воск, а ввозят из-за границы сукно, железо, соль, хлеб, лошадей, предметы роскоши.

В XII в. новгородских купцов можно было встретить почти во всех торговых городах Балтики. Указания на заморскую торговлю новгородцев можно найти в дошедших до нас договорах с иноземными гостями и в новгородских летописях. В летописи отмечено, например, что в 1130 г. буря в Балтийском море разбила семь новгородских ладей, возвращавшихся из Готланда. Под 1134 г. новгородская летопись отметила жестокую расправу с новгородцами в Дании: „рубоша

[1] С конца XI в. главенство в средиземноморской торговле переходит от Византии в руки французов и итальянцев. Конкурентом в торговле с севером Европы становится Венеция. Торговое движение по „Великому пути из варяг в греки“, соединявшему бассейны Средиземного и Черного морей с Балтикой по Неве, Ладоге, Волхову и Днепру, постепенно затихает. Киев, Чернигов и другие русские города остаются в стороне от основных торговых путей Европы.

новгородць за морем в Доня".[1] Свидетельства об иностранной торговле Новгорода встречаются и у западно-европейских писателей того времени — у Адама Бременского, Саксона Грамматика и др.

Одновременно с развитием торговли идет в Новгороде развитие ремесел. Целые улицы были заселены в Новгороде ремесленниками одной специальности. Ремесленники активно участвуют в политической жизни Новгорода.

Чрезвычайно усиливается и феодальная эксплоатация новгородским боярством своих владений.

Могущественный и развивающийся Новгород вступает в борьбу со слабеющим Киевом.

На время интересы богатеющих новгородских торговцев и ремесленников объединяются в общем им всем стремлении освободиться из-под политической опеки Киева и проводника этой опеки — ставленника киевского князя — новгородского князя.

Повидимому еще во второй четверти XII в. князь теряет свои права на Софию Новгородскую, бывшую перед тем княжеским храмом, и обосновывается на другой стороне Волхова — на Ярославовом Дворище, уступая Детинец и Софию епископу.

С переходом Софии в ведение одного епископа храм этот становится центральным палладиумом молодой вечевой республики. Епископ Нифонт вскоре значительно расширяет ее, обстраивая с трех сторон галлереями, и расписывает фресками.[2]

Потеряв Софию, новгородский князь Всеволод пытается перевести ее значение на выстроенную им церковь Ивана на Опоках Торговой стороны. Всеволод дает ряд преимуществ ивановской братчине, организованной им из купцов, заинтересованных в торговле с Киевом.

Попытка князя Всеволода опереться на часть новгородского купечества, организованного им вокруг церкви Ивана

---

[1] Новгородская I летопись по Синодальному списку, СПб., изд. 1888 г., под 1134 г.

[2] Там же, под 1144 г.

на Опоках, не удалась. В 1136 г. происходят бурные волнения. Собравшееся вече, на котором, как и в 1132 г., присутствуют не только новгородцы, но псковичи и ладожане (жители г. Ладоги), смещает князя. Князя сажают в „епископль двор с женою и детьми и с тьщею, месяца маия в 28; и стражье стражаху день и нощь с оружием, 30 мужь на день".

Переворот 1136 г. окончательно ослабил княжескую власть и закрепил господствующее положение в управлении городом епископа. Князь лишается большинства своих доходов, прав и земельных владений. С этой поры он ограничен в охоте и в суде. Эти права, доходы и земельные владения переходят к новгородскому епископу, который становится богатейшим землевладельцем Новгорода и, очевидно, председателем совета господ, „начальником" новгородских бояр.[1]

Именно с этого же времени устанавливается своеобразная новгородская система избирания епископа вечем, которая устраняла от всякого фактического участия в поставлении новгородского епископа киевского митрополита. Пользуясь церковными смутами своего времени, новгородский епископ Нифонт сумел извлечь из своего положения единственно признанного в Византии русского епископа все выгоды и установил для Новгорода относительную церковную самостоятельность. Вместе с тем реформа Нифонта повела к обмирщению новгородской церкви. В результате, по определению исследователя новгородского церковного быта А. Никитского „духовенство в Новгороде не только не составляло отдельной касты, но даже и особенного сословия, а только разве класс, тесно связанный с остальным обществом. Как выход из духовенства, так и вход в его ряды, был вполне открыт для всех желающих. Нам известны примеры, что лица духовного звания, носившие священнический и диаконский сан,

---

[1] Это положение епископа как первого феодала области и главы государства отметил в своем „Путешествии" Гильбер де Ланнуа в начале XV в.: „*Ung évesque, qui est comme leur souverain*" („Voyages et ambassades de Guillebert de Lannoy, 1399—1450", 1840, p. 190).

слагали его с себя без всяких затруднений и принимали на себя другие обязанности“.[1]

Обмирщение новгородской церкви выразилось также и в том, что вокруг Софии создается двор, во всем подобный княжескому. Владыка заводит своих дворецких, казначеев, ключников, чашников, крайчих, медоваров, поездщиков, тиунов, десятников, приставов, зазывальщиков, доводчиков, борцов. Владычные „молодцы“ выполняют самостоятельно военные операции[2] и т. д.

Вся эта обширная дворовая челядь и светское чиновничество владыки становятся внушительной силой в Новгороде. Начиная с середины XII в., епископ активно вмешивается во все дела новгородского государства. Большинство новгородских грамот с этой поры скрепляется санкцией владыки — его благословением. Сама София становится символом новгородской независимости. Идя в походы, новгородцы собираются честно умереть за Софию и заручаются благословением епископа. Именем Софии заключали мир, пользовались как боевым кличем и политическим лозунгом.

Итак, в середине XII в. в Новгороде совершается политический переворот, с которым связывается образование большинства основных новгородских республиканских учреждений, составлявших отличительную особенность Новгорода в течение более чем трех столетий.

То же проникновение народных начал отчетливо сказывается во всех областях культурной жизни Новгорода середины XII в. Именно с этой поры сотни и организации жителей улиц и концов начинают играть значительную роль в новгородском государстве. Чрезвычайно существенно, что улицы и концы выступают с половины XII в. в качестве инициаторов различных культурных предприятий. В 1165 г. „шестициници“,

---

[1] А. И. Никитский. „Очерки внутренней истории церкви в Великом Новгороде“, СПб., 1879, стр. 75.

[2] Например, в 1435 г. молодцы владыки ходили в поход на ржевичей (Б. Д. Греков. „Новгородский дом св. Софии“, 1914, т. I, стр. 447).

т. е. жители Шестичинской улицы, ставят церковь „Святые троицы“;[1] в 1185 г. „лукиници“, т. е. жители Лукиной улицы, ставят церковь Петра и Павла на Синичьей горе[2] и др. Организации уличан принимают активное участие в развитии книжности и в переписывании рукописей. Так, например, Пролог 1390 г. был написан „повелением... всех бояр и всей улици Кузмодемьяне“.[3] Создаются и новые формы осуществления общественных предприятий. Начиная с середины XII в. в Новгороде все более или менее крупные предприятия осуществляются „дружинами“ — артелями. Характерно, что церковь Нередицы расписывали не менее десяти мастеров одновременно.

В связи с этим заметно иные, более „демократические“ формы приобретает и живопись, и, в особенности, новгородская архитектура XII в. Новгородское строительство второй половины XII в. вырабатывает новый тип четырехстолпного, квадратного в плане, укороченного храма, более упрощенного типа и меньших размеров, сравнительно с грандиозными княжескими соборами предшествующей поры. В отличие от церквей княжеской постройки с резким разделением молящихся на привилегированных, „избранных“, и остальную массу молящихся, новые церкви не разделяют прихожан. Князья строили церкви с вертикальными, сильно освещенными каменными хорами, на которых помещалась княжеская семья и приближенные. Новые же, возводимые со второй половины XII в. церкви имеют скромные деревянные хоры служебного значения. Сокращение размеров вновь воздвигаемых храмов отнюдь нельзя рассматривать как упадок зодчества: княжеские постройки предшествующей поры были сравнительно редки, церквей же нового типа воздвигается огромное количество, ими обрастает Новгород, и именно они организуют его своеобразный архитектурный облик.

---

1 Новгородск. I лет., Синод. сп., изд. 1888 г., стр. 145.

2 Там же, стр. 160.

3 Известия АН, VI, стр. 35.

Народные начала сказываются и в стиле рисунков на страницах новгородских рукописей XII в., и в стиле новгородских фресок.

Таким образом в середине XII в. в Новгороде усиленными темпами происходит процесс общей демократизации культурной жизни и проникновения культуры господствующих классов в народные массы. Этот процесс в равной мере характерен и для новгородского искусства, и для новгородского летописания.

2

Новгородское летописание, предшествовавшее политическому перевороту 1136 г., носило ярко выраженный княжеский характер. История его может быть представлена в следующем виде.

До 1117 г. в Новгороде княжил старший сын Владимира Мономаха — Мстислав. После отъезда Мстислава из Новгорода в Белгород в Киево-печерском монастыре (а возможно и в „княжом" Выдубицком[1]), при участии кого-то из бывших вместе с Мстиславом в Новгороде книжников, в начале 1119 г., как предполагает А. А. Шахматов, составляется последняя — третья — редакция Повести временных лет, в которой были занесены многие известия по истории Новгорода и Ладоги.

Мстислава сменяет в Новгороде его сын Всеволод Мстиславич (1118—1136 гг.). Верный традициям Мономаха, Всеволод оказывает в Новгороде особое покровительство летописанию. Летопись своего отца Мстислава — Повесть временных лет в третьей редакции, особенно внимательную к событиям новгородской жизни начала XII в., Всеволод соединяет в Новгороде с новгородской летописью, погодные записи которой начали составляться еще в XI в.

---

[1] Соображения в пользу последнего места составления третьей редакции Повести см. в I томе „Истории русской литературы", в статье В. Л. Комаровича (Л., 1940, стр. 280).

Именно так должно быть объяснено наличие в древнейшей новгородской летописи — Синодальном списке Новгородской первой летописи — ряда известий, восходящих к этой третьей редакции Повести временных лет (под 1107, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 и 1117 гг.).

У нас нет данных для полного и точного представления об этом своде: свод Всеволода подвергся в Новгороде суровой ревизии при епископе Нифонте, после которой в последующих летописных сводах от него сохранились лишь ничтожные остатки. Этот свод Всеволода был составлен не ранее 1119 г. (год составления третьей редакции Повести временных лет) и не позднее 1136 г. (год изгнания Всеволода и год составления нового новгородского свода, в который свод Всеволода вошел как составная часть). Точнее датировать свод Всеволода не удается, но ввиду того, что после 1132 г. власть Всеволода в Новгороде чрезвычайно пошатнулась, можно думать, что свод этот составлен до 1132 г.

Судя по тому, что в Новгороде в первой трети XII в. было довольно обычным привлекать киевлян для выполнения разного рода книжных предприятий, можно думать, что и третий летописный свод дома Мономаха — свод Всеволода Мстиславича Новгородского, был выполнен киевлянином, сохранившим литературно-законченную манеру киевского летописания и отразившим новгородскую стилистическую манеру лишь в известиях, заимствованных из новгородских летописей XI в.

Дальнейшая летописная работа в Новгороде в чрезвычайно сильной степени зависит от политических событий новгородской жизни половины XII в.

Переворот 1136 г. и изгнание Всеволода вызвали в том же году необходимость пересмотра летописного свода Всеволода. В 1136 г. доместик Антониева монастыря Кирик, один из приближенных Нифонта, составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера: „Учение им же ведати числа всех лет“ и в том же 1136 г. принимает участие в летописании, составляя летописную статью 1136 г.,

в которой изображает прибытие в Новгород князя-изгоя Святослава Ольговича, как наступление новой эры в политической жизни Новгорода.

Участие Кирика в новгородском летописании этим не ограничивается; следы работы Кирика видны в записи 1137 г. и в некоторых других, где Кирик проявляет интересы, общие с теми, которые были проявлены им в другой его работе — в известных канонических „Вопрошаниях". На основании анализа текста Синодального списка Новгородской первой летописи, а также Новгородской первой младшего извода и Новгородской четвертой вытекает, что одновременно с этим первоначальным вмешательством Кирика в новгородское летописание был выполнен и широко задуманный пересмотр всего летописного свода Всеволода по киевскому Начальному своду. Политический смысл этого пересмотра заключался в том, чтобы заменить в начале новгородского летописания княжую мономашью Повесть временных лет в третьей редакции оппозиционной по отношению к княжеской власти летописью Киево-печерского монастыря — так называемым Начальным сводом 1095 г.

Новый свод был задуман постриженником Киево-печерского монастыря новгородским архиепископом Нифонтом, знавшим политический характер печерского Начального свода, знавшим, что Начальный свод использовал в своем составе новгородские известия XI в. (на основании рассказов Вышаты) и что, следовательно, свод этот в некоторой мере отразил историю Новгорода XI в.

Как известно из работ А. А. Шахматова, оппозиционность Начального свода по отношению к княжеской власти получила яркое отражение в предисловии к нему, которое впоследствии было выброшено при переработке состава Начального свода для Повести временных лет, но именно оно оказалось как нельзя более к месту в новгородских летописях. В этом предисловии были высказаны по отношению к князьям резкие упреки в „несытстве", в алчности, в притеснении людей вирами, продажами и т. д.

Предисловие открывалось рассуждениями о том, что Киев назван по имени Кия, подобно тому, как Рим назван по имени царя Рима и др. Промыслу божию угодно было, чтобы на месте, где приносились жертвы бесам возникли златоверхие каменные церкви и монастыри, наполненные черноризцами, проводящими время в молитвах. Если мы прибегнем к святым церквам, рассуждает автор, то получим большую пользу душе и телу. Автор обращается к читателям с просьбой уделить внимание его рассказу, каковы были прежние князья и их мужи, как они обороняли Русскую землю и покорили под себя другие страны. Те князья не собирали себе большого имения и не теснили людей вирами и продажами. А дружина князя кормилась воюя другие страны и не обращалась к князю с жалобой на то, что ей мало предложенного жалованья. За наше несытство бог навел на нас поганых. Далее следуют благочестивые увещания.

Предисловие Киево-печерского Начального свода было перенесено в Новгородскую летопись отнюдь не механически. Оно было переработано в духе политических воззрений Софийского двора середины XII в.

В частности, кроме переделки названия Киево-печерской летописи „Русский временник" в „Софийский временник", новгородский летописец вставил, например, в предисловии слова: „*преже Новагородьская волость и по томь Кыевьская...*" Можно предполагать также, что в предисловии были пропущены упреки князьям за междоусобные войны и плохую оборону Русской земли от половцев. Упреки эти были чрезвычайно существенны для киевского Начального свода, идею которого воспроизводило предисловие. Киевский Начальный свод заканчивался чрезвычайно яркой картиной разорения Русской земли от половцев, которым князья открыли дорогу на свою родину распрями „котóрами" и плохой организацией защиты. Почему же все эти упреки русским князьям в распрях и плохой обороне Русской земли, отразившиеся в самом тексте Начального свода, остались замолчанными в предисловии? Предполагаем, что они имелись в нем, но были пропу-

щены составителем Софийского временника — новгородцем, для которого раздоры князей между собой и „нахождения“ половцев не имели существенного значения.

Новгород — единственный из русских городов, который выигрывал от ослабления княжеской власти в процессе борьбы князей между собой, но он существенно страдал от поборов, продаж, вир и других тягот, которыми князья облагали население.

Переработанное таким образом предисловие Начального свода открыло собой новый летописный свод Нифонта, сохраняясь на челе летописания Новгорода в течение всего периода его независимости.

Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде XII в., когда один за другим отбираются у новгородского князя его доходы, конфискуются земли и урезываются права. Этому урезыванию княжеских прав и доходов предшествовала, очевидно, соответствующая пропаганда, для которой серьезный материал предоставляло предисловие Начального свода.

Назвав новый владычний свод „Софийским временником“ в подражание названию Начального свода „Временник Русской земли“ и увековечив, таким образом, в этом названии новый, недавно перешедший из владений князя центр политической жизни Новгорода — Софию, Нифонт сохранил в начале своего свода и киевское предисловие. Таким образом, так называемый „Софийский временник“ составлен не в 1421 г., и не в 1434 г., как предполагал А. А. Шахматов,[1] и не в самом начале XIII в., как думал И. П. Сенигов,[2] когда его антикняжеский характер не мог иметь особого смысла, а в 30-х годах XII в. в связи с политическим переворотом 1136 г. и отныне

[1] А. А. Шахматов. „Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись“, Известия Отд. русс. яз. и слов. Ак. Наук, 1908, т. XIII, кн. 1.

[2] И. П. Сенигов. „Историко-критическое исследование о новгородских летописях“, 1887.

стал традиционным началом всех летописных сводов архиепископского двора.

Как устанавливается анализом текста Синодального списка Новгородской летописи, переработка свода Всеволода по Начальному своду была доведена до 1074 г. Причина этому заключается не в том, что в Новгороде случайно „нашелся" дефектный экземпляр Начального свода, обрывавшийся на этом годе (как предполагает А. А. Шахматов), а в том, что на 1074 г. прекращались новгородские известия в Начальном своде, и последний не мог уже служить основанием для реконструкции новгородского летописания. Начиная с этого года, летописец Нифонта вынужден был обратиться к отвергнутому им первоначально своду Всеволода, в котором, как мы уже сказали, известия новгородской летописи XI в. были соединены с известиями Повести временных лет в третьей редакции.

Воспользовавшись сводом Всеволода, новгородский летописец, однако, весьма основательно его сократил.

Оттого-то новгородские известия этой поры отличаются той чрезмерной, пресловутой краткостью, которая приводила в недоумение всех изучавших новгородские летописи.[1]

Таким образом, не только позднейшие новгородские летописи, восходящие к сводам Евфимия II (XV века, см. дальше), обладали антикняжеским предисловием Начального свода, как думал А. А. Шахматов, но и древнейший Синодальный список Новгородской первой летописи в своей утраченной части заключал в себе текст этого предисловия. Утраченная и сохранившаяся части Синодального списка Новгородской первой

---

[1] См.: С. М. Соловьев. *„История России с древнейших времен"*, кн. 1, тт. I—V, *СПб.*, изд. 2, *стр.* 802; *Н. И.* Костомаров. *„Лекции по русской истории"*, СПб., 1862, стр. 60; К. Н. Бестужев-Рюмин. *„Русская история"*, т. I, 1872, стр. 25 и стр. 254; В. О. Ключевский. *„Курс русской истории"*, ч. II, изд. 2, стр. 108; *И. И.* Срезневский. *„Исследования о летописях новгородских"*, Известия Ак. Наук, II, стр. 77—78; М. Н. Сперанский. *„История древней русской литературы"*, М., 1920, т. I, стр. 333.

летописи — представляют собой сокращенный текст созданного при Нифонте в XII в. Софийского временника.

Итак, свод Нифонта, Софийский временник отразился во всех из известных нам новгородских летописях, в том числе и в Синодальном списке Новгородской первой летописи.

Изменился ли характер новгородского летописания со сводом Нифонта? Затруднение с ответом на этот вопрос возникает в связи с тем, что предшествующее своду Нифонта летописание подверглось в последнем коренной переработке и поэтому недостаточно известно. Мы можем, однако, отметить в новгородской летописи середины XII в. ряд моментов, которых не могло быть в своде Всеволода: сюда относится недоброжелательное изображение ухода Всеволода из Новгорода в 1132 г., исключительное внимание летописца к Нифонту и ряд несочувственных изображений действий князей.

Сравнивая новгородское летописание середины XII в. с киевским, владимирским, галицко-волынским и др., удается установить его резко отличный от последних характер — в стиле, в тематике и в языке.

Начиная, приблизительно, с 20-х годов XII в., т. е. с того времени, о котором составитель свода Нифонта мог уже писать по памяти, не опираясь на предшествующие летописные записи, новгородская летопись уделяет все большее и большее внимание местным городским событиям: пожарам, стихийным бедствиям, внутренним волнениям и т. д. Это внимание к таким темам, которые редко и только вскользь затрагивались в летописях других городов, объясняется общей демократизацией летописания в период новгородской республики. Летописец интересуется прежде всего теми событиями, которые отражаются на благосостоянии населения, затрагивают его непосредственные нужды.

С редкою последовательностью новгородский летописец отмечает всякое повышение цен на хлеб и описывает непогоду, отражавшуюся на состоянии жатвы; новгородский летописец не забывает отметить радость новгородцев по поводу того

или иного счастливого исхода событий и сопровождает восклицаниями ужаса всякое общественное несчастье.

Наряду с демократизацией содержания летописных записей демократизуется их язык и стиль. Проникновение разговорных элементов, диалектизмов в язык новгородской летописи неоднократно отмечалось исследователями языка Синодального списка Новгородской первой летописи.[1]

Самый лаконизм новгородской летописи в значительной мере зависит от лаконизма живой устной речи. Так, например, в летописи, как и в устной речи, при наименовании церквей, монастырей и должностных лиц часто (гораздо чаще, чем в летописях других областей) опускаются все родовые понятия и оставляются одни лишь видовые. Например: „преставися игумен святаго Георгия“ или „преставися Мьстиславляя Хрьстина. Томь же лете оженися Мьстислав Кыеве, поя Дмитровьну Новегороде Завидиця“.[2] В этом известии опущены определения Христины как жены, Мстислава как князя, Дмитровны как дочери, Завида как посадника. Очень часто вместо того, чтобы сказать „заморьстии купцы“ летописец употребляет одно лишь прилагательное „заморьстии“ в значении существительного, говорит „осмьнъка великая“,[3] вм. „осмьнъка великая жита“ и т. д. Производит впечатление, что летописные записи делались в Новгороде современниками и для современников; летописец не ставил себе целью дать связный рассказ о событиях, а как бы делал заметки для памяти того, кто знал о них подробнее. Характерно, что эта чрезмерная краткость летописных записей XII в. смущала даже привычного

---

[1] И. И. Срезневский. „Исследования о летописях новгородских“, Известия II отд. Ак. Наук, т. II, стр. 78; П. Лавровский. „О языке северно-русских летописей“, СПб., 1852, стр. 162; акад. Б. М. Ляпунов. „Исследования о языке Синодального списка I Новгородской летописи“, 1899; Е. С. Истрина. „Синтаксические явления Синодального списка Новгородской летописи“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1921, т. XXVI, и др.

[2] Новгородск. I лет., Синод. сп., 1122 г.

[3] Там же, 1137 г.

ко всякому лаконизму новгородского летописца позднейших веков, и он нередко дополняет старые записи XII в., делая их более понятными.[1]

Новгородская летопись XII в., отразившаяся затем в Синодальном списке первой Новгородской летописи, обильно насыщена звукосочетаниями, указывающими на влияние живой русской речи в противовес книжной церковно-славянской: „один" (вм. „един"), „одва" (вм. „едва"), „нужа" (вм. „нужда), „собе" (вм. „себе"), „помочье" (вм. „помощь"), „побежают" (вм. „побеждают") и т. д.

В Новгородской летописи XII в. впервые в русском летописании резко выступили и черты местного говора. Новгородский летописец по-новгородски „чвакает" и „цокает", смешивает „е" и „и" и т. д. Почти всюду в записях XII в. можно встретить в новгородской летописи такие звукосочетания как: „новгородчем", „пятнича", „церес" (через — 1127 г.), „цстьных" (честьных — 1134 г.), „церниговчи" (черниговцы — 1135 г.), „ноць" (ночь — 1141 г.). Чрезвычайно характерна для летописи XII в. и чисто русская разговорная фразеология. По выражению К. Н. Бестужева-Рюмина, „новгородские летописи ... представляют ярко торговый, деловой характер Новгорода: они кратки, немногословны; но с тем вместе объемлют всю жизнь, не только князей и бояр, да духовенства, но всего народа..."[2]

Демократизация новгородской летописи в половине XII в. объясняется общей демократизацией новгородской обществен-

[1] Так, например, составитель Комиссионного списка Новгородской первой летописи (XV в.) очень часто добавляет пропущенные, но подразумевающиеся подлежащие и сказуемые. Под 1146 г. к слову „въздаша" прибавлено „людие"; под 1156 г. в слове „заморьстии" добавлено „купци"; под 1138 г. перед словом „князь" добавлено „преставися" и т. д. Очень часто позднейший летописец добавляет пропущенное летописцем XII в. родовое понятие к видовому: под 1143 г. к имени „Святопълк" добавлено „князь"; под 1151 г. к имени „Констянтин" прибавлено „царь"; и наоборот: под 1184 г. к „архиепископ Илия" добавлено „новгородчкый" и т. д.

[2] К. Н. Бестужев-Рюмин. „Русская история", т. I, СПб., 1872, стр. 362—363.

ной жизни, особенно резко сказавшейся после восстания 1136 г. Вече, выборное начало, концы, улицы и сотни постепенно начинают играть все бо̀льшую роль в новгородской жизни. Олигархическая верхушка новгородского общества, захватившая в Новгороде власть благодаря восстанию 1136 г., вынуждена до поры до времени итти навстречу напору демократических сил в Новгороде.

В связи с политическим положением Новгорода, находится и другая особенность новгородского летописания — его деловой, документальный характер. Вполне понятно, что именно областные тенденции Новгорода развивали деловую сторону летописи. Эти местные интересы заставляли искать в летописи прежде всего документ, основание своей независимости. Это политическое значение летописи принималось во внимание при составлении новгородских сводов, определяло их состав и характер.

Значительную роль в демократизации стиля и содержания новгородского свода Нифонта сыграл его составитель доместик Антониева монастыря Кирик, автор подготовительной для летописания хронологической работы „Учение им же ведати числа всех лет" и известных канонических „Вопрошаний", частично обращенных к инициатору свода и главе новгородского правительства — Нифонту. С этой точки зрения является существенной связь языка, стиля и характера интересов летописного свода Нифонта с языком, стилем и характером содержания канонических „Вопрошаний" Кирика. И новгородская летопись середины XII в., и „Вопрошания" вводят в письменную речь ряд бытовых, просторечных выражений, терминов, понятий и обиходных названий, синтаксических оборотов (пропуск сказуемого или подлежащего) и т. д. В своем интересе к быту, к конкретным деталям обихода жителей Новгорода „Вопрошания" Кирика представляют разительный контраст с предшествующими им аналогичными каноническими ответами Иоанна II (1080—1089 гг.), тематика которых традиционна. Кирик детально упоминает о различных питиях и яствах, говорит об объядении, пьянстве, о ростов-

щичестве, о паломничестве, о рождении детей и их кормлении, об обычае носить детей к „варяжскому“ попу на молитву и к волхву, о татьбе, о различных предрассудках язычества, например, о том, можно ли есть тетеревину, давленину, о муже, который пропивает женины порты, о матерях, которые „угнетают“ детей во сне, когда спят с ними в одной постели, и т. д. Нельзя не сопоставить этот интерес к быту в „Вопрошаниях“ Кирика с таким же вниманием к быту в переработанной тем же Кириком новгородской летописи XII в. И тут, и там сказывается рука одного автора.

Нельзя считать, однако, что введение в новгородскую летопись деловой и бытовой речи было предпринято Кириком сознательно. Наоборот, мы можем предполагать о неудачной, правда, попытке Кирика придать отнюдь не просторечную торжественность своим записям. В самом деле, свод Нифонта так же, как и свод Всеволода, покоился на киевском летописании и не вносил новых черт в заимствованную часть летописи. Дальнейшие записи, сделанные во времена Нифонта, резко отличаются от Начального свода в стилистическом отношении, однако в некоторых своих частях и они испытывают на себе влияние стиля киевского летописания.[1]

Значительно более яркой была роль в стилистическом преобразовании новгородского летописания составителя свода церкви Якова — попа Германа Вояты. Свод Германа Вояты представляет собою любопытнейшее явление в истории русского областного летописания, свидетельствующее о чрезвычайном распространении в XII в. летописной работы. Свод этот

---

[1] К чертам этого влияния должно быть отнесено излюбленное в летописном языке, но чуждое деловой, юридической прозе и живой народной речи, употребление оборотов с дательным самостоятельным. Наибольшею книжностью и нарочитою ученостью отличается принадлежащая Кирику летописная статья 1136 г., с которой начиналось изображение водворения в Новгороде нового политического порядка. Она же дает и наиболее типичный случай не совсем умелой попытки употребления дательного самостоятельного: „Том же лете наставъшю, индикта 15, убиша Гюргя Жирославиця...“ (Новгородск. I лет., Синод. сп., 1888, стр. 129).

принадлежит новгородской церкви Якова в Неревском конце. Церковь Якова, как мы можем предполагать, основана в память победы новгородцев над полоцким князем, случившейся 23 октября 1069 г. „на святаго Якова брата Господня“ и, следовательно, отчасти связана с борьбой Новгорода за свою независимость. Судя по тому, что ее настоятель был поставлен Нифонтом в попы (1144 г.), сопровождал Нифонта в его поездке в Псков и был погребен в нифонтовском же Спасо-мирожском монастыре, а также по тому, что в Неревском конце позднее располагались архиепископские владения, церковь Якова, очевидно, имела ближайшее отношение к дому св. Софии. Вместе с тем церковь Якова на Яковлевской улице была церковью улицкой и, следовательно, объединяла в своих стенах корпорацию уличан.

Это положение церкви Якова между Софийским двором, с одной стороны, и организацией уличан, с другой — позволило ей стать в ближайшее отношение к софийскому летописанию и быть проводником в новгородском летописании демократических тенденций. Путем сличения текстов Синодального списка Новгородской первой летописи, младшего извода Новгородской первой летописи, Новгородской четвертой летописи и Тверского сборника, удается восстановить летописную работу Германа Вояты, проделанную им над текстом владычней летописи (Софийского временника).

Герман Воята — составитель свода церкви Якова — не имел под рукой иных летописей, кроме владычней. Он дополнял летописные статьи свода Нифонта своими записями, либо, обратно, свои записи дополнял летописными статьями владычней летописи.

Вставки Германа Вояты делаются часто от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи, сведения об уличных происшествиях, о погоде, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове, о поломках и починках моста через Волхов, о раннем громе и поздно стоящей дождливой погоде (до Яковлева дня). Летопись церкви Якова благодаря

этим вставкам приобретает получастный, полуофициальный характер. Так, например, под 1138 г. Герман Воята записывает, что 8 марта „бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще". В тот же год 23 апреля „пополошишися людье: сългаша бо, яко Святопълк у города с пльсковици; и высушася вsь город к Сильнищю, и не бы ничтоже". В стилистическом отношении очень интересна запись 1143 г., в некоторых своих частях передающая даже короткий ритм речи („стояша вся осенина дъждева, от госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь"). Те же обороты живой устной речи сказываются и в других записях Вояты. Герман Воята употребляет такие чисто народные выражения как „ясны дни", „слышахом чисто", „переже жатвы", „сена не уделаша". Небезинтересна и сама лексика Вояты, редкая в книжной речи: „осенина", „дождева", „знатба" и т. д. Обращает на себя также внимание в записях Германа Вояты замена для определения времени под 1143 г. христианского Филиппова заговенья языческим „Корочюном", как один из признаков тесной связи Вояты с двоеверными низами новгородского населения. Автобиографическая заметка Вояты под 1144 г. о своем поставлении в попы придает записям отчасти характер личного дневника. Это обстоятельство, а также само положение летописи церкви Якова, открытой для всяких влияний уличанской организации, имело, очевидно, существенное значение в общей демократизации языка, стиля и содержания новгородского летописания церкви Якова.

Было ли, однако, обращение к иному стилю летописания в половине XII в. результатом коренной реформы литературного языка? Разрешению этого вопроса в значительной мере помогло бы исследование связей языка Русской Правды с языком новгородского летописания. Акад. С. П. Обнорский в работе „Русская Правда, как памятник русского литературного языка"[1] считает язык Русской Правды древнейшим свидетельством русского литературного языка. Этот русский

[1] Известия Отд. общ. наук АН, 1934, № 10.

литературный язык — русский в своей основе, без влияния болгарского — возник в Новгороде (стр. 776).

Лексические совпадения в языке Русской Правды с языком Синодального списка Новгородской первой летописи (например, „орудие" в значении „дело", „занятие") указывает на близость литературного языка обоих памятников. Однако детальное исследование этого вопроса должно составить содержание чисто лингвистических исследований. Свод Нифонта, составленный Кириком, и свод Вояты были теми русскими летописными сводами, в которых впервые сильнее всего сказался областной, местный и демократический характер русского летописания.

Глава 12

ЛЕТОПИСНЫЕ ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ О КНЯЖЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

1

В составе летописей XII в. (отчасти и более поздних) нередко можно встретить остатки многочисленных обличительных повестей о политических преступлениях князей. В этих повестях мы можем легко обнаружить все признаки особого литературного жанра, типичного для периода наиболее острых феодальных усобиц. Эти повести предназначались одной из враждующих сторон служить своего рода обвинительными актами против другой. Это были своеобразные документы злодеяний, но документы, составленные в живой манере, подробные, с точно переданными речами действующих лиц. Повести эти должны были убеждать читателя фактами, верностью всей нарисованной картины в целом в виновности одной стороны и в правоте другой. Поэтому они избегают стилистических средневековых трафаретов, они точны в своих реалиях, убедительны психологически. Они нередко далеки от средневекового схематизма в изложении фактов и стремятся как можно ближе следовать действительности, оставаясь в то же время крайне тенденциозными.

Сообразно цели этих повестей — убедить читателя в верности той или иной версии преступления — составление их обычно поручалось авторитетным свидетелям — часто участникам дипломатических переговоров. Составитель повести, участник дела, свидетель его, рассказывает о себе, о своем вмешательстве в ход событий, что в других случаях средневекового повествования могло бы показаться грубым и греховным самовосхвалением. С протокольной точностью в повестях этого типа передаются речи действующих лиц, как имеющие особенную документальную ценность.

Как своеобразные дипломатические отчеты, эти повести полны юридической, военной и феодальной терминологии своего времени. Это чисто светская литература, иногда только подвергавшаяся позднейшему оцерковлению.

Замечательною особенностью этих повестей является то, что они возникали из непосредственных потребностей политической борьбы, они стояли необычайно близко к жизни, писались почти тотчас же после событий, которым посвящены, и сами как бы были продолжением той борьбы, которую отражали. Хронология их существования тесно связана с хронологией политических преступлений эпохи феодальной раздробленности. Время распространения этого жанра совпадает со временем феодальных распрей. Можно предполагать, что уже первое политическое убийство, которым сопровождалось на Руси начало феодального дробления „империи" Владимира — убийство Бориса и Глеба вызвало появление произведения, отчасти близкого к этому жанру. Последняя (или одна из последних) повестей о преступлениях князей читается в московском своде 1472 г. под 1425 г.: это повесть об ослеплении Василия Темного Дмитрием Шемякой и Иваном Можайским.

На протяжении всех этих веков жанр повестей о политических преступлениях князей имеет все черты композиционной устойчивости, но особого развития и особой типичности эти повести достигают в XII в.

2

Первым произведением, типичным для жанра обличительных статей о княжеских преступлениях (если не считать летописного сказания о Борисе и Глебе), является повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. А. А. Шахматов убедительно показал, что повесть эта была включена во вторую редакцию Повести временных лет под 1097 г. с целью возвеличения Владимира Мономаха, как защитника интересов всей Русской земли и как борца за ее единство против феодальных распрей.

Повесть посвящена одному из самых вероломных преступлений в междоусобной борьбе XI—XII вв. Кровавые события грозили сорвать все дело Владимира Мономаха, боровшегося за установление мира между князьями. В 1097 г. Мономах созвал первый княжеский съезд в Любече, на котором князья должны были договориться о своих взаимоотношениях и положить конец усобицам. Съезд признал, что каждый князь должен держаться своей вотчины и не покушаться на чужую. Князья целовали крест, что если кто-нибудь из них поднимется на другого, то все должны встать на зачинщика. Но только закончился съезд, как Давид Игоревич Владимирволынский и Святополк Изяславич заманили к себе Василька Теребовльского и ослепили его. Встревоженный Мономах был заинтересован в том, чтобы все обстоятельства этого вероломства стали широко известны всем и всеми осуждены.

Автор повести — поп Василий выполнял дипломатические поручения Мономаха и был причастен к Выдубецкому монастырю — княжому монастырю Мономаха. События описаны Василием как свидетелем.

Множество бытовых подробностей и реалий делает рассказ Василия одним из самых живых в летописи Киевского периода. Подробно и не торопясь повествует Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили его одного в комнате, как схватили и схваченного везли затем на телеге в Белгород, где бросили в „истобку малу“. Оглядевшись,

Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу, Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили его „яко персем троскотати". Кончив точить нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: „И есть рана та Василке и ныне".[1] „По семь же уверте ему нож в зеницю, изя зеницю, по семь в другое око уверте нож, изя другу зиницю".[2]

Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу и повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. Попадья, приняв князя за мертвого, оплакивает его.

„Сего не бывало есть в Руськой земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла",[3] — сказал ужаснувшийся, при известии об ослеплении Василька, Владимир Мономах и послал за Давидом и Олегом Святославичами сказать: „поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Руськой земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны нож; да еще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнеть брат брата закалати, и погыбнеть земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть земьлю Руськую".[4]

Правота Василька и преступление Святополка, нарушившего свою клятву на кресте, подтверждаются патетической картиной чуда. Тот самый крест, клятву на котором нарушил

---

1 Лаврентьевск. лет., 1097 г.

2 Ипатьевск. лет., 1097 г.

3 Лаврентьевск. лет., 1097 г.

4 Там же.

Святополк, обращает на него поражение. Перед боем со Святополком Василько „възвыси крест" и говорит: „сего еси целовал, се перьвее взял еси зрак очью моею, а се ныне хощеши взяти душю мою; да буди межи нами крест сь".[1] Полки соступились, и вот многие люди увидели над полками Василька тот самый крест, на котором была нарушена клятва. Клятвопреступник Святополк был побежден.

3

К жанру летописных повестей о политических преступлениях князей следует отнести те три повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича — родного дяди героя Слова о полку Игореве Игоря Святославича, — фрагменты которых могут быть обнаружены внимательным анализом в Ипатьевской и в Лаврентьевской летописях под 1147 г.

Арест Изяславом Игоря Ольговича, а затем убийство в Киеве уже постригшегося и принявшего схиму этого виднейшего представителя рода ольговичей до крайности обострил вражду ольговичей и мономаховичей. Святослав Ольгович неоднократно выступал в 1146 г. с требованием освободить Игоря: „ни волости хочю, ни иного чего, разве толико пустите ми брата", говорил Святослав давидовичам. После убийства Игоря князь Святослав Ольгович до самой смерти не мог простить Изяславу гибели брата. Так, когда Изяслав, пользуясь отсутствием помощи Юрия, стеснил черниговских князей, и те просили о мире, обещая забыть смерть Игоря, — на съезд „у Городка" явились лишь давидовичи, а Святослав отсутствовал.[2]

И в 1149 г., когда Юрий двинулся на Киев, а давидовичи остались верными Изяславу, — Святослав в переговорах корит Изяслава разграбленным имуществом Игоря и, отдаваясь союзу с Юрием, говорит последнему: „брате, то нам ворог

---

[1] Там же.

[2] Ипатьевск. лет., 1148 г.

всим Изяслав, брата нашего убил".[1] Когда Юрию в 1150 г. удалось вновь овладеть Киевом, Святослав „перенесе мощи брата своего Игоря от св. Семена ис Копырева конца в Чернигов и положиша у св. Спаса в тереме".[2] Таким образом, убийство Игоря до крайности ожесточило вражду. Оно служило главным обвинением для ольговичей против своих врагов.[3]

В том виде, в каком рассказ об убийстве князя-схимника Игоря Ольговича читается в Ипатьевской летописи, он представляет собою неловкое соединение нескольких источников, иногда противоречивых и разностильных.

Так, например, по одному из этих источников, рассказывающих об убийстве близко к рассказу Лаврентьевской летописи, когда толпа разъяренных киевлян повела Игоря из ворот монастыря, его встретил Владимир Мстиславич, брат его врага Изяслава. Владимир сжалился над Игорем, соскочил с коня, прикрыл собственным корзном (княжеским плащем) и обратился к киевлянам со словами: „братье моя! не мозите сего створити зла, не убивайте Игоря". Владимир довел Игоря до ворот своей матери, но толпа ворвалась вслед за ними и стала убивать Игоря. При этом ударили и Владимира „бьюче Игоря". Подоспел на помощь и другой брат Изяслава — Михаил, но толпа била и его, оторвав с него крест с цепями, в котором была гривна золота.

На этом совпадение текста Ипатьевской летописи с Лаврентьевской прекращается и дальше рассказ об избиении Игоря вновь повторяется в Ипатьевской, но с некоторыми отличиями: Владимир Мстиславич бросается на помощь Игорю, соскакивает с коня и прикрывает его своим телом. Это дает возможность Игорю вбежать во двор отца Владимира, но толпа врывается во двор, выламывая ворота, а самого Владимира киевляне схватили и хотели убить за помощь Игорю.

---

[1] Ипатьевск. лет., 1149 г.

[2] Там же, 1150 г.

[3] М. Д. Приселков. „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.", СПб., 1913, стр. 381.

Легко видеть в этом втором эпизоде не продолжение предыдущего рассказа, а повторение всё той же истории заступничества Владимира Мстиславича. Но Владимир на этот раз прячет Игоря не во дворе своей матери, а во дворе своего отца, усилена и защита Владимира: он прикрывает Игоря уже не корзном, а собственным телом, киевляне не просто ударяют Владимира, а хотят убить.

Таким образом, два выше приведенных эпизода ясно показывают, что рассказ Ипатьевской летописи не однороден, что в нем механически соединены по крайней мере две версии. Стилистически отдельные части рассказа Ипатьевской летописи также расходятся: с одной стороны, некоторые части его выдержаны в житийном стиле, с другой же стороны, есть части, сохраняющие деловитый летописный стиль.

Более подробный анализ рассказа об убийстве Игоря в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, в связи с историей лежащих в их основе сводов, позволяет установить существование следующих трех повестей о событиях этого убийства.

Прежде всего, существовала черниговская версия — версия ольговичей, стремившаяся изобразить Игоря святым мучеником, жертвой Изяслава. Это — версия ольговичей, канонизировавших Игоря и перенесших его тело из Киева в Чернигов. В связи с этим перенесением, как подготовка к его канонизации — средству чрезвычайной агитационной силы — и было предпринято в 1150 г. составление рассказа о его убийстве. Образцом для этого рассказа послужил другой рассказ о политическом убийстве, также имевший чрезвычайное значение в междоусобной борьбе своего времени — житие князей Бориса и Глеба.

Сохранившиеся отрывки черниговской версии об убийстве Игоря позволяют следующим образом восстановить изображенную в ней картину убийства. Услышав, что толпа киевлян приближается к монастырю, где он находился, чтобы убить его, Игорь идет в церковь святого Федора и там, „въздохнув

из глубины сердца",[1] предается благочестивым размышлениям и молитве, подобно Борису и Глебу, не помышлявшим о сопротивлении убийцам. Молитву свою Игорь заканчивает словами, как бы подтверждающими правильность его будущей канонизации: „и се ныне аще кровь мою пролью͡ть, то мученик буду Господу моему". Толпа, „яко зверье сверьпии", врывается в церковь и похищает его от обедни. Убиваемый, он обличает своих убийц, свидетельствуя о своей невинности. Но толпа („лукавый нечестивый сбор") не слушала его, крича: „побейте, побейте!" С Игоря содрали свитку и оставили его нагим. „О, оканьнии! не весте ся, что творяще, се бо творите невединьем; аще и все тело мое наго оставите, наг бо изиидох ищрева [из чрева] матери моея, и наг отъиду тамо".

Надо думать, что в черниговской версии убийство Игоря совершается тут же. Повидимому, именно этой черниговской версии принадлежат слова: „Игорь же побиваем рече: «владыко! в руце твои предаю тебе дух мой; прими в мир твой душю мою». Безаконнии же, немилостивии, побивше и отъинудь тело его наго оставиша, и поверзъше ужем за ногы уворозиша; и еще живу сущу ему, ругающеся царьскому и священому телу, и волокоша и ... И тако скончаша и Игоря князя, сына Олгова. Бяшеть бо добрый поборник отечьства своего, в руце божии преда дух свой, и съвлекъся ризы тленьнаго человека, и в нетленьную и многострастьную ризу оболкъся Христа, от него же венцася въсприем мучения нетленный венечь". Повествователь бранит убийц: „безаконнии, несъмыслении, ослеплении оцима [очами] своима" и напоминает им, „яко мьститель есть бог и взищеть крови неповиньнаго". Благоверные люди приходили взять себе на „спасение" кровь и одежду князя и прикрыли его нагое тело.

Затем, как в обычных житиях, над телом Игоря происходят чудеса: в новгородской божнице, куда положили тело Игоря, „сами собой" зажглись свечи. Новгородцы поведали об этом киевскому митрополиту Климу, но тот запретил им об этом

[1] Здесь и дальше цитирую по Ипатьевской летописи.

рассказывать. В приведенном эпизоде сказалось враждебное отношение этой черниговской версии ольговичей к ставленнику противника ольговичей, киевского князя Изяслава, митрополиту Климу: в церковных раздорах Руси в 50-х годах XII в. ольговичи занимали позицию противников Клима Смолятича. Таким образом, убийство Игоря было изображено ольговичами приемами обычного жития: ольговичи канонизировали Игоря и, подготовляя эту канонизацию, прославляли его как святого. В их версии нет еще жанровых признаков повестей о политических преступлениях князей.

Иная повесть создалась в Переяславле Русском. Повесть эта была включена затем в состав переяславской епископской летописи, сокращенно отразившейся затем и в составе Лаврентьевской, и в составе Ипатьевской летописей. Поэтому сличение Ипатьевской летописи под 1147 г. с Лаврентьевской позволяет относительно точно представить себе общий ход и идейную направленность переяславской повести об убийстве Игоря.

Пограничное со степью Переяславское княжество, более всего страдавшее от набегов половцев и междоусобной войны ольговичей и мономаховичей, было крайне заинтересовано в примирении враждующих сторон. Так, например, когда в 1149 г. Юрий двинулся на Киев, поддерживаемый ольговичами, Изяслав подступил к Переяславлю Русскому, где стоял в то время Юрий. Тогда из города выступил переяславский епископ Евфимий и со слезами умолял Изяслава: „княже, умирися с стрьем своим [т. е. с Юрием]. Много спасение примеши от бога и землю свою избавиши от великия беды".[1]

История убийства Игоря была хорошо известна в Переяславле Русском. Ведь именно здесь с разрешения Изяслава епископ Евфимий постриг пленного Игоря 5 января 1147 г. После этого Игоря привезли в Киев в семейный монастырь мстиславичей — святого Федора, где Игорь и принял схиму.

Переяславский рассказ об убийстве Игоря, при полном

[1] Здесь и ниже цитирую по Ипатьевской летописи.

сочувствии к последнему, стремится оправдать правящие верхи Киева, митрополита Клима, тысяцких и самого Изяслава: „митрополит же възбраняше им, и Лазорь тысяцкой, и Рагуило Володимир тысяцкой, како быша не убили“. После этого рассказывалось о том, как не послушалась толпа, как прискакал брат Изяслава Владимир, прикрыл Игоря своим княжеским корзном, довел его до двора своей матери и сам был побит, защищая Игоря.

Когда Игоря убили, и весть об этом дошла до Владимира, он послал киевского тысяцкого, решившего похоронить Игоря. Приведено и самооправдание киевлян: „не мы его убили, но ольгозичь, Давыдовича и Всеволодичь, оже мыслили на нашего князя зло, хотяче погубити льстью, но бог за нашим князем и святая София“, т. е. виноваты в убийстве сами противники Изяслава, сделавшие Игоря орудием своей политики. В противоположность черниговской версии, созданной в лагере ольговичей, здесь тело Игоря кладут не в нейтральной новгородской божнице, а в монастыре Симеона — родовом монастыре Святослава, следовательно в монастыре ольговичей, куда приказывает отвезти тело тысяцкий. Сам Изяслав, услышав об убийстве, жалеет о случившемся. Такова версия примирительной стороны.

Третья повесть об убийстве Игоря гораздо решительнее оправдывала Изяслава и даже обвиняла ольговичей и давидовичей. Она была шире по охватываемым событиям, концентрируя свое внимание на всей совокупности дипломатических и военных отношений Изяслава с ольговичами и давидовичами. Приведены речи послов, рассказано содержание переговоров и т. д. Повесть подчеркивает измену давидовичей, замысливших убийство Изяслава. Именно эта измена побудила киевлян убить Игоря. Подробно приведены речи изяславова посла, отправленного им в Чернигов для переговоров. Посол изобличает Владимира и Изяслава. Сцена этого изобличения настолько жива, что обнаруживает рассказ очевидца. Изобличенные послом Изяслава давидовичи не нашлись что-либо ответить, они только переглянулись и долго молчали. Наконец, Владимир

сказал послу: „поди вон, поседи, опять тя взовем". Только после этого давидовичи сообщили свой ответ.

Сама сцена убийства Игоря в еще большей степени, чем в переяславской повести, оправдывает Изяслава и его братьев. Владимир ожесточенно защищает Игоря, собственным телом прикрывая его от ударов. Киевляне схватили Владимира и хотели его убить.

Изяслав, узнав об убийстве Игоря, плачет и говорит своей дружине, что ему не уйти теперь будет от клеветы, что теперь все скажут, что Игорь убит по его приказанию. Призывая бога в свидетели, Изяслав говорит, что он „не повелел, ни науцил" (научил) и дружина утешает его, свидетельствуя его неповинность: „без лепа о немь печаль имееши, оже людем речи, яко Изяслав уби й, или повелел убити; но то, княже, бог ведаеть и вси людье, яко не ты его [в списках Хлебниковском и Погодинском Ипатьевской летописи дальше: „убил, но убили суть братия его"], оже хрест к тобе целовавше и пакы съступиша, и льстью над тобою хотели учинити и убити хотяче".

Таким образом, киевская версия обвиняет во всем противную сторону, замысливших „соступить" крестного целования и изменнически убить Изяслава.

Перед нами, следовательно, в тексте Ипатьевской и Лаврентьевской летописей соединение трех повестей об одном и том же факте — убийстве Игоря Ольговича, до крайности ожесточившем борьбу ольговичей и мономаховичей. Одна из этих повестей брала сторону ольговичей, и во всем обвиняла Изяслава, другая стремилась примирить враждующие стороны, третья — перелагала вину на киевлян и на ольговичей, раздраживших киевлян злоумышлением против Изяслава. Первая повесть написана в житийном стиле — в ее задачу входит не столько реально описать события, сколько прославить Игоря Ольговича ореолом святости. Но две другие повести реальные в деталях, насыщенные диалогами и деловитые по стилю, носят уже в себе типичные признаки жанра повестей о междукняжеских отношениях.

Наиболее отчетливые формы жанр повестей о политических преступлениях князей принял в следующей за тем повести о клятвопреступлении Владимирки Галицкого. Фрагменты этой повести читаются в Ипатьевской летописи под последними годами сороковых годов XII в. и первыми пятидесятых.

4

Изложение событий княжения Изяслава Мстиславича в Ипатьевской летописи давно обратило внимание историков и литературоведов своею подробностью, живостью и сильными деталями. Поэтому исследователи неоднократно предполагали в этих страницах Ипатьевской летописи особое повествование,[1] хотя и не решались точно определить его характер, границы и происхождение.

Между тем, состав этого повествования поддается определению, и открывающееся из-под позднейших летописных наслоений произведение оказывается одной из типичных повестей о политических преступлениях князей. Повесть эта, сохранившаяся в Ипатьевской летописи не целиком, посвящена одним из наиболее острых событий феодальной борьбы XII в.

В конце 40-х и в начале 50-х годов XII века международные отношения Руси отличались крайнею сложностью, отразившейся в феодальной борьбе русских княжеств, как-раз в это время достигшей необычайного ожесточения.[2]

---

[1] Так предполагали М. П. Погодин, К. Бестужев-Рюмин, С. М. Соловьев, А. А. Шахматов; М. Д. Приселков предполагал даже особого летописателя, следившего за событиями изяславова княжения. Отдельное повествование видел в Ипатьевской летописи под концом 40-х и началом 50-х годов XII в. И. П. Хрущев („О древнерусских летописных повестях и сказаниях XI—XII столетия“, Киев 1878 г., стр. 131). Как особое повествование об Изяславе Мстиславиче выделены в Ипатьевской летописи годы его княжения и в I томе „Истории русской литературы“, изд. Института литературы АН СССР (глава „Областные летописные своды“ В. П. Адриановой-Перетц, стр. 312).

[2] См.: М. Грушевский. „Історія України-Руси“, т. II, стр. 153.

С конца 40-х годов XII в. европейские государства Восточной и Западной Европы были расколоты на два враждующих лагеря. Знаменитый союз двух империй (Германской и Византии) и возросшее торговое значение подвластной Византии Венеции, направившей через Рейн поток товаров из Северной в Южную Европу, ранее шедший по Великому Днепровскому пути, возбудило к антивизантийской политике Венгрию, владевшую с конца XI и начала XII веков Хорватскою землею и Долматинским побережьем в непосредственной близости от границ Венеции. Против Византии выступило южно-итальянское норманское государство во главе с Рожером Сицилийским, искавшим господства в Средиземном море и, естественно, стремившимся подать руку Венгрии для уничтожения венецианско-византийского могущества на Средиземном море. К этому же союзу примкнул в Германии герцог Вельф VI, находившийся в дружественных отношениях с Рожером, и должны были присоединиться французский король Людовик VII и папа Евгений III. Не оставались в стороне от европейских союзов того времени Чехия и Польша.

Этот международный расклад политических союзов резко отразился в общем соотношении сил русских княжеств. Соперничество Венеции, новые пути европейского товарооборота и непрерывные нападения половцев ведут к постепенному упадку в середине XII в. трех сильнейших русских княжеств — Киевского, Переяславского и Черниговского, побуждая их к антивизантийской политике. На первое место начинают выдвигаться княжества Ростово-суздальское и Галицко-волынское, включенные в более прочный товарооборот и пытающиеся военной силой добить могущество старейших княжеств Русской земли — Киевского, Переяславского и Черниговского. Против Изяслава Мстиславича Киевского и давидовичей выступили Владимирко Галицкий и Юрий Долгорукий Суздальский.[1]

---

[1] Именно поэтому дети Юрия Долгорукого через несколько лет нашли себе приют в Византии и даже получили себе в удел от Мануила города на Дунае. См. в Ипатьевской летописи под 1162 г.: „Идоста Гюргевича

Антивизантийские интересы Киевского княжества были поддержаны двойным родством киевского князя Изяслава Мстиславича с главной представительницей враждебной Византии коалиции — Венгрией. Венгерский король Гейза II был женат на русской княжне Евфросинии Мстиславне — сестре Изяслава Мстиславича, — прославившейся впоследствии своим умом и характером.[1] Брат Изяслава Мстиславича — Владимир Мстиславич Дорогобужский был женат на дочери бана Белы.[2]

Византийский император Мануил поддерживал против Венгрии претендента на венгерский престол святого Стефана внука по матери Владимира Мономаха — Бориса Коломановича, известного в западно-европейских хрониках своими долгими скитаниями по свету и романтическими похождениями. Борис, воспитанный в Киеве (мать его была отвергнута мужем — венгерским королем Коломаном, будучи заподозрена в неверности, и уехала на Русь), пользовался поддержкой русских князей, сторонников Византии. Среди этих последних наиболее важными были Владимирко Галицкий[3] и сват его Юрий Суздальский, женатый на гречанке. Насколько важными союзниками Византии были Владимирко и Юрий, показывает хотя бы то обстоятельство, что и самый поход Мануила в 1152 г. на Венгрию был предпринят с главною целью спасти Владимирко от Гейзы II.[4]

Родственные отношения русских князей с двумя важнейшими враждующими лагерями Европы придали борьбе молодых русских княжеств против сильнейшего, но увядавшего в своем могуществе киевского золотого стола, неслыханное упорство и ожесточение. Сам Изяслав в своей антивизантийской поли-

---

Царюгороду, Мьстислав и Василко с матерью, и Всеволода молодого пояша со собою, третьего брата; и дасть царь Василкови в Дунаи 4 городы, а Мьстиславу дасть волость Отъскалана".

[1] См.: В. Г. Васильевский. „Славянский сборник", т. II, стр. 234.

[2] Ипатьевск. лет., 1150 г.

[3] По свидетельству византийского историка Киннама, император Мануил смотрел на Владимирка, как на своего подчиненного союзника — ὑπόσπονδον.

[4] См. Киннама, II, 11.

тике зашел настолько далеко, что хвалил чужую веру [1] и пытался отделиться от Византии даже в церковном отношении, приступив к давно оставленному после Ярослава Мудрого делу — избранию киевского митрополита из русских собором русских же епископов, без утверждения Константинополем. Патриарх константинопольский писал грамоты, в которых поощрял и причислял к святым противников Изяслава. Таким образом, вражда русских княжеств приобрела необычайно острые формы.

Наиболее сложные перипетии этой борьбы относятся к 1152 г. Владимирко Галицкий напал на венгерскую помощь, шедшую к Изяславу в Киев, и, пользуясь тем, что венгры оказались мертвецки пьяны, перебил их за исключением немногих. Тогда на следующий год Изяслав и Гейза решили отомстить Владимирке и двинули на него огромные силы. В поход пошел сам король Гейза, несмотря на то, что византийские войска, чтобы поддержать Владимирка, в отсутствие короля вторглись в Венгрию и подвергли ее страшному опустошению. Владимирко был совершенно разбит Изяславом и Гейзою под Перемышлем и только, подкупив советников короля, избег смерти и дележа своей волости победителями, на котором настаивал Изяслав. Раненый Владимирко целовал крест святого Стефана. Владимирко просил Изяслава принять его как сына (т. е. признавал себя его вассалом) и обещал ездить со всеми своими полками около стремени Изяслава. Однако не успел Изяслав доехать до Киева, как Владимирко нарушил свое крестное целование.

Именно клятвопреступление Владимирка и составляет кульминационный пункт повести, сохранившейся в составе Ипатьевской летописи под 1152 и предшествующими годами, и отразившей азарт и ожесточение междоусобной распри начала 50-х годов.

Отдельные слои и следы редакторской работы легко отделяются в повествовании Ипатьевской летописи о борьбе

---

[1] А. Попов. „Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений", стр. 69.

Изяслава и Владимирка. Что этих наслоений было несколько, отчетливо доказывается многочисленными дублировками в описании событий; иногда одно и то же событие описывается трижды, что получилось в результате небрежного слияния нескольких летописных источников, в которых редактор-летописец не отождествлял описаний одних и тех же событий. Так, например, описание начала 1151 г. повторяет событие, описанное под предшествующим годом. Почти текстуально совпадают начала речей Вячеслава под 1150 и 1151 гг. и т. д. Разноречия источников ведут иногда к курьезным несоответствиям. Так, например, описание битвы Вячеслава, Изяслава и Ростислава с Юрием (1151 г.) соединено в Ипатьевской из двух источников, из которых один говорил о битве, как происшедшей в четверг, а другой — в пятницу.[1]

Изучение состава Ипатьевской летописи в целом позволяет обнаружить в описании событий конца 40-х — начала 50-х годов XII в. следующие слои: сравнительно поздний слой галицких известий, восходящих к галицкой летописи, которая была присоединена уже в XIV в.; затем слой XIII в. владимиро-ростовских летописных известий и слой известий летописи Переяславля Южного (слои эти относительно легко снимаются сличением Ипатьевской и Лаврентьевской летописей), значительное место занимает, наконец, слой черниговских известий.[2] Если отделить все указанные нами выше слои, то остающийся текст можно отнести к киевскому летописанию. Но и последний текст далеко не однороден: значительная часть его носит свежий след редакторской обработки. Эта редакторская рука добавила всюду к имени Изяслава Мстиславича имя его брата

---

[1] В Ипатьевской летописи говорится, что битва началась в пятницу. Затем следует описание событий дня, наступает вечер, наконец, ночь и после всего этого летопись пишет снова: „утрии же день, в п я т н и ц ю".

[2] Летописные известия Переяславля Русского носят на себе следы черниговской переработки. Думаем, поэтому (расходясь в этом с А. А. Ш а х м а т о в ы м и М. Д. П р и с е л к о в ы м), что летопись Переяславля Русского была переработана в Чернигове и в составе черниговской летописи присоединена затем к киевскому летописанию.

Ростислава Мстиславича, явно стремясь изобразить княжение Изяслава как совместное княжение двух братьев (Изяслава и Ростислава) под духовным руководством престарелого и кроткого князя Вячеслава.[1] Не трудно выяснить, чье ревнивое внимание выделило и подчеркнуло всюду значение Ростислава Мстиславича. Ростислав был киевским князем в 1154—1155 и 1159—1167 гг. При нем игумен Печерского монастыря Поликарп вел личный летописец своего князя, переработав предшествующее содержание киевской летописи к большей славе Ростислава.

Отделив все эти позднейшие наслоения из летописного повествования об Изяславе Мстиславиче, обнаружим в его основе самостоятельный рассказ, тенденциозный, живой и подробный, касающийся взаимоотношений киевского князя Изяслава и галицкого — Владимирка. Рассказ этот построен на широком фоне европейских связей обоих княжеств (галицкого и киевского) — с Византией, Венгрией, Польшей и Чехией; точно передает содержание дипломатических переговоров и резко направлен против Владимирка, изображенного в отрицательных и карикатурных чертах.

Рассказ этот сохранился фрагментарно: почти утрачено его начало, разорвано вставками и частично заменено изло-

---

[1] Под 1147 г. изображается встреча братьев на Черной могиле, причем Ростислав привел к Изяславу „множество вой", и Изяслав, „похвали бога, радуяся брату своему". Затем Изяслав советуется с Ростиславом, последний дает Изяславу совет, которому он следует и т. д. Последующий рассказ весь построен на том, что Изяслав и Ростислав действуют совместно, идут в походы совместно. Возвращение их в Киев сопровождается похвалою богу: братья „похвалиста бога и поклонистася святым церквам и пребыста в весельи" (Ипатьевск. лет., 1147 г.). Далее подробно передается содержание письменного отчета Изяслава Ростиславу (1148 г.). Изяслав заключает мир, посоветовавшись с Ростиславом, с его разрешения. Братья встречаются, совместно обедают, пребывают в „веселии" и в „любви", хвалят бога, одаривают друг друга дорогими дарами и т. д. В одном случае Изяслав прямо определяется, как брат Ростислава — так, как будто бы старшинство принадлежало Ростиславу: „И тако Ростислав поиде полкы своими Смоленьску, а Изяслав брат его иде к Новугороду Великому".

жение средней части, но сохранилась финальная часть, когда-то эффектно подготовленная описанием предшествующих событий.

Можно думать, что начало этого рассказа захватывало взаимоотношения Изяслава и Владимирка задолго до развязки 1152 г. Сохранились признаки существования в этом рассказе описания событий 1144 г., когда ольговичи и польский князь Володислав отправились походом на „многоглаголивого" Владимирка Галицкого, за нарушение им крестного целования. Однако Владимирко не хотел повиниться Всеволоду и призвал себе на помощь венгров. Но призванные венгры были ему „не на кую же ползу" (Ипатьевск. лет., 1144 г.).

Владимирко попал в критическое положение, уговорил доброго Игоря Ольговича примирить его с Всеволодом и заплатил последнему „за труд 1000 и 400 гривен серебра: переди много глаголив, а последи много заплатив". Эта ироническая характеристика Владимирка прямо ведет нас к рассказу об Изяславе и Владимирке, где постоянно подчеркивается лживость, изворотливость и склонность Владимирка действовать подкупами.

Весь последующий рассказ о взаимоотношениях Изяслава и Владимирка отмечает корыстолюбие Владимирка, заставлявшего жителей городов выдирать серебряные серьги из ушей своих жен и снимать с шеи гривны для уплаты наложенных им контрибуций. Рассказчик отмечает позорный, не княжеский способ действий Владимирка, подкупавшего своих врагов. В этом чувствуется сторонник беднеющего Киева, раздраженного против богатого Галицкого княжества. Подчеркивается и хитрость Владимирка, действующего притворством и многоречивыми обещаниями.

В основном повесть посвящена описанию трех клятвопреступлений Владимирка Галицкого и последовавшей за ними расплаты. Постепенное нарастание действия и единая целеустремленность повествования составляют исключительную особенность повести. Особенно рельефно эта целеустремленность повествования выступает после второго клятвопреступления Владимирка (описание первого в повести не сохранилось).

Свою борьбу с Владимирком Изяслав рассматривает как суд божий. Он об этом говорит дружине в 1150 г. на дороге у Пересопницы при получении вести, что Владимирко Галицкий идет за ним с войском.

В 1151 г. перед битвой у Перемышля Изяслав снова говорит: „се уже мы идем на суд божий". После этого Изяслав наносит страшное поражение Владимирку. Действуя своим излюбленным способом, Владимирко притворился раненым и послал к венгерскому архиепископу и к венгерским вельможам много даров, золота, серебра, золотых и серебряных сосудов, платья и т. д., чтобы умолить их просить короля Гейзу II не исполнять желания королевы (сестры Изяслава) погубить его. Когда король просит Изяслава пощадить Владимирка, Изяслав как бы под влиянием духа пророчества говорит королю: „если Владимир умрет, то это бог убил его за клятвопреступление нам обоим; исполнил ли он тебе хотя что-нибудь из того, что обещал? Мало того, опозорил нас обоих; так как ему верить? Два раза он нарушал клятву; а теперь сам бог отдал нам его в руки..."[1]

Изяслав и слышать не хотел о примирении с Владимирком, но король, побуждаемый подкупленными вельможами, решил все же начать переговоры о мире. Когда король готов был уже послать своих вельмож к Владимирку, Изяслав еще раз предупреждает короля: для чего заставлять целовать крест человека, который играет клятвами? Но король предлагает целовать Владимиру главную святыню Венгрии: крест святого Стефана, принадлежавший родоначальнику династии венгерских королей, крестителю Венгрии, королю святому Стефану. На этом кресте, по преданию, был распят Христос. Действие, таким образом, длительно и настойчиво ведется к своему кульминационному пункту, эффект которого разносторонне подготавливается.

---

[1] В дальнейшем цитаты из повести в изложении ее даю в русском переводе, используя перевод соответствующих страниц летописи С. М. Соловьева: „Русская летопись для первоначального чтения", изд. 6. М., 1908.

Король произносит речь, в которой предупреждает о том, что всякий, кто нарушит клятву, данную перед этим крестом,— умрет. „Это тот самый крест,—говорит Гейза,—на котором распят был Христос бог наш; богу угодно было, чтобы он достался предку моему св. Стефану; если Владимирко поцелует этот крест, нарушит клятву и останется жив, то я тебе, отец,[1] говорю, что либо голову свою сложу, либо добуду Галицкую землю; а теперь не могу его убить“. Речью короля убежден уже и сам Изяслав, но тогда сын Изяслава—Мстислав—выступает и в последний раз предупреждает короля и отца своего Изяслава: „вы поступаете как должно по христиански, честному кресту верите и гнев отдаете Владимирку; но я вам перед этим же честным крестом скажу, что он непременно соступит крестного целования; тогда ты, король, своего слова не забудь и приходи опять со своими полками к Галичу“. Король соглашается и дает обещание помочь Изяславу в нужный момент.

Все эти переговоры ведутся в венгерском стане в королевском шатре. С крестом св. Стефана в лагерь Владимирка отправляют посланцев короля и русского боярина Петра Бориславича, находившегося, очевидно, во время переговоров Гейзы, Изяслава и Мстислава в королевском шатре.

Владимирко лежа целовал крест, обещая исполнить все требования. Но, целуя крест, Владимирко уже лгал: как заметил Петр Бориславич, Владимирко только делал вид, что изнемог от ран, тогда как ран на нем не было.

Клятвопреступление Владимирка проявилось тотчас же. Не успел Изяслав вернуться в Киев, как Владимирко не пустил посадников Изяслава в города, обещанные им последнему. И действие быстро переходит к развязке. Изяслав посылает своих послов в Венгрию, а „мужа“ своего Петра Бориславича — снова ко Владимирку в Галич.

---

[1] Гейза называет Изяслава „отцом“, признавая себя тем самым „сыном“, т. е. вассалом Изяслава.

Это последнее посольство Петра Бориславича описано особенно подробно, насыщено такими деталями, которые не оставляют сомнения в том, что автором повести о взаимоотношениях Изяслава и Владимирка был сам Петр Бориславич.

В Галиче Петр Бориславич, который был свидетелем клятвы Владимирка перед крестом св. Стефана, должен был сказать Владимирку: „ты нам с королем крест целовал, что возвратишь русские волости, и того всего не управил. Ныне я всего того не поминаю, но если хочешь исполнить крестное целование и быть с нами в мире, то вороти мои города, а не хочешь отдать, то ты соступил с крестного целования; вот твои крестные грамоты, а нам с тобою — как бог рассудит". Владимирко отвечал на это: „скажи: брат, ты нечаянно напал на меня сам и короля навел; так, если буду жив, то либо голову свою сложу, либо отомщу тебе за себя". Петр отвечал ему на это: „княже! ты крест целовал к брату своему Изяславу и к королю, что все исправишь и будешь с ними в союзе; теперь ты уже нарушил крестное целование". Владимирко же посмеялся в ответ: „этот ли крестец малый?" С достоинством возразил на это Петр: „княже! хоть крест и мал, но сила велика его на небе и на земле; ведь тебе король объявлял, что это самый тот крест, на котором Христос сам своею волею простер свои руки. Этот крест привел бог по своей милости к святому Стефану; и то тебе король объявил, что если поцеловав этот крест ты слова своего не сдержишь, то не будешь жив! Слышал ли ты все это о честном кресте от королевского посла?" Владимирко ответил: „Да, помню, досыта вы тогда наговорились; а ныне полезай вон, поезжай к своему князю!" Петр положил перед ним крестные грамоты, пошел вон, но когда собрался ехать, то не дали Петру ни повоза, ни корма, как полагалось послам. Обиженный в своем достоинстве посла, Петр вынужден был отправиться из Галича на своих конях.

И вот, когда съезжал Петр с княжеского двора, то встретился с Владимирком, который как-раз в это время шел в божницу ко святому Спасу слушать вечерню и находился

на переходах, ведших к церкви. Владимирко увидел Петра, ехавшего на своих лошадях, и посмеялся над ним: „Смотрите ка, русский-то боярин поехал, обобрав все волости". И, сказав это, взошел на полати. Когда вечерня отошла и Володимерко вышел из божницы и дошел до того места на степени, где он посмеялся над Петром, то вдруг сказал: „Ой точно меня кто-то ударил по плечу!", не мог с того места ни мало ступить и готов был уже упасть, но тут его подхватили под руки и отнесли в горенку и положили в горячую воду („укроп"). Некоторые говорили, что у него приступ „дна" (лом в суставах или костях: слово польское или чешское), другие же говорили другое и много прикладывали (всяких снадобий). Был поздний вечер, Владимирко начал изнемогать и к ночи скончался.

Между тем, Петр выехал из Галича. Дело было к вечеру. Петр остановился в селе Большеве и лег спать. Незадолго до „петухов" прискакал из Галича гонец („детьский") и сказал Петру: „князь говорит тебе, чтобы ты никуда не ехал, жди пока не пришлет по тебя". Петр же Бориславич не знал о смерти князя, не поведал ему об этом и гонец из Галича.

Петр Бориславич сильно опечалился, что ему вновь придется ехать в город, и, верно, вытерпеть там муку пуще прежней. И так тужил Петр, пока еще до обеда не пригнали за Петром из города и не сказали: „Князь зовет тебя". Петр отправился в город, приехал на княжий двор, и тут сошли к нему с сеней княжеские слуги — все в черных мятлих. Петр подивился: что бы это такое значило? взошел на сени и видит, что на княжеском месте сидит в черной мятли и в клобуке сын Владимирка — Ярослав.[1] Так же точно одеты были и все мужи князя.

Петру поставили „столець", что служило в древней Руси признаком особого почета. Петр сел. Ярослав же взглянул на Петра и расплакался. Петр сидел в полном недоумении

[1] Впоследствии упоминаемый в Слове о полку Игореве Ярослав Осмомысл.

и спрашивал окружающих: „что все это значит“? Ему объяснили: „бог этой ночью взял нашего князя“. Петр удивился: „Я этой ночью поехал, а он был добр-здоров“. Ему отвечали, что был здоров, да вдруг схватился за плечо и с того *начал* сильно изнемогать и умер. „Воля божья, — отвечал на это Петр, — всем там быть“.

Тогда обратился к Петру Ярослав: „Мы позвали тебя потому, что вот бог сотворил волю свою; поезжай ты теперь к отцу моему Изяславу, поклонись ему от меня и скажи ему вот что: *бог взял моего отца, так ты будь мне* вместо отца; ты с моим отцом сам знаешь, что между вами было, и то уже бог осудил. Бог взял отца моего, а меня бог на его место оставил; полк и *дружина* его у меня; только одно копье поставлено у гроба отца, да и то в моих руках. Теперь кланяюсь тебе, отец, прими меня, как сына своего Мстислава, пусть Мстислав ездит подле твоего стремени по одной стороне, а я буду ездить по другой стороне со всеми своими полками“. „И тако отпустиша Петра“.

На этом заканчивается повесть. Можно быть уверенным, что она не имела продолжения. Дело в том, что весь *эффект* конца этой повести (полное признание Ярославом правоты Изяслава) был тотчас же сведен на-нет последующими событиями: *Ярослав не изменил политики своего отца*, вражда возгорелась с прежней силой. На следующий год в кровопролитном сражении с войсками сына Владимирка — Ярослава Осмомысла Изяслав Мстиславич потерял всех своих дружинников и, конечно, был бы совершенно разбит, если бы при галицких войсках находился сам князь. В отсутствие Ярослава в его войсках произошло замешательство, спасшее Изяслава. Сообщение об этой битве дается в Ипатьевской летописи на основании галицкой. А смерть Изяслава, происшедшая вскоре (в 1154 г.), описана на основании владимиро-ростовского или переяславского летописца (сходно с Лаврентьевской).

Итак, повесть о взаимоотношениях Изяслава и Владимирка заканчивалась описанием чуда. Бог „покарал“ Владимирка за его тройное клятвопреступление; *каплей, переполнившей*

„терпение бога“, были насмешки, которыми Владимирко сопроводил отъезд Петра Бориславича. Именно на том месте, где Владимирко посмеялся над Петром, его разбил паралич. В повести ясно ощущается уверенность автора, что вражда Галича к Киеву закончилась, что наступило примирение, конец междоусобной смуты, что сын Владимирка Ярослав признал себя вассалом. Однако дальнейшие события опрокинули расчеты автора.

Перед нами, следовательно, рассказ-отчет Петра Бориславича о своей миссии в Галич, — рассказ, расширенный изложением предшествующих событий — историей клятвопреступлений Владимирка и венгерских отношений Изяслава. Очень может быть, что он предназначался для отсылки Гейзе II как документ о чуде, совершенном от креста св. Стефана и имевшем своею целью закрепление венгерских дружественных связей Изяслава, особенно важных для Киева в этот момент. В пользу этого говорит и то настойчивое подчеркивание приязненных и бескорыстных отношений Гейзы к Изяславу, которым проникнута вся повесть.

Последняя часть повести представляет собою рассказ очевидца, участника событий, — каким был Петр Бориславич. В повести подробно фиксированы не только речи при переговорах, насмешки, возражения, не только точно отмечено время, в которое совершилось то или иное событие (к вечеру, до обеда, к ночи, до кур и т. д.), не только точно сказано, где совершались события (на сенях, на переходах, на степени, во дворе и т. п.), не только отмечены одежды участников (клобуки, мятли), не только отмечено, как и чем лечили Владимирка, но подробно описаны и переживания самого Петра Бориславича (его обида на то, что его отправили со двора князя, не дав ему повоза и корма, его тревоги в Большеве, его недоумение при дворе Ярослава и т. д.). Эгоцентризм повествования сказался и в описании удара, постигшего Владимирка на том самом месте, где он посмеялся над Петром.

Петр присутствовал в королевском шатре при переговорах Гейзы, Изяслава и Мстислава, записал речи участников, заметил

притворство Владимирка, делавшего вид, что он страдает от ран, и с раздражением отмечает его „многоглаголивость“. Нельзя не отметить личную приязнь Петра Бориславича к сыну Изяслава — Мстиславу. Именно Мстислав в повествовании Петра является тем единственным человеком, который не поверил заверениям Владимирка и предупреждал Изяслава и Гейзу о том, что Владимирко непременно нарушит свое крестное целование.

Сын знатного киевского боярина (в Ипатьевской летописи под 1152 г. упомянут „Бориславль двор“ как нечто хорошо известное киевлянам), Петр Бориславич, после смерти Изяслава, находился вместе со своим братом Нестором на службе именно у этого сына Изяслава — Мстислава. В 1170 г. произошла ссора Петра и Нестора Бориславичей с Мстиславом. Ссора эта была вызвана кражей коней из стад Мстислава, в которой обвинили холопов Петра и Нестора, наложивших на коней Мстислава свои пятна (тамги). После этой ссоры Петр и Нестор перекинулись к другому сыну Изяслава — Давиду, натравливая его против Мстислава, чем вызвали ожесточенную отповедь летописца.[1]

Петр Бориславич известен и составителю Никоновской летописи, что говорит о его незаурядной известности как политического деятеля. Под 1170 г. Никоновская летопись, рассказывая о „лживом владыке“ ростовском Федоре, в укоризну прозванном Феодорец и впоследствии изгнанном и жестоко казненном, определяет его как „сестричича“ Петра Бориславича.

Итак, перед нами своеобразный обзор междукняжеских отношений Владимирка и Изяслава за несколько лет. Обзор этот стремится оправдать политику Изяслава, очернить его противника и заключается эффектной развязкой, показывающей правоту Изяслава. Эта повесть-обзор составлена непосредственным участником событий — послом Изяслава — Петром Бориславичем, — дважды (а может быть и больше) выполнявшим дипломатические поручения своего князя. Центральное

[1] Ипатьевск. лет., 1170 г.

место в повести занимают рассказы Петра Бориславича о своих посольствах ко Владимирку Галицкому. Однако перед нами не статейные списки, не отписка-отчет, не голый перечень фактов, а связный, литературно-развитый рассказ, имеющий своею целью убедить читателей в правоте Изяслава, его дела, описать с точки зрения Изяслава историю борьбы Киевского и Галицкого княжеств, не прекратившейся, несмотря на смерть Владимирка. Вот почему Петр уделяет большое внимание характеристикам действующих лиц, отходя в них от литературных трафаретов средневековья. Характеристики князя-рыцаря Изяслава, более всего на свете дорожащего воинскою честью и честью Русской земли, его противника „многоглаголивого“, лживого, хитрого и корыстного Владимирка, доброго, умного, но слабосильного, склонного к примирению Вячеслава, дальновидного Мстислава — рельефны и выразительны.

Характеристики эти, вне всякого сомнения, тенденциозны, но рассчитаны на внутреннюю убедительность и поэтому не отличаются навязчивою однобокостью характеристик житийной литературы, где характеры действующих лиц предрешены ситуацией и соответствуют ожиданиям благочестивого читателя. Поэтому и самый характер описаний в повести отличается жизненной сложностью, конкретностью, обилием деталей, поданных в тенденциозной окраске, но рассчитанных на восприятие современников описываемых событий и поэтому реальных в своей основе.

Повесть Петра Бориславича в жанровом отношении особенно близка к повести попа Василия. Петр, как и Василий, ближайший свидетель и участник событий. Петр, как и Василий, выполнял дипломатические поручения: так же как Василий дважды ездил к Васильку и подробно передал содержание своих переговоров, — Петр дважды ездил к Владимирку и подробно передал и свои речи, и речи Владимирка. „Отчетный“ характер явственно ощущается и в повести Петра, и в повести Василия. И в той, и в другой повести основными моментами повествования являются — преступление и божественное наказание за это преступление. Так же точно, как в повести

Василия, крест, на котором клялся Святополк, несет поражение клятвопреступнику,— крест святого Стефана, который ложно целовал Владимирко, несет ему гибель.

Как оригинальная особенность обеих повестей должен быть отмечен прием ретардации,— искусной затяжки действия,— усиливающий драматизм повествования. В повести Василия посланец тщетно предупреждает Василька не ездить на именины к Святополку, где Василька должны были схватить и ослепить. В повести Петра Изяслав, а затем и Мстислав, тщетно предупреждают Гейзу о бесполезности брать клятву с Владимирка. Гейза не слушает их и посылает к Владимирку с крестом. Таким образом, в обоих случаях правая сторона верит в силу креста, отказывается верить в злые намерения противной стороны, несмотря на предупреждение друзей. Действие намеренно замедлено, драматическое напряжение искусно повышается, подготовляя читателя к центральному моменту повествования.

Внешнее сходство повести Петра с повестью Василия отнюдь не свидетельствует, однако, о непосредственном влиянии одной повести на другую. Нигде мы не могли бы отметить следы текстуального совпадения, что в средневековой литературе всегда почти сопровождает факты литературного влияния. Перед нами — произведения единого жанра, произведения, возникшие в сходных обстоятельствах, на сходном материале, написанные в сходных целях.

5

В составе рассказа Ипатьевской летописи об убийстве князя Андрея Боголюбского читаются важные отрывки документальной повести Кузьмища Киянина о том же событии.

Антибоярская политика Андрея Боголюбского встретила резкое сопротивление боярства. В июне 1175 г. Андрей Боголюбский, очевидно, раскрыв боярский заговор, казнил одного из Кучковичей, брата своего близкого слуги — дружинника Якима. Собравшиеся в доме Петра Кучковича заговорщики

решили убить Андрея. Ночью 28 июня 1175 г. это решение было приведено заговорщиками в исполнение.

Обычно предполагается, что летописное сказание об убийстве Андрея, читающееся сейчас в Лаврентьевской летописи, представляет собой сокращенную редакцию повествования Ипатьевской.[1]

Такое соотношение редакций повести в Ипатьевской (как первоначальной и полной) и в Лаврентьевской (как производной и сокращенной) противоречит и истории летописных текстов Ипатьевской и Лаврентьевской летописей и, что самое важное, наблюдению над текстами самих этих повествований в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. То, что считается первоначальным повествованием (в Ипатьевской), оказывается внутренне противоречивым и далеко не цельным, наоборот, производная сокращенная редакция (в Лаврентьевской) отличается гораздо большею внутреннею цельностью.

Действительно текст повествования в Ипатьевской летописи, обычно считающийся первоначальным, очень неровен: с одной стороны, мы имеем отрывки, составленные в чисто житийной манере, а, с другой стороны, отрывки довольно реального рассказа с обилием бытовых подробностей и живыми диалогами. Сличение текста Ипатьевской летописи с Лаврентьевской показывает, что отрывки, составленные в книжной, житийной манере, точно соответствуют тексту Лаврентьевской и в ней составляют довольно цельное, хотя и краткое изложение событий. Отрывки же, написанные в документальной манере, в тексте

[1] Вполне категорически в этом смысле высказался Н. Серебрянский: „... сказание о благ. кн. Андрее к владимирским памятникам может быть отнесено только по своей теме; по месту же написания, личности составителя, по агиографическим образцам, под влиянием которых написан этот памятник, — сказание всецело принадлежит письменности южно-русской. На южно-русское происхождение памятника указывает, в частности, и древнейший его список. В первоначальном своем виде сказание вошло в южно-русскую летопись — Ипатьевскую; в летописи северно-русской, Лаврентьевской, помещена уже переделка древней редакции — опыт ее сокращения“ (Н. Серебрянский. „Древне-русские княжеские жития“, М., 1915, стр. 142).

Лаврентьевской летописи не встречаются. Больше того: отрывки реального описания убийства Андрея и житийный текст Лаврентьевской летописи находятся между собою в противоречии.[1]

Отсюда ясно, что и цельный рассказ Лаврентьевской летописи, составленный в житийной манере, является первоначальным. Ипатьевский же текст повествования является расширением этого текста Лаврентьевской летописи, за счет рассказа совсем иного жизненно-реального характера. Правда, в Ипатьевской летописи встречаются отрывки житийного, церковно-книжного характера, не имеющие аналогии в рассказе Лаврентьевской летописи, но все эти отрывки оказываются подражаниями черниговскому житию Игоря Ольговича, уже рассмотренному нами выше.[2]

Дополнения, читающиеся в тексте Ипатьевской летописи, сделаны, очевидно, на основании рассказа некоего Кузьмища Киянина, бывшего очевидцем событий. Рассказ этот отличается реальным характером и представляет собою ближайшую аналогию к повестям о княжеских преступлениях.

Кузьмище Киянин с симпатией относится к Андрею Боголюбскому, но не идеализирует его в манере церковного жития.

---

[1] Так, например, в одном случае (в Ипатьевск. лет.) на князя набрасываются только двое убийц, а в другом (в Лаврентьевск. лет.) „оканьнии же всовашася в ложницю в с и". В реальном повествовании Ипатьевской говорится, что пьяные клирошане отказались отворить церковь, чтобы положить там тело Андрея, в Лаврентьевской же летописи рассказывается, что клирошане сами вносят тело Андрея в церковь. Заметны в тексте Ипатьевской летописи и отдельные дублировки рассказа, ясно указывающие на его составной характер. Так, например, дважды описан общий грабеж города после смерти Андрея (в рассказе Лаврентьевской грабят лишь однажды).

[2] Таковы, например, речи Андрея Боголюбского перед приходом убийц: „и въздохнув из глубины сердечныя, и прослезися, помяну вся Иевова..." и т. д. (ср. речи Игоря Ольговича: „и въздохнув из глубины сердца, сокрушеном смиреном смыслом, и прослезився, и помянув Иовова..." и т. д.); таковы же и предсмертные речи Боголюбского; „князь же възрев на небо и рече: «Господи! в руце твои предаю тобе дух мой»" (ср. слова Игоря Ольговича: „Игорь же побиваем рече: «владыко! в руце твои предаю тебе дух мой...»)".

В своих причитаниях над телом убитого князя Кузьмище говорит о его былой славе и могуществе: „иногда бо аче и гость приходил из Царягорода, и от иных стран из Русской земли, и аче Латинин, и до всего хрестьянства, и до всее погани...“[1] Кузьмище удивляется тому, как Андрей не расправился раньше со своими „ворожбитами“: „господине мой! како еси очютил скверных и нечестивых пагубоубийственых ворожьбит своих, идущих к тобе, или како ся еси не домыслил победити их, иногда побежая полкы поганых болгар?“

Рассказ Кузьмища явно направлен на изобличение главы заговора — ключника Амбала. Кузьмище обличает его над трупом князя, он упрекает его в том, что он всем обязан своему князю, которого не только убил, но наготу которого выставил на позор: „ты ныне в оксамите стоиши, а князь наг лежить“. Сам князь перед своею смертью по рассказу Кузьмища упрекнул убийц своим „хлебом“: „аще кровь мою прольясте на земле, да бог отомьстить вы и мой хлеб“.

С поразительной силой психологического наблюдения Кузьмище Киянин рассказывает о том страхе, который испытывали убийцы перед тем, как ворваться в ложницу князя. Испуганные, они возвращаются назад от дверей опочивальни, спускаются в медушу, подкрепляют силы вином, и только после этого совершают убийство. Этот момент страха убийц перед совершением злодеяния напоминает тот страх, который овладел князем Давидом Игоревичем перед ослеплением Василька в повести попа Василия.

В полном противоречии с житийным стилем повествования Лаврентьевской летописи Кузьмище повествует о бешеном сопротивлении князя и жизненно-конкретно изображает самый момент убийства: князя хотели обманом заставить отворить дверь в спальню (в „ложницу“), но князь узнал обман.[2] Тогда

---

[1] Здесь и дальше цитирую по Ипатьевской летописи.

[2] Один из убийц воззвал у дверей князя: „господине, господине!“ князь спросил: „Кто есть?“ Заговорщик ответил „Прокопьи“. Но князь возразил: „О паробьче! не Прокопьи“. Поняв, что князя нельзя обмануть, убийцы „прискочили“ к дверям „ложницы“ Андрея и начали бить в них.

убийцы силой выломали дверь, и двое из них навалились на князя. В темноте князь подмял под себя одного из убийц, другой, предполагая, что повален Андрей, ранил своего товарища. Затем князя узнали, убийцы с трудом боролись с ним („бяшеть бо силен"), секли его саблями и мечами, кололи копьями.

Следы этих страшных ударов мечей и сабель сохранили на себе череп и костяк Андрея Боголюбского, до сих пор хранящиеся во Владимире. Решив, что они убили князя, убийцы подхватили раненого товарища и „трепещющи отъидоша". Но одному из них показалось, что князь сошел с сеней: „стоя видех яко князя идуща с сеней долов" — говорит он своим товарищам. Убийцы вернулись в страхе, зажгли свечи, по кровавому следу нашли князя под сенями у всходного столпа и завершили убийство.

Обращает на себя внимание обилие тонких, психологически верных диалогов, которыми отнюдь не в житийном стиле пронизано все повествование Кузьмища Киянина. Эта черта характерна также и для рассказа попа Василия, и для рассказа Петра Бориславича и для повествования об убиении Игоря Ольговича.

Рассказ Кузьмища эгоцентричен, он подчеркивает прямоту своей защиты поруганного князя, он передает личные свои обличения убийц и боголюбовских клирошан. Он сам относит тело Андрея в божницу и покрывает его корзном. Эта черта роднит рассказ Кузьмища с рассказом Петра Бориславича.

Перед нами, следовательно, повесть, построенная в том же типе, что рассказы попа Василия, Петра Бориславича и повести об убийстве Игоря Ольговича. Неясно лишь то: кем был сам Кузьмище Киянин, был ли он киевским дипломатом, находившимся во Владимире, и в каких целях вел он свое повествование. Неясно, было ли это повествование только записано с его слов, или он сам писал свой рассказ. Ближайшая аналогия рассказу Кузьмища об убийстве Андрея Боголюбского в рассказах об ослеплении Василька и смерти Владимирка как будто бы говорит за то, что Кузьмище Кия-

нин сам записывал все виденное им, а вернувшись в Киев, перенес туда и свое произведение, включенное в состав Киевской летописи.

* *
*

Нет сомнения в том, что обличительные повести *нередко* составлялись специально для летописи. Так, например, в Ипатьевской летописи сохранилось известие о том, что князь Мстислав Данилович *приказал своему писцу писать грамоту* о „крамоле“ жителей Берестья „а вопсал есмь в летописець коромолу их“.[1] Летопись имела тот общественный и юридический авторитет, который как-раз и нужен был в тех случаях, когда надлежало предать гласности вопиющее нарушение договоров. Вместе с тем, внесение в летопись подобного рода повестей вызвано было также желанием расширить летописный материал, раздвинуть становившийся слишком узким политический кругозор областной летописи. Это был жанр, восполнявший очевидную всем бедность содержания местного, городского и семейного, родового княжеского летописания. Важно при этом, что обличения этих повестей, самым тесным образом связанные с конкретными лицами и приуроченные к определенным событиям, с течением времени теряли свою „злободневность“, переосмыслялись, обобщались и воспринимались как обличения княжеских усобиц в целом. Частные обвинения против тех или иных князей выростали в обобщающие картины феодальных неурядиц. Примеры этого недалеки: поп Василий составлял свою повесть об ослеплении Василька Теребовльского не для обличения княжеских преступлений вообще, а только одного — того, которое было совершено Давидом и Святополком. Но уже Сильвестр, включая ее в свою переработку Повести временных лет, видел в ней более обобщенную картину: он усматривал в ней лишь одну из тех княжеских усобиц, с которыми боролся Мономах. Спустя три столетия составитель повести о наше-

---

[1] Ипатьевск. лет., 1289 г.

ствии Эдигея (1409 г.) видел в ней вообще обличения княжеских усобиц и приводил Сильвестра в образец летописца, умевшего „*не украшая*“ говорить правду о княжеских усобицах.[1]

Так само время доделывало то, чего не доставало повествованию.

Глава 13

КНЯЖЕСКИЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Есть много общего в судьбе Владимиро-суздальской области и Галицко-волынской. Обе эти области рано обособились от Киевского государства. Обе эти области постепенно укрепляют свое торговое значение и богатства. В обеих этих областях вырастает сильное боярство, с которым вступает в победоносную борьбу княжеская власть.

Галицкие князья Роман и Даниил упорно борются с самодержавием боярства, заключившего союзы с польскими князьями и венгерскими королями, и на время возрождают *широкие* задачи общерусской политики. Князь Роман берет в свои руки оборону южной Руси от половцев; впоследствии Даниил стремится противостоять татарам. *Этим объясняется* необыкновенная популярность этих двух князей в народе.

Владимирко и Ярослав в Галичине, а затем Роман и Даниил в Галичине и на Волыни ищут утвердить свой авторитет, идейно обосновать свои политические притязания. Эти стремления галицких князей во всем подобны стремлениям князей Владимира Залесского. Не случайно искусство Галича и Владимира Волынского имеет своим ближайшим аналогом искусство Владимира Залесского. Органическому и широкому развитию при Андрее Боголюбском больших княжеских сооружений дворцового типа предшествует подобный же процесс в Галицком княжестве, где уже в 1152 г. существовал большой княжеский

[1] Повесть 1409 г., Симеоновск. лет., 1409 г.

замковый ансамбль с придворным храмом, переходами, лестничной башней — „сенями“ и т. д.[1]

Вот почему и летописание Галицкого княжества, так же как и летописание Владимира Залесского, целиком подчиняется задачам пропаганды сильной княжеской власти, идейному обоснованию борьбы с боярством и прославлению личности князя.

1

Как выяснено Л. В. Черепниным, первая часть галицко-волынской летописи, читающаяся сейчас в Ипатьевской летописи сразу вслед за киевской (начиная с 1201 г.), может быть с полным правом названа „Летописцем Даниила Галицкого“.[2] Летописец этот носит резко своеобразную форму: это жизнеописание, ведущееся в форме своеобразного, ничем не связанного повествования.

Замечательно, что в нем не было обязательной для большинства летописей хронологической канвы, не было, за редкими исключениями, дат описываемых событий. Указания „в лето 6712“ или „в лето 6713“ и т. д. были вставлены значительно позднее, повидимому, составителем Ипатьевского списка, так как в сходных с Ипатьевским Хлебниковском и других списках даты эти отсутствуют. Насколько неловко были расставлены впоследствии даты событий, видно из следующих примеров, где датировка явно нарушает связность повествования. Так, например, фраза „в лета же Данила и Василька беаху володимьрьскыи пискупе...“ разорвана и обессмыслена вставкой даты: „в лето 6731 Данила и Василка Романовичю

---

[1] Н. Н. Воронин. „Памятники Владимиро-суздальского зодчества“, М., 1945, стр. 45 и 46.

[2] Л. В. Черепнин. „Летописец Даниила Галицкого“, Исторические записки, № 12, М., 1941, стр. 228 и след. Выводами этого исследования, а также исследования акад. А. С. Орлова „К вопросу об Ипатьевской летописи“, Известия Отдел. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXXI, 1926, в основном пользуюсь в этой главе.

беаху володимирьскыи пискупе". Грамматическая конструкция фразы нарушается позднейшей вставкой дат и в других случаях, например, в рассказе о литовском посольстве, прибывшем к Даниилу Романовичу: „.. Данилови же приехавшю в Володимерь, в л е т о 6722 б ы с т ь т и ш и н а, в л е т о 6723 божиим повелением прислаша князи литовьскии к великой княгини..." Ясно, что отмеченные нами разрядкой слова представляют собою неловкую вставку в первоначально цельный и связный текст.

Сами даты, вставляемые позднейшим летописцем, не заслуживают доверия. Первая же дата галицко-волынских известий представляет собою неверный домысел позднейшего летописца. В самом деле, галицко-волынское летописание, первую часть которого составляло рассматриваемое жизнеописание Даниила Галицкого, было механически присоединено к Киевскому своду 1200 г. Последнею датою Киевского свода был 1200 г., поэтому в качестве следующей даты составитель Ипатьевского списка, не раздумывая, поставил 1201 г., обозначив им смерть Романа Галицкого. Между тем, польские источники называют иную, на этот раз совершенно точную, дату смерти Романа — 19 июня 1205 г.[1] Как можно думать на основании внимательного анализа текста, первоначальная последовательность рассказа устанавливалась исключительно связующими фразами вроде следующих: „времени же минувши",[2] „по тех же летех",[3] „мало же времени минувшю"[4] и т. д. Жизнеописатель то забегал вперед в своем рассказе, то упоминал о событиях более ранних, не разбивая свое повествование никакими хронологическими рамками.

Необходимость такого цельного рассказа, в котором действие подчинялось бы исключительно внутренней логике развития событий и не следовало бы внешнему принципу хроно-

---

[1] М. Г р у ш е в с к и й. „Хронологія подій Галицько-волинської літописи", Записки Науков. товар. ім. Шевченка, т. XLI, кн. III, Львів, 1901, стр. 7.

[2] Ипатьевск. лет., 1209, ср. 1260 г.

[3] Там же, 1231 г.

[4] Там же, 1234 г.

логической разбивки, непосредственно заявлена автором жизнеописания. Заимствуя свои слова из переводного компилятивного хронографа, автор пишет: „хронографу же нужа есть писати все и вся бышая, овогда же писати в передняя, овогда же выступати в задняя: чьтый мудрый же разумееть; число же летомь зде не писахом“.[1] В этой своеобразной литературной декларации прямо говорится о необходимости отступать от обычной летописной регистрации событий по годам.

Таким образом, перед нами не столько летописец, сколько историческое повествование более связного типа. Автор называет свое произведение „хронографом“, и, действительно, литературная манера автора теснее всего примыкает к типу византийских хронографов, связно описывавших истории царствований византийских императоров.

Что же представляло собой жизнеописание Даниила Романовича Галицкого, как композиционно-цельное литературное произведение?

Жизнеописание Даниила Галицкого целиком посвящено прославлению его самого и его дела.

Отец Даниила — Роман был храбрым воином. Сам Даниил был „дерз и храбор, от главы и до ногу его не бе на немь порока“.[2] Даниил „спешаше и тосняшеся на войну“, стремился углубиться в землю врага и обогатиться полоном и добычей. Его деяния сравниваются с деяниями Святослава Храброго и Владимира Святого.[3] Даниил был первым русским князем, повоевавшим „Землю чешскую“; никто, кроме Владимира Святого, не входил „толь глубоко“ в Польскую землю. Он „измлада“ не давал себе покоя в борьбе с внешними врагами Руси — поляками, венграми, чехами, литовцами, ятвягами. Его войско одним своим видом вызывало удивление иноземцев: „беша бо кони в личинах и в коярех [попонах] кожаных, и людье во ярыцех [латах], и бе полков его светлость велика,

---

[1] Ипатьевск. лет., 1254 г.

[2] Там же, 1224 г.

[3] Там же, 1254 г.

от оружья блистающася. Сам же [Данил] еха подля короля [венгерского] по обычаю руску: бе бо конь под нимь дивлению подобен, и седло от злата жьжена, и стрелы, и сабля златом украшена, иными хитростьми, якоже дивитися, кожюх же оловира грецького [греческой шелковой ткани], и круживы златыми плоскими ошит, и сапози зеленого хъза [кожи] шити золотом. Немцем же зрящим, много дивящимся...“[1] Описание войска, „соколов-стрельцов“, блестящего оружия русских не раз встречается в жизнеописании Даниила. „Щите же их яко зоря бе, шолом же их яко солнцю восходяшю, копиемь же их дрьжащим в руках яко тръсти мнози, стрельцемь же оба пол [по обеим сторонам] идущим и держащим в руках рожанци [луки] свое, и наложившим на не стрелы своя противу ратным. Данилови же на коне седящу и вое рядящу“.[2] В таких необычно приподнятых красках описывает автор галицкую пехоту с едущим впереди нее Даниилом.

Автор жизнеописания подробно следит за деятельностью своего князя, дает развернутые картины его строительства, всюду подчеркивает любовь к нему населения. Жители Галича устремляются к Даниилу „яко дети ко отчю [отцу], яко пчелы к матце, жажющи воды ко источнику“, они называют его „держатель наш, богом данный“.[3]

Подробно приводит автор воинские речи Даниила, полные высокого рыцарского представления о чести воина и чести родины, многие из которых представляют собою прекрасные образцы ораторского искусства.[4] Автор следит за ратными

[1] Там же, 1252 г.

[2] Там же, 1251 г.

[3] Там же, 1235 г.

[4] Например, речь Даниила, обращенная им к своим оробевшим союзникам полякам: „почто ужасываетеся? не весте ли, яко война без падших мертвых не бываеть? Не весте ли, яко на мужи на ратные нашли [пришли] есте, а не на жены? аще мужь убьен есть на рати, то кое чюдо есть? инии же и дома умирають без славы, си же со славою умроша; укрепите сердца ваша и подвигнете оружье свое на ратнее“ (Ипатьевск. лет., 1254 г.). Или под 1234 г.: „подобаеть воину, устремившуся на брань, или победу прияти, или пасти ся от ратных...“ и т. д.

подвигами Даниила, описывает его личное участие в боевых схватках. Не раз обнажает меч Даниил, не раз ломает свое копье, не раз оказывается он на волосок от смерти. В сражении на Калке Даниил в пылу битвы „не чуял“ на себе ран, и только вода, которую он выпил, заставила его почувствовать их боль. Другой раз конь вынес его из смертельной опасности, конец вражеского меча успел отхватить кусок шерсти на „стегне“ у его коня.

С особенною любовью отмечает автор судьбу боевых коней Даниила. Мстислав подарил юноше Даниилу „конь свой борзый сивый“.[1] Спустя 11 лет Мстислав вновь дарит Даниилу своего борзого коня Актаза,[2] „акого же в та лета не бысть“. Конь этот был застрелен под Даниилом с крепостных стен при осаде Чарторыйска в 1227 г. Сменивший его гнедой конь Даниила был застрелен под ним в лютой сечи 1234 г. у Торческа.

Как в личном летописце Мономаха, жизнеописание Даниила описывает не только его ратные труды, но ведет счет и его „трудам“ на „ловех“ (охотах): „едущу же ему до Грубешева, и уби вепрев шесть, а сам же уби и рогатиною 3, а три отроци его“.[3] Автор описывает ощущения Даниила в битве, его беспокойства, его радости. Автор скорбит об унижении Даниила в ханской ставке,[4] радуется его успехам, отмечает его болезни[5] и т. д.

В тоне резкого раздражения говорит автор о врагах Даниила — боярах. Одного из них, Жирослава, он называет

---

[1] Ипатьевск. лет., 1213 г.

[2] „Акта“ по-тюркски означает „мерин“.

[3] Там же, 1255 г.

[4] „О злее зла честь татарьская! Данилови Романовичю князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевом и Володимером и Галичем, со братом си, иными странами: ныне седить на колену и холопом называеться, и дани хотять, живота не чаеть и грозы приходять. О злая честь Татарьская! Его же отець бе царь в Руской земли, иже покори Половецькую землю и воева на иные страны все, сын того не прия чести, то иный кто можеть прияти?“ (Ипатьевск. лет., 1250 г.).

[5] Ипатьевск. лет., 1254 г.

„льстивым", он „лукавый льстец", его язык „лжею питашеся" и т. д.

Устами Даниила автор проклинает Жирослава в самых патетических выражениях: „проклят ты буди, стоня и трясыся на земли... да не будеть ему пристанъка во всих землях, в руских и во угорьских [венгерских], и ни в ких же странах, да ходить шатаяся во странах, желание брашна [еды] да будеть ему, вина же и олу поскуду да будеть ему, и да будеть двор его пуст и в селе его не будеть живущаго..."[1]

Автор сатирически изображает бояр. У льстивого боярина Семьюнка лицо было красное, как у лисицы.[2] Боярин Доброслав, когда ехал на коне, то в гордости не смотрел на землю. Малодушные изменники бояре, которые вынуждены были сдать Галич Даниилу, выходят к нему со слезами на глазах, с осклабленными лицами, облизывая губы.[3] Автор описывает как подлые заговорщики, „сидя в думе" и совещаясь, как бы убить Даниила, были испуганы его братом Васильком. Василько вышел к ним и обнажил на одного из слуг „мечь свой играя", а у другого вырвал щит.

Заговорщики, решив, что они открыты, бежали, подобно Святополку Окаянному.[4]

Автор описывает как бояре оскорбляли Даниила, как один из них на пиру выплеснул чашу вина в лицо Даниилу и т. д. Желчи, гнева, сатирических красок хватило бы у автора на изображение боярских крамол эпохи Грозного.

Таким образом, автор жизнеописания Даниила ставил себе задачи прославления Даниила, пропаганды сильной княжеской власти и необходимости борьбы с боярством.

В отличие от Владимиро-суздальского летописания, стиль жизнеописания Даниила целиком светский, в нем нет ничего

---

[1] Там же, 1226 г.
[2] Там же, 1229 г.
[3] Там же, 1235 г.
[4] Там же, 1240 г.

церковного.[1] Во всяком случае церковного в нем не больше, чем это было в обиходе дружинного окружения князя. „В галицком повествовании, — пишет акад. А. С. Орлов, — постоянно чувствуется образованный литератор, дипломат и воинственный дружинник, любящий звон и бряцание оружия, придворный и своего рода «рыцарь», который понимал историю как цепь войн и мятежей“.[2]

Автор жизнеописания Даниила Галицкого — это скорее всего начитанный дружинник, соединяющий в своих писаниях приемы дружинной поэзии с формулами светской воинской повести и переводных хронографов.

Автор пользуется песнями об отце Даниила — Романе, упоминает „песнь славну“, которую пели Даниилу и Васильку, вернувшимся из далекого похода на ятвягов.[3] Отзвуки какой-то половецкой песни на тему о любви к родине содержит самое начало жизнеописания. Поэтической темой этой песни пленялись впоследствии не раз русские поэты. Владимир Мономах, который пил золотым шлемом из Дона, захватил всю половецкую страну и изгнал половецкого хана Отрока в Абхазию за Железные ворота. Брат Отрока Сырчан остался у Дона „рыбою оживъшю“. Когда Мономах умер, Сырчан послал своего „гудца“ Оря в Абхазию к Отроку призвать его на родину. Но Отрок, прижившийся на чужбине, не захотел вернуться, не прельстили его и половецкие песни. Тогда Орь дал ему понюхать травы „евшан“ (полынь). Запах этой степной травы напомнил Отроку родину, он заплакал и сказал „луче есть ва свой земле костью лечи, нели на чюже славну быти“.[4] И возвратился в свою страну; от него же и родился Кончак, который заходил за реку Сулу пешим, нося котел на плечах.

---

[1] Считаем поэтому маловероятной гипотезу Л. В. Черепнина о том, что составителем летописца Даниила Галицкого был книжник холмского епископа (Исторические записки, № 12, 1941, стр. 233).

[2] Акад. А. С. Орлов. „Древняя русская литература XI—XVI вв.“, М., 1939, стр. 90.

[3] Ипатьевск. лет., 1251 г.

[4] Там же, 1201 г.

К фольклору, а также, отчасти, к византийской хронографии восходит в жизнеописании широкое пользование эпитетами: *„борзый конь“* (1215, 1227 *гг.*), *„величавый Филя“*, *„Филя гордый“*, „Филя прегордый“ (1217 и другие годы), „острый мецю, борзый коню“, „светлое оружие“ и мн. др.

Книжные приемы автора жизнеописания сказываются в частом употреблении синтаксического оборота с дательным самостоятельным, в употреблении иностранных слов (рикс, кирелеш). Автор ссылается на „Омира“ (Гомера),[1] на хронограф, заимствует отдельные образы из хроники Малалы, из хроники Амартола, из Библии, из повести о разорении Иерусалима Иосифа Флавия, из Александрии. Как указал акад. *А. С. Орлов*, все эти произведения входили в состав большого компилятивного хронографа, которым, очевидно, и пользовался книжник-автор.[2]

Установленное *акад. А. С. Орловым* влияние компилятивного хронографа на галицкую летопись имеет важное принципиальное значение. Второй раз встречаемся мы с влиянием хронографа на русскую летопись. *Это влияние ощущается каждый раз* именно в княжеской летописи. Первый раз византийские хроники были привлечены для восполнения русского летописания, при Владимире Мономахе; второй раз византийские хроники оказывают влияние на стиль и на самый тип повествования при Данииле. Видим в этом стремление феодальной власти найти опору своему возрастающему влиянию в византийской культуре. В Галицкой Руси это влияние облегчалось при Данииле еще и тем, что Галиция имела общие с Византией границы по Дунаю и издавна находилась с нею в союзных отношениях. Сильные князья стремятся подражать византийским императорам и вводят у себя придворную хронографию, отчасти сходную с византийской.

---

[1] Ипатьевск. лет., 1233 г.

[2] Акад. А. С. Орлов. „К вопросу об Ипатьевской летописи“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. XXXI, 1926, стр. 93 и след.

В Византии был распространен обычай, по которому император назначал при жизни своего историографа, в обязанность которого входило составить жизнеописание своего монарха. Император сам следил за работой историографа. Этот последний выполнял указание своего заказчика, пользовался его архивами, записывал многое с его слов и заканчивал свою работу уже после смерти императора.[1]

Но влияние византийских хроник не ослабило глубокого художественного мастерства автора жизнеописания Даниила, поражающего нас до сих пор близостью своей фразеологии к Слову о полку Игореве.[2]

Жизнеописание Даниила Галицкого не сохранилось до нас в своем непосредственном виде. В разное время в него были сделаны различные вставки.[3] Кроме того, уже сам по себе его автор использовал в своем произведении различные предшествовавшие ему литературные памятники.[4] Неясен и конец этого произведения; повидимому, как это доказывает Л. В. Черепнин, его следует искать под 1256—1257 гг.; после чего в Ипатьевской летописи следует текст, уделявший внимание Даниилу лишь попутно.

---

[1] См.: М. Д. Приселков. „Летописание Западной Украины и Белоруссии“, Ученые записки Лен. Гос. университета, Серия истор. наук, вып. 7, Л., 1941.

[2] На близость стилистических элементов Галицкой летописи к Слову о полку Игореве неоднократно указывалось исследователями. Начальную часть Галицкой летописи Вс. Миллер считал даже просто отрывком из Слова о полку Игореве („Взгляд на Слово о полку Игореве“, стр. 141—142). Заново поставлен этот вопрос в упомянутом исследовании Л. В. Черепнина (стр. 236 и след.).

[3] Эти вставки, в целом незначительные, восходят, повидимому, к составителю Ипатьевского списка (главным образом, датировки) и к составителю общерусского свода южной редакции начала XIV в.; в этом своде были привлечены некоторые известия какой-то северо-восточной летописи (см.: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.“, Л., 1940, стр. 47 и др.).

[4] Попытка определить эти памятники сделана Л. В. Черепниным в его исследовании (см. стр. 241 и след.).

Даниил умер в 1264 г. Следовательно, жизнеописание его составлялось при его жизни и, возможно, по его инициативе. Поводом к составлению жизнеописания Даниила могло быть получение им в 1255 г. от римского папы титула короля. Настойчивость, с какою восхваляется в жизнеописании Даниила его отец Роман, названный „царем“,[1] и могущество самого Даниила могло служить цели утверждения наследственной и законной силы титула „короля“. Инициатива Даниила в составлении своего жизнеописания понятна; необходимость идейного обоснования своих политических притязаний ясно сознавалась Даниилом. „О том, что Даниил действительно ставил перед собой задачу литературной полемики со своими политическими противниками, — пишет Л. В. Черепнин, — достаточно свидетельствует его расправа после взятия Перемышля в 1243—1244 гг. с певцом Митусом, не пожелавшим поставить свою лиру на службу княжеских интересов“.[2] „Словутьного певца Митусу, древле за гордость не восхотевшу[3] служити князю Данилу, раздраного акы[4] связаного проведоша“.[5]

Можно предполагать, что подобные же жизнеописания были составлены в Галицко-волынской Руси для Владимира Васильковича, Мстислава Даниловича и Льва Даниловича, но вряд ли княжеские жизнеописания существовали в Галицко-волынской Руси раньше XIII в.[6] Во всяком случае летописание не сохранило нам никаких следов такого жизнеописания о князе Романе — отце Даниила, а между тем, можно предполагать, что

---

[1] Хвалы „великому“ Роману летописец расточает под 1201, 1204, 1250 (здесь он назван „царь в Руской земли“), 1251 и 1257 гг.

[2] Исторические записки, № 12, М., 1940, стр. 251.

[3] Так в Хлебниковск. сп.; в Ипатьевск. сп. — „не восхотеста“.

[4] Так в Хлебниковск. сп.; в Ипатьевск. сп. ошибочно: „икы“.

[5] Ипатьевск. лет., 1241 г.

[6] Соображения М. Д. Приселкова о существовании официальной историографии при дворе Владимирка и Ярослава Осмомысла кажутся нам недостаточными (см.: М. Д. Приселков. „Летописание Западной Украины и Белоруссии“, Ученые записки Лен. Гос. университета, Серия исторических наук, вып. 7, Л., 1941, стр. 14 и др.).

такое жизнеописание, если бы оно было, должно было бы оставить по себе следы в жизнеописании его сына Даниила.

2

К типу княжеских жизнеописаний, прямо связанных, в частности, с жизнеописанием Даниила Галицкого, относится и древнейшее житие Александра Невского.

Житие Александра давно привлекало внимание исследователей своею необычною для житий святых формою. По мнению С. М. Соловьева оно не относится к литературе житий святых.[1] В. О. Ключевский называл древнейшее житие Александра Невского „исключительным, своеобразным опытом жития, неповторившимся в агиобиографии".[2] Н. Серебрянский предполагал в основе жития Александра особую светскую повесть о „мужестве" Александра,[3] но не мог указать ей аналогичных. Между тем, житие Александра в своем прототипе точно соответствует жанру княжеских жизнеописаний.

И биография Александра, и биография Даниила начинается с лирического вступления, посвященного их предкам, былой силе и славе Русской земли.

Вступление к жизнеописанию Даниила начинается с воспоминания о былом могуществе Русской земли при отце его Романе и „деде" Романа — Владимире Мономахе. Мономах погубил „поганые Измаилтяны рекомые Половцы" и изгнал их хана Отрока „во обезы за Железная врата".[4] Тем же прославлением начиналась и биография Александра.[5] Так же как

---

[1] Сборник „В. О. Ключевский, биографический очерк, речи и пр.", М., 1914, стр. 67 („Диспут г. Ключевского").

[2] Там же, стр. 68.

[3] Н. Серебрянский. „Древнерусские княжеские жития", М., 1915, стр. 200 след.

[4] Ипатьевск. лет., 1201 г.

[5] Теперь, после открытия В. И. Малышевым нового списка жития Александра со Словом о погибели Русской земли в начале, подтверждается мысль о том, что последнее было своеобразным предисловием к житию (новый список жития Александра Невского публикуется в 5-м томе Трудов Отдела древней русской литературы).

и вступление к жизнеописанию Даниила, вступление к биографии Александра перечисляет пространства, покорные „деду" Александра — Владимиру Мономаху. Главная заслуга Мономаха и тут, как и во вступлении к жизнеописанию Даниила — страх, который он нагнал на врагов Руси и в первую очередь на половцев. Владимиром „половцы дети своя ношаху [описка писца вм. „страшаху"] в колыбели, а Литва из болота на свет не выникываху, а угры твердяху каменыи городы железными вороты, абы на них великый Володимер тамо не вьсехал, а немци радовахуся, далече будуче за синим морем".[1]

От величественного прошлого оба вступления переходят к печальному настоящему: вступление к жизнеописанию Даниила говорит о великом мятеже, восставшем в Земле Русской, — вступление к жизнеописанию Александра напоминает о „болезни крестиянном последних дней".[2]

В дальнейшем и жизнеописание Даниила, и жизнеописание Александра в моменты наибольшей опасности для своих героев вспоминают их отцов. Так, например, описание пребывания Даниила в Орде сопровождается следующим лирическим восклицанием автора: „О злая честь Татарьская! Его же отець бе царь в Руской земли, иже покори Половецькую землю и воева на иные страны все; сын того не прия чести, то иный кто можеть прияти?"[3] Ср. в житии Александра перед рассказом о битве со шведами: „жалостно слышати, яко отец его Ярослав честный, великий, не бе ведал таковаго востания на сына своего милаго..."[4]

---

[1] Памятники древней письменности, LXXXIV, 1892, стр. 22.

[2] В этой „болезни", как показал М. Н. Тихомиров, вероятнее всего видеть не только татарское нашествие, но и натиск немцев с Запада („Знамя", 1939, кн. 3, стр. 229).

[3] Ипатьевск. лет., 1250 г.

[4] Еще ближе по мысли к жизнеописанию Даниила то место „особой" (древнейшей) редакции жития Александра, где лирическое воспоминание о его отце связано с путешествием Александра к Батыю (т. е. в той же связи, что и в жизнеописании Даниила: В. Мансикка. „Житие Александра Невского", СПб., 1913, тексты, стр. 13).

Путешествие Даниила к Батыю в Орду сопровождается сходными замечаниями жизнеописателей о славе Даниила и Александра: „Бысть же ведомо странам приход его всим ис татар“ (о Данииле);[1] „и бысть грозен приезд его. Проиде весть до усть Волги“ (об Александре).[2]

Послы папы пришли к Даниилу с благословлением, королевским венцом и саном королевства „хотяще видети князя Данила“.[3] Так же точно и в житии Александра „некто от западныя страны“ приходил „хотя видети дивный возраст его“.[4]

К сожалению, жизнеописание Даниила не было доведено до его смерти, поэтому мы лишены возможности сравнивать его композицию в целом с композицией жизнеописания Александра. Однако, мы можем предположить, что житие Александра заканчивалось в той же южно-русской манере. Дело в том, что к известным словам митрополита Кирилла об Александре: „Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суждальскыа“ могут быть приведены только две параллели — и обе из Ипатьевской летописи. Одно в описании смерти Мстислава под 1178 г. („уже бо солнце наше зайде...“) и другое в описании смерти Владимира Васильковича под 1288 г. (буквальнее повторение тех же слов).

Между жизнеописанием Александра и жизнеописанием Даниила отчетливо устанавливается и стилистическое сходство, сходство в отдельных образах, в манере описывать битвы и т. д. и т. п. Так, например, в житии Александра для описания могущества князя дважды говорится о степных народах, что они „страшаху“ своих детей его именем.[5] Единственная параллель к этим местам жития может быть указана только в жизнеописании Даниила, где об отце Даниила — Романе сказано „им же Половци дети страшаху“.[6]

---

[1] Ипатьевск. лет., 1250 г.

[2] В. Мансикка, стр. 7.

[3] Ипатьевск. лет., 1254 г.

[4] В. Мансикка, стр. 2.

[5] Там же, стр. 9.

[6] Ипатьевск. лет., 1251 г.

Только в жизнеописании Даниила находится и близкая параллель к встрече Александра псковичами после победы: „и сретоша его со кресты игумене и попове в ризах, народ мног пред градом, подавающе хвалу Богови, поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу".[1] Встречи победителя ликующим народом не редкость в летописях,[2] но только в жизнеописании Даниила как и в житии Александра победителю при встрече поют славу: „и песнь славну пояху има".[3]

Среди многих параллелей, которые могут быть приведены к житию Александра в жизнеописании Даниила,[4] остановимся еще на тех, которые касаются описаний битв. Движение шведского короля против Александра „в силе тяжце" с похвальбой попленить всю землю Александра напоминает выступление в поход венгерского короля Белы против Даниила „в силе тяжьце, рекшю ему: «яко не имать остатися град Галичь, несть кто избавляя и от руку моею»".[5]

Александр, прежде чем выйти против шведов, отправляется к Софии, молится там, а затем устремляется на врагов „в мале дружине".[6] Также точно поступает и Даниил перед битвой с венграми: „помолившу же ся ему [богу] и святей пречистей Богородици, Михаилу архангелу Божию, устремися изыти со малом ратник".[7]

---

[1] В. Мансикка, стр. 6—7.

[2] Лаврентьевск. лет., 6654 г.; Ипатьевск. лет., 6611, 6620, 6654, 6659 гг.

[3] Ипатьевск. лет., 1251 г.

[4] Об этом подробнее в моей статье „Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского", Труды Отдела древней русской литературы, т. V (печатается).

[5] Ипатьевск. лет., 1229 г.

[6] В. Мансикка, стр. 2.

[7] Ипатьевск. лет. 1231 г. Ср. еще: „Данилови же в мале дружине" (Ипатьевск. лет., 1219 г.).

Александр „скоро поеха“ навстречу врагам, „ускори князь велики поити“;[1] также и Даниил „ускори снити на не“.[2]

Сама битва Даниила с венграми (1231 г.) описана с тою же подробностью, что и битва Александра со шведами. В битве с венграми описываются подвиги храбрых и подвиг самого Даниила; в битве с шведами — также подвиги храбрых и подвиг самого Александра. Биограф Даниила подчеркивает незначительность потерь в войске Даниила и перечисляет по именам главных убитых. Также поступает и биограф Александра (см. редакцию жития в Софийской первой летописи).

Чрезвычайно существенно, что на житие Александра оказал влияние компилятивный хронограф, аналогичный тому, который отразился и в жизнеописании Даниила. В его состав входила Александрия, повесть о разорении Иерусалима Иосифа Флавия, повесть о Троянском пленении (влияние всех этих произведений твердо установлено) и Никифоров летописец, отражение которого имеется в ответе Александра, и ошибка которого в определении лет царствования византийского императора Мануила привела к тому, что во вступлении к житию Александра Мануил оказался современником Мономаха. Кроме компилятивного хронографа, на житие Александра оказала влияние та самая повесть о Девгении пограничнике, знакомство с которой имелось и у галицкого книжника.

Однако между жизнеописанием Даниила и житием Александра имеется и весьма существенное различие. Жизнеописание Даниила подробнее, оно было составлено очевидцами всего жизненного пути Даниила до 50-х годов XIII в. и осталось не законченным. Житие Александра несравненно короче, оно закончено очевидцем, „самовидцем“ его „возраста“, но все его начало до 50-х годов XIII в. воспроизведено по рассказам самого Александра или его современников. Как увидим ниже,

---

[1] В. Мансикка, стр. 3.

[2] Ипатьевск. лет. 1231 г. Ср. также под 1234 г.: „Даниил же... скоро собрав полкы поиде“; под 1249 г. — Даниил и Василько „скоро собравше вои поидоста“ (на Литву).

именно это различие теснее и конкретнее всего связывает жизнеописание Даниила с житием Александра Невского.

Чем же объяснить такую близкую связь жития Александра и жизнеописания Даниила? Возможные пути книжных связей Галича и северо-восточной Руси в начале второй половины XIII в. могут быть прослежены довольно точно. Звеном, соединявшим Галицкую Русь и Владимирско-суздальскую был митрополит Кирилл II,[1] переехавший как-раз в 1250 г. с юга от Даниила к Александру Невскому.

Кирилл II, как известно, был на митрополичьей кафедре ставленником Даниила Галицкого. Близость Кирилла к Даниилу возникла, повидимому, задолго до его поставления в митрополиты. Кирилл был первоначально „печатником", т. е. канцлером Даниила. „Печатниками" или канцлерами в Византии обычно бывали духовные лица. „Печатник" Кирилл также лицо духовное. Это можно заметить по разным косвенным признакам, но это не мешало ему выполнять и чисто военные поручения Даниила. В 1241 г. Даниил послал Кирилла в Бакоту „исписати грабительство нечестивых бояр".[2] Как доказывает Л. В. Черепнин, выполненный Кириллом литературный отчет о боярской крамоле и о борьбе Даниила с Польшей и Венгрией составляет основное содержание жизнеописания Даниила почти за два десятилетия.[3]

Кириллу неоднократно приходилось выполнять сложные дипломатические поручения Даниила еще прежде своего поставления в митрополиты. В 1250 г. Кирилл отправился на посвящение в Никею.[4] Проездом через Венгрию он вел переговоры

---

[1] Следует иметь в виду, что митрополит Кирилл II в литературе называется иногда также митрополитом Кириллом III.

[2] Ипатьевск. лет., 1241 г.

[3] Начиная с 20-х годов XIII в. См.: Л. В. Черепнин. „Летописец Даниила Галицкого", Исторические записки, № 12, стр. 245—246.

[4] О поставлении Кирилла см. Ипатьевск. и Лаврентьевск. лет. под 1250 г.; Е. Голубинский. „История русской церкви", т. II, вып. 1, М., 1900, стр. 53—55; Ф. Терновский. „Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение к Древней Руси", вып. II, Киев, 1876, стр. 12 и др.

с венгерским королем Белой IV о женитьбе сына Даниила — Льва на дочери Белы, что было связано с рядом важных государственных вопросов.

Не будем вдаваться в подробности отношений Кирилла и Даниила. Как известно, они были очень тесными, и поставление Кирилла на пустовавшую митрополичью кафедру входило в планы Даниила распространить свое влияние и на Киев. Тем более странным кажется то обстоятельство, что Кирилл вскоре после своего поставления навсегда покидает Даниила и переезжает на северо-восток, к Александру Невскому. Поездка Кирилла совершается с согласия Даниила, так как он взял с собой дочь Даниила — невесту брата Александра — Андрея Ярославича.[1] Однако вряд ли в планы Даниила могло входить перемещение навсегда митрополичьего двора на север. Очевидно, что митрополит Кирилл не вернулся к Даниилу, так как разошелся с ним в каких-то существенных вопросах.

В самом деле, после отъезда Кирилла ведутся попытки создания союза папы и Даниила, — союза, который не мог встретить и не встречал сочувствия в русском духовенстве. В середине сороковых годов XIII в., в период вакантности митрополичьей кефедры, между Даниилом и папой велись переговоры. В частности, посольство Иннокентия IV в Монголию вело переговоры об унии с Васильком, а на обратном пути с Даниилом. Эти переговоры не были успешными.[2] Однако, в 1252 г. в отсутствие Кирилла переговоры Даниила с Римом о союзе и о королевском венце возобновились. Даниил согла-

[1] В последнее время был высказан взгляд, что Кирилл отправился к Александру Невскому в качестве посланца Даниила. Возможно, конечно, что у Кирилла были дипломатические поручения, но чем объяснить, что Кирилл остался на севере и не вернулся к Даниилу? См.: А. Югов. „Даниил Галицкий и Александр Невский", Вопросы истории, 1945, № 3—4. В статье много неточностей (например, известия 1228 и 1230 гг., приведенные на стр. 103 статьи, относятся не к митрополиту Кириллу II, а к Кириллу I и т. п.).

[2] Отсылаю за подробностями к обстоятельной работе Н. Дашкевича: „Переговоры пап с Даниилом Галицким об унии юго-западной Руси с католичеством", Киевские университетские известия, 1884, № 8.

сился принять от папы королевский титул на условиях помощи папы против татар. В 1253 г.[1] произошла коронация Даниила,[2] совпавшая с усиленной пропагандой папой крестового похода против татар. Грамоты папы были получены в Богемии, в Моравии, в Сербии, в Померании. Грамоту папы, очевидно, получил и Александр Невский — ту самую, отрицательный ответ на которую так подчеркнут в его житии. Кирилл находился в это время у Александра Невского. Естественно, что он навсегда порвал с Даниилом, связав свою дальнейшую судьбу с Александром Невским. С ним он был в тесных дружественных отношениях. Его он сопровождал в поездках в Новгород. Его он ставил на великое княжение во Владимире.[3] Тело его он встретил и отпел во Владимире в 1262 г. Наконец, его, Александра, назвал он „солнцем земли Суздальской", выразив тем самым высшую меру своей любви к нему.

На северо-востоке Кирилл не оставлет своих литературных трудов. Как предполагал М. Д. Приселков,[4] по его инициативе ведется в Переяславле Залесском митрополичье летописание. Во всяком случае, Лаврентьевская летопись за 70-е годы сохраняет многочисленные признаки близости летописца к митрополиту. Между прочим, в 1274 г. во Владимире митрополит Кирилл созвал церковный собор, на котором обсуждались различные недостатки тогдашней церковной жизни. Результатом этого собора явилось известное „Правило Кирилла, митрополита русского", дошедшее до нас, очевидно, лишь частично. Во вступлении к „Правилу" дана превосходная картина поло-

---

[1] М. Грушевский. „Хронольогія подій Галицько-волинської літописи (Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. XLI, кн. III, Львов, 1901), стр. 36—37.

[2] „Он же венець от Бога прия, от церкве св. апостол и от стола св. Петра, и от отца своего папы Некентия" (Ипатьевск. лет., 1255 г.).

[3] „И посади его [Александра] преосвященный Кирил митрополит на великом княжении в Владимире на столе отца его" (Никоновск. лет., 1252 г.).

[4] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 104.

жения Руси после нашествия Батыя: „Не расея ли ны Бог по лицю всея земля? — говорит Кирилл, — не взяти ли быша гради наши? не падоша ли сильнии наши князи острием меча? не поведени ли быша в плен чада наша? не запустеша ли святыя Божия церкви? не томими ли есмы на всяк день от безбожьных и нечистых поган?"[1]

Кирилл явился к Александру Невскому не один. Недовольных церковною политикою Даниила было, очевидно, немало. Естественно, что многие из них спасались от угрозы унии, переезжая на северо-восток Руси под покровительство своего сильного земляка Кирилла. Среди этих переехавших к Кириллу представителей духовенства были, очевидно, и люди книжные.[2] Знаменательно, что с середины 50-х годов XIII в. официальное галицкое летописание явно хиреет.[3]

Именно в это время в Переяславле Залесском каким-то южным книжником был составлен сборник, в котором были соединены компилятивный хронограф (тот самый, который отразился и в житии Александра Невского и в жизнеописании Даниила — с „Александрией" и повестью о взятии Иерусалима) и переяславская летопись („Летописец русских царей").[4]

Вне всякого сомнения Кирилл имел отношение к составлению жизнеописания Александра. Он мог быть и автором, но вернее всего он заказал житие одному из проживавших на севере галицких книжников. Во всяком случае, в псковско-печерской редакции жития Александра, — одной из самых

[1] Русская историческая библиотека, т. VI, стр. 83.

[2] Переезд этот совершался не только в 50-х годах XIII в., но и значительно позже. Так, под 1274 г. в Симеоновской летописи записано, что Серапион (Серапион Владимирский) был поставлен епископом „Ростову, Владимиру и Новугороду".

[3] Л. В. Черепнин считает, что упадок галицкого летописания начинается с 1256—1257 гг. (Исторические записки, № 12, стр. 244).

[4] Сборник этот частично сохранился в списке XV в. (Архив б. Министерства иностр. дел, № 902—1468, тепер № 279—658). Летописец издан в 1851 г. М. Оболенским, хронограф под названием „Иудейского" исследован В. М. Истриным („Александрия русских хронографов", М., 1893, стр. 317—371).

важных для определения его первоначального вида, — прямо говорится: „се же бысть проповедано всем от Кюрила митрополита святителя и от иконома его Савастиана".[1]

Тем самым объясняются многие особенности жития Александра Невского. Оно несет в себе западно-русскую, галицкую литературную традицию, так как из Галича был ее автор. Оно близко по форме к жизнеописанию Даниила, так как именно это жизнеописание было ближе всего знакомо самому Кириллу, когда-то вложившему и свой труд в его составление. Оно носит по преимуществу светский характер, так как следовало светским образцам. Оно написано не очевидцем подвигов Александра, так как автор его приехал на северо-восток после 1250 г. В нем многое написано со слов самого Александра — и это понятно, так как сам митрополит Кирилл и его двор были близки к Александру. Вот почему и враги Александра — шведы — называются в житии не по национальному, а по вероисповедному признаку — *римлянами*. В своем ответе римскому папе Александр пользуется советом своих „мудрецов", т. е. несомненно тех же вновь переехавших из Галичины книжников, использовавших в ответе папе главный источник своей литературной учености — хронограф.[2]

Житие Александра, или „Повесть о мужестве" Александра, как предлагают называть его некоторые исследователи,[3] было использовано в летописи тотчас же после написания в качестве основного исторического повествования для лет его княжения, и в этом отношении разделив судьбу жизнеописания Даниила. Однако по пути таких жизнеописаний северо-восточное летописание не пошло. Княжеские жизнеописания остались типичным явлением юго-западного летописания XIII в.

---

[1] Н. Серебрянский. „Древне-русские княжеские жития", М., 1915, стр. 120 (тексты).

[2] Книжники и писатели постоянно называются в хронографе (см. хронику Малалы) „мудрецами" и „премудрыми" (ср. также Ипатьевскую летопись под 1205 г. — „премудрый Тимофей").

[3] Н. Серебрянский, ук. соч., стр. 200 и след.

Глава 14

ОБЩЕРУССКОЕ ВЛАДИМИРСКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ

1

Одна черта объединяет русские летописи на всем огромном пути их развития: это сознание единства русской истории. Летописание каждой области в той или иной степени стремится стать летописанием общерусским, возможно шире охватить историю Русской земли в целом.

„Может быть, нигде в средневековой Европе «летописание» не было на значительной территории, во многих местах и в течение многих веков так прочно связано, сцементировано, как летописание русское", — пишет А. Н. Насонов.[1] Каждая из областей стремилась привлечь летописи других областей, включить в себя различные областные потоки летописания, чтобы стать летописанием общерусским. Мысль о единстве Русской земли прочно удерживалась в различных областях дробящейся Руси.

Это стремление охватить историю всех русских княжеств ярко выражено в Повести временных лет. Но оно же отчетливо определяется в летописании княжеском (летописец Игоря Святославича) или даже в летописании городском (например, новгородском).

Но особенно сильна, особенно заметна была в XII и XIII вв. эта все возрастающая тенденция к общерусскому охвату в летописании Владимирском. Здесь, во Владимире, закладываются основы того общерусского летописания, которое впоследствии в таком грандиозном масштабе разовьет возвышающаяся Москва.

К тому были особенные причины. Именно во Владимире делаются первые попытки остановить распад Русской земли, укрепить княжескую власть, ослабить боярство. Владимир был

[1] „О русском областном летописании", Известия Академии Наук СССР, Серия истории и философии, 1945, т. II, № 4, стр. 291.

княжим городом, с ремесленным и купеческим населением, заинтересованным в сильной княжеской власти. Здесь зреет сознание необходимости объединения Руси сильною рукою князя.

Замечательно, однако, что несмотря на реальное ослабление Киева, — только с Киевом связываются первоначально в древней Руси представления о политическом центре Руси. Только из Киева можно управлять всею Русью. Вот почему владимирский князь Юрий Долгорукий ведет на юге Руси многолетнюю борьбу, пытаясь укрепиться в Киеве.

Перелом в этом сознании наступает в княжение Андрея Боголюбского (1157—1175). Развивая начатую Юрием политику, Андрей энергично борется за объединение Руси, но мысль о необходимости укрепиться в Киеве и отсюда управлять Русской землей им оставлена. Дерзко порывая традиции своего рода и всех русских князей, головою пробивавших себе дорогу к золотому киевскому столу, Андрей Боголюбский после овладения Киевом уходит на север „в свою волость Володимерю". Войска Андрея подвергают Киев страшному разгрому. Цель этого разгрома — навсегда лишить Киев его приоритета среди городов Руси.

С необычайною для своего времени смелостью Андрей Боголюбский утвердил новый центр объединения Руси — Владимир. Надлежало перенести во Владимир все те культурные ценности и традиции, с которыми связывались представления о главенстве в Русской земле — киевские святыни, киевские политические традиции и культурные ценности.

На север из Киева переносятся книжные богатства юга, и от этого многие из киевских литературных произведений дошли до нас в составе владимирско-суздальской книжности (Поучение Владимира Мономаха, Киево-печерский патерик и мн. др.). На северо-восток переходит литературная культура юга.

Андрей Боголюбский переносит икону Владимирской Божией матери, организует ее культ во Владимире, обставляет ее почитание новыми литературными произведениями, усиленно

добивается канонизации первых „своих" владимирских святых — Леонтия и Исаия.

Вместе с тем Андрей Боголюбский обстраивает Владимир великолепными зданиями. В самой планировке города он подражает Киеву. Золотые ворота Владимира в своем конструктивном замысле близки Золотым воротам Киева.[1] Центральная святыня города — Успенский собор строилась как местопребывание нового митрополита северо-восточной Руси, назначения которого тщетно добивался для Владимира Андрей Боголюбский в Константинополе. Следуя примеру Владимира I Святославича, Андрей дал своему собору десятую часть своих доходов „и украси ю паче инех церквий".[2]

Эти „градостроительные" идеи Андрея Боголюбского встретились с народными традициями. Жители северо-восточной Руси часто называли новые места по привычным им названиям южным. Так получилось, что в древней Руси оказалось три Переяславля (Переяславль Русский или Южный, Переяславль Залесский и Переяславль Новый), и все три стояли на реках Трубежах. Так же точно и Владимир на Клязьме в названиях пригородных мест и городских урочищ воскрешал воспоминания о Киеве (Печерний город, речки Лыбедь, Ирпень, Почайна).

Андрей думал создать во Владимире новую столицу Руси, на смену Киеву, а вместе с тем и новую митрополию. Он подыскал уже и своего кандидата в митрополиты — Феодора по прозвищу „белый клобучек". Прозвище это характерно: оно доказывало, что Федор присвоил себе раньше времени и знаки митрополичьего достоинства — белый клобук.[3]

При преемнике Андрея Боголюбского — Всеволоде Большом Гнезде утвердился термин „великий князь", как политический титул. С этим титулом связывались представления о главенстве

---

[1] Н. Н. Воронин. „Памятники владимиро-суздальского зодчества XI—XIII вв.", М., 1945, стр. 24.

[2] Лаврентьевск. лет., 1160 г.

[3] Белый клобук служил в древней Руси отличительным признаком митрополита, а позднее и архиепископов новгородских.

в Русской земле и объединительные тенденции. Титул владимирского великого князя постепенно получает признание во всех русских княжествах и впоследствии за него борются князья Твери, Москвы, Нижнего и др., пока он окончательно не закрепляется за московским князем.

Одно из важнейших владимирских политических предприятий заключается в организации своего общерусского летописания, продолжающего общерусское летописание киевское — Повесть временных лет Мономаха.

Главная политическая установка этого летописания была в том, что Владимир на Клязьме составляет отныне центр политической жизни Руси, переместившийся сюда из Киева, что владимирские великие князья являются *наследниками* князей киевских. Это построение общерусской истории перешло затем из владимирского летописания в летописание московское и здесь прочно удержалось, сделавшись *одной* из основ государственной теории царской власти.

Летописание Владимира на Клязьме отразилось в Лаврентьевской летописи и сходных с нею летописных списках: Радзивиловском, „Летописце Переяславля Суздальского" и Московско-академическом списке.[1] На основании этих четырех списков летописание Владимира было изучено А. А. Шахматовым,[2] а впоследствии М. Д. Приселковым,[3] внесшим существенные поправки в выводы А. А. Шахматова.

Лаврентьевская летопись содержит в начале своем Повесть временных лет, затем следует изложение событий южно-русских и владимирских (1111—1205 гг.), а под конец (1206—1305 гг.), главным образом, ростовских и тверских. Анализируя состав Лаврентьевской летописи, М. Д. Приселков пришел к выводу, что в основе ее лежит свод 1177 г., законченный при Всеволоде, но начатый еще при Андрее Боголюбском. Этот свод

[1] См. ниже „Приложение".

[2] А. А. Шахматов. „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.", Л., 1938, главы I, III, VI и XIX.

[3] М. Д. Приселков. „Лаврентьевская летопись", Ученые записки Ленингр. Гос. университета, № 32, Серия историч. наук вып. 2 Л., 1939.

вошел в состав более позднего Владимирского свода в 1193 г.

Изучение этой части Лаврентьевской летописи значительно облегчается тем, что она близко сходствует с Радзивиловской летописью и Летописцем Переяславля Суздальского. В этих двух последних летописях отразился более поздний этап владимирского летописания — свод 1212 г., переработанный в 1216 г. в Переяславле Суздальском.

Свода 1212 г. Лаврентьевская летопись не отразила (вернее — отразила его лишь косвенно), а начиная с 1205 г., до которого был доведен свод 1193 г. позднейшими приписками, была продолжена и переработана в Ростове, затем, по предположениям М. Д. Приселкова, — в Переяславле Залесском и, наконец, в 1305 г. — в Твери.

Не касаясь общей истории Лаврентьевского списка, проанализируем, вслед за А. А. Шахматовым и М. Д. Приселковым, только те случаи, которые могут иллюстрировать стремление владимирских сводчиков сделать их летописание общерусским.

Обратим внимание, что вслед за Повестью временных лет и в Лаврентьевской летописи, и в Радзивиловской читаются известия южно-русские. Они идут сперва непрерывно, а затем перебиваются известиями северо-восточными. С 1157 г. начинается непрерывный ряд этих последних — северо-восточных известий. Южно-русские известия обрываются на 1175 г. Только под 1185, 1186 и 1188 гг. вновь находим южно-русские известия и снова после перерыва — в 1199 и 1200 гг.

Это обстоятельство навело А. А. Шахматова на мысль, что южно-русское летописание привлекалось на севере не однажды, а с перерывами — три раза. Действительно, северо-восточные известия никогда не повторяются в Лаврентьевской летописи, а южно-русские повторяются (дублируются), что ясно указывает на то, что южно-русский материал привлекался не однажды.

Одни и те же события отмечены под 1110 и 1111 гг. (поход князей на половцев), под 1115 и 1116 гг. (смерть Олега Святославича), под 1138 г. (примирение Ярополка и Всеволода

Ольговича рассказано дважды), под 1152 г. (Владимирко Галицкий дважды убегает от венгров и дважды просит мира), под 1168 и 1169 гг. (вокняжение в Киеве Глеба), под 1169 и 1171 гг. (поход Михаила Юрьевича на половцев).

Остановимся на последнем случае подробнее. Под 1169 г. поход на половцев Михаила Юрьевича или Михалка (опекуна малолетнего переяславского князя Владимира Глебовича) описан подробнее, чем под 1171 г. Но рассказ 1171 г. не может считаться сокращенным пересказом первого. В нем есть подробности, которые отсутствуют под 1169 г.: указан день победы („неделя“ — воскресенье), указано, что переяславцы „полон свой отъяша 400 чади и пустиша я восвояси“.[1] В одном случае победа переяславцев приписана помощи „божией матери“ (1169 г.), а в другом — Михалку и Всеволоду помогает бог и молитва „дедня и отня“. Таким образом, оба рассказа самостоятельны. Однако оба рассказа принадлежат Переяславлю Русскому (Южному). Про войско Михаила Юрьевича в обоих рассказах говорится „наши“, хотя состояло оно из сотни переяславцев и полутора тысяч берендеев.

Отсюда можно заключить, что рассказы о походе Михаила Юрьевича составлены в обоих случаях на основе летописных материалов Переяславля Русского. Однако привлечена была не одна летопись (дважды), а две разные, излагавшие одно и то же событие под разными годами. Предполагаем, — и это предположение подтверждается анализом других дублировок, — что под 1169 г. использован епископский летописец Переяславля Русского (в нем победа объясняется помощью божьей матери), а во втором случае княжеский летописец Переяславля Русского (в нем победа объясняется княжой полуязыческой[2] молитвой „дедней и отней“).

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1169 г.

[2] На эту княжую полуязыческую молитву к предку обратил впервые внимание С. М. Соловьев („История России“, 2 изд. „Общ. польза“, кн. 1, стр. 78, прим. 5). Подробнее на ней останавливается В. Л. Комарович в неопубликованной работе „Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в.“

Относя все известия Лаврентьевской летописи, восходящие к летописанию Переяславля Русского, к этим двум летописям — переяславской епископской и переяславской княжой, мы заметим, что последняя читается также и в составе Ипатьевской. Выше мы видели, что переяславский княжеский летописец был использован в княжеском общерусском своде Игоря Святославича — героя Слова о полку Игореве: именно отсюда известия переяславской княжеской летописи и попали в состав Ипатьевской.

Такое соответствие известий княжеской переяславской летописи в Лаврентьевской и в Ипатьевской дает надежный критерий для отделения переяславских княжеских известий от переяславских епископских.

Известия епископской переяславской летописи тянутся в составе Лаврентьевской только до 1175 г. Известия же княжеской переяславской летописи идут до самой смерти Владимира Глебовича. Это позволяет определять княжеский переяславский летописец как свод Владимира Глебовича. Действительно, переяславский княжеский летописец целиком посвящен прославлению подвигов Владимира Глебовича в его борьбе с половцами.

На основании ряда признаков М. Д. Приселков определяет два этапа владимирского летописания: свод 1175 г. и свод 1193 г. В первом из этих сводов, как явствует из вышеизложенного, был использован е п и с к о п с к и й переяславский летописец, доведенный как-раз до этого 1175 г., а во втором — к н я ж е с к и й летописец Владимира Глебовича. Во второй раз княжеский летописец Переяславля Русского был использован во Владимире в своде 1212 г. (отсюда переяславские известия 1199, 1203, 1205, 1209 гг.) и в третий раз в своде 1228 г. (отсюда переяславские известия 1210, 1215 и других годов).

Чем же объяснить, что владимирское летописание во всех известных своих сводах с таким поражающим нас сейчас упорством обращалось к летописанию Переяславля Русского? М. Д. Приселков посвящает этому вопросу не-

сколько чрезвычайно интересных страниц своего исследования.[1]

М. Д. Приселков обращает внимание на самые отношения владимирских великих князей к Переяславлю Русскому. Владимирские князья рассматривали далекий Переяславль Русский как свою вотчину, сажали здесь своих князей и через них стремились осуществлять свои политические планы на юге. После захвата Киева в 1169 г. Андрей Боголюбский сажает здесь Владимира Глебовича. Князь Ярослав Мстиславич после смерти Владимира Глебовича, повидимому, также был водворен здесь волею владимирского князя. После смерти Ярослава Всеволод Большое Гнездо держит Переяславль Русский своими сыновьями. Вслед за Всеволодом его сын Юрий также пытается не выпускать Переяславля Русского из своей власти и посылает сюда своего брата Владимира (1213 г.), а затем, после некоторого перерыва, племянника — Всеволода Константиновича, замененного в 1228 г. другим братом Юрия — Святославом.

Естественно, что главный оплот политики владимирских князей на юге — Переяславль Русский, — используемый ими для того, чтобы получать всевозможную политическую информацию о южных делах, давал им и летописную информацию — ввиде полных летописных сводов, расширявших политический кругозор владимирских летописцев.

Однако были и другие причины, кроме указанных М. Д. Приселковым, побуждавшие владимирских летописцев обращаться именно к летописанию Переяславля Русского: здесь наиболее полно была представлена летописная традиция, шедшая от Повести временных лет. Сюда, в Переяславль Русский был назначен епископом создатель второй редакции Повести временных лет игумен Печерского монастыря Сильвестр. Здесь же княжил одно время старший сын Мономаха — Мстислав, с именем которого было связано

[1] „Лаврентьевская летопись (история текста)", Ученые записки Ленинградск. Гос. университета, № 32, Серия историч. наук, вып. 2, Л., 1939, стр. 95 и след.

создание третьей редакции Повести временных лет. Мстислав деятельно заботился об организации летописания в тех областях, где он княжил (ср. в Новгороде). Несомненно, что княжеский летописец Переяславля Русского вел свое происхождение от летописания Мстислава, так же точно как епископский — от летописания Сильвестра.

Владимирские князья, строго придерживавшиеся мономаховых традиций, естественно обратились к летописанию своей отчины, где мономашье летописание было представлено двойной летописной линией — и от Сильвестра, и от Мстислава Владимировича.

Вот почему Повесть временных лет дошла до нас через владимирскую летописную традицию в составе Лаврентьевской летописи в смешении двух редакций — второй — Сильвестровской и третьей — Мстиславовой.

Вместе с тем, само летописание Переяславля Русского обладало широким политическим горизонтом. Это объяснялось главным образом тем, что Переяславль Русский занимал пограничное со степью положение. Поэтому сознание единства интересов русского народа в борьбе с опасностями внешнего вторжения было здесь особенно острым. Переяславские князья участвовали в совместных походах русских князей на степь, они выносили на себе первые удары кочевников, внимательно следили за движениями степных народов и за событиями в русских княжествах. Естественно, что летописание Переяславля Русского отличалось широкой осведомленностью. Привлекая летописание Переяславля Русского, владимирские летописцы действительно могли рассчитывать на то, что их летописание в соединении известий южных и северных становилось летописанием всей Русской земли.

2

Только первые владимирские летописные записи о подвигах Андрея Боголюбского на юге заставляют предполагать какое-то летописное произведение, составленное в манере, близко напо-

минающей жизнеописания князей галицкого типа. Здесь те же рассказы о ратных подвигах князя, те же речи перед битвами, полные сознания воинской чести, наконец, то же внимание к боевому коню князя. Конь Андрея Боголюбского совершает подвиг, за который удостаивается от своего князя высокой почести. В битве с половцами Андрей Боголюбский первый врезался в ряды врагов. Враги обступили его и ему грозила „великая беда". „Ратные" половцы гнались за Андреем и ранили двумя копьями коня. Третье копье ударило коня в передний седельный лук. В это время со стен города дождем летели на них камни и один „немчичь" хотел „просунути рогатиною" князя. Но тяжело раненый конь „унес господина своего и умре". Андрей Боголюбский „жалуя комоньства его, повеле и погрести".[1]

Но светский характер своих записей владимирская летопись сохраняет только в своем начале.

Подобно тому, как сам Владимир Мономах передал свое летописание княжому Выдубицкому монастырю, — князья владимирские поручали выполнение своих летописных сводов клирошанам основанного Андреем Боголюбским Успенского собора во Владимире. Это обстоятельство наложило отпечаток церковности на все владимирское великокняжеское летописание. Политические идеи Андрея Боголюбского осмыслялись по церковному и оформлялись в стилистической традиции житийной и церковно-учительной литературы.

Можно довольно точно указать, с каким именно церковным произведением соотносили первые владимирские летописцы свою работу. Андрей Боголюбский перевез во Владимир из Киева знаменитую икону Божьей матери, писанную по легенде евангелистом Лукою. В связи с этим Андрей Боголюбский установил во Владимире особое почитание Богоматери. Ей ставились храмы, ей организован был новый праздник — Покрова. Самой же Владимирской иконе было посвящено особое литературное произведение — Сказание о ее чудесах.

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1149 г.

Летопись времени Андрея Боголюбского и строилась как цепь чудес Богоматери. Летописцы стремились доказать, что Владимир и владимирские князья находятся под особым покровительством Богоматери, что все счастливые события в современной им русской истории являлись следствием вмешательства в земные дела бога и его матери.

Это настойчивое восхваление Богоматери начинается в летописи приблизительно с 1160 г.—года построения во Владимире собора Успения Богоматери, подробно описанного в летописи. Как чудо Богоматери, рассказана победа Андрея Боголюбского и его союзников против болгар. Летописец прямо называет эту победу „новым чудом" иконы Богородицы,[1] разумея, очевидно, под старыми чудесами те, которые уже имелись к тому времени в Сказании о ней. В 1168 г. „Бог и святая Богородица" помогли Мстиславу Андреевичу овладеть Киевом.[2] В 1169 г. „чюдо створи бог и святая Богородица новое Володимери городе"[3]—изгнала „лжаго владыку" Феодорца. Это „чудо" подробно описывается в летописи, как и следующие под тем же годом „чудеса": отражение половцев от стен Киева и чудо иконы Божьей матери „Знамение" в Новгороде. Покровительством Богоматери объясняются также победы под 1171, 1172 гг. Она помогает Михалку и Всеволоду в борьбе за наследство Андрея. Враги бегут от владимерцев, „гоними божьим гневом и святое Богородицы".

Этот свой церковный характер владимирское летописание сохраняет и в летописании Всеволода. Даже княжеская летопись Переяславля Русского, включаясь в своды владимирского летописания, подвергалась переработке и добавлениям клирошан Успенского владимирского собора, стремившихся восхвалить Богородицу даже на материале чуждой им летописи.

Только в своде Всеволода 1212 г. этот церковный характер владимирского летописания несколько нарушается. Как выяс-

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1164 г.

[2] Там же, 1168 г.

[3] Там же, 1169 г.

нено исследованиями М. Д. Приселкова, владимирский свод 1212 г. может быть восстановлен на основании Радзивиловской летописи, Московско-академического списка и Летописца Переяславля Суздальского. Если мы проглядим в любом из изданий Лаврентьевской летописи все разночтения к ней, данные внизу страниц по Радзивиловской и Московско-академическому спискам, то мы убедимся, что сводчик 1212 г. систематически исправлял стиль предшествующего летописания, стремясь избавиться от излишних архаизмов и церковно-славянизмов в лексике и сделать текст летописи более понятным и удобным в чтении. Так, вместо слова „доспел" летописец ставит слово „готов", вместо „детеск" — „мал", вместо „ядь" — „снедь", вместо „двое чади" — „двое детей", вместо „комони" — „кони", вместо „крьнеть" — „купить" и т. д. Иногда летописец не совсем понимал терминологию своего предшественника и тогда в его подновления языка вкрадывались ошибки.

Конечно, такая „реформа" летописного языка была делом исключительным. Русские летописи не знают другого такого яркого случая систематического исправления предшествующего летописного текста. Можем поэтому думать, что оно было вызвано прямым указанием самого князя, поскольку вряд ли такое дело могло быть выполнено по собственной инициативе летописца, принадлежавшего к тем же клирошанам владимирского Успенского собора.

Свод 1212 г. был украшен огромным количеством миниатюр: на это прямо указывает исследование миниатюр Радзивиловской летописи и текста всех трех летописей, восходящих к своду 1212 г. В этом снова видна забота великого князя владимирского, желавшего придать своему летописанию торжественность, парадность и вместе с тем доступность для понимания людей, не искушенных в церковной книжности.

Историческая концепция свода 1212 г. — все та же. Владимир — новый центр Русской земли, сменивший древнюю столицу Руси — Киев. Владимирские великие князья — старшие князья Русской земли и только им надлежит представительствовать Русь среди иноземных государств и объединять ее

своею властью. В этом упорстве одной и той же мысли, проходящей через все летописные своды, мы узнаем будущее летописание Москвы. Москва продолжит владимирские великокняжеские летописи и разовьет в своем летописании на иной, правда, идейной основе их неослабеваемую уверенность в богоустановленности сильной княжеской власти.

Глава 15

УПАДОК ЛЕТОПИСАНИЯ ПОСЛЕ НАШЕСТВИЯ БАТЫЯ

Вторая половина XII и начало XIII в. характеризуются чрезвычайным развитием летописания. Летопись становится обычным явлением русской культурной и политической жизни. Она ведется в различных княжествах, по городам, в церквах и монастырях. Она приобретает различное литературное оформление, служит различным политическим устремлениям.

Развитие русского летописания XI—начала XIII в. представляет собою непрерывный процесс — процесс, замедленный катастрофическими событиями татаро-монгольского нашествия. Только исключительно тяжелым гнетом чужеземного ига может быть объяснена задержка в развитии русского летописания, которая наступает в середине XIII в.

Упадок летописания сказывается прежде всего в полном прекращении летописной работы в целом ряде городов, либо целиком стертых с лица земли, как старая Рязань, либо опустошенных и культурно обескровленных, как Владимир, Чернигов, Киев. Но и в тех центрах летописной работы, которые подверглись меньшему разорению, летописание все же сужается, беднеет, становится немногословным, лишается тех выдающихся политических идей и того широкого общерусского горизонта, которым обладали русские летописи в XI и XII вв.

Летописные своды второй половины XIII — первой половины XIV в. представляют собой по большей части бесхитростные компиляции. В их составлении все меньше участвует политическая воля летописца: они механически соединяют предшествую-

щие записи. Именно в этой безидейности летописания сильнее всего сказалось тлетворное влияние чужеземного ига. „Татарское иго *продолжалось...* свыше двух столетий, — писал К. Маркс. — Это было иго, *которое не только* подавляет, но растлевает и иссушает самую душу народа, который ему подпал“.[1]

1

Прямым следствием татаро-монгольского завоевания было прекращение великокняжеского летописания во Владимире. Владимир, который стал в конце XII—начале XIII в. новым общерусским центром, новой столицей Руси, сменившей Киев, лежал в развалинах. Жители захваченного Батыем в феврале 1237 г. Владимира были частью истреблены („от уного и до старца и сущаго младенца“[2]), частью захвачены в плен или бежали за Волгу. В 1239 г. татары вернулись и вторично разорили Владимир. Насколько серьезным было опустошение Владимира видно хотя бы из того факта, что с 1238 г. по 1274 г. во Владимир не назначали епископа. Значение религиозного центра северо-восточной Руси на время перешло к уцелевшему Ростову.

Несмотря на разорение Владимира, идеи владимирского великого княжения продолжали жить. Попрежнему часть русских князей носила титул „великих князей владимирских“, и с этим титулом попрежнему связывались представления об общерусской власти. Князья домогались этого титула, хотя, получив его, не переселялись во Владимир, а оставались жить в своих отчинах. Поэтому очень *правдоподобной* кажется гипотеза М. Д. Приселкова о том, что владимирское великокняжеское летописание перешло в уцелевший Ростов и здесь продолжало вестись при дворе местного епископа.[3]

---

[1] К. Маркс. „Secret Diplomatic History of Eighteenth Century“.

[2] Лаврентьевск. лет., 1237 г.

[3] М. Д. Приселков. „Лаврентьевская летопись (история текста)“, Ученые записки Ленингр. Гос. университета, № 32, Серия историч. наук, вып. 2, Л., 1939, стр. 122 и след.

М. Д. Приселков точно датирует первый владимирский свод, составленный в Ростове, — 1239 годом. Однако для такой датировки нет все же достаточных оснований. Так же точно шаткими кажутся нам и те основания, на которых М. Д. Приселков намечает и дату следующего, составленного в Ростове, владимирского великокняжеского свода — 1263 г.

Несомненно лишь одно — летописание 30-х — начала 60-х годов, отраженное в Лаврентьевской летописи, а с 1263 г. и по начало 70-х годов в Симеоновской летописи, велось в Ростове.

Рассказ о взятии Владимира татарами в 1237 г. ведется еще на основании двух раздельно ведшихся летописцев: одного ростовского и другого явно владимирского.

Вот почему сейчас годовая статья 1237 г. читается с многочисленными дублировками: дважды в ней умирает князь Юрий, дважды умирает владимирский епископ и т. д. Но затем, после 1237 г., владимирский источник ростовского летописания прекращается вовсе.

Ростовский летописец, чье летописание отразилось в Лаврентьевском списке, принадлежал, надо думать, двору ростовского епископа Кирилла. Он подробно описывает все его деяния, дает о нем биографические сведения, приводит ему неоднократно похвальную характеристику, а под 1231 г. обстоятельно рассказывает о его посвящении в Киеве и приводит ему похвалу, самый тон которой указывает на то, что она могла быть вставлена в летопись только задним числом, после смерти Кирилла (1262 г.).

Рядом с епископом Кириллом настойчиво повторяется имя ростовской княгини Марьи. Упоминание женщин-деятелей не обычно для русских летописей. И уже по одной этой настойчивости, с которой летописец отмечает имя Марьи, возникает подозрение о ближайшем отношении ее к ростовскому летописанию.

Наши подозрения обратятся в уверенность, как только мы ближе сопоставим целый ряд мелких фактов и самый характер ростовских летописных записей 20-х — 60-х годов XII в.

Княгиня Марья была дочерью черниговского князя Михаила Всеволодовича, замученного в 1246 г. татарами в Орде. В 1227 г. она вышла замуж за ростовского князя Василька, убитого татарами в 1238 г. После смерти мужа Марья продолжала жить в Ростове у своих сыновей Бориса и Глеба и своего „духовного отца“ — ростовского епископа Кирилла. По ее инициативе в Ростове было составлено житие ее отца Михаила Черниговского.[1] Она умерла в 1271 г., и с нею вместе прекращаются в 70-х годах систематические записи ростовского летописания, продолженного лишь несколькими некрологами: ей самой под 1271 г., жене ее сына Глеба под 1273 г., ее сыну Борису под 1277 г. и ее сыну Глебу под 1278 г.[2]

Круг интересов княгини Марьи точно очерчен ее летописным сводом. Летописец следит за деятельностью ее мужа — Василька Константиновича.[3] Панегирики Васильку мы читаем и под 1231, и под 1237 гг. Под последним годом помещена его характеристика и описание его наружности: он был красив („красен“) лицом, глазами светел и грозен, „хоробр паче меры на ловех [охотах], сердцем легок, до бояр ласков“.[4] „Кто ему служил, и хлеб его ел, и чашю пил, и дары имал“, не мог потом служить у иного князя. Он всё „гораздо“ умел, был умен и правдив: „правда же и истина с ним ходяста“, — образно выразился о нем летописец. Описание мученической

---

[1] См.: Н. Серебрянский. „Древнерусские княжеские жития“, М., 1915, стр. 110—111. В древнейшей проложной редакции жития Михаила и Федора Черниговских читаем: „вложи бог в сердце благочестивыма и правоверныма нашема князема, внукома его Борису и Глебу, брату его, и матери их Марии и создаста церковь во имя его, и уставиша праздновати месяца сентября в 20 день“ (там же, стр. 51 текстов).

[2] См. под соответствующими годами текст Симеоновской летописи, восполняющий пропуск 1263—1283 гг. в Лаврентьевской.

[3] Под 1222 г., передав прежний летописный рассказ о поражении русских на Калках, летописец выражает радость по поводу того, что Василько не успел принять участия в битве и возвратился цел в Ростов. Радость летописца кажется нам сейчас неуместной, но она понятна, если выражение ее принадлежало его жене — княгине Марье.

[4] Лаврентьевск. лет., 1237 г.

смерти Василька и похорон его в Ростове занимает в летописи Марьи немалое место.

Летописец Марьи подробно отмечает семейные события ее жизни. Особенно пространно описано в ее летописце торжество по случаю рождения у нее старшего сына Бориса.[1] Летописец интересуется родным для княгини Марьи Черниговом, описывает его взятие и сожжение татарами, избиение жителей, бегство князей в Венгрию и спасение черниговского епископа Порфирия, отпущенного татарами в Глухове. Этого черниговского епископа Порфирия ростовский летописец не раз упоминает и в других случаях. Под 1246 г. в свод Марьи вставлен подробный рассказ о кончине ее отца Михаила Черниговского. Однажды летописец Марьи рассказывает событие, близким и интимным свидетелем которого была сама княгиня Марья: смерть князья Дмитрия Ярославича.[2]

Но летописание Марьи не носит узко личного характера. Оно поднимает большие общественные вопросы своего времени, правда, придав им религиозно-нравственную окраску.

В 1262 г. по ростовским городам прокатилась волна народных восстаний против татар, возродилась вечевая деятельность, по городам избивали татар, откупавших „дани".[3] „Избави Бог от лютого томленья бесурменьскаго люди Ростовьския земля: вложи ярость в сердца крестьяном, не терпяще насилья поганых, изволиша вечь, и выгнаша из городов, из Ростова, из Суждаля, из Ярославля".[4]

Движение против татар, поднятое и руководимое из Ростова, было подлинно народным.[5] Однако нельзя не видеть, что борьба за национальную независимость находила себе сочувствие и в феодальной верхушке общества.

---

[1] Лаврентьевск. лет., 1231 г.

[2] Симеоновск. лет., 1269 г.

[3] А. Н. Насонов. „Монголы и Русь", М., 1940, стр. 52.

[4] Лаврентьевск. лет., 1262 г.

[5] А. Насонов. „Монголы и Русь", М., 1940, стр. 57.

Летописный свод Марьи, составленный после того, как начались восстания против татар,[1] весь проникнут идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. Именно эта идея определила собой и содержание, и форму летописи. Летопись Марьи соединяет в своем составе ряд рассказов о мученической кончине русских князей, отказавшихся от всяких компромиссов со своими завоевателями. Рассказы эти резко выделяются и своим объемом, и своим стилем в ростовском летописании Марьи.

Татары много „нудили“ Василька Константиновича стать на их сторону, „быти в их воле и воевать с ними“,[2] но Василько не покорился их „безаконью“, остался верен родине и был убит татарами.

Так же точно остался верен родине великий князь Юрий. Татары посылали к нему послов, предлагая мир. Но Юрий предпочел славную брань бесстыдному миру.[3]

Не поклонился огню и болванам татарским и князь Михаил Черниговский, убитый в Орде в 1246 г.[4]

Мученически умер и рязанский князь Роман. Татары заткнули ему рот, резали по суставам; с уже мертвого князя татары содрали кожу на голове, а голову отрубили и воткнули на копье. Роман — „новый мученик“,[5] описание его кончины сопровождается горячим обращением к русским князьям следовать его примеру: „О възлюбленнии князи рускии, не прельщаитеся пустошною и прелестною славою света сего,[6] еже

---

[1] На это указывает характер похвалы епископу Кириллу (под 1231 г.): она могла быть составлена только после его смерти (1262 г.), случившейся одновременно с вечевыми волнениями против татар в Ростове.

[2] Лаврентьевск. лет., 1237 г.

[3] Там же, 1239 г.

[4] Там же, 1246 г.

[5] Симеоновск. лет., 1270 г.

[6] Ср. в житии Михаила Черниговского, составленном для княгини Марьи: „и прельстиша многи славою пустошною мира сего“ (Н. Серебрянский, цит. соч., стр. 50 текстов). Между летописными описаниями смерти князей Романа Рязанского, Юрия Владимирского, Василька Ростовского и житием Михаила Черниговского в ростовской редакции есть

хужьши паучины [паутины] есть и яко стень [тень] мимо идеть; не принесосте бо на свет сей ничто же, ниже отнести можете"[1] и т. д. Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царство небесное вместе со „сродником своим Михаилом Черниговским".

Литературный образец всех этих некрологов князей-мучеников отыскивается в житии Бориса и Глеба. Культ этих святых братьев широко поддерживался княгиней Марьей, назвавшей даже в честь их своих сыновей. Житие Бориса и Глеба оказало влияние и на составленное при ней житие ее отца — Михаила Черниговского. Все позднейшие рассказы о князьях, замученных татарами, в той или иной степени подверглись воздействию жития Михаила Черниговского и житийно-некрологических статей свода Марьи.

Конечно, идея летописного свода княгини Марьи не была идеей политической, в собственном смысле этого слова. Свод Марьи был лишен исторической концепции. Он ставил себе не политическую цель, а нравоучительную. Борьба с татарским игом воспринималась не как политическая задача, а как нравственно-религиозная. Вот почему он так легко превращался в собрание некрологов, выдвигая идеалы княжеской жизни в мученичестве за веру. Было бы лишним доказывать, что и такая задача в условиях, когда все было полно ужасом перед чужеземными захватчиками, когда по словам летописца и хлеб не шел в рот от страха, была полна глубокого значения, воспитывая стойкость и непримиримость, вселяя уверенность, „что не все потеряно, что внешней силе завоевателя можно противопоставить силу духа..."[2]

и другие общие места. Главное заключается в том, что все четыре зависят от жития Бориса и Глеба, бывшего, очевидно, весьма популярным в Ростове середины XIII в. при Марье и ее сыновьях Борисе и Глебе — одноименных святым.

[1] Симеоновск. лет., 1270 г.

[2] Слова Н. Серебрянского о житии Михаила Черниговского: „Древнерусские княжеские жития", стр. 117.

Нить северо-восточного летописания конца XIII — начала XIV в. прослеживается в Лаврентьевской летописи (восполняемой в дефектных местах по Симеоновской) почти непрерывно. М. Д. Приселков считает, что на 1281 г. падает составление великокняжеского свода в Переяславле. Основания, на которые опирается М. Д. Приселков, чрезвычайно шатки, но несомненно, что несмотря на всю краткость летописных известий за эти годы, они все же стремятся охватить историю всей Русской земли.

В известиях 1272—1294 гг. Симеоновской летописи мы читаем о событиях в Переяславле, во Владимире (1275 г.), в Новгороде, в Ростове, в Ярославле, в Суздале, в Смоленске и т. д.

С 1285 г. в Лаврентьевской, Симеоновской, Рогожской летописях и в некоторых других начинается непрерывный ряд точно датированных тверских известий, указывающих на то, что в Твери было приступлено к летописной работе. Эти тверские летописные известия касаются и семьи тверского великого князя, и событий, связанных с главною тверскою церковью Спаса. Сперва незначительные, они составляют затем основное содержание Лаврентьевской летописи, заканчивавшейся на 1305 г. — годе составления последнего свода — на этот раз явно тверского, — легшего в основу того текста, который в 1377 г. был переписан монахом Лаврентием для епископа суздальского Дионисия.

Замечательно, что и этот тверской свод 1305 г. соединяет летописный материал различных русских областей: Новгорода, Рязани, Ярославля. Летописный свод также стремится быть сводом общерусским, и эти попытки тверского летописания должны быть поставлены в связь с тем, что тверской князь носит в это время титул великого князя владимирского.

Конечно, попытки летописания выйти за пределы своей области ничтожны, летописный материал еще слишком скуден, записи коротки, но тем не менее именно в этих, пока еще слабых усилиях, лежала будущность великокняжеского лето-

писания, продолжавшего традиции летописания Владимира. Оно разовьется впоследствии в летописании князей Москвы, подхватившей традиции Владимира и поставившей титул „великих князей владимирских“ выше титула князей московских.



IV. ПОДЪЕМ ЛЕТОПИСАНИЯ В КОНЦЕ XIV—XV вв.

Несмотря на общий упадок русской культуры в эпоху татаро-монгольского ига, нить летописания ни разу не прерывалась. Традиции летописания Киевского периода жили в ней то притухая, то возрождаясь и сыграли решающую роль в идеологической подготовке образования единого Русского государства. Даже в самые тяжелые годы летописание продолжало теплиться по различным городам и, замирая в одном городе, подхватывалось в другом. Уничтоженное во Владимире, оно было поддержано в Ростове, а затем в Твери. В исходе XIV в. летописание было пересажено в Москву и здесь пустило прочные побеги.

Образованию единого Русского государства предшествовала широчайшая идеологическая подготовка, своеобразное культурное возрождение русского народа, начавшееся с 80-х годов XIV в., вслед за Куликовской битвой. Именно вслед за победой на Куликовом поле, явившейся первым этапом свержения татаро-монгольского ига, возникает тот подъем народного самосознания, который еще в конце XIV в., а особенно резко в первой половине XV в., привел к усиленной деятельности исторической мысли. Центральное место в этом возродившемся интересе к родной истории принадлежит Москве.

В исходе XIV в. Москва постепенно становится крупнейшим средоточием литературных сил, еще раньше, чем она стала средоточием русской государственности. Конец XIV и первая половина XV в. — время идеологической подготовки

создания единого Русского государства. При этом, возрождение всех сил русского общества шло под знаком возрождения традиций времени национальной независимости — Владимирско-суздальской и Киевской Руси.

Дмитрий Донской первым стал на ту точку зрения, что только Москва является наследницей Владимира. Эта идея властно заявлена им в договоре с тверским князем и в духовной, в которой он завещает Владимирское княжение, как свою вотчину, старшему сыну.

Во второй половине XIV в. и в начале XV в. Москва неустанно занята возрождением всего политического и культурного наследия Владимира. В Москве возрождаются строительные формы Владимира, традиции его письменности и летописания. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. Из Владимира же перекочевывают в Москву и те политические идеи, которыми руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, придав уже в XIV в. политике московских князей необычайную дальновидность, поставив ей цели, осуществить которые Москве удалось после ряда столетий чрезвычайных успехов только во второй половине XVII в. Идеей этой была идея киевского наследства.

Московские князья, настойчиво добивавшиеся ярлыка на Владимирское великое княжение, так же как и владимирские, видели в себе потомков Мономаха. В их городе с начала XIV в. проживал митрополит „Киевский и всея Руси“, и они считали себя законными наследниками киевских князей: их земель, их общерусской власти.

Постепенно, по мере того, как нарастает руководящая роль Москвы, эта идея киевского наследства крепнет и занимает все большее место в политических домогательствах московских князей, соединяясь с идеей владимирского наследства в единую идею возрождения традиции государственности домонгольской Руси. Московские князья претендуют на все

наследие Владимира I и Владимира Мономаха, на все наследие князей Рюрикова дома.

Борьба за киевское наследие была борьбой с Литвой и с Польшей за русские земли, но она же была борьбой с Ордой, поскольку киевское наследие было наследием национальной независимости, национальной свободы. Борьба за киевское наследие была борьбой за старейшинство московского великого князя среди всех русских князей; она означала борьбу за единство русского народа, за Смоленск, за Полоцк, за Чернигов, за Киев, она означала тяжкий политический труд над образованием единого Русского государства.

Общенародный, господствующий характер этого обращения ко временам национальной независимости после Куликовской битвы (1380 г.), к Киеву, к Повести временных лет, и ко Владимиру, как к городу, овеянному воспоминаниями, связанными с эпохой независимости, ярко выступает не только в политической мысли. Сопоставление политических идей начала XV в. с тем, что творилось в это время в области живописи и архитектуры, ярче всего показывает, какого грандиозного размаха достигли в начале XV в. восстановительные тенденции. Конец XIV — начало XV в. может рассматриваться как своеобразная эпоха русского возрождения, связанного с особым интересом к родной истории и к памятникам прошлого.

Резкий перелом в области московского строительного искусства наступает именно в княжение Дмитрия Донского. С княжением Дмитрия Донского впервые в русской истории начинается длинный ряд реставраций памятников, связанных с воспоминаниями эпохи русской независимости. Очевидно, что именно в княжение Донского ремонтируется Успенский собор (1158 г.) во Владимире, и он становится княжеским. Реставрационные работы особенно усиливаются в начале XV в. В 1403 г. обновляется собор 1152 г. в Переяславле Залесском. В 1408 г. знаменитый русский живописец Андрей Рублев восстанавливает древнюю домонгольскую живопись Успенского собора во Владимире. Реставрационные работы

над памятниками домонгольской поры ведутся в Ростове, в Твери, в Звенигороде и т. д. Полоса этих реставраций тянется вплоть до Ивана III, когда итальянский зодчий Аристотель Фиорованти строит центральную святыню нового Русского государства — Успенский собор Московского Кремля по образцу Владимирского Успенского собора 1158 г.[1]

Тот же интерес к произведениям домонгольского периода характеризует и русскую книжность. Составляются новые и вновь редактируются старые переводы произведений, известных еще с XI—XII вв.; во множестве создаются новые исторические сказания и повести, главным образом касающиеся борьбы с татарами. В течение всего XV в. мы встретим усиленное подражание литературным произведениям эпохи независимости. Чрезвычайно показательно в этом отношении лучшее из произведений XV в. о Куликовской битве — Задонщина, составленная в литературной манере величайшего произведения домонгольского периода — Слова о полку Игореве. Задонщина возродила не только стилистическую манеру Слова, — она применила самые идеи Слова о борьбе со степью к современной ей действительности.[2]

Итак, в конце XIV и XV в. мы видим в Москве чрезвычайное обострение интереса к русской истории, своеобразный культ эпохи национальной независимости, идеализацию киевской старины. Отсюда новая для конца XIV — начала XV в. точка зрения на татар, отождествляемых отныне с половцами. Отсюда взгляд на события современности через призму событий киевского периода. Отсюда естественное на первых порах стремление судить обо всем „по старине и по пошлине" — на основе традиций эпохи независимости.

---

[1] Н. Н. Воронин. „Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве", Архитектура СССР, 1940, № 2.

[2] См. об этом подробнее: Д. Лихачев. „Национальное самосознание древней Руси (очерки из области русской литературы XI—XVII вв.)", Л., 1945, стр. 76—78.

Вместе с тем, Москва явилась всесторонней собирательницей русского исторического предания, объединительницей местных летописей в обширных сводах. Москва не противопоставляла себя другим русским областям, не замыкалась в узких пределах только своего исторического предания.

Это идейное собирание всего исторического прошлого русского народа на основе идеализации киевского периода опережало реальный процесс собирания русских земель Москвою.

В конце XIV — начале XV в. работа московских летописцев становится важнейшим государственным делом. Ведя политику собирания Русской земли в единое целое, Москва нуждалась в идеологическом обосновании своих действий, в реальном возрождении исконной летописной идеи о единстве княжеского рода и Русской земли. Московские митрополиты и великие князья свозят в Москву различные областные летописцы и широко используют их в своем летописании. Московская летопись из узкой областной становится благодаря этому общерусской, приобретает общенародный характер и невиданный размах. Эта объединительная работа московских летописцев, соединивших в самом конце XIV — начале XV в. разрозненное летописание отдельных областей, значительно обгоняла политический рост Москвы. Характер московского летописания, по выражению А. А. Шахматова, „свидетельствует об общерусских интересах, об единстве земли русской в такую эпоху, когда эти понятия едва только возникали в политических мечтах московских правителей“.[1]

Глава 16

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ КИЕВСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ

Московское летописание XIV в. известно очень слабо. Бесспорно, что оно велось уже во второй четверти XIV в. при переехавшем из Владимира в Москву дворе митрополита

---

1 А. А. Шахматов. „Общерусские летописные своды XIV и XV веков“, Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 91.

Петра: позднейшие московские летописи, использовавшие в своем составе более ранние московские своды, отмечают точными датами московские и митрополичьи события уже этого времени. Можно думать, однако, что и до переезда в 1326 г. митрополичьего двора из Владимира в Москве уже велись летописные записи. Так, например, под 1317 г. встречаем известие о рождении у Ивана Калиты 7 сентября сына Симеона.

Таким образом, уже в наиболее ранних известиях московского летописания определяются два московских летописных центра: двор митрополита и двор московского великого князя. Эти два центра московского летописания сохраняются и во все последующее время. Указания на ведение летописей то тут, то там можно встретить и в XV, и в XVI, и в XVII вв.

Лишь в середине XIV в. эти два центра московского летописания как будто бы сливаются в один: московская летопись с одинаковым вниманием следит и за действиями князя, и за действиями митрополита, обнаруживая в своем изложении нерасторжимое единство церковных и княжеских интересов. Это и понятно: митрополит Алексей, происходивший из московских бояр Плещеевых, принимал участие в делах Московского государства в малолетство Дмитрия, объединяя в своих руках управление московским княжеством и русскою церковью.

Прямое свидетельство о существовании официальной московской летописи, доводившей свое изложение до года вступления на престол сына Дмитрия — Василия I, читалось в составе сгоревшей в 1812 г. Троицкой летописи 1409 г. Эту летопись высоко ценил в свое время Н. М. Карамзин, сделавший из нее много выписок в примечаниях к своей „Истории государства российского". Под 1392 г. в этой Троицкой летописи имелись, между прочим, горькие упреки новгородцам в их непокорности великим князьям: „беша бо человеци суровы, непокориви, упрямчиви, непоставны... кого от князь не прогневаша или кто от князь угоди им? Аще и Великий Александр Ярославичь (Невский) не унорови им!" В качестве доказательства летописец ссылается на московскую

летопись: „И аще хощеши распытовати, разгни книгу: Летописец Великий Русьский — и прочти от Великого Ярослава и до сего князя нынешнего“.[1]

Итак, вот ясное свидетельство того, что в конце XIV в. в Москве не только велись отдельные записи, но существовал полный обзор всей русской истории „от Великого Ярослава и до сего князя нынешнего“, т. е. до Василия Дмитриевича Московского. Наличие в этом летописце киевских известий нельзя понимать иначе, как то, что уже тогда во главе московской летописи находилась Повесть временных лет. Ее присутствие в начале московского летописания XIV в. М. Д. Приселков объясняет тем, что в Москве было продолжено тверское великокняжеское летописание, традиция которого восходили еще к владимирским великокняжеским летописям мономаховичей, рассматривавшим Повесть временных лет как свою родовую летопись.

В начале XV в. Повесть временных лет еще раз явилась в Москве в составе нижегородского свода Дмитрия Константиновича,[2] использованного в московском летописании. Снова Повесть временных лет связывалась с притязаниями ее владельцев на великое княжение: Дмитрий Константинович был

---

[1] Н. М. Карамзин. „История государства российского“, том V, прим. 148.

[2] Летопись Нижнего Новгорода, талантливо изложенная, подробная, широко охватывавшая события Руси, с особенною подробностью следила за деятельностью нижегородского архиепископа Дионисия. По благословению именно этого архиепископа Дионосия для нижегородского князя Дмитрия Константиновича была снята в 1377 г. монахом Лаврентием копия великокняжеского свода 1305 г., составленного в Твери. Эта знаменитая Лаврентьевская летопись и послужила основанием для нижегородской летописи, которая затем была привлечена к московскому летописанию. Таким образом, московский летописный центр получил из Нижнего Новгорода полный текст Повести временных лет, при этом в редакции, которая и до сих пор признается самой авторитетной (Лаврентьевской). В близкой к этой редакции Москва получила Повесть временных лет и из Твери, в основе летописания которой лежал тот же великокняжеский свод 1305 г., копировавшийся Лаврентием.

главным соперником Дмитрия Донского в борьбе за великое княжение Владимирское.

Князья тверские, суздальские, московские в своей борьбе за киевское наследие — все рассматривали историю своих княжеств, как продолжение истории киевской. Все они ставили Повесть временных лет в начало своих летописей и считали для себя обязательными ее политические заветы.

Первый московский летописный свод, о составе которого мы можем судить более или менее конкретно, — это свод 1409 г. Рукопись этого свода была названа Н. М. Карамзиным „Троицкою". Как мы уже говорили выше, она сгорела в пожаре 1812 г., но текст ее может быть восстановлен по примечаниям Карамзина к „Истории государства российского", а, кроме того, с 1177 по 1389 г. по введенной А. А. Шахматовым в научный оборот Симеоновской летописи и некоторым другим источникам.[1]

Свод 1409 г. осветил русскую историю с точки зрения идеи единства Русской земли. Инициатива составления этого свода принадлежала незаурядному писателю того времени — митрополиту Киприану, но закончен этот свод был уже после смерти Киприана.

Киприан соединил в своих руках управление русской церковью во всех русских областях, в том числе и в тех, которые находились в составе Литвы. Поэтому в выполненном по его инициативе своде он стремился воплотить беспристрастное отношение к борьбе русских княжеств между собой и с Литвой.

Для составления своего свода Киприан собрал с различных концов Руси местные летописи, действуя для этого через подчиненные ему церковные организации. К своду были привлечены — новгородская летопись, рязанская, смоленская, тверская, нижегородская (о ней мы говорили выше) и предшествующая московская летопись — Летописец великий русский.

---

[1] Почти полное восстановление текста Троицкой летописи произведено М. Д. Приселковым (работа хранится в Ленинградском отделении Института истории АН СССР).

Кроме того, в свод Киприана впервые были включены известия по истории Литвы, поскольку и в ней находились русские земли, подчиненные в церковном отношении Киприану.

Все эти местные летописи подверглись в своде Киприана лишь незначительной обработке. Составители свода сохранили обвинения новгородской летописи против тверичей, предшествующей московской летописи против новгородцев и суздальцев и т. д. Московская летопись намеренно сталкивает областные интересы, чтобы тем удобнее восхвалить политику московских князей — потомков Ивана Калиты. Этому последнему летопись посвящает особую похвалу, отмечая, вопреки исторической действительности, сорокалетнюю „великую тишину" и отдых народу от „истомы" и „тягости" татарских насилий. Московский характер свода отразился также в количественном преобладании известий по истории Москвы над известиями тверскими, новгородскими, ростовскими и др.

Но особенное значение в своде 1409 г. имел пересмотр всей истории Руси с точки зрения идейных позиций Повести временных лет. Повесть временных лет была использована в своде 1409 г., как своеобразное мерило, приложенное к русской истории на всем ее протяжении.

Роль Повести временных лет в московском летописании становится особенно ясною благодаря Повести о нашествии Эдигея, заключавшей собою свод 1409 г. и читающейся ныне под этим годом в составе Симеоновской летописи, Рогожского летописца и отчасти Никоновской летописи, где она соединена с еще каким-то другим текстом.

По поводу этого окончания Троицкой летописи Н. М. Карамзин писал: „Описанием Едигеева нашествия заключается харатейный Троицкий летописец".[1] Такого же мнения держался А. А. Шахматов[2] и первоначально М. Д. Приселков.[3] Однако позднее М. Д. Приселков отказался от такого взгляда на

[1] „История государства российского," т. V, прим. 207.

[2] Общерусские летописные своды XIV—XV вв. Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 168 и след.

[3] В статье „Летописание XIV в.", Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову, СПб., 1922.

конец Троицкой летописи и свой новый взгляд на эту Повесть изложил в „Истории русского летописания XI—XV вв.“ В этой последней своей работе М. Д. Приселков считает, что Повесть эта не заключала собой Троицкой летописи (свода 1409 г.), а впервые появилась в составе той тверской переделки, которая легла в основу изложения лет 1390—1413 г. Симеоновской, Рогожском летописце и Никоновской. Однако анализ рассказа Н. М. Карамзина о событиях 1408 г., который он вел по Троицкой летописи, отчетливо показывает, что в ней читалась как-раз та самая Повесть, которая ныне читается и в Симеоновской летописи, и в Рогожском летописце. Кроме того, идеи, высказанные в этой Повести, разъясняют многие места свода 1409 г. (Троицкой летописи). Повесть и остальной летописный текст неразрывно связаны, и нет оснований видеть в ней какие-то оппозиционные по отношению к Москве тверские настроения.

Повидимому, Повесть 1409 г. была написана несколько раньше составления свода, еще во Владимире, куда в 1408 г. удалился митрополичий двор во время нашествия Эдигея, а затем использована для заключительной части этого свода. При включении Повести в конец свода она была несколько расширена и обрамлена рассуждениями летописца, повторившими мысли Повести. Уже А. А. Шахматов обратил внимание на то, что настоящим началом Повести следует признать слова, которые находятся не в самом начале летописной статьи 1409 г., а несколько отступя: „Боголюбивому и православному самодержцу великому князю Василью Дмитриевичю...“[1] Заканчивалась же Повесть благочестивым рассуждением по поводу милосердия божия на словах „но корень благочестиа не исторже“, за которыми находилось заключительное „аминь“. Дальнейшие приписки о нападении Эдигея на Тверское княжество вставлены, очевидно, в тверской обработке свода 1409 г. и вряд ли находились в сгоревшей Троицкой. Затем следовали рассуждения летописца об общих задачах летописания.

---

[1] См.: А. А. Шахматов. „Общерусские летописные своды XIV и XV вв.“, Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 9, стр. 171—172.

Повесть 1409 г. вставлена как бы в раму нравоучительных рассуждений летописца. Поразительно, что эти рассуждения летописца тесно связаны по мысли с самою Повестью и совпадают с нею стилистически.

Повесть не оппозиционна по отношению к Москве и московским князьям. Она занимает лишь учительную позицию. Автор стремится поучать *московских князей, наставлять их во внешней политике.*

Основная мысль автора Повести состоит в том, что исконные враги русской независимости — не Литва, а степные народы — половцы и татары. Не случайно автор сопоставляет тех и других, называя татар половцами. Многочисленные исторические ссылки автора ясно говорят о том, что он был внимательным читателем Повести временных лет: „не сихъ ради преже Киеву и Чернигову беды прилучишася, иже имеюще брань межи собою, подимающе Половци на помощь, наважаху брат на брата, да и первое наимуюче их, сребро издааше из земли своея, а Половци, исмотривше Руськыи наряд, по сем самим сдолеша?“[1]

Автор протестует против того, что князья пользуются „половецкою“, т. е. татарскою помощью, а татары, высмотревши расположение и „наряд“ русских, тем удобнее затем на них нападают. Он обращает внимание своих читателей на назидательный смысл истории взаимоотношения русских со степными народами: „разумети же убо нам лепо есть на семь и памятовати, хотящим по сих любовь имети с иноплеменники“.[2] Когда пограничные отряды Эдигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, „старци же сего не похвалиша, глаголюще: «Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь?»“[3] *Резкому осуждению подвергнуты* в Повести и нерешительные действия русских войск против татар. По поводу оставления великим князем Москвы *перед приходом* войск Эдигея летописец вставил цитату из

[1] Там же, стр. 156.

[2] Там же, стр. 157.

[3] Там же, стр. 156.

псалма, не оставляющую никаких сомнений в цели ее применения: „добро есть уповати на Господа, нежели уповати на князя“.[1]

Но взгляд на степные народы — половцев и татар как на вековечных и главных врагов Руси, и доказываемая с этой точки зрения необходимость союза Руси и Литвы против их общего врага — татар не помешали автору повести протестовать против оказываемого в Москве тем же литовцам чрезмерного внимания. Особенному осуждению подвергся в летописи великий князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, „ляху верою“, кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В Повести вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, „мати градом“ русским (термин, заимствованный из Повести временных лет, где он применен к Киеву), города пречистой Богоматери, в котором „князи велиции Русстии первоседание и стол земля Русскыя приемлють“.[2] Рассуждение летописца, которое он предпосылает Повести в начале летописной статьи 1409 г. и которым он сопровождает ее в конце, целиком совпадает с идеями и стилем Повести.

Замечательно, что Повесть о нашествии Эдигея и заключительная часть свода опираются в своих общеисторических рассуждениях на Повесть временных лет. Именно Повесть временных лет, с ее широтой исторических обобщений, с ее публицистической основой, с ее стремлением поучать князей примерами из русской истории, послужила основой — и рассуждения Повести о нашествии Эдигея и обобщениям летописца.

Примером „великого Селивестра Выдобужскаго“ оправдывает летописец смелость своего обличения князей. Летописец заверяет „властодержцев“, которые прочтут его труд, что он писал его не ради того, чтобы досадить им, не из зависти к их чести, но по примеру „началного летословца киевского“, который „вся временнобогатства земская не обинуяся показуеть“. Летописец ссылается на пример первых наших „власто-

[1] Там же, стр. 158.

[2] Там же, стр. 157.

держцев", которые повелевали без гнева описывать все случившееся — доброе и недоброе. Он ссылается на пример того почета, которым окружил Владимир Мономах Сильвестра Выдубицкого, описывавшего события русской истории без прикрас („не украшая пишущаго"). Он просит „наших" властодержцев (т. е. в первую очередь московского великого князя Василия Дмитриевича) последовать их примеру, внимательно учесть уроки событий и слушать старцев, „ибо красота граду есть старчество".[1]

Хотя Повесть 1409 г. носит все признаки самостоятельного и законченного произведения, но вместе с тем она, как и заключительные рассуждения летописца, неразрывно связана со всей летописью, как бы подводя наставительные итоги русской истории.

Автор Повести и составитель свода 1409 г. делает нравоучительные выводы не только из последних событий, но из всей русской истории в целом. Все предшествующее изложение летописи было пересмотрено в 1409 г. при составлении свода с точки зрения тех же идей, которые были высказаны в Повести в этой заключительной, обобщающей части летописи.

Мы видели выше, что автор Повести проводит идею литовско-русского союза против степи. Но та же идея лежит и в основании свода 1409 г. Под рукою Киприана, инициативе которого принадлежало составление свода 1409 г., соединились литовские и русские области — подчиненные ему, как митрополиту всея Руси. В задачу свода 1409 г. входило идейное объединение русских земель, разрозненных и разъединенных политически. Летописец впервые включил в свой свод известия по истории Литвы, и сделал это с сочувствием к Литве. Автор свода 1409 г. дает положительную характеристику Ольгерду под 1368 г., излагает историю его дома под 1377 г., сообщает и вестие об убийстве Кейстута под 1378 г. и др.

Автор Повести 1409 г. настойчиво проводит мысль об особой опасности внезапных, в тайне подготовленных набегов татар,

---

[1] Симеоновск. лет., Полн. собр. русск. лет., т. XVIII, СПб., 1913, стр. 159.

к которым они, действительно, стали прибегать с конца XIV в. Татары постоянно „в тайне покрадають нас“; „безаконии бо Агаряне волчески всегда подкрадають нас“. Татары заключают ложные миры, надеясь, что русские в „бестражии будуть“; натравляя литовцев на русских, выжидают ослабления обоих. Татарские отряды, призываемые на помощь русскими, как и прежде отряды половцев, стремятся высмотреть русский „наряд“, чтобы затем самим напасть на русских. Этой же политики придерживался и Эдигей, всячески обманывающий русских, „да ни мала воя съберуть противу ему“.

Эти идеи Повести находят себе неоднократное соответствие в предшествующем летописном изложении, где встречаются аналогичные рассуждения о „тайной рати“.[1] В 1368 г. литовский князь Ольгерд „подвижеся в силе тяжце“ на Москву, „и ведяше я втаю, — подчеркивает летописец. — Обычай бо бе Олгерду: егда куде поидяше на воину, тогда убо никому же не ведущу, но ни воином его, еже камо хощеть ити ратью, ни иже иным опришным или внешним, или иноземцем, или гостем, яко не дасть уведати, на кого идеть, да не услышана будеть дума его в ушью иноземцем, да не изыдеть весть си в ту землю, в нюже рать ведяше. И тако воюя, хитростью искрадываше Олгерд, мнози земли поимал и многа места и грады, и страны поплениил“.[2]

„Не токма силою, елико умением воеваша“,[3] говорит о нем летописец, стремящийся поставить себя выше московско-литовского спора за объединение Руси. Этой характеристике Олгерда противопоставлена небрежность москвичей в походе перед сражением на реке Пьяне (1377 г.). Русские „доспехи своя на телеги своя въскладаху, а инии в сумы, а иных сулици еще не насажены бяху, а щиты и копья не приготовлены, а ездять порты своя с плечь спущав, а петли розстегав,

[1] Симеоновск. лет., 1368 г.

[2] Там же, стр. 156.

[3] Там же, 1368 г.

аки роспрели; бяше бо им варно, бе бо в то время знойно. А где наехаху в зажитьи мед или пиво, и испиваху до пьяна без меры, и ездять пьяни, по истине за Пьяною пьяня".[1] Так же, как и в действиях Ольгерда, в действиях татар летописец настойчиво подчеркивает умение сохранять тайну. Татарскую рать царевича Арапши мордовские князья тайно подвели в 1377 г. на русскую рать; „и внезапу из невести удариша на нашу рать в тыл, бьюще и колюще, и секуще без вести".[2]

Этот учительный, публицистический тон летописи по отношению к московским князьям несомненно, как и в Повести 1409 г., зависел от Повести временных лет, воспринимавшейся в начале XV в. как образец исторического изложения и политической мудрости летописца.

Так, например, характеризуя под 1392 г. нижегородского боярина Василия Румянца, изменившего своему князю, летописец сравнивает его с „древним Бутом", который льстил своему князю, а чужому хотел добра. Под „древним Бутом" следует видеть воеводу Ярополка Блуда, „льстившего" ему ради Владимира. „О злаа лесть человечьская, якоже рече Давыд: мужа в крови льстива гнушается Господь",[3] восклицает летописец, повторяя слова Повести временных лет о Блуде: „О злая лесть человеческа! Якоже Давыд глаголеть... И паки той же рече Давыд: мужь в крови льстив не припловить дний своих".[4] Не безинтересно, что измену Василия Румянца летописец толкует как измену в пользу татар, а не московского великого князя Василия Дмитриевича: „а друг дьяволь, оставив своего государя, великого князя Бориса Костянтиновича Новаго Нижняго града, изменив крестное целование и отъиде к Татаром".[5]

---

[1] Там же, 1377 г.

[2] Там же.

[3] Там же, 1392 г.

[4] Лаврентьевск. лет., 980 г.

[5] Симеоновск. лет., 1392 г.

Можно было бы считать все эти рассуждения по поводу измены Василия Румянца принадлежащими руке летописца-нижегородца, если бы аналогичное высказывание не находилось также и в рассказе тверского летописца, вошедшем в московский свод 1409 г. В Симеоновской летописи под 1401 г. рассказывается об измене боярина Воронца великой княгине тверской Евдокии, и опять-таки прибавлено: „аки древний Бут“. Отсюда можно думать, что и тверское, и нижегородское известия принадлежат составителю общерусского свода 1409 г.

Приведенные примеры показывают, что и автор Повести 1409 г., заканчивавшей собою свод 1409 г., и сам составитель свода 1409 г. были, повидимому, одним лицом. Это — человек книжный, начитанный в летописях, склонный к назидательной резиньяции и широким историческим сопоставлениям. Он пересмотрел все содержание русской истории с точки зрения общности двух периодов: Киевского периода — периода борьбы с половцами, и более позднего периода — периода борьбы с татарами. Повесть временных лет с ее учительным, публицистическим характером явилась для него образцом исторических вызодов. Вот почему и в Повести 1409 г., и в летописном своде 1409 г. именование татар половцами и „измаилтянами“ неоднократно встречается в летописном изложении до 1409 г., но нигде не переходит за эту грань. Так, например, в Повести о Митяе под 1377 г. говорится: „в места Половечьская и в пределы Татарскыя“.[1] В рассказе о битве на Воже под 1378 г. говорится „окааннии половци“, „нечестивии измаилтяне“.[2] Под 1380 г. в летописном рассказе о побоище на Дону упоминаются „земля Половецкая и Татарская“, „поганыи род Измалтескый“, „погании половци, татарьскыи полци“[3] и др.

Думается, что все эти общие места в разнородном по происхождению тексте принадлежат руке составителя свода

---

[1] Там же, стр. 124.

[2] Там же, стр. 127.

[3] Там же, стр. 129.

1409 г.,[1] пересмотревшего взаимоотношения Руси со степью с точки зрения исконности этой вражды, отождествившего половцев и татар, Киевскую Русь с Московской.

Это обращение московского летописания к киевской Повести временных лет, как к своему образцу стилистическому и идейному, явилось типичной чертой начала XV в.

Глава 17

ПОБЕДА ИДЕИ ОБЩЕРУССКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ

1

Несмотря на всю новизну и значительность идейного содержания, Киприановский свод, так эффектно заканчивавшийся Повестью об Эдигее, не мог все же удовлетворить возросших требований времени. Вскоре после Киприановского свода, повидимому, в 1418 г.[2] при митрополите Фотии был составлен еще более грандиозный общерусский свод. Этот свод Фотия в непосредственном виде до нас не дошел: он восстанавливается на основании множества позднейших летописей — московских и областных.[3]

---

[1] Составитель свода 1409 г. был человеком начитанным в киевской литературе вообще. Под 1378 г. в Симеоновской летописи рассказывается о некоем попе, *пришедшем из орды с мешком зелия*, и сосланном на озеро Лаче „идеже бе Данило Заточеник", а несколько ниже (под 1379 г.) приводится и цитата, встречающаяся *в списках Моления Даниила Заточника* „добро есть надеятися на бога, нежели надеятися на князя". Цитата эта имеется также и в Повести 1409 г.

Не влиянием ли Даниила Заточника следует объяснить и известное балагурство в летописном рассказе о битве на реке Пьяне: „*по истинне за Пьяною пьяни*" (Симеоновск. лет., 1377 г.). Игра названиями местностей типична для Даниила Заточника: „кому ти есть Переяславль, а мне Гореславль".

[2] По датировке М. Д. Приселкова („История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 113 и след.). А. А. Шахматов предполагал, что свод Фотия был составлен в 1423 г. („Общерусские летописные своды XIV—XV вв.", Журнал Мин. нар. просв.", 1900, № 9, стр. 159 и след.).

[3] Полнее всего текст свода Фотия сохранился в общерусских известиях Новгородской четвертой и Софийской первой летописей.

Свод Фотия по своему развил учительную сторону предшествующего Киприановского свода. Именно с этой целью сюда были включены многочисленные внелетописные памятники: житие князя Михаила Тверского, путешествие диакона Александра Суздальского в Царьград, Хождение Пимена, послание новгородского епископа Василия о рае, Русская Правда, новгородский устав о мостах, судебник царя Константина, устав князя Владимира I, духовная Киприана 1406 г., послание Фотия 1417 г., житие великого князя Дмитрия Ивановича, рассказ о нашествии Тохтамыша, повесть о Тамерлане и др. Летописец обнаруживает знакомство с Толковой Палеей, с Еллинским летописцем, с Никифоровым „Летописцем вскоре" в русской редакции, Прологом и т. д. Все эти сказания, грамоты, жития, послания, повести должны были служить материалом для назидательного чтения. Добавочно были использованы и старые источники Киприановского свода 1409 г.; так, например, заново были сделаны выборки из тверской летописи.

Решительною новостью явилось использование в своде народных эпических преданий о богатырях Алеше Поповиче, Адрияне Добрянкове, Демиане Куденевиче, Рогдае Удалом, Добрыне и др. Имена их были включены в летопись. На основе народных же преданий в свод Фотия были включены и известия о построении Владимиром I Святославичем города на Клязьме, названного им в свое имя Владимиром, и упоминание о Гостомысле — „старейшине" новгородском, и текст надписи, сделанной печенегами на чаше из черепа Святослава: „чюжих желая, своя погуби" и др. Москва явно стремится придать летописанию общенародный характер.

Такое количество летописного и внелетописного местного материала могло быть стянуто в Москву только усилиями митрополичьей кафедры, как единственного пока еще объединительного центра Руси, в подчинении у которого находились местные церковные организации, доставлявшие в Москву необходимые для летописания источники.

Но особенное значение для всего русского летописания имела радикальная переработка самого тона летописи. В про-

тивовес полемичности предшествующего свода, „Владимирский полихрон" стремится вести рассказ в беспристрастной и объективной манере. Сглаживается изложение борьбы Москвы с соперничающими центрами, опускаются некоторые узкомосковские известия, сведения семейно-княжеского характера и т. д. Изъятию подверглись пренебрежительные выпады против новгородцев, тверичей, суздальцев. Такая переработка предшествующего свода несомненно была вызвана тем, что в своей борьбе с областными центробежными силами Москва стремилась опереться на местное демократическое население и была заинтересована в прекращении областной вражды.

Вместе с тем пересмотру подверглась и киприяновская трактовка литовско-московских отношений. Митрополит Фотий был в ссоре с литовским князем Витовтом и проявил себя как решительный сторонник Москвы. Это обстоятельство в первую очередь сказалось на отказе от киприановской идеи русско-литовского союза. Иную трактовку получила, например, повесть о Тохтамыше.[1] У Киприана главная защита Москвы от войск Тохтамыша принадлежит внуку литовского князя Ольгерда — Остею, заменившему ушедшего в Кострому великого князя Дмитрия Ивановича. Гибель этого литовца сломила сопротивление Москвы.[2] В новой редакции повести о Тохтамыше Владимирский полихрон с особенным вниманием говорит о московских купцах — гостях „сурожанах", суконниках и др. Они названы поборниками земли Русской, против них, главным образом, направлена ненависть татар. Разграбление их богатств оплакивает летописец. Литовский князь Остей не выступает уже защитником Москвы от Тохтамыша. Сами горожане остерегают город. В повествование введен новый рассказ о подвиге суконника Адама, который, заметив с Фроловских (Спасских) ворот Кремля важного татарского князя,

[1] Характер этой перемены вскрыт В. Л. Комаровичем в главе „Московские летописи" 1 части II тома „Истории русской литературы", М., 1945, стр. 196.

[2] См. Летописец Рогожский. Полн. собр. русск. лет., т. XV, вып. 1, 1922, стр. 144 и след.; Симеоновская лет., стр. 132.

попал ему из самострела прямо „в сердце его гневливое". Взять Москву Тохтамышу удалось лишь изменою и ложными обещаниями.[1]

Возможно, что эпизод с суконником Адамом — фольклорного происхождения. Былины знают горького пьяницу Василия Игнатьевича, который в Киеве со стены города поражает стрелами трех знатнейших татарских вельмож.

С составлением свода Фотия московское летописание становится общерусским — не только по количеству привлеченных местных летописей, но и по самому отношению к историческому прошлому всей Русской земли в целом. Этот „объективный" тон и подлинно общерусский характер свода Фотия явились причиной его широкого влияния на все последующее летописание — не только московское, но и местное (в частности, на обширное летописание Великого Новгорода).

2

Наряду с подъемом объединительных идей в Москве росло и идеологическое сопротивление ей отдельных русских областей. Чем круче была политика Москвы, тем ожесточеннее было это сопротивление. Но знаменательно, что, противопоставляя Москве свои политические теории, области вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства. Под конец борьба шла уже не между центробежными и центростремительными силами в русской жизни: боролись областные центры с Москвою за возглавление того общерусского единства, которое уже всеми считалось одинаково необходимым. В идейной борьбе Новгорода и Твери с Москвою рождались

[1] См. Новгородская четвертая летопись. Полн. собр. русск. лет., т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 327 и след.

новые исторические произведения, необычайно рос интерес к родной истории, росло историческое самосознание русского народа. Так, в самом сопротивлении Москве рождались предпосылки для объединения с нею. Яркий пример тому — Новгород.

В самом деле, объединительная политика Москвы встретила чрезвычайно *сильное сопротивление* новгородского боярства, опасавшегося потерять свои обширные земельные владения, и крупного новгородского купечества, боявшегося конкуренции Москвы в торговле с Западом. Новгородское государство все более и более становилось реакционной силой, сопротивлявшейся объединительной политике московских великих князей. Новгородское ушкуйничество нарушало московскую торговлю на севере и северо-востоке; неспокойная новгородская политика грозила постоянными неожиданностями. Однако, в самом Новгороде, как и в других русских областях, как и в Западной Европе, увеличивалось „... в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья“.[1]

Демократические низы Новгорода явно тяготели к Москве, к сильной великокняжеской власти, в которой надеялись найти опору против боярства. В *разное время* сторонники подчинения Москве находили себе в Новгороде путь к власти, но в полной мере ни партия новгородских сепаратистов (так называемая литовская), ни партия сторонников Москвы не смогли возобладать на зыбкой почве новгородского „народоправства“.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 443.

Конец XIV столетия характеризуется крайним обострением борьбы Москвы с Новгородом. Эта борьба стала особенно напряженной в 90-х годах XIV столетия, в связи с отказом новгородцев выезжать на суд к московскому митрополиту. По старому, испытанному еще в XII столетии пути новгородское боярство посылало послов с жалобой в Константинополь, угрожало Москве переходом в латинство, клялось на вече судиться у митрополита. Только после того, как войска великого князя захватили Торжок и начали опустошать новгородские волости, новгородцы изъявили покорность.

Новый перевес дало новгородской литовской партии замешательство в церковных делах первой половины XV в., приведшее к образованию двух враждебных митрополий: московской и киевской. Оно позволило новгородскому боярству вести двойную политику и постоянно добиваться от Москвы уступок угрозами подчиниться киевскому митрополиту. С этой поры церковный вопрос в Новгороде приобрел первостепенное политическое значение. Пользуясь смутою в церковных делах, Евфимий II Новгородский получил „поставление" в Смоленске у киевского митрополита Герасима, и это дало Новгороду независимость от московской церкви. В Новгороде приобрели значительную силу антимосковские настроения. Архиепископ Евфимий II активно способствовал западному влиянию и оказывал покровительство иностранцам. „От странных же или чуждых стран приходящих всех любовию примаше, всех упокоиваше, всех по достоинству миловаше", — говорит о нем Пахомий Серб. Показателем новгородской политики служит то, что в Новгороде находили убежище противники московского великого князя Дмитрий Шемяка и Василий Гребенка.

Новгородское боярство обращалось к прошлому Великого Новгорода, чтобы в нем найти опору в борьбе против Москвы. Так же, как и в Москве, это обращение к прошлому сказалось в усиленном развитии летописания, в целом ряде реставрационных работ, в попытках оживить историческое предание, связанное с героическими страницами в жизни родного города. Новгород следует по пути, намеченному Москвой.

Во второй четверти XV века началась беспокойная строительная деятельность архиепископа Евфимия II. Евфимий II обстроил новыми зданиями владычный двор Детинца, строился на Софийской и Торговой сторонах, строил в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыне и т. д. Ко времени Евфимия II относятся здания светского и промышленного назначения, церкви и правительственные палаты.

Особое место в строительной деятельности Евфимия II занимало возрождение новгородских архитектурных форм XII века — века наибольшего расцвета новгородской самостоятельности и внешнего могущества. В 1454 г. Евфимий реставрировал церковь Ивана на Опоках (братчины Иванщины), первоначальной постройки 1127—1130 гг. В 1455 г. он строил „на старой основе" церковь Ильи на Славне, первоначальное здание которой относилось к 1198—1202 г. В 1442 г. „на старой основе" 1198 г. ставил Преображенский собор в Старой Руссе. На старой же основе XII в. восстанавливались церкви Бориса и Глеба (в 1445 г.), Жен Мироносиц (в 1445 г.), Богородицы на Торгу (в 1458 г.) и др.[1] Евфимий II возродил строительные приемы монументальной архитектуры XII в., напоминавшие своими выразительными и внушительными формами о былом величии Новгорода. Разнообразной строительной деятельностью Евфимия восхищался Пахомий Серб, в восторженных выражениях описавший выстроенные Евфимием храмы Детинца, которые „яко звезды или горы" стоят вокруг Софии.

Массовое восстановление Евфимием II старых церквей XII в. связано с одновременным установлением культа „преждеотшедших" новгородских архиепископов, созданием цикла литературных произведений об архиепископе Иоанне, при котором новгородцы в 1170 г. отбили от стен Новгорода войска северо-восточных княжеств, что в XV в. служило как бы символом неприступности Новгорода.

---

[1] См.: Ю. Н. Дмитриев, „К истории новгородской архитектуры", Новгородский исторический сборник, вып. 2, Л., 1937; Д. Лихачев. „Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI—XVII вв.", Л., 1945.

Особенное значение в деятельности Евфимия имело расширение новгородского летописания.

В то время как московское летописание было в подлинном смысле этого слова общерусским, объединяло в своем составе известия самых разнообразных областей и освещало историю всего русского народа в целом, новгородский „Софийский временник“ (летописание новгородского владычнего двора) до Евфимиевской поры по составу своих известий оставался все же летописью узко новгородской. Необходимость заменить эту летопись более широкой, дать свою новгородскую точку зрения на всю русскую историю и создать нечто аналогичное московским общерусским сводам вызвало в Новгороде конкурирующее предприятие. Московским притязаниям ревниво противопоставлялись новгородские.

При Евфимии II был создан в Новгороде летописный свод, легший в основание последующего новгородского летописания и в сильнейшей степени отразившийся на всем русском летописании в целом. Свод этот в своем первоначальном виде не сохранился, но состав свода, его характер и целеустремленность ясно восстанавливаются на основании двух позднейших летописей — Новгородской четвертой и Софийской первой, — чрезвычайно близких между собой в основной своей части до 1418 г. включительно.

Этот свод, легший в основу Новгородской четвертой и Софийской первой, А. А. Шахматов счел возможным отнести точно к 1448 г., хотя текст его был доведен только до 1418 г. (А. А. Шахматов предполагал, впрочем, что он доводил изложение до 1422 г.[1]) и последующие, вышедшие из него летописи, также заканчивались на известиях значительно более ранних, чем 1448 г.

Отнесение этого условно называемого „Новгородско-софийского“ свода к 1448 г. сделано было А. А. Шахматовым на том основании, что в одной из погодных статей (общей

---

[1] „Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв.“ Л., 1937, стр. 153.

и Новгородской четвертой, и Софийской первой) оказалась запись *о наступающем* совпадении Пасхи и Благовещения „через 11 лет“. Эта запись, как утверждал А. А. Шахматов, могла относиться только к 1459 г. Вычтя из 1459 одиннадцать лет, А. А. Шахматов и получил время составления Новгородско-софийского свода — 1448 г.

Однако в дальнейшем, под влиянием частного письма к нему А. В. Маркова, А. А. Шахматов отказался от этой датировки[1] и считал Новгородско-софийский свод составленным в 30-х годах XV в.

Новгородско-софийский свод интересуется судьбами русского народа в целом, хотя преимущество отдает Новгороду — в нем видит, очевидно, центр событий русской истории. Уже с первых записей Новгородско-софийского свода заметно, что летописец стремится включить в него целиком общерусский свод Фотия 1418 г., Новгородскую летопись церкви Якова и новгородскую официальную летопись софийского двора. От последней в Новгородско-софийском своде сохранилось и заглавие „Софейский Временник...“ Новгородские известия отличаются обширностью и редко подвергались сокращениям в Новгородско-софийском своде. Не менее полны и общерусские известия, взятые, как утверждает А. А. Шахматов, из общерусского свода Фотия и из Ростовского владычнего свода, также носившего общерусский характер благодаря использованию в его основе московского летописания.

В Новгородско-софийский свод попал ряд обширных и пространных повестей и сказаний; напр., о Донском побоище (1380 г.), о Московском взятии от Тохтамыша (1382 г.), о битве Витовта с Темир Кутлуем (1398 г.), о тверском епископе Арсении (1409 г.), о смерти Михаила Александровича Тверского (1399 г.), о житии и преставлении князя Дмитрия Ивановича (1389 г.) и мн. др.

---

[1] См. неопубликованную работу А. А. Шахматова. „Киевский Начальный свод 1095 г.“, Архив Академии Наук СССР, фонд 134, оп. 1, № 227, а также ниже *Приложение*, стр. 446 и след.

Включенные в состав новгородского летописания, общерусские летописи наложили прочный отпечаток на все последующие новгородские летописи: последние лишились своих характерных стилистических и „идеологических“ признаков, перестали быть, как прежде, летописями узко делового характера, приобрели свободную и широкую манеру связного литературного рассказа, широкий политический горизонт.

В противоположность новгородским летописцам XII—XIV вв., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических слоев населения, составитель Новгородско-софийского свода по большей части проявляет себя как представитель интересов владычнего двора. Он с осуждением относится к черному люду, к городским волнениям и противопоставляет старое время — новому.

Замечательною особенностью Новгородско-софийского свода было внесение в него особых статей историко-политического характера. Рассмотрение состава этих статей с полной ясностью указывает и на цель составления свода: поддержать документальными ссылками исторические права Новгорода.

В Новгородско-софийском своде был приложен такого рода справочный материал: перечень русских митрополитов, перечень новгородских епископов, „имена всем градом русским“, „правило законьно о церковныих людех“, „Правила святых отец 165 5-го събора о обидящих церкви божиа и священные власти их“, церковные уставы Владимира и Ярослава, статьи из судебника царя Константина, Правда русская, устав Ярослава о мостах и др.

В Новгородско-софийском своде был подготовлен документальный материал не только для отстаивания независимости новгородского государства, но и новгородской церковной организации. Состав и характер этих дополнительных статей имеет существенное значение для уяснения новгородской идеологии XV в. Здесь давались документы, говорившие о самостоятельности церкви от государственных вмешательств, давались и основы новгородской независимости: судная грамота, устав Владимира и Ярослава, Русская Правда.

Новгородско-софийский свод, созданный при владычнем дворе новгородского архиепископа Евфимия II, имел колоссальное значение, благодаря своей исключительной полноте, для всего последующего летописания.

В результате составления Новгородско-софийского свода Новгород приобрел одну из самых обширных летописей. Свод Евфимия II мог свободно конкурировать с московскими сводами начала XV в. Новгородское летописание было поставлено на такую высоту, что без него не могло уже обходиться ни одно крупное летописное предприятие последующих лет. Списки его легли в основание двух обширных семей московских и новгородских летописей: Софийской первой и Новгородской четвертой.

Таким образом, уже в половине XV в., задолго до потери своей самостоятельности, Новгород явился одним из первых центров грандиозных обобщающих общерусских начинаний.

Установлением Новгородско-софийского свода новгородское летописание половины XV в. не ограничилось. Помимо новгородской владычней летописи, составлявшейся в архиепископской канцелярии, имелась так называемая Новгородская первая летопись, ведшаяся при церкви Якова в Неревском конце Новгорода, начиная с XI в.

Летопись эта велась на основании летописи владычней, кое в чем ее сокращала, а кое в чем и дополняла. Эти-то последние дополнения и делали Новгородскую первую летопись весьма ценным самостоятельным источником сведений о новгородской старине.

Вскоре после составления Новгородско-софийского свода, но до 1453 г., возникла мысль дополнительно сверить Новгородско-софийский свод с Новгородской первой летописью. Новгородская первая летопись к середине XV в. достигла уже значительной сложности. В основании ее лежало несколько сводов, включивших в свой состав некоторые местные и общерусские летописи; она была распространена в нескольких списках, один из которых отразился, между прочим, и в тверском летописании. Таким образом, мысль о необходимости

дополнительной сверки Новгородско-софийского свода по Новгородской первой была вполне закономерна и своевременна.

К Новгородско-софийскому своду был добавлен ростовский свод архиепископа Ефрема. Соединение обоих и дополнительная сверка их с Новгородской первой дало наиболее полную из новгородских летописей XV в.— основную редакцию Новгородской четвертой летописи. Две остальные редакции Новгородской четвертой возникли в разное время позже — в порядке ее дополнения новыми источниками и новыми известиями о событиях последних лет. Обратная проверка и дополнение Новгородской первой по Новгородско-софийскому своду дала еще один свод, легший в основание Новгородской первой летописи младшего извода. Сверка и переработка Новгородской четвертой по „Софийскому Временнику" дала Новгородскую пятую летопись. На протяжении 20 лет правления Евфимия были составлены один за другим три грандиозных свода и около десятка мелких, каждый из которых проделывал огромную работу для восполнения недостающих сведений. В результате, от середины XV в. мы имеем редкую по своей полноте и документальности Новгородскую четвертую летопись — основной свод XV в., Новгородскую первую младшего извода (в различных списках) и восстанавливаемые на основании разных источников более ранние своды, из которых Новгородско-софийский свод имел первостепенное значение в русском летописании.[1]

Исключительная полнота Новгородско-софийского свода, соединившего три наиболее обширных русла русского летописания — московское, новгородское и ростовское, — обеспечила ему широкое распространение за пределами Новгорода. Новгородско-софийский свод был использован в Москве, в Твери, в Пскове, в Смоленске. В Москве Новгородско-софийский свод был использован в летописании великокняже-

[1] Мы упоминаем Новгородскую IV и Новгородскую I летописи. Новгородские II и III летописи относятся к более позднему времени: названия летописей условны.

ском. В Пскове он получил продолжение через Новгородскую пятую летопись. В Твери и в Смоленске Новгородско-софийский свод был использован в виде „Кратких извлечений“.[1]

Знаменательно, что в основном этот общерусский характер новгородское летописание приобретает в результате заимствования общерусских известий из московского летописного свода Фотия 1418 г. Стремясь создать историческую и политическую концепцию, противостоящую московской, Новгород все же опирался на Москву, на ее книжность, считался с достижениями ее исторической мысли и принимал общерусский характер ее трактовки предшествующего летописания. Так, идеи Москвы находят себе признание даже у ее врагов. Однако в противоположность московским летописцам конца XIV—начала XV в., нередко оценивавшим события с точки зрения демократических, городских слоев населения, составитель Новгородско-софийского свода во многих случаях проявил себя как представитель интересов боярской партии — владычнего двора. Он с осуждением отнесся к черному люду — к „голодникам“, „ябедникам“[2] и к городским волнениям.

Новгородско-софийский свод имел обширный успех в русском летописании. В Новгороде на его основе создается еще ряд сводов. Историческая мысль работала с чрезвычайной интенсивностью. Летописные своды с настойчивой последовательностью создавались один за другим, но самостоятельной и законченной новгородской исторической концепции, подобной московской, все же не получилось. Содержание новгородских летописей, стремившихся соединить достижения исторической мысли Москвы с антимосковскими тенденциями правящей верхушки Новгорода, осталось таким же противоречивым, как противоречива была и сама новгородская жизнь.

Таким образом, еще до завоевания Новгорода Москвою в Новгороде зрели идеи общерусского единения. Сама Нов-

---

[1] См. ниже в Приложении: Рогожский летописец, Летопись Авраамки, Летописец Павла.

[2] Новгородская IV летопись, Полн. собр. русск. лет., т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 444.

городская старина, вызванная к жизни сторонниками литовской боярской партии, восставала на новгородскую независимость. Разбуженный интерес к родной истории подсказывал идею общерусского единства.

В эпоху походов Ивана III ожесточение борющихся партий в Новгороде — литовской и московской — достигло крайней степени. Новгородское летописание утратило свою организованность и систематичность. Летопись велась по инициативе представителей обеих враждующих партий, дополнявших и расширявших списки, начатые их предшественниками. В этих дополнениях нет единства между отдельными летописцами ни в политических взглядах, ни в круге отмечаемых ими событий, ни в стиле и манере изложения. Летописцы то ограничивались одними лишь новгородскими событиями, то вводили сведения общерусского значения; иногда эти известия кратки и сдержанны, но иногда речисты и витийственны. Те части новгородской летописи, которые отличаются традиционным новгородским лаконизмом стиля, лишены, однако, чеканности летописного языка XII—XIII вв. Летописец терял присущее ему спокойствие тона, как только подходил к предметам, близко касавшимся его политических убеждений, и разражался в этих случаях многословными тирадами против своих политических врагов всюду, где находил это возможным. Летописец, дополнивший один из списков Новгородской четвертой летописи (Строевский), так отчитал сторонника московского великого князя — Упадыша, забившего железом пять пушек при приближении к Новгороду московского войска: „Како не вострепета, зло мысля на Великий Новгород, не сытый лукавъства? не мъзды ли предаеши врагом Новъгород, о Упадыщче, сладкого брашна вкусил в Великом Новеграде? О, колика блага не памятив, недостаточное ума достигл еси!.. Уне бы ти, Упадыше, аще не был бы во утробе матерьни: не бы был наречен предатель Новуграду...“[1] и т. д.

---

[1] Полн. собр. русск. лет., т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 418.

Не на одного Упадыша сетует летописец. Он осуждает „владычнь стяг“ (полк новгородского архиепископа), который не хотел ударить на московскую княжую рать, ссылаясь на то, что „владыка нам не велел на великого князя руки подынути“. Осуждает летописец и тех новгородцев, которые перед битвой с москвичами „вопили“ на „больших людей“, не желая сражаться: „Яз чловек молодыи, испротеряхся конем и доспехом“.[1] „И бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и многа лжа неприазнена, сторожа многа по граду и по каменным кострам [башням] на переменах день и нощь. И разделишася людие: инеи хотяху за князя [московского], а инии за короля за Литовьского“,[2] — так описывает летописец волнения, порожденные поражением новгородского войска на Шелони.

Иной характер носили дополнения Новгородской четвертой летописи по списку Дубровского. Помимо обилия в них московских и общерусских известий, список включил в свой состав такие направленные против новгородской независимости произведения, как „Словеса избранна от святых писаний“[3] на новгородцев, „Послание митропольчье“[4] против них же, московский рассказ о присоединении Новгорода, с резкими выпадами против новгородцев и характерным заключительным проклятием новгородским „смутьянам“: „И та земская их беда и вся людцкая кровь да будеть изысканна от Бога вседержителя, по писанному: Господи! зачинающих рать погуби. И то все на тех главах на изменных и на их душах, в сем веце и в будущем, аминь“.[5]

Военные действия против Новгорода, а затем и борьба в Новгороде с остатками боярско-литовской партии внесли ненадолго черты озлобления и полемичности в произведения

---

[1] *Там же, стр.* 446.
[2] *Там же, стр.* 447
[3] *Там же, стр.* 498.
[4] *Там же, стр.* 504.
[5] *Там же, стр.* 513.

обеих партий. Эта борьба по мелочам, по текущим вопросам была лишена той широкой историко-философской аргументации, которой обладала литература предшествующего периода.

3

Идейное движение Твери XV в. во многом аналогично идеологической борьбе Новгорода с Москвою. Так же, как и в Новгороде, в Твери происходит возрождение местных исторических традиций. Так же, как и Новгород, Тверь стремится создать свое местное патриотическое движение, противостоящее Москве, пытается найти опору своим сепаратистским устремлениям в собственном прошлом. В Твери, как и в Новгороде, усиленно восстанавливаются старые, еще домонгольские постройки и возрождаются исторические предания эпохи национальной независимости. Однако, в отличие от Новгорода, ограничивавшего круг своих исторических интересов местными преданиями, Тверь вслед за Москвой возрождает общерусские исторические традиции Киева. Тверские книжники в течение всего XV в. неоднократно обращаются к литературным произведениям Киевской Руси, переделывая их, редактируя их, переписывая и заимствуя из них для собственных сочинений отдельные образы и целые отрывки. Тверская литература обращается к патриотическому воодушевлению „Слова о законе и благодати" митрополита Илариона, к широте исторической мысли Повести временных лет, к сказаниям о князьях Борисе и Глебе, чей культ на протяжении всех веков связывался с политическими идеалами общерусского единства, к произведениям Кирилла Туровского и Киево-печерскому патерику, пересоставленному в Твери в начале XV в. в новой так называемой арсениевской редакции.

В своем политическом развитии Тверь значительно обгоняла Новгород. Политическая борьба тверских великих князей с сепаратистскими стремлениями кашинских князей воспитала в Твери мысль о политических преимуществах сильного единодержавного правления. И в этом отношении Тверь не только

следовала за Москвою, но в некоторых своих идеях опережала ее. Так, раньше, чем в Москве, в Твери создается теория самодержавной власти великого князя. Тверь соперничает с Москвою в борьбе за главенствующую роль в том общерусском, национальном государстве, необходимость создания которого все больше входила в сознание в самых различных областях Руси.

Пользуясь временной слабостью Москвы в годы междоусобной борьбы за московское великое княжение, Тверь стремится взять на себя роль защитницы общерусских интересов, а тверской князь пытается быть представителем в Западной Европе всей Русской земли, как ее глава. Эта идеология ярко отразилась в замечательном Похвальном слове инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу.

Историческую обстановку создания Слова отчетливо обрисовал акад. Н. П. Лихачев в своем труде „Инока Фомы Слово похвальное“:[1] „В половине XV столетия еще продолжалось давнее соперничество Москвы с Тверью. Идея о царстве и царском наследии коснулась и Тверской области. Был как-раз необыкновенно благоприятный момент. Москва раздирается усобицами, законный князь то в плену, то изгнан, потом ослеплен. Только помощью Твери утверждается он на прародительском столе, заключив союзный и брачный договоры. Во главе княжества Тверского стоит деятельный и талантливый человек. Временное процветание Твери оживляет заглохшую былую славу. Даже послы великой «Шаврукозой» орды идут в Тверь и минуют Москву. Из Византии же приходят печальные вести; после морального падения на нечестивом латинском соборе распространяются слухи о постепенном утеснении Царяграда агарянами [турками]. 29 мая 1453 года Царьград пал, православная вселенская монархия кончилась. Есть у латинян могучие цари, сильные царства, но не может благодатное наследие царя Константина перейти к впавшим в ересь. Только на одной Руси сияет православие, кому же в Русской

[1] 1908, стр. LIX—LX.

земле принадлежит наследие царства? ... Не князь Московский, а боговенчанный царь Борис Александрович Тверской настоящий наследник Византийской империи и «второй Константин», благоверный православный самодержец...“ Такова главная мысль Слова.

Слово инока Фомы подчеркивает величие и славу „Тверской земли“. Тверская земля — богоизбранная страна — „Новый Израиль“, ее князь — „второй Константин“.[1]

Имя тверского князя Бориса Александровича славимо повсюду „от Востока и до Запада и до самого царствующего града...“[2] Авторитет тверского князя стоит высоко среди европейских монархов. Иноземные цари возносят ему хвалу. Инок Фома восхваляет храбрость Бориса Александровича и „дерзость сынов Тферскых“. Борис Александрович — государь и „защитник наш“. Фома подчеркивает силу княжеской власти Бориса, его единодержавство и утверждает богоустановленный характер княжеской власти, что впоследствии настойчиво станут проводить московские книжники. Великий князь Борис Александрович называется в „Слове“ ц а р с т в у ю щ и м самодержавным государем, что само по себе было решительною новостью в русской политической мысли того времени. Борис Александрович „царскым венцем увязася“[3] и сравнивается с Августом, с Львом Премудрым, с царем Птоломеем книголюбцем, с Константином Великим, с царем Феодосием.[4]

Фома превозносит строительную деятельность Бориса Александровича, устройство им нового тверского Кремля и называет его „новым Ярославом“ Мудрым, что уже само по себе должно было говорить о притязаниях Бориса Александровича сосредоточить в своих руках объединение Руси.

---

[1] Н. П. Л и х а ч е в. „Инока Фомы Слово похвальное о вел. кн. Борисе Александровиче“, СПб., 1908, стр. 2.

[2] Там же, стр. 2.

[3] Там же, стр. 11.

[4] Там же, стр. 12—13.

Слово Фомы недвусмысленно выражало идею единства Руси, идею необходимости сильной монархической власти, впервые по-новому названной „царской“.

Сами по себе эти идеи Слова были прогрессивны, свидетельствуя о вполне созревшей повсюду мысли о необходимости создания единого национального государства.

Почти одновременно со Словом Фомы, в 1455 г. по велению тверского великого князя Бориса Александровича составляется новый тверской летописный свод, содержание и форма которого чрезвычайно характерны.

Тверское летописание зародилось еще в конце XIII в. Оно продолжалось в течение всего XIV в. с некоторым перерывом с 1375 г. до начала 80-х годов XIV в. Оно используется в московском летописании прежде, чем само начинает пользоваться московскими общерусскими сводами. В первой половине XV в. тверское летописание получает наибольшее развитие.

Замечательно, что тверская летопись на всех своих этапах XV в. выступает как летопись общерусская. Тверское летописание XV в., как это установлено А. Н. Насоновым,[1] широко привлекает самый разнообразный летописный материал: записи нижегородские, литовские, ростовские и, главным образом, помимо предшествующих тверских летописей — летописание Москвы. Но этот общерусский характер отчетливее всего сказался в Тверском своде 1455 г.

Текст летописного свода Бориса Александровича в пределах до 1375 г. может быть восстановлен на основании Рогожского летописца,[2] а с 1285 и до 1455 г. по Тверскому сборнику.[3]

Изложение событий до княжения тверского великого князя Михаила Александровича дано в своде 1455 г. очень кратко.

[1] „Летописные памятники Тверского княжества“, Известия Ак. Наук СССР, Серия гуманитарных наук, 1930, №№ 9 и 10; „Летописные своды Тверского княжества“. Доклады Ак. Наук СССР, Серия В, 1926, ноябрь—декабрь.

[2] Полн. собр. русск. лет., т. XV, вып. 1, П., 1922.

[3] Полн. собр. русск. лет., т. XV, СПб., 1863.

Оно начинается с сжатых хронографических статей, читавшихся в „Кратком извлечении из Новгородско-софийского свода“, а также извлечением из какого-то суздальского летописца и общерусского московского свода Фотия, названного в тверском своде 1455 г. „Владимирским полихроном“.

Главное и преобладающее внимание уделено в тверском своде Бориса Александровича тверским событиям и пропаганде идеи самодержавности тверского князя. Свод весь проникнут мыслью о необходимости крепкой княжеской власти, о необходимости прекращения феодальных раздоров. В центре изложения стоит личность тверского великого князя Михаила Александровича. В княжение его „бышет[ь] тишина и от уз разрешение хр[и]стианом и радостию възрадовалися, а врази их облекошася в студ“.[1]

Михаил „храбрость показал многу, и грады многы взем покоривыися любовию, а непокоривыа мечем“; он „мужь борец“, „не страшив ко брани“, „ратоборец“.[2] Особо отмечает летописец его любовь к дружине. Он был „сладок“ для дружины, содержал ее не „обидно“, любил всех поровну и всем „подавал“ равную часть.[3] Вот почему многие служили ему, и двор его укреплялся день ото дня.

В составе Тверского сборника сохранилось обширное и витиеватое предисловие к „Летописцу княжения тверского“.[4] В этом предисловии летописец, обращаясь непосредственно к Борису Александровичу, пишет, что последний повелел ему написать „честь премудрого Михаила“,[5] чтобы имя этого „великого самодръжца“ не было колеблемо „бурею забвения“.[6] Свой труд летописец рассматривает широко: „от Киева же начну“. Михаил — „богосадного корени таковаа добраплодная

---

[1] Рогожский летописец, 1373 г., стр. 105.
[2] Полн. собр. русск. лет., т. XV, стр. 469.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 463.
[5] Там же.
[6] Там же.

отрасль".[1] Поэтому летописец начинает свой труд с выяснения генеалогического древа Михаила. Весь род Михаила от самого Владимира I был самодержцами в Русской Земле и владелею. Летописец ссылается при этом на „прьваго летописца"[2] и на московское летописание — на Владимирский Полихрон, который „яве указует и перечестнейша сего в князех являет".[3]

Таким образом, задача летописца — составить „степени"[4] родства тверских князей — прославить их род, возвеличить власть. Если бы летописец был последователен в выполнении своей задачи, он, несомненно, предвосхитил бы позднейшее московское предприятие — „Степенную книгу царского родословия". Но помимо генеалогических задач, перед летописцем стояли задачи и чисто исторические. Не только история рода тверских великих князей, но и история „сего богохранимаго Тферскаго града"[5] — его руководящая роль в русской истории последних лет составляет цель его летописания. И здесь летописец проводит отчетливую мысль: Тверь главный оплот борьбы Руси с татаро-монгольским игом. Не Москва, а Тверь объединяет Русь в этом национальном деле. Именно поэтому в тверской летописи дважды (и в предисловии, и под соответствующим годом) отразилась историческая песня о восстании в Твери против татар в 1327 г.

Рогожский летописец, представляющий наиболее ранний вариант рассказа об этом событии, передает его следующим образом. Восхотев власти над русскими князьями, татары решили погубить тверского великого князя Александра Михайловича. За это дело берется „безаконный и треклятый всему злу началник" Шевкал. Он обещает хану пойти на Русь, разорить „крастианство", убить князя, а княгинь и детей привести в Орду. Шевкал явился в Твери „с многыми

---

[1] Там же, стр. 464.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 465.

[4] Там же.

[5] Там же, стр. 464.

татары", прогнал великого князя из его двора и сам стал на его месте „с многою гръдостию и яростию". Шевкал воздвиг на народ страшное гонение — с насильством, грабежом, битьем и поруганием. Граждане тверские жаловались великому князю на оскорбления от поганых и просили оборонить их. Князь не мог оказать им помощи и приказывал им терпеть. Но тверичи не терпели, ища только подходящего времени.

15 августа, в полутра, когда снимался торг, дьякон тверитин по прозвищу Дудко повел к Волге поить свою кобылицу „младу и зело тучну". Татары отняли ее. Дьякон закричал: „о мужи тферстии, не выдавайте". Народ вступился за Дудко, и начался „бой". Татары, надеясь на „самовластие", начали избивать народ. Тверичане все бросились на подмогу, зазвонили во все колокола и с кличем пошли на татар; избивали их, где только ни заставали, били всех „по ряду", убили и самого Шевкала, так что не оставили и „вестоноши". Только татарские пастухи, которые в поле за Тверью пасли коней, успели похватать лучших жеребцов и ускакать на них в Москву, а „оттоле" в Орду.

Разъяренный этим, „безаконный царь" на зиму послал рать на Русскую землю, пожегшую Тверь и иные города, погубившую и пленившую множество людей.

Замечательно, что историческая песнь о Шевкале дошла и до нас в записях XVIII и XIX вв. Песнь эта о „Щелкане Дуденьтевиче" [1] носит все признаки глубокой древности, восходя непосредственно к XIV в. и верно отражая исторические события своего времени.[2]

Н. Н. Воронин, доказавший древность и точность многих исторических указаний песни о Щелкане, не прав лишь в одном, когда предполагает, что летописная запись о вос-

---

[1] Кирша Данилов. „Древние российские стихотворения", СПб., 1901, № 4.

[2] См. об этом: Н. Н. Воронин. „«Песнь о Щелкане» и Тверское восстание 1327 г.", Исторический журнал, 1944, № 9.

стании против татар Шевкала восходит ко второй четверти XIV в.

Подробность и детальность летописного рассказа объясняется вовсе не тем, что он сделан свидетелем событий, а тем, что он воспроизведен по народной песне, точность которой доказана самим же Н. Н. Ворониным. Замечательно, что составитель Тверского сборника, вообще пользовавшийся народными преданиями и историческими песнями, еще более расширил рассказ Тверской летописи о Шевкаловщине, введя в него новые детали. Между тем уже в Рогожском летописце рассказ о восстании против Шевкала носит все признаки вставки в основной летописный текст.[1] Вставка эта, как мы предполагали, сделана в тверскую летопись при Борисе Александровиче. Здесь она отразилась дважды — в самом тексте летописи и в предисловии к ней. Середина XV в. отмечена интересом к повестям о борьбе с татарами,[2] а интерес к восстанию против Шевкала именно в Твери и именно при Борисе Александровиче засвидетельствован изображениями на сохранившейся рогатине Бориса Александровича, имеющими прямое отношение к песне о Шевкале.[3]

К тверской летописи восходят, кроме того, пространное летописное повествование о татарском баскаке Ахмате (под 1283—1285 гг.), о татарском после Сарыхоже (под 1371 г.) и др. А. Н. Насонов предполагает, что к тверской же летописи восходят и известия о великом баскаке владимирском

---

[1] Признак вставки — дублировка известий: после рассказа о восстании в Твери и убийстве Шевкала вновь сказано: „А убиен бысть Шевкал в лето 6835“ (Рогожский летописец, стр. 43).

[2] К середине XV в. относится пересоставление, как это доказано акад. А. С. Орловым, повести о Николе Зарасском с эпизодом борьбы Евпатия Коловрата с татарами („Курс лекций по древне-русской литературе“, Л., 1939, стр. 145).

[3] Весьма вероятными представляются соображения по этому поводу Я. Лурье, высказанные им в статье „Роль Тв ри в создании русского национального государства“, Ученые записки Ленингр. гос. Университета, № 36, Серия исторических наук, вып. 3, Л., 1939, стр. 104—107. Рогатина Бориса Александровича хранится в Оружейной палате (№ 5620).

Иаргамане и его зяте Айдаре, читающиеся сейчас под 1269 и 1273 гг. в Никоновской летописи.[1]

Тверская летопись усиленно следит за деятельностью татарских агентов на Руси. Именно в татарах видит тверской летописец главную причину княжеских усобиц: они безбожною „своею лестию ввергьли мечь и огнь в Русскую землю на крестианьскую погыбель“.[2] В свете этого внимания тверского летописца к борьбе с татарами, понятен обычный ревнивый упрек его Москве за союз с этими самыми татарами. Даже дважды повторенный рассказ о восстании в Твери против татар дважды же отмечает помощь Москвы татарам. Татарские пастухи бегут в Москву и только оттуда уже отправляются в Орду.[3] В предисловии же прямо говорится и другое: с татарами вместе мстить за смерть Шевкала идет „Иван Московский“, бывший их вождем на „грады Тверскыа“.[4]

Тверской летописец противопоставляет объединительную политику тверских князей — объединительной деятельности Москвы. Рассказав о построении в 1363 г. Московского кремля, тверской летописец замечает, что с того времени москвичи, надеясь „на свою на великую силу“, начали приводить в свою волю русских князей, а на тех, кто не повиновался их воле, начали „посягати злобою“.[5]

Комментирование исторических событий занимает видное место в тверской летописи, составляя ее отличительную характерную черту. Характеристики князей, лирические отступления, нравоучительные тирады, направленные главным образом против врага Твери — Москвы, определяют стиль тверской летописи. Она торжественна, патетична, иногда риторична

---

[1] А. Н. Насонов. Летописные своды Тверского княжества. Известия АН СССР, 1930, № 10, стр. 769.

[2] Рогожский летописец, 1371 г., стр. 96.

[3] Там же, стр. 43.

[4] Полн. собр. русск. лет., т. XV, стр. 466.

[5] Рогожский летописец, стр. 84.

и всегда тенденциозна. Это типичная летопись, выполненная заботой самодержавного в своих устремлениях великого князя.

И в этом отношении она отчасти напоминает последующие московские летописные своды XVI в.

Таким образом, тверская летопись заимствует от Московской ее общерусский охват,[1] использует в своей основе московское летописание. Иногда она опережает московское летописание в последовательности проведения точки зрения на великого князя, как на единодержавного управителя Русской Земли. Кроме Твери и Новгорода, общерусские своды составляются в середине XV в. в Пскове,[2] в Ростове (при архиепископе Григорие, а затем при Ефреме и Тихоне)[3] и в Смоленске.[4] Идеологическое состояние Москвы и областей

---

[1] *Не можем согласиться с выводом, сделанным Я.* Лурье на основании изучения тверской летописи и „Слова" инока Фомы, что Тверь первая выдвигает национально-объединительные лозунги" („Роль Твери в создании русского национального государства", Ученые записки Ленингр. Гос. университета, *№ 36, серия исторических наук, вып.* 3, *Л., 1939,* стр. 101). История летописания убеждает в том, что общерусские своды Москвы предшествуют общерусским сводам других областей. Больше того, областные общерусские своды (в *том числе* и тверские) строятся на основе московских общерусских сводов.

[2] А. Н. Насонов. „*О русском областном летописании*", Известия Ак. Наук СССР, Серия истории и философии, т. II, № 4, 1945. В этом своем предварительном сообщении к исследованию, которое должно выйти во 2-м выпуске его „Псковских летописей", А. Н. Насонов пишет: „Псковский летописный свод, послуживший протографом дошедших до нас летописных сводов, был составлен в 50-х или в начале 60-х годов XV в. *Сравнительное изучение сохранившихся псковских и непсковских летописей* обнаруживает, что свод этот представляет *собою обширную* летописную компиляцию, составителем которой, помимо псковского материала, *использован* хронографический материал, сокращенный *Новгородско-софийский свод,* Новгородская V летопись и Смоленско-литовский источник... Псковское летописание (в XV в.) обнаруживает стремление выйти за *пределы* «областного», «местного»" (стр. 292).

[3] См. Московско-академический список суздальской летописи, Типографскую *летопись и др.*

[4] См. Летопись Авраамки.

привело к обострению национального сознания, обогатило историческую мысль, усилило интерес к родному прошлому. В сопротивлении областей Москве незаметно для них самих потерпели крушение идейные основания областной обособленности. Идея единства Русской земли, идея необходимости единения все глубже входила в сознание всего русского общества.

Вопрос о том, кому возглавлять это русское единство, был, в конце концов, решен военной рукой Москвы.

V. СПАД ЛЕТОПИСНОЙ РАБОТЫ

Глава 18

ПРОНИКНОВЕНИЕ ХРОНОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ЛЕТОПИСЬ

1

В ПЯТНАДЦАТОМ, а затем особенно в шестнадцатом веке летопись все более и более начинает испытывать на себе влияние литературной манеры, выработавшейся еще в XIV в. в ряде славянских стран. XIV век отмечен возрождением славянской письменности и литературы. Литературный подъем намечается и в Сербии, и в особенности в Болгарии, где рост письменности сопутствует росту политического могущества при царе Иоанне-Александре. На Руси успешное развитие письменности было следствием возвышения Москвы.

Во всех трех странах — на Руси, в Сербии и Болгарии, поддерживавших между собою тесное культурное общение, возникает своеобразное и единое литературное направление, отразившее собою общий народный подъем славянских народов. Вырабатывается жанр витиеватых и пышных „похвал", первоначально обращенных к славянским святым, покровительствовавшим победам соотечественников. В Болгарии эти первые похвалы составляются Иоанну Рыльскому и Илариону Мегленскому; в России одно из первых произведений этого нового литературного течения посвящено военному организатору Куликовской победы — Дмитрию Донскому („Слово о

житии и преставлении Дмитрия Ивановича, царя руськаго").

Новое литературное движение выработало литературные вкусы, определившие форму и содержание литературных произведений XV—XVI вв. Оно оказало чрезвычайно сильное влияние на летопись, изменившее, в конце концов, не только форму летописного изложения, но и его содержание. Это влияние усиливалось из десятилетия в десятилетие и постепенно привело к замене летописи иными формами исторического повествования. Такое медленное исчезновение летописания под влиянием новых принципов повествования было обусловлено целым комплексом причин — и, в первую очередь, новыми усложнившимися требованиями, которые начали предъявляться к историческому знанию. Это был процесс трудный и сложный, в котором проникновение в летопись новой литературной манеры было лишь одним из симптомов приближающегося конца крупнейшего явления русской жизни XI—XVI вв. — летописания.

В истории изменения характера русского исторического повествования XV—XVI вв. исключительную важность имеет Русский Хронограф. Создание Русского Хронографа внесло совершенно новую стилистическую струю в русское летописание. В начале эта струя пробивается слабо, затем постепенно разрастается и в конце концов сменяет летописные традиции исторического рассказа.

Русский хронограф в редакции 1512 г. и в так называемой южно-русской, как это блестяще доказано А. А. Шахматовым, восходит к Хронографу, составленному в 1442 г.[1] в России Пахомием Логофетом на основании ряда южно-славянских, переводных с греческого и русских оригинальных сочинений. Это огромный сборник всемирно-исторических статей, отражающий интерес русского читателя к мировой истории, и вместе с тем, сознание мирового значения истории русской.

---

[1] См: А. А. Шахматов. „Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв.", Л., 1938, стр. 135 и след.

Можно догадываться о том, почему именно Хронограф возник в 1442 г. В 1441 г. Москва не признала Флорентийской унии православной и католической церквей. Митрополит Исидор, подписавший унию, бежал из Москвы. В Москве не признали и то греческое духовенство, которое было согласно на унию. Перед церковными и светскими властями Москвы встал вопрос о религиозной самостоятельности Руси. Москва готовилась самостоятельно ставить митрополита из русских собором русских же епископов. Роль русского православия среди иноземного „еретичества" казалась особенно торжественной и значительной. Уже теплилась мысль о всемирном призвании Руси. Мысль русских книжников все чаще обращалась к мировой истории. Материал вновь составленного Хронографа давал много примеров еретичества визатийских императоров, в контраст с которым резко выделялась верность православию русских князей.

Составитель Хронографа широко воспользовался всеми доступными ему в России материалами по всемирной истории. В качестве источников для своей компиляции составитель использовал вторую русскую редакцию Еллинского летописца,[1] существование которого уже в XIV в. было доказано А. А. Шахматовым.[2] Кроме этого, составитель пользовался сербским сборником житий, в который входили „Паралипомен" Зонары, житие Стефана Лазаревича, сербская Александрия, житие Стефана Дечанского и житие Илариона Меглинского. А. А.

[1] Сам составитель Хронографа называет Еллинский летописец в качестве своего источника: рассказав о походе Олега, он прибавляет: „сие пишет о нем в Греческом летописце". Об Еллинском летописце второй редакции см.: А. А. Шахматов. „Древнеболгарская энциклопедия X века", Византийский временник, т. VII, 1900; В. М. Истрин. „Из области древнерусской литературы", Журн. Мин. нар. прос., 1903, № 10; А. А. Шахматов. „Новая хронологическая дата в истории русской литературы", Журн. Мин. нар. просв., 1904, № 1; К. Н. Истомин. „Слово о немецком прельщении", Христиан. чтение, 1904, II; К. Н. Истомин. „Некоторые данные о протографе Еллинского летописца", Журн. Мин. нар. просв., 1904, № 7.

[2] „К вопросу о происхождении Хронографа". Сборник Отд. русск. яз. и словесн. Ак. Наук, т. XVI, № 8, стр. 70.

Шахматов видит источник этой части Хронографа в протографе рукописи б. Московской духовной академии № 230. Из другого источника составитель Хронографа воспользовался Житием Саввы[1] и хроникой Манассии (А. А. Шахматов видит последний источник в протографе списка Новгородской Софийской библиотеки, № 1497).

Как доказано А. А. Шахматовым, уже составитель первоначальной редакции Русского Хронографа — Пахомий Логофет вставил в нее статьи русского содержания, воспользовавшись для этого русскими летописями[2] и русскими историческими повестями.

Помимо этих привлеченных материалов, Пахомий Логофет добавил ряд статей собственного сочинения, из них главная — Повесть об убиении Батыя.[3] В Повести этой отразились статьи из прочей части Хронографа и, наоборот, в Хронографе отразились те же источники, которые были использованы и в Повести, чем доказывается, что Повесть об убиении Батыя была специально составлена для Хронографа.

Сербское происхождение Пахомия Логофета сказалось в Хронографе в ряде сербизмов. Так, Корсунь по-сербски названа в Хронографе Херсонь (редакция 1512 г.), русские князья Святослав и Святополк названы, согласно сербскому произношению этих имен, Цветослав и Цветополк, „бык" заменен сербским словом „юнец" и т. д. Сербское происхождение Пахомия особенно чувствуется в Повести об убиении Батыя,

---

[1] Как это доказано Я г и ч е м — в Феодосиевой, а не Доментиановской редакции („Ein Beitrag zur serbischen Analistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung", Archiv für slav. Philol., Bd. II, S. 37).

[2] А. А. Ш а х м а т о в предполагает, что эти летописи были ростовские. М. Д. П р и с е л к о в уточняет, что это был свод Фотия („История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 148).

[3] В одном из списков XVI в. (список Ундольского, № 515), где в приложении к сказанию о Михаиле и Федоре Черниговских также имеется эта повесть, добавлено: „творение ермонаха Пахомия св. Горы". Повесть об убиении Батыя приписана Пахомию впервые В. К л ю ч е в с к и м („Древнерусские жития святых", СПб., 1871, стр. 147).

где есть сведения, заимствованные из серебского жития Саввы и где, кроме того, *отразилось* юго-славянское *народное* предание об отражении татар венгерским *королем* Владиславом. Знаменательно, *что это* сербское народное предание приурочено *к известию* русских летописей о нашествии Батыя на Венгрию и о последовавшем затем поражении. Вообще по всему видно, что серб Пахомий Логофет работал именно в России. Помимо приведенных А. А. Шахматовым доказательств того, что Хронограф был составлен именно на русской почве, а не в Сербии, как думали первоначально, можно привести немало других данных. Так, например, среди выборок из хроники Амартола в Хронографе есть и специальная статья „О пришествии Руси на Царьград“, которая могла быть по преимуществу интересна в России. В переводе из Иосифа Флавия при упоминании денежной единицы „таланта“ добавлено „а един талант 500 рублев русских“,[1] в другом месте добавлено такое же разъяснение к слову „*перпер*“: „а едина перпер пол третея рубля рузскиа“[2] и др.

Составленный в России, но сербом, Русский Хронограф имел громадное распространение не только в России, но и в *Сербии*: в Сербия все хронографы опирались в своей основе на Русский Хронограф. Создание Русского Хронографа было замечательным образцом культурного сотрудничества славянских стран.

2

Изложение всемирной истории было подчинено в Русском Хронографе чисто литературным, повествовательным задачам. В этом резкое отличие Русского Хронографа от *русской* летописи.

Литературные достоинства русской летописи XI—XV вв., сами по себе чрезвычайно высокие, не *были*, однако, главными

---

[1] Полн. собр. русск. лет., т. XXII, Русский Хронограф, ч. I, СПб., стр. 238.

[2] Там же, стр. 183.

и определяющими чертами русской летописи. Летопись на протяжении XI—XV вв. — это в основном документ, дневник, „погодник" исторических фактов, систематизированное собрание исторических материалов, своеобразный архив. Летописец не ставил себе задачей создание чисто литературного произведения, не предполагал создавать чтения, художественные достоинства которого были бы самоцелью повествования.

Иными были задачи, которые ставил себе Пахомий Логофет при написании Хронографа. В Хронографе исторические факты были лишь материалом для литературно занимательного чтения, для моральных выводов. Русский Хронограф, в том виде, в каком он вышел из-под пера Пахомия, представлял собою цепь более или менее занимательных новелл, имеющих ясно выраженную завязку — экспозицию, в виде предварительной общей характеристики действующего лица, затем развитие действия, и, наконец, заключительную развязку, иногда с последующими нравоучениями. Само повествование в Хронографе прерывалось риторическими вопросами, которые должны были поддерживать интерес повествования. Риторическая шумиха и бесконечное морализирование поднимали на ходули исторические события, лишали их той эпической документальности, которой отличались записи русской летописи.

Вся мировая история в изложении Хронографа — цепь нравоучительных историй, рисующих неслыханные злодеяния, неимоверные подвиги благочестия, мученичество праведных и преступления нечестивых. Чудесные события, предвещания, указания на символическое значение событий обильно насыщают повествование. Это собрание новелл, иные из которых даже лишены вообще какого бы то ни было исторического содержания. Такова, например, любопытная статья „О псе", рассказывающая об ученом слепом псе, приведенном „от запада" некиим кузнецом. Пес этот обладал необыкновенною прозорливостью и безошибочно узнавал владельцев монет, которые закапывали в землю: „и отгребая, взем усты своими, подаваше комуждо своя, и блудныя, и прелюбыдеющая, и мило-

стивыя, и немилостивыя, злыя же и благыа — вся угадываа сказываше".[1]

В Хронографе же можно было прочесть новеллу о бесе, который не мог десять дней выполнить поручение императора Юлиана Отступника, так как монах Пуплий, мимо которого должен был пройти бес, десять дней стоял на молитве, не сходя с места.[2]

Действующими лицами Хронографа, наряду с императорами, церковными властями, царями, полководцами, пророками, были и безымянные герои, что явилось совершенною новостью для проникнутого духом историзма русского летописания, всегда точного в определении тех лиц, о которых велось повествование. В Хронографе нередко действует „некий человек разумен",[3] „воин некий блуден зело",[4] „нецие же мужие"[5] и т. д. Об известных исторических лицах Хронограф говорит, как о неизвестных: „сей" Троян, „сей" Констанций и т. д.

Историческое лицо интересно не само по себе, а лишь как пример для нравоучения. История — цепь анекдотов, занимательных и поучительных. Хронограф делится не на годовые статьи, как русская летопись, а на ряд рассказов с законченным повествовательным сюжетом. Это небольшие новеллы, оканчивающиеся эффектной развязкой: наказанием за содеянное, смертью героя, сопровождаемыми нравоучительными сентенциями, составляющими существенную сторону изложения Хронографа. Обычно это раздумье над превратностью исторической действительности, над бренностью всего земного. Так, например, в повествовании о „царстве Коньстянтина Дуки" освобождение Романа из тюрьмы и женитьба его на царице сопровождается антитезой дворца и тюрьмы, кандалов и царских „бисерных" одежд, „худой" тюремной постели и царского брачного одра. Заканчивалось повествование характерным

---

[1] Там же, стр. 295 (из Хроники Амартола).

[2] Там же, стр. 275 (оттуда же).

[3] Там же, стр. 309 (оттуда же).

[4] Там же, стр. 307 (оттуда же).

[5] Там же, стр. 270 (оттуда же).

афоризмом: „таковы ти суть твоа игры, игрече, коло [колесо] житейское!“[1]

Эти нравоучительные сентенции не только замыкают статьи Хронографа — они сопровождают собою все изложение. Автор как бы руководит читателем, постоянно обращая его внимание на моральную сторону событий, на их „сокровенный“, „вечный“, вневременный смысл. Рок, судьба, всесилие бога и бессилие человека — вот темы авторских ремарок. Человека, „соблюдаемого“ божьими „крепкыми руками“, никто не может убить раньше „уреченнаго времене“.[2] Автор иронизирует над усилиями людей достичь недосягаемого.

Именно на этой нравоучительной стороне хронографических статей строится автором их литературная занимательность: неизбежность торжества истины, неизбежность наказания зла возбуждали в читателе ожидание развязки.

Тема „казней божиих“ активно звучала и в русских летописях XI—XIV вв., но имела иной характер. Слово „О казнях божиих“, помещенное в Повести временных лет под 1068 г., говорило о наказании всех людей, о наказании общем для всего народа или государства. Эти страшные кары в виде нашествия врагов, голода, стихийных бедствий, посылались богом лишь за многие грехи и сравнительно редко. Изложение исторических событий не предусматривало в русской летописи немедленного вмешательства бога. Исключения были очень редки и главным образом во вставных произведениях (наказание Святополка в житии Бориса и Глеба, наказание Владимирки в Повести Петра Бориславича и др.). Между тем, в Хронографе наказание за грехи постоянно наступало немедленно, оно было личным, возмездие с неизбежностью следовало за проступком и на этом строилось в основном все историческое повествование. В русских летописях наказание народа за грехи — наказание, вызывающее сочувствие читателя; в Хронографе — возмездие, приносящее нравственное

[1] Там же, стр. 377 (из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 288 (оттуда же).

удовлетворение читателю. Эти личные наказания всегда эффектны: мучителя Диоклитиана постигла страшная кара — его язык сгнил, тело его „кипело“ червями, он „изрыгнул“ злую свою душу, „рыкнув яко лев“.[1]

Сами по себе исторические события занимают в Хронографе подчиненное положение. Не события, а личности властителей привлекают к себе внимание автора: „царство 35 Кунтилово“, „Царство 36 Аврилианово“, „Царство 37 Такитово“, „царство Провово и Флориане“, „царство 39 Кара и Карина, сына его и Нумириана“:[2] таковы обычные заголовки статей Хронографа. В русских же летописях основную тему изложения составляет не личная человеческая судьба, а история народа и государства.

Обычно хронографические статьи открываются характеристикой властителя. Дальнейшее изложение строится, как вывод из этой характеристики, как ее иллюстрация или как неизбежное следствие его личного поведения. Вот, например, рассказ о царствовании императора Трояна. Троян царствовал в Риме девять лет; он был „мужь воиничен и победоносен, терпелив и храбр, в судех праведен и неуклонен, мерило правде“. Затем идет изложение подвигов Трояна и нравоучительный рассказ о том, как Троян дал своему епарху меч со словами: „если беззаконно царством владею, то ударь меня мечем этим и не пощади моей жизни; если же законно и хорошо правлю суд, то имей этот меч, чтобы мстить за меня врагам“. Заканчивался рассказ о Трояне нравоучительной сентенцией; на тему о беспощадности смерти.: „но и сей убо изчезе от житиа, во многых пожив победах“. [3]

Перед нами, следовательно, личная биография императора иногда сведенная только к характеристике его деятельности.[4]

---

[1] Там же, стр. 262 (из Хроники Амартола).

[2] Там же, стр. 260 (оттуда же).

[3] Там же, стр. 254 (оттуда же).

[4] См., например, описание царствования Михаила Рагкавея, сведенное к его личной характеристике (там же, стр. 330—331, из Хроники Манассии).

Естественно, что Хронограф в этих биографиях не стремился к полноте и исторической точности. В отличие от русской летописи, хронографические статьи полны баснословного и анекдотического материала, чудес, видений, вещих снов и т. д.

Поскольку личность властителя является основной причиной исторических событий, его характер рисуется обычно в Хронографе с необычайною силой экспрессии. Император — либо злодей, действующий по наущению дьявола, либо герой добродетели. „Поставиша Фоку царем, о горе! — пса беснаго, мужа разбойника, люта и гневълива и убиством дышуща",[1] — говорится о Фоке „Мучителе". В прямо противоположных чертах дана характеристика Цимисхия: „другый бяше рай божий четыре реки источаа: правду, мудрость, мужество, целомудрие".[2]

Основные христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Злоба, ярость, гнев, зависть, гордость двигает поступками злых. Благочестие и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия, подвигнутые на то ревностью к добру. Отсюда необычайная экспрессивность характеристик, отсюда гиперболы, стремление к грандиозности изображения, проникающее и подавляющее изложение.

Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди проливают „тучи слез", плачут по восьми месяцев: „и рукама терзаше власы, и браду, и главою ударяа, и слезами моча землю".[3]

Гнев, зависть служат иногда причиною смерти человека.[4] Одержимые страстями люди бессильны совладать с ними.

---

[1] Там же, стр. 302 (из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 353 (оттуда же).

[3] Там же, стр. 282 (из Хроники Амартола).

[4] „Увидев же его Констянтие самодержьством препоясавшася, яростию разжегся зело. И сего ради в недуг зол впаде и умре". Там же, стр. 274 (из Хроники Амартола).

Страсти персонифицируются, предстают в образе диких зверей:[1] „лютый зверь вражда“, „сердцеснедивый медведь“[2] и т. д. Отсюда постоянное сравнение сердца злого человека со звериным логовом, „гнездом злобы“.[3]

Образы звериного мира, примененные к объяснению человеческой психологии, не случайны в Хронографе.

Вся вселенная, с точки зрения средневекового мировоззрения, представляет собою грандиозное „училище благочестия“, в котором каждое живое существо является носителем какого-либо скрытого назидательного смысла. Животные символизировали собою человеческие страсти, ереси, вечные истины. Епифаний Кипрский в полемическом сочинении „πανάριον“ (аптека) стремится дать целую аптеку с полезными лекарствами от угрызения ядовитых животных и пресмыкающихся, под которыми разумеются ереси.[4] Вот почему в средние века получают черезвычайное развитие зоологические сказания различных „физиологов“ (сборников „естественно-научных“ рассказов), звериный орнамент, животные сюжеты архитектурных „прилепов“ и т. д.

Те же части Русского Хронографа, которые восходят по своему происхождению к хронике Манассии, обильно насыщены материалом „физиологических“ сказаний. Свойства человеческого характера, представленные в звериных образах (ярость — лев, хитрость — лисица), и самые люди, сближаемые со зверьми, — получили назидательное истолкование с помощью рассказов „Физиолога“. Иногда сравнения со зве-

---

[1] „От начала убо обънажи Фока зверя горкосердаго, внутрь сокровенаго, бяше бо нравы убийца, сластолюбив, свирепообразен, пивница, скорогневлив, кровопийца, яко тяжкоумъный лев плоти снедати погубляемых человек и кров пити сладчайши мъста вменяше“ (Там же, стр. 302, из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 360 (оттуда же).

[3] Там же, стр. 360 (оттуда же).

[4] А. Иванцов-Платонов. „Ереси и расколы первых трех веков христианства“, М., 1877, стр. 297.

рями даны в обычной манере афоризмов,[1] иногда же сравнения даются в виде развернутых картин. Так, например, император Никифор Ватаниот, женившийся на старости, пространно сравнивается с златоперой „кикносом", которая, прежде чем сойти в старости в гроб и „скрытися", начинает веселиться.[2]

Обильные сравнения, приводимые в Хронографе из мира животных, имеют в виду главным образом людские поступки действия. Они придают изложению необычайную динамичность, усиливают его экспрессивность. „Изскочи убо Роман, яко зверь ис тенеть и яко орел от сети".[3] „Огненный дерзостью" Фома наскочил на своего противника „с великим стремлением, яко вепрь [кабан] из луга и дубравы многодревны, или щенець питаем в горах лвица лютыа и кровояднуа".[4]

Все движется и живет в повествовании Хронографа. События описываются в нем в резких красках, сравнения из области звериного мира экспрессивны, при этом изложение обильно насыщено психологическими характеристиками. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Если царь зол, то и рать его „злоратная",[5] стража его — „злостража",[6] сильный ветер „свереподыханен"[7] и т. д. Многочисленные эпитеты, всегда оценочные, назойливо сопровождают изложение. Земля не выносит злодейств императора Фоки Мучителя и испускает „безгласные вопли" на „тигропардоса беснаго".[8] При ослеплении императора Констан-

---

[1] „Царь бо, не имея многобогатнаго, подобен есть орлу привету и престару, не имущю периа и ноктей и клюна" (Полн. собр. русск. лет., т. XXII, стр. 351, из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 381 (оттуда же).

[3] Там же, стр. 379 (из Хроники Манассии, ср. характеристику князя Романа Галицкого в Ипатьевской летописи, 1201 г., и др.

[4] Там же, стр. 336.

[5] Там же, стр. 303 (из Хроники Манассии).

[6] Там же, стр. 381 (оттуда же).

[7] Там же, стр. 304 (оттуда же).

[8] Там же, стр. 303 (оттуда же).

тина „стихиа бо сами о беде плакаху".[1] Как одушевленные существа, ведут себя и города — Рим,[2] Константинополь, Антиохия,[3] Иерусалим.[4]

Мир всепожирающих зверей, облака, тучи, ветры, бушующее море и отзывающиеся его прибою берега, молнии, звезды, луна, солнце — все полно одушевленного движения, втянуто в ход истории. Всё смятено, всё ужасно, всё полно тайны и сокровенного смысла.

При этом ничто не стоит. Хронограф описывает только действия, поступки. Характер людей раскрывается через их действия. Храбродушие было заключено в сердце Фоки как головня в пепле, когда же пришло время действию и когда колесо „злотекущего естества" поставило Фоку на колесницу царства, тогда Фока раскололся, как молния и обтек все варварские племена, как огонь, который, попав „во юдоль многодревну", гонимый ветром, проходит повсюду, пожирает сад и попаляет холмы.

Эти настойчиво повторяющиеся сравнения и сближения с явлениями природы и самые отклики природы на события человеческой жизни усиливают драматичность повествования. Эта драматичность повествования, своеобразный панпсихологизм, обилие психологических характеристик — все это находится в неразрывной связи с общей эмоциональной приподнятостью изложения. Хронограф постоянно пишет о чувствах героев и обращается к чувствам читателей. Слезы, рыдания, плач — обычны в изложении исторических событий. Особую эмоциональность придают изложению авторские восклицания, вносящие в него субъективизм. „О горе!,[5] „О всевидящее

---

[1] Там же, стр. 324 (из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 325 („Повесть о Латинех, как отступиша от православных патриарх").

[3] Там же, стр. 359.

[4] Там же, стр. 332 (из Паралипомена Зонары).

[5] Там же, стр. 354 (из Хроники Манассии).

солнце!"[1] „О зависти, зверо лютый!"[2] „О солнце и земле!",[3] „Что же по сих",[4] „Оле, божиих судеб",[5] „Оле, оле, доброненавистная душа! Увы, увы, разуме зверовидный".[6]

Иногда эти восклицания переходят в длиннейшие тирады как бы не сумевшего сдержать своих чувств автора. Эти тирады посвящены обычно какой-либо одной нравоучительной мысли: всемогуществу жестокой смерти, бренности всего земного, могуществу золота и т. д.

„О злато, гонителю и мучителю прегордый, градовом разорителю! О злато, умягьчаеши жестокаго, а мягъкаго ожесточаеши, язык отврьзаеши безгласному, а глаголиваму затыкаеши уста, блещанием своим в желание улавляеши сердца, яко и камение мягко твориши! Хто от пресильныа твоеа крепости можеть избежати?[7] Или: „О зависти, зверю лютый, разбойниче, гонителю, скорпие (скорпион) многожалная, тигру человекоснедный, былка смертная!" Разразившись этой тирадой, автор оправдывается в своей несдержанности: „горесть бо душевная глаголати принужаеть".[8]

Такие отступления придают повествованию Хронографа исключительную эмоциональность. Автор как бы не может удержать своих чувств, но одержим необходимостью высказаться. Чувства, а не рассудок владеют его пером, он подавлен грандиозностью событий, героизмом благочестивых, подлостью злых. Речь его превращается в сплошной поток: образы, сравнения, эпитеты заполняют текст. Автор как бы не находит точных, необходимых слов для выражения своих мыслей: он нагромождает синонимы, уснащает речь сравнениями, обильно пользуется неологизмами и т. д., и т. п.

---

[1] Там же, стр. 318 (из Хроники Манассии).
[2] Там же, стр. 297 (оттуда же).
[3] Там же, стр. 345 (оттуда же).
[4] Там же, стр. 404 (из жития Стефана Сербского).
[5] Там же, стр. 316 (из Хроники Манассии)
[6] Там же, стр. 317 (оттуда же).
[7] Там же, стр. 301 (оттуда же).
[8] Там же, стр. 297 (оттуда же).

Отсюда неопределенность выражений, как бы не отлившихся еще в законченную форму. Отсюда поиски слов и неотвязно повторяющаяся мысль о бессилии человеческого языка выразить переживаемые чувства: хронист отказывается описать „храбрьствиа красная добрых царей“ и „мужь храбрых“ — „их же не мочно языком житиа преплути“.[1]

Автор постоянно подбирает слова и стремится дать как можно больше синонимов: „зловозвестница и чародейница и зловолшебъная пророчица“,[2] „разжизаньми бо и разгоренми плотьскыми цветяще“,[3] „благообразень и доброзрачен“,[4] „долголетен и стар“,[5] „тяжкошумящий и съверепогласящий“[6] и т. д.

Очень часто употребляются полусинонимические сочетания. Так, например, о Василии царе рассказывается, что он отвращался еды и отринул „гладкое“, „покоищное“ и „слабое“ житие, возлюбил же „жестокое“ и „бридкое“ дело, возлюбил оружие, щиты, шлемы и стрелы больше услаждающих капель меда и вина.[7]

Из языка Хронографа изгнаны столь обычные в русской летописи просторечные выражения, дипломатические, юридические, ратные термины, даже просто прямые обозначения бытовых явлений. Они заменены перифразами; речь приподнята, торжественна, она сближена с языком проповеди, житий богослужения.

Постоянные и обильные перифразы насыщают речь такими словами как „сиречь“, „рекше“, „сице“: „доброводный Истр сиречь Дунав“,[8] „на свет произвести ... клас, рекше сына родити“.[9]

---

[1] Там же, стр. 381 (из Хроники Манассии).
[2] Там же, стр. 378 (оттуда же).
[3] Там же, стр. 376 (оттуда же).
[4] Там же, стр. 370 (оттуда же).
[5] Там же, стр. 380 (оттуда же).
[6] Там же, стр. 365 (оттуда же).
[7] Там же (оттуда же).
[8] Там же, стр. 363 (оттуда же).
[9] Там же, стр. 375 (оттуда же)

Нагромождение синонимов, перифраз составляет необходимую черту особенно характеристик действующих лиц. Так, например, император Роман был „жесток, гневлив, горд, яролюбив, самомудр ...“ [1]

Эпитеты почти отсутствуют в русских летописях. В Хронографе, наоборот, эпитет составляет существенный элемент стиля, при этом, как вообще в средневековой литературе, эпитет всегда выделяет основные, наиболее постоянные качества объекта: „мясоедный лев“,[2] „толъстотрапезная гостьба“ (т. е. угощение)[3] и иногда впадает в тавтологию: „тяжкогневная ярость“,[4] „многовоздыханная стенаниа“[5] и т. д., и т. п.

Составленный мозаично, из различных источников, Русский хронограф представлял собою в целом произведение единое и стилистически, и идейно. Единство Хронографа в значительной мере зависело от единства понимания задач исторического повествования, резко расходившегося с летописным.

Для летописца самое важное заключалось в исторической правде. Летописец ценил документальность своих записей, он бережно сохранял записи своих предшественников, он был историком по преимуществу.

Составитель Хронографа был, наоборот, литератором. Его интересовал не исторический, а назидательный смысл событий. Как человека своего времени, его уже интересовала человеческая психология, его изложение было пронизано субъективизмом, он заботился о риторической приподнятости стиля. Его отношение к материалу было по преимуществу литературным.

Постепенно Русский хронограф начинает оказывать значительное влияние на летопись. Хронограф сыграл важную роль в выработке повествовательного, литературного стиля исторической прозы второй половины XV—XVI вв. Однако влияние

---

[1] Там же, стр. 380 (из Хроники Манассии).

[2] Там же, стр. 318.

[3] Там же, стр. 298 (оттуда же).

[4] Там же, стр. 324 (оттуда же).

[5] Там же, стр. 313 (оттуда же).

Хронографа сказалось не сразу. Хронограф влиял на летопись в тех только случаях, когда перед летописным сводом ставились его составителем по преимуществу литературные задачи. Первоначально, пока в летописании преобладали чисто исторические задачи, влияние Хронографа было эпизодическим, но по мере того, как исторические функции отдавались государством в приказы, в архивы, в разрядные книги (*об этом ниже*), а перед летописью начинали ставиться задачи политического воспитания граждан, влияние Хронографа все увеличивалось. Хронограф вытеснил собою летопись, хронографический, риторический стиль окончательно возобладал в историческом повествовании.

Следы новой литературной манеры могут быть обнаружены уже в тех летописных записях, которые ведут свое происхождение от Летописца великого русского 1463 г. Анализируя состав московского летописного свода 1472 г., восстанавливаемого на основании Никаноровской летописи, Великопермской, Кирилло-белозерской № 251 и Синодальной № 465, М. Д. Приселков пришел к выводу о существовании великокняжеского летописания, в частности и свода 1463 г., последние записи которого читаются сейчас в Симеоновской летописи под 1425—1463 гг.

М. Д. Приселков предполагает, что основная часть летописных статей 1425—1463 гг. была составлена по указанию Василия Темного, пожелавшего отметить в своем летописце всех своих сторонников, всех помогавших ему в трудных обстоятельствах его княжения, независимо от их положения в служебной иерархии.[1]

Можно думать, что какое-то участие в составлении великокняжеского летописания Василия Темного принимал Троице-сергиев монастырь. Троице-сергиев монастырь издавна имел прочную летописную традицию. Летописные записи Троице-серги-

[1] Ср. „Осиа именем“ (там же, стр. 191), „именем Никифоринок“ (там же, стр. 197), „Бунком зовуть его“ (там же, стр. 197), „Ростопчею звали“ (там же, стр. 202), „Полтинкою зовуть“ (стр. 202), „чернец ... именем Наум“ (там же, стр. 214).

ева монастыря могут быть обнаружены в своде 1409 г. В Никоновской летописи имеются подробные записи о кончине троице-сергиевых монахов XIV в.,[1] что свидетельствует о том, что в ее составе были использованы троице-сергиевские летописные записи. Впоследствии келарь Троице-сергиевого монастыря Авраамий Палицын утверждал, что летописание велось непрерывно от „великого князя Дмитрия Ивановича Донского даже и до благовернаго великаго царя Федора Ивановича, всея Русии.[2] Один из троицких летописцев сохранился до нас в рукописи XVI в.[3]

Нет поэтому ничего удивительного в том, что в летописании Василия Темного обнаруживается рука троицких летописцев: события, происходившие в Троицком монастыре, описаны с подробностями, которые могли быть известными только очевидцам, отмечены постройки, предпринимавшиеся в Сергиевом монастыре, летописцы прославляют монастырь новыми чудесами, наконец, включили сюда и рассказ о флорентийском соборе, составленный со слов проживавшего в монастыре около 1441—1443 гг. священника Симеона.[4]

То обстоятельство, что записи 1425—1463 гг. составлялись именно в Троицком монастыре, где работал и Пахомий Логофет над Русским Хронографом, объясняет нам, почему в них впервые отразилась струя хронографической стилистики. Автор летописных записей 1425—1463 гг. подчеркивает в Василии Темном добродетель смирения,[5] он вводит в свой рассказ

---

[1] Летопись занятий Археографической комиссии, VII, стр. 172—173; Никоновская летопись, IX, стр. 152.

[2] „Сказание Авраамия Палицына", Русск. ист. библ., т. XIII, 1909, стр. 1175.

[3] Летописи занятий Археографической комиссии, III, стр. 18—26 и др. Летописец обнимает события 1513—1540 гг.

[4] См.: Журнал Мин. нар. просв., 1895, № 7, стр. 145; А. Попов. „Историко-критический обзор полемических сочинений против латинян", стр. 339—340; В. Ключевский. „Жития святых как исторический источник", М., 1871, стр. 117—118.

[5] Василий Темный просит прощения у своих врагов, произносит перед ними покаянные речи (Симеоновск. лет., 1447, стр. 201).

чудесный элемент, прибегает к однообразным, типичным для Хронографа стилистическим приемам: „яко псп на лов“,[1] „якоже на лов сладок“,[2] „якоже некоторый сладкий лов уловивъше“[3] и т. п.

Существенно новым было также привнесение в свод 1463 г. типичного для Хронографа морально-учительного и баснословного элемента. Как ни слаб был еще этот элемент в записях 1425—1463 гг., он заслуживает пристального внимания, так как именно ему суждено было впоследствии чрезвычайно усилиться в летописании XVI в. и привести к постепенному забвению строгих летописных традиций предшествующих веков.

Вымысел присутствует уже в рассказе 1425 г. о посредничестве митрополита Фотия между Василием Васильевичем Темным и его дядею Юрием Дмитриевичем. Митрополит отправился к Юрию в Галич и тщетно пытался договориться с ним об уступках. Юрий не послушал митрополита; тогда разгневанный митрополит покинул Галич, не благословив ни Юрия, ни города, и немедленно же начался мор „на людие и град его“.[4] Испуганный Юрий вскочил на коня, догнал митрополита и бил ему челом, умоляя вернуться и дать благословение ему и городу. Митрополит вернулся, „и от того часа преста гнев божий“.[5]

Рассказ следующего года (1426) о нападении Витовта на Опочку близко напоминает рассказ Хронографа по экспрессивности и нравоучительности. „Гонимый божиим гневом“, Витовт со срамом отступил от Опочки и по дороге был застигнут сильною грозою. На смерть перепуганный Витовт, отчаявшись в жизни, схватился за шатерный столб и вопил: „«Господи помилуй», стоный, трясыйся, мня ся уже землею пожрен быти и в ад внити“.[6]

---

[1] Там же, стр. 196.
[2] Там же, стр. 197.
[3] Там же, стр. 198.
[4] Там же.
[5] Там же, стр. 168.
[6] Там же, стр. 169.

Вслед за небольшой по объему статьей 1427 г., вновь видим уже тот же нравоучительно-легендарный элемент в повествовании 1428 г. В статье этой передается баснословный рассказ о колоссальной пушке Галке, которую Витовт подвез к Порхову. Она была так велика, что ее с трудом везли 40 коней до полудня и 40 коней после полудня. Пушкарь — мастер Николай — „похвалился“ Витовту: „не токмо, княже, сею пушкою пиргос [башню, стрельницу] разбью, но и церковь, иже Николу в граде, раздражу“;[1] между тем и стрельница и церковь, которые похвалялся разбить Николай, были каменные. Первый выстрел из Галки действительно до основания снес стрельницу, разбил переднюю стену церкви Николы и заднюю в алтаре, но не убил и не устрашил даже священника, служившего литургию: ядро вернулось назад, сорвало по пути зубцы со стены, убило полотского воеводу, избило много людей и коней, самого же пушечника-немчину Николая, „похвалшагося на святого Николу“, разорвало и разметало „невидимо где“.[2] Ни тела его, ни костей нельзя было найти.

Нравоучительный и чудесный характер придан поражению русских от татар в 1438 г.;[3] чудесный элемент присутствует в описании смерти Дмитрия Красного под 1441 г. и в других статьях 1425—1463 гг. „свода 1472 г.“ Назидательный характер летописных рассказов сочетается с введением явно вымышленных речей действующих лиц.[4] Постепенно, но все заметнее и заметнее исчезает интерес к летописной записи как к документу. В летописи усиливается повествовательность, появляется вымысел, назидательные тирады. Летопись сближается с Хронографом.

---

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] Симеоновск. лет., стр. 189.

[4] Так, например, под 1456 г. в Симеоновской летописи (стр. 210) введены явно вымышленные речи москвичей, произнесенные ими по случаю приближения пятитысячного войска новгородцев.

4

Стремление к полной литературной переработке предшествовавшего летописного текста с годами все усиливается. Летописные записи предшествующих веков все чаще и чаще переделываются, они уже не сохраняются, их документальное значение постепенно перестает осознаваться. Вот почему так трудно *выяснять* состав поздних летописей. К таким летописям, которые включали в свой состав предшествующие летописные своды в сильно переработанном виде, *принадлежит* и знаменитая Никоновская летопись — официальная летопись Русского государства, составленная в середине XVI в.[1]

Переработка предшествующего летописного текста совершается в летописных сводах XVI в. главным образом путем *так называемого „риторического распространения"*. Это „риторическое распространение" обычно в литературе XVI в., но термин этот неточно передает сущность этого чрезвычайно важного литературного явления, свидетельствующего о новых требованиях, предъявляемых к литературному произведению. Создание пространных редакций первоначально кратких литературных произведений преследовало не столько задачу риторического украшения стиля, сколько придание повествованию внутренней логики: мотивировок поступков, психологических объяснений.

В самом деле, летописные записи XI—XV вв. не знают внутреннего, имманентного развития действия. События описываются в летописи XI—XV вв. чисто внешне; лишь наружное *проявление* человеческой психологии отмечается в летописи. Летописец XI—XV вв. спешит, он переходит от факта к факту и не останавливает своего внимания на побуждениях человеческих поступков.

Эта старая манера летописного рассказа уже не удовлетворяет. Не только новые летописные статьи пишутся согласно

---

[1] См. датировку древнейших списков у С. П. Розанова: „«Никоновский» летописный свод и Иоасаф как один из его составителей", Известия Отд. русск. яз. и слов Ак. Наук, 1930, т. III, кн. 1.

новым литературным требованиям, но систематической переработке подвергаются и прежние.

Работа редакторов над отдельными списками Никоновской летописи поможет нам уяснить это явление. Удобный материал представляет Толстовский VII (Голицынский) список Никоновской летописи, представляющий собою позднейший[1] обработанный и „украшенный" летописный текст.

Все наименования даются в Толстовском списке в полном, „официальном" виде. Привычные для предшествующего летописания лапидарные названия людей, церковных праздников, постов, святых и т. д. заменены в Толстовском полными обозначениями. Так, вместо слов. „На Петров день" в Толстовском читается: „в праздник же святых верховных апостол Петра и Павла".[2] К наименованиям добавляются характеристики и эпитеты. Так, вместо слов „на Москве" в Толстовском читается: „в богоспасаемом же граде Москве",[3] вместо „а новгородские посадници все и тысяцкие" в Толстовском читается: „а оканнии изменници новгородские посадницы и тысячские"[4] и т. д.

Составитель редакции Толстовского списка заботится о последовательности развития действия, о введении промежуточных подразумеваемых моментов, о картинности повествования. Так, например, под 1471 г. в Толстовском списке распространена „программа" молитвословий, произнесенных

---

[1] Это можно видеть хотя бы на основании некоторых изменений, явившихся результатом непонимания составителем Толстовского VII (Голицынского) списка текста, правильно понятого в других списках Никоновской летописи: Академ. XIV, Оболенск., Академ. XVI, Архивск. II, Публичн. (Строг.) и Троицк. Так, в летописной статье 1471 г. читается имя новгородского посадника „Феодора Табазина"; в списке Толст. VII (Гол.) это имя прочтено неправильно: „Феодота Базина". Полн. собр. русск. лет., т. XII, СПб., 1901, стр. 138).

[2] Никоновская летопись, (Полн. собр. русск. лет., т. XII, СПб., 1901, стр. 132.

[3] Там же, стр. 132.

[4] Там же, стр. 135

якобы Иваном III перед отправлением в поход на Новгород.[1] При возвращении Ивана III из похода с победою, вместо скупых слов основного текста Никоновской летописи „и бысть радость", — Толстовский список дает картинное описание радости Ивана III и его благодарственных молитв Богоматери.

„Истовость", обстоятельность этих распространений лежит в связи со стремлением описывать события как можно подробнее. Составитель их не сомневался, что все события произошли именно так, как они д о л ж н ы были бы произойти с точки зрения христианского мировоззрения. Так, например, если князь-полководец благочестив, автор распространяемой редакции не сомневается в том, что перед битвой он помолился богу, а после победы воздал благодарственную молитву богу. Автор не сомневается в том, что победившей стороне помогал сам бог, что ее победа объясняется ее смирением и т. д. Наоборот, враги благочестивого князя двигаются с неисчислимым войском, „пыхая духом гордости", рассчитывая „поглотить" войско благочестивого князя, „яряся" и „хваляся" своею силою. Отсюда многочисленные „штампы", общие места этих распространений, известные и раньше или восходящие во многих случаях все к тому же Хронографу, — казавшемуся образцом литературной умелости.

Чрезвычайно важное место во всех этих распространениях занимает психология действующих лиц. Постоянные ссылки на переживания героев повествования увеличивают экспрессивность действия. Так, например, в основной редакции Никоновской летописи сказано, что новгородские воеводы, сидевшие в городке Демоне, „добили челом", в Толстовском же списке добавлено: „с великим молением и покланянием".[2] В основной редакции сказано, что „Князь же великий их деля[3] (для) пожаловал", а в толстовской прибавлено „умилосердися".

---

[1] Там же, стр. 131.
[2] Там же, стр. 1 37.
[3] Там же, стр. 139.

Раскрытие субъективного мира действующих лиц в значительной мере дается через их речи и молитвы, в которых они выражают свои намерения и побудительные причины своих поступков. Вот почему, стремясь объяснить исторические события через психологию властителей, исторические повествователи XVI—XVII вв. так часто вставляют в уста своих действующих лиц пространные речи. Эти речи раскрывают „внутреннюю“ сторону событий, которой усиленно начинает интересоваться отныне историческая мысль.

Глава 19

АРХИВЫ И ЛЕТОПИСЬ

1

Проникновение в летописание хронографического стиля, усиление чисто литературных сторон летописания в ущерб исторической точности — не были результатом ослабления исторического интереса. Наоборот, интерес к русской истории неуклонно растет, потребность в точных хронологических справках становится все больше, и летопись уже не может одна ответить на эти запросы.

Целый ряд признаков, далеко еще не изученных, свидетельствует о том, что во второй половине XV в. в Москве усиленно развиваются широко поставленные государственные архивы. Этого требовало новое положение Москвы, как центра русских и как областей европейского государства. В Москву свозятся документы вновь присоединенных областей, вместе с тем появляется стремление точно фиксировать все этапы переговоров с иностранными государствами.

Хотя точка зрения В. О. Ключевского на организацию посольского приказа именно в 60-х годах XV в. при Иване III[1] была впоследствии оспорена, тем не менее не оставляет сомнения колосальный сдвиг, произошедший в княжение Ивана III

---

[1] „Боярская дума древней Руси", стр. 171.

в посольской документации, в связи с расширением дипломатических отношений русского государства. Начало первой посольской книги посольского двора (1487 г.) совпадает с началом возбужденного Иваном III вопроса о воссоединении Западной Руси.

Первоначально в посольские книги заносились лишь верющие грамоты, посольские речи, ответы на них и договоры. Однако затем содержание посольских книг расширяется. В них начинают записывать наказы послам, донесения их о посольствах, подорожные и прочие документы. Акты первых посольских книг кратки, но к концу княжения Ивана III и при Василии III они обширны, точны, отличаются выработанным языком (в частности, установившейся терминологией, законченностью формулировок) и разнообразием содержания.

При Иване III вырабатывается и характер разрядов. Компиляции с летописно-разрядными выписками встречаются уже в конце XIV в., но только при Иване III вырабатываются собственно разряды, как законченный тип документа.

Повидимому, с конца XV в. Посольский приказ имеет отношение к летописанию. Позднейшие описи[1] отмечают наличие в архиве Посольского приказа летописцев, выписок из летописцев — различного рода справочного исторического материала. Русские дипломаты всегда широко пользовались исторической аргументацией, и та связь, которая установилась с конца XV в. между московскими дипломатами и московскими летописцами, была далеко не случайной.

С 70-х годов XV в. русское великокняжеское летописание, ставшее летописанием Русского национального государства, широко отражает это усиление государственного архива. Летопись проникается стилем и содержанием деловых бумаг московских приказов. Она отражает в первую очередь внешние сношения Русского государства — деятельность Посольского приказа.

[1] Основу посольского архива составлял царский архив. См. его опись в I томе Актов Археографической экспедиции.

Новый характер летописания отчетливо виден уже в официальных великокняжеских сводах 1472 и 1479 гг. Свод 1479 г. принадлежит к числу наиболее достоверных и точно определенных сводов московского летописания второй половины XV в. Хотя основные рукописи, отражающие состав этого свода, до сих пор не изданы,[1] однако Воскресенская летопись, переработавшая его в своем составе, Никоновская и Симеоновская имевшие его в числе своих источников, дают достаточное о нем представление. Во всех этих летописях текст 1460-х — 1470-х годов представляет разительный контраст предшествующему летописанию как в объеме записей (необычайно пространных), так и в содержании их, и в стиле.

Два события, идейно объединенные между собою, составляют центр изложения свода 1479 г.: присоединение Новгорода и построение Успенского собора в Москве. Связь эта не случайна: постройка нового Успенского собора в сознании русских правительственных кругов соединялась с присоединением Новгорода. То и другое событие было ознаменовано составлением летописного свода, в основном посвященного описанию новгородского похода Ивана III и оканчивающегося описанием торжественного открытия нового центра русской церкви.

Описание новгородского похода 1471 г. составлено, повидимому, спустя некоторое время: события взвешены, оценены, им придано тенденциозное истолкование. Новгородцы рассматриваются в нем, как изменники Русскому государству, как отступники от православия. Самый поход изображается как выполнение божественной воли. Бог помогает войскам великого князя, отступники-новгородцы бегут, гонимые страхом божиим. Так же подробно и тенденциозно описаны все последующие перипетии борьбы Ивана III с Новгородом и его второй поход — 1478 г.

---

[1] См.: А. А. Шахматов. „Обозрение...“, стр. 257; М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XV вв.“, Л., 1940, стр. 176 и след.

Пространность повествования в значительной степени объясняется обилием приводимого в летописи документального материала. В летописи поименно перечислены бояре, приехавшие служить Ивану III из Твери (1476 г.), дословно передано содержание псковской грамоты Ивану III (1478),[1] поименно перечислены новгородские опасщики (1478 г.),[2] точно передано содержание всех дипломатических переговоров с новгородцами, приведены выдержки из грамот Ивана III псковичам (1478 г.),[3] перечислены новгородские послы и передан текст их челобитен (1478 г.), сообщается, кто командовал полками, приводится диспозиция — где стать полкам, приведен ответ новгородцев Ивану III (1478 г.),[5] подробно переданы речи Ивана III (1478 г.),[6] и т. д.

Такая точность в описаниях походов Ивана III находит себе реальное объяснение в том, что оба описания зависят от разрядов: первый в меньшей степени, второй — в большей.

Разряд второго похода Ивана III на Новгород, по словам Г. Карпова,[7] хранящийся в б. Архиве Министерства иностранных дел, начинается с 19 ноября 1478 г. Разряд слово в слово сходен с летописью и заканчивается словами: „а подлинно написал новгородской поход большой летописец".

Летопись всё более и более становилась сводом важнейших государственных документов: разрядов, статейных списков,[8] реестров и т. д., и т. п. В специальной статье 1478 г. „О селах владычних и монастырских" точно перечислены земли новгородских монастырей и новгородского архиепископа, взятые на

---

[1] Симеоновск. лет., стр. 257.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 258.

[4] Там же, стр. 258—259.

[5] Там же, стр. 260.

[6] Там же, стр. 261.

[7] „История борьбы Московского государства с Польско-литовским", М., 1867, стр. 78, прим. 58.

[8] Почти все переговоры новгородцев и москвичей в летописи после речи Феофила представляют собою сокращения статейных списков.

себя Иваном III;[1] приводится даже описание внешности грамот, говорится о подписях и печатях.[2] С протокольною точностью сообщается о том, как приводили новгородцев к крестному целованию,[3] перечислены поминки, которые „явил владыка пред столом великому князю".[4] Все чаще и чаще останавливает летописец свое внимание на описании внешности грамот. Так, например, под 1478 г. говорится о целовальной записи: „а писал ее диак владычень, а подписал владыка своею рукою и печать свою приложил, да и с пяти концов по печати приложили".[5]

Интересы государственного делопроизводства сказываются и в рассказе о том, как послы великого князя ошиблись в грамоте к римскому папе, назвав его не тем именем. Грамота, адресованная папе, именовала его Калистом; на самом же деле, как выяснили послы по дороге в Рим, его звали Систюсь, „и о том мысливше межи себе, переписаша имя того, Калистово выгладив, Систюся написаша".[6]

Под конец княжения Ивана III записей, составленных на основании официальных документов, сохранилось особенно много. Но летопись еще не является только сводом официальной документации. В ней встречаются и записи, сделанные самими летописцами по слухам или как очевидцами, но стиль этих записей уже не тот, что раньше, — они составлены с приказною точностью: „а слышал то Гридя митрополичь ключник, а митрополиту сказывал в пятницу ту порану дворецкой его Сухан, а туто был Володимер да сын его Голова, да протопоп Феодор Благовещенской туто же тогда был".[7]

---

[1] Симеоновск. лет., стр. 262.

[2] Там же, стр. 263, 264 и 265.

[3] Там же, стр. 264.

[4] См. Ростовск. лет. (Библиот. б. Архива мин. Ин. дел., № 20—25) и Воскресенскую летопись.

[5] Софийская II летопись, стр. 208.

[6] Симеоновск. лет., 1472 г., стр. 237.

[7] Воскресенск. лет., Полн. собр. русск. лет., т. VII, ч. II, 1480 г., стр. 205 (продолжение свода 1479 г.).

Соответственно этому документальному характеру летописных записей летописец обнаруживает также пристрастие к точным хронологическим расчетам и выкладкам. Так, например, путешествие Софии Палеолог в Москву рассчитано по дням: „того же лета в 21 пришла царевна кораблем в Колывань, а *носило их море* 11 день. Ис Колываня пошли октября 1, а в Юрьев пришли того же месяца 6, а в Псков пришли октября 11. Псковичи же въздали честь велику царевне и всем, иже с нею, и дары царевне; а были ту 7 дней. А в Новгород въехали октября 25, а выехали октября 30. . ." и т. д.[1] Эта любовь составителя свода 1479 г. к точным хронологическим справкам была особо отмечена М. Д. Приселковым: „Приступают к закладке новой Успенской церкви, а летописатель уже подсчитал, что старая стояла 146 лет без трех месяцев; переносят из старой церкви, предназначенной к разрушению, гробы митрополитов и князя Юрия Даниловича, а летописатель уже отмечает, что от смерти Киприана прошло 65 лет и 9 месяцев без 18 дней, от смерти Фотия — 41 год без 34 дней, от смерти Ионы — 11 лет и 2 месяца, а от убиения князя Юрия 147 лет".[2] Так же точен составитель свода 1479 г. и в своих топографических справках.[3]

Перед нами работа опытного канцеляриста, имеющего под руками все необходимые документы великолепно налаженного государственного архива. Летописец умеет составлять необходимые справки и быть точным в своих утверждениях.

Язык делового письма широкой струей вливается в летопись вместе с цитируемыми документами. Летописный язык подвергается изменению; специфически летописные обороты в изображении современных летописцу событий и воинских эпизодов исчезают из летописного обихода, хотя удерживаются островками там, где речь идет о предметах, незнакомых при-

---

1 Симеоновск. лет., 1473 г., стр. 244.

2 „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 183.

3 См., например, указания на местонахождение гроба митрополита *Ионы* под 1473 г. (Симеоновск. лет., стр. 246).

казному делопроизводству — о погоде, о стихийных бедствиях и т. д.

Однако, в том же своде (1479 года), наряду с точнейшими и кропотливейшими выкладками и строгою документированностью изложения на основе справок из государственных архивохранилищ, выступает и прямо противоположная тенденция, влекущая летописание к сознательным искажениям действительности, к тенденциозному освещению событий в духе государственной идеологии своего времени.

М. Д. Приселков отметил ряд искажений, допущенных составителем свода 1479 г. при обработке известий предшествовавших сводов.[1] Это были первые случаи сознательной переделки предшествующего летописного текста. До того тенденциозная обработка летописных источников лишь комбинировала даваемые ими сведения, но почти не допускала сознательной лжи.

Такие „исправления" в тексте имеются в своде 1479 г. и под 1339 г., где летописец устранил указание на то, что московский князь Иван Калита содействовал убийству тверского князя Александра Михайловича, и под 1341 г., где не московский князь Симеон целует крест новгородцам, а новгородцы целуют крест Симеону, давшему им мир. Серьезно искажает предшествующие летописные тексты и та переделка переговоров с новгородцами Василия Дмитриевича, которую читаем в своде 1479 г. под 1398 г.: не новгородские послы „взяли" мир у Василия Дмитриевича, а сам Василий Дмитриевич „взял" мир у новгородцев, „пожаловав" их тем самым и дав им великим князем „и в свое место" своего брата — Андрея. Наконец, под 1171 г. к сообщению об изгнании князя Романа новгородцами летописец добавил: „таков бо бе обычай окаянных смердов изменников".[2]

Тенденция всех этих изменений ясна — она совпадает с официальной идеологией Москвы, выраженной в словах Ивана III

---

[1] „История русского летописания XI—XV вв.", 1940., стр. 184—185.

[2] Воскресенск. лет., ч. I, Полн. собр. русск. лет., т. VII, стр. 87.

новгородцам: „отчина есте моа, люди новгородстии, изначала от дед и прадед наших, от великого князя Володимера, крестившаго землю Рускую, от правнука Рюрикова, перваго великого князя земли вашей; и от того Рюрика даже и до сего дни знали естя един род трех великих князей, преже киевских до великаго князя Дмитреа Юрьевича Всеволода Володимерскаго, а от того великаго князя, даже до мене, род их мы владеем вами, и жалуем вас, и бороним отвселе, а и казнити волны же есмы, коли на нас не по старине смотрити почнете".[1]

Раздражение летописца против новгородцев выводит его из рамок спокойного летописного изложения. Летописец говорит о новгородцах в тоне крайнего возмущения. Противники московского великого князя вызывают в летописце поток ничем не сдерживаемой брани. Люди эти, — говорит летописец, — „яко взбеснеша", как „звери дивии", имеющие бесчеловечный разум, не захотели слышать речей князя и митрополита, они наняли „злых тех смердов, убийць, шилников и прочих безъименитых мужиков", подобных скотам, не имеющих разума, но только могущих кричать. Они называли государем Великий Новгород, а нанятые мужики приходили на вече, били в колокол и кричали, и лаяли как псы: „за короля хотим".[2]

Неспокойная, эмоциональная речь, прерываемая восклицаниями, наполненная риторической шумихой и образами животного мира („безсловесная животная", „лааху яко пси", „яко лви рыкающе", „яко звери дивии"[3] и т. д.) сближает отдельные части московского великокняжеского свода 1479 г. с Хронографом.

Таким образом, свод 1479 г. уклоняется от традиционного летописного изложения. Он испытывает на себе явное и все усиливающееся влияние приказного делопроизводства, откуда заимствует и текст большинства приводимых в нем документов.

---

[1] Там же, ч. II, Полн. собр. русск. лет., т. VII, 1471 г., стр. 160.

[2] Там же, стр. 161.

[3] Там же, стр. 164.

Однако наряду с этим в своде дает себя чувствовать и новая хронографическая повествовательная манера, мало считающаяся с исторической правдой, тенденциозная и нравоучительная. Эти две тенденции будут затем неизменно расти, в конце концов приведя к замене летописания приказным делопроизводством, с одной стороны, и исторической повестью — с другой.

2

Приказное делопроизводство и свободное историческое повествование в стиле Хронографа оказывает все большее и большее влияние на русское летописание. На смену летописи постепенно приходят произведения совершенно различных типов: с одной стороны, летопись превращается в реестр документов посольского приказа, с другой стороны, она приближается к историческим повестям, посвященным короткому промежутку времени, или истории Руси в целом, изображаемой в чисто хронографической манере („Степенная книга").

В летописях начала XVI в. обе манеры еще совмещаются, причем хронографическая манера сказывается, главным образом, в тех частях летописи, которые составлялись на основании предшествующих летописных источников и теперь перерабатывались в новой повествовательной манере, а манера документально-приказная давала себя чувствовать в описании современных летописцу событий, где летописцу приходилось творить за свой страх и риск в привычной ему форме приказного делопроизводства.

Так, Никоновская летопись в части, составленной на основании предшествующих летописных сводов, перерабатывала их в новой повествовательной хронографической манере, „распространяла" их краткие записи (см. выше главу I), в части же новой следовала содержанию документов.

Последнее большое летописное произведение, совместившее обе стихии — приказно-документальную и хронографическую — „Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича".

На „Летописец начала царства", читающийся в Патриаршем списке Никоновской летописи и в Львовской летописи за годы 1534—1556, как на текст официальной московской летописи, обратил внимание еще А. А. Шахматов.[1] „Летописец начала царства" во взаимоотношениях впервые привлеченных списков Кириллова монастыря,[2] Патриаршего списка Никоновской летописи, Львовской летописи, а в части с 1542 г. списка Оболенского Никоновской летописи и Воскресенской летописи (по рукописи Публичной библиотеки в Ленинграде IV. 585) был подробно изучен Н. Ф. Лавровым.[3]

„Летописец начала царства" оканчивался описанием торжеств и раздачей царских наград в 1553 г. после взятия Казани. Летописец описывал все начало царствования Грозного, от смерти его отца Василия III, но его центральная и наиболее пространная часть посвящена Казанскому походу. На основании некоторых соображений Н. Ф. Лавров предполагал, что он был составлен до 1555 г. Таким образом, автор его находился под свежим впечатлением событий взятия Казани. Это не только летопись — это панегирик победе, Грозному и митрополиту Макарию.

„Летописец начала царства" не является летописным сводом. Автор его не имел под рукою литературных и летописных источников. Лишь смерть отца Грозного — Василия III описана им на основании предшествующих записей. Но в тексте этого своего источника автор Летописца делает значительные изменения, стремясь уменьшить значение боярства, отча-

---

[1] В рецензии на исследование И. А. Тихомирова: „Обозрение летописных сводов Руси северо-восточной", Отчет о сороковом присуждении наград графа Уварова, СПб., 1889: Летопись занятий Археографической комиссии, вып. X.

[2] Рукопись б. Моск. Син. библ., № 486 (в Гос. Историч. музее) и рукопись Археогр. комиссии (Институт истории АН СССР), № 244.

[3] Н. Ф. Лавров. „Заметки о Никоновской летописи", Летопись занятий Постоянной Историко-археографической комиссии, I (XXXIV), Л., 1927. См. некоторые поправки к этой работе у С. П. Розанова, „«Никоновский» летописный свод и Иоасаф, как один из его составителей", Известия по русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1930, т. III, кн. 1.

сти опорочить его, и выдвинуть роль великой княгини Елены — матери Грозного.

Весь остальной рассказ летописца составлен на основании документов и лишь отчасти личных припоминаний и рассказов очевидцев. Автор недоброжелательно относится к боярству и подчеркивает значение митрополита Макария.

„Летописец начала царства" отличается необычайно большими размерами. Текст занимает более двухсот страниц убористой печати в Полном собрании русских летописей. Его обширные размеры разрывают погодность изложения. Годовые статьи оказываются уже недостаточными для организации повествования. Обширное и разнородное содержание годовых статей потребовало введения внутри их дополнительной рубрикации и заголовков. Тем самым основной признак летописи — погодность изложения — оказывается в „Летописце" отодвинутым на второй план. Он держится по традиции, а не в силу внутреней необходимости, и летопись несет в себе уже все признаки жанра исторических повестей, какие впоследствии, в эпоху „Смуты", в изобилии станут появляться, начиная с Повести 1606 г.

Необычайные размеры „Летописца начала царства" объясняются, с одной стороны, тем, что в летописный текст включен огромный материал, касающийся придворной жизни и дипломатических сношений московского государства, а с другой стороны — обилием мотивировок действий, рассуждений, нравоучений, восхвалений. Иван Васильевич — первый русский царь. Каждое его слово значительно; предпринимаемые им действия имеют мировое значение, он проводник божественной воли. Не события его царствования в центре внимания летописца, а царские деяния, его инициатива, его распоряжения и походы. Каждое действие царя и все его речи заслуживают того, чтобы быть отмеченными в летописи. Это летописец насквозь тенденциозный, ставящий себе задачей изобразить начало царствования Ивана, как начало новой эры в мировой истории.

Как и в своде 1479 г., фиксировавшем события образования единого Русского государства, в „Летописце начала

царства", отразившем принятие Грозным титула царя, документация государственного архива занимает доминирующее положение.

Посольские дела отражены в Летописце с тщательностью, изобличающей в летописце приказного посольского двора. Так, например, статья „О Шигалеи царе" подробно описывает содержание переговоров, прием великим князем Шигалея, приводит полный текст речей великого князя Шигалея, затем описывает прием Шигалея у матери Грозного — великой княгини Елены. Летописец отмечает, где стоял Шигалей, где ему велено было сесть, чем его пожаловали, кто присутствовал на приеме, кто встречал Шигалея „у саней", где сидел сам Грозный и т. д. Описывается и поведение „Шигалеевой царицы" — Фатьмы Салтан, прием ее великой княгиней Еленой: „И как Фатма-Салтан царица приехала на дворец, и великая княгиня велела ее встретити у саней Огрофене Ивановской жене Волыньского да с нею молодым боярыням; и как царица взошла среди лествици, и туто ее великая княгини велела стрети боярыне своей Огрофене Васильевской жене Андриевича да с нею такоже молодым боярыням; и как вышла царица в сени перед полату Лазоревьскую, и великая государыни пожаловала и почтила царицю, встретила ее сама в сенех перед полатою и с нею карашевалася и пошла с нею в полату. И как великая княгини вошла в полату, и князь великий вшел в полату к матери своей с царицею видетися; и царица против его вьстала и с места с своего сступила, и князь великий молвил царици: «табуг салам» и с нею карашевался; и сел князь великий на своем месте у матери, а у царицы с правой руки, а бояре с ним по обе стороны" и т. д.[1] Перед нами документ посольского приказа. Вообще приемы и отправление послов, измены, содержание дипломатических переговоров, „отъезды", выборки из разрядных книг и т. п. составляют значительную часть Летописца.

---

1 Никоновск. лет., 1536, ПСРЛ, т. XIII, первая половина, стр. 104.

Точность приводимых в Летописце посольских документов поддается проверке. Летописный текст, как правило, несколько сокращает текст документа. Сходно передается начало документа, где говорится о самом факте посольства, о начале переговоров, и перечисляются имена участников, но самое содержание переговоров передается кратко. Вот, например, выписка их посольских книг о начале переговоров 1537 г. с королем „Жигимонтом" и ее отражение в Летописце:

Лета 7045 [1537], генваря 11 день, пришли к великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и первые после отца его, великого князя Василья Ивановича всея Русии, от Жигимонта короля польского и великого князя литовского, послы королевы: воевода полотцкий, маршалок, пан Ян Юриевичь Глебовича, да маршалок же витебский воевода, державца дорогитцкий пан Матей Войтехович охмистров, да писарь Венцлав Николаев, все рымского закона...

Сборник Русск. истор. общ., т. 59, 1887, стр. 64.

О Литовьских послех. Того же месяца 14 придоша к великому князю Ивану Василиевичю, Божиею милостию государю и самодръжцю Русии на Москву послы Литовьские от Жигимонта короля Польскаго, воевода Полотцкий и маршалок королев пан Ян Юрьевичь Глебовича да маршалок же Витепский воевода державца Дорогитцкый пан Матей Войтевичь Охмистров да писарь Веньцлав Николаев, все Римьскаго закона...

Никоновск. лѣт., 1537 г. Полн. собр. русск. лет., т. XIII, первая половина, СПб., 1904, стр. 116.

Ср. также:

Приказная выписка из посольских книг:

[1537 г.:] И того же лета апреля 22 дня, послал князь великий в Литву к Жигимонту королю послов своих, боярина своего Василиа Григорьевича Морозова, да дворетцкого своего Нижнего Новагорода князя Дмитреа Федоровича Палетцкого, да дьяка Григорья Дмитреева сына Загрязского; а „дворетцкой" князь Дмитрей приписан в грамоте имяни для, а он был не дворетцкой.

Сборник Русск. истор. общ., т. 59, стр. 109.

Передача содержания этого документа в Летописце:

Тоя же весны, Априля 22, послал князь великий Иван Василиевичь всея Русии послов своих в Литву к Жигимонту королю Польскому, боярина своего Василиа Григориевича Морозова да дворецкаго своего Нижнево Новагорода князя Дмитриа Феодоровича Палецкого да диака Григорья Дмитриева сына Загрязскаго.

Никоновск. лет., 1537 г., Полн. собр. русск. лет., т. XIII, первая полов., стр. 117.

Иногда, впрочем, Летописец допускал очень значительные сокращения документального материала, несомненно находившегося у него *под рукой*. Так, например, в январе, марте 1549 г. в Москве велись переговоры с литовскими послами о заключении мира. В посольской книге переговоры занимают более сорока страниц мелким шрифтом, а в Летописце они резюмированы буквально в двух строчках.[1]

Решительною новостью в этой „документальной“ стороне Летописца явилось то исключительное внимание, которое уделялось в нем самой особе царствующего государя — Ивана Васильевича. „Ходы“ к „Троице“,[2] поездки великого князя „на свою потеху царскую“ (*на охоту*),[3] поездки в Великий Новгород,[4] в Калязин,[5] „в Боровеск“[6] описаны с официальными *подробностями*. Отмечено где ночевал государь, когда приехал, маршрут поездки, перечислены встречавшие лица и т. д. С официальною точностью, глазом опытного придворного, и, очевидно, по документам посольского приказа, описан чин венчания Грозного на царство. Здесь отмечена последовательность действий митрополита, царя, приведены тексты произнесенных молитв.

Описание чина венчания напоминает текст церковного служебника. Весьма возможно, что в качестве составной части в описание вошло специально составленное на этот случай церемониальное руководство, причем, при включении в летописец, будущее время изложения было переделано на прошедшее, но сохранились типичные для служебника заголовки:

---

[1] Никоновск. лет., 1549 г., Полн. собр. русск. лет., т. XIII, ч. 1, 1904, стр. 157. Аналогично сокращено сообщение о посольстве в Литву для присутствия *при крестоцеловании короля на перемирных грамотах* (1549 г., *июля* 11) *и др.*

[2] Там же, 1544 г., стр. 145; 1546 г., стр. 147; 1548 г., стр. 156 и др.

[3] Там же, 1547 г., стр. 147.

[4] Там же, 1547 г., стр. 149.

[5] Там же, 1544 г., стр. 146.

[6] Там же, 1543 г., стр. 144.

„Молитва“, „Возглас“, „И по молитве“, „И по многолетии“ и т. п.

Текст служебника начинался, очевидно, после фразы: „Венчание же на царство великаго князя Ивана Василиевича всея Русии по отеческому древнему преданию сицево“.[1]

Составителю Летописца, повидимому, принадлежит лишь вступительная часть, связывающая венчание на царство Грозного с преданием о мономаховых царских регалиях.

Такой же церемональный интерес имеют статья „О пременении царьской одежды“, описание возвращения Грозного из Казани в Москву и т. д.

Но особой отличительной чертой „Летописца начала царства“ во всех описаниях личного поведения царя явился полный текст царских речей, а также речей митрополита Макария и царицы Анастасии. Можно было бы думать, что тексты этих речей извлечены из архивов и носят более или менее достоверный характер, однако ряд признаков заставляет предполагать, что речи эти явились отражением литературных вкусов летописца, не брезговавшего вымыслом и присоединявшего эти речи, как своего рода литературную условность.

Некоторые из речей явно не могли быть почерпнуты из официальных записей. Таковы, например, речи царя и царицы Анастасии перед отправлением в Казанский поход. „И входит государь из своих хоромов в царьские свои полаты к супружнице своей, к благочестивой царице и великой княгине Анастасии и таковая к ней глаголет“, следует полный текст царской речи. Выслушав царя, царица „уязвися нестерпимою скорбию“ и не смогла удержаться на ногах, царь поддержал ее, она плакала отвечая. Ее скорбная речь пронизана поэзией народных плачей: „аз же како стерплю отшествие своего государя? или кто ми утолит горкую сию печаль?“ и т. д.[2]

Так же, очевидно, вымышлены речи татар друг к другу после поражения их в Казани: „бежим убо из города скоро

[1] Там же, 1547 г., стр. 150.

[2] Там же, 1552 г., стр. 185.

от них, яко Бог поборает с ними, множество наших умроша".[1]

Вымышленные речи действующих лиц — черта другой стилистической стихии, также нашедшей себе обильное применение в Летописце, — стихии хронографической. Риторика, гиперболы, экспрессивные характеристики, своеобразный психологизм, сентиментализм и т. д. — все это широко представлено в Летописце.

Явно повторяют Хронограф психологические мотивировки действий,[2] сравнения из области звериного мира,[3] обилие синонимов и тавтологических сочетаний,[4] восклицаний и т. д. Перед штурмом Казани у царя Ивана Васильевича „река слез изливашеся",[5] русские войска „якоже на крылех, за стены градские възлетели" [6] и т. д.

Особенно насыщены этой хронографической стилистикой описания центральных событий Летописца: построение Свияжска и осада Казани. Повесть о Свияжске была составлена отдельно от Летописца — вскоре после описанных в ней событий. Она попала во многие летописи и компилятивные сочинения XVI в.: в Царственную книгу, в Степенную книгу, в Казанскую историю, в Львовскую летопись и др.

Зато описание осады Казани принадлежит самому автору Летописца и представляет собою любопытное смешение деловой приказной речи с литературно-украшенной. Летописец как бы колеблется между этими двумя способами изображения.

---

[1] Там же, стр. 218.

[2] „И тут прислал царь Едигер-Магмет к царю Шигалею з грамотою полоняника, а пишет гордые и скверные слова, веру православную и царя благочестиваго поносит и укоряет, такоже и Шигалея похуляет и собя на брань готова възвещает. Царь же благочестивый, слыша поношение от нечестивых на веру христианскую, у Бога милости просит, а сам за веру страдати тщится" и т. п. (Никоновск. лет. 1552 г., стр. 202).

[3] „Он же злый и лукавый, якоже змий вынырну из хврастиа" (там же, 1537 г., стр. 116); „якоже лев рыкая" (там же, стр. 138).

[4] Например: „огненое пламя" (там же, 1547 г., стр. 154).

[5] Там же, 1552 г., стр. 216.

[6] Там же, стр. 217.

Вся „деловая“ часть описана стилем приказных бумаг; все наиболее значительные моменты осады отмечены приподнятой речью. Документы, разрядные записи (откуда, например, взяты сведения о распределении полководцев), донесения воевод о сношениях с казанцами, путевой журнал (откуда взяты, например, перечисления станов, где ночевал Грозный) причудливо сочетаются с риторикой. Из какого-то официального документа взяты сведения о стоимости подарков сподвижникам царя: „по смете казначееве за всё денгами платья и судов... 48000 рублев“.[1] И тут же рядом полные высокой риторики речи митрополита Макария.[2]

Естественно, что такое стилистическое смешение не могло быть органичным. Оно неизбежно должно было привести к обособлению каждого из этих способов выражения исторического материала.

3

Во второй половине XVI в. официальная московская летопись напоминает подсобное для государственного архива предприятие. Это уже не рассказ о событиях, а своеобразная подробная „опись“ важнейших документов, поступающих на хранение в государственный архив. Она как бы рассчитана на то, чтобы быть справочным пособием при пользовании архивными данными, и составлена с некоторыми объяснительными замечаниями чисто делового характера о тех событиях, которые послужили поводом к появлению этих документов. Летопись систематизирует материал по событиям, а события располагает в хронологическом порядке.

Такое хронологическое расположение материала служило в известной мере коррективом к той системе, которая была принята в московских архивах, где материал систематизировался обычно по географическому признаку. Так, например,

---

[1] Никоновск. лет., 1553 г., Полн. собр. русск. лет., т. XIII, первая половина, стр. 228.

[2] Там же, стр. 225—227.

книги посольского приказа назывались по народностям, по государствам, по именам и титулам правителей, по городам и хранились обычно в отдельных ящиках.[1]

Такова последняя часть московской летописи, изданной в отрывке А. Лебедевым.[2] Лебедевская летопись представляет собою копию с лицевого свода. Четвертый том ее содержит части, утраченные в лицевом своде с февраля 1560 г. по февраль 1563 г.

В состав этой летописи входят также документы посольского приказа: грамоты, отписки, послания, многочисленные известия о дипломатических пересылках, выписки из разрядов и т. д.

Непосредственным продолжением Лебедевской рукописи является Александро-невская летопись, в начале которой читается текст, продолжающий летописец Лебедева.[3]

Здесь приведен полный текст пропускной грамоты, данной Иваном Грозным отпускаемым на родину польским офицерам, взятым в плен под Полоцком.[4] Затем следует духовная митрополита Макария, сходная с духовными Киприана и Фотия, постановление духовного собора о дозволении митрополитам носить белый клобук и печатать грамоты красным воском, чин поставления на митрополию с речами митрополита и царя, сходными с речами митрополита Симона и Ивана III,[5]

---

[1] См.: Н. П. Лихачев. „Библиотека и Архив московских государей в XVI столетии". СПб., 1894, стр. 81.

[2] Ныне в Публичной библиотеке в Ленинграде. Отрывок из нее напечатан в III книге Чтений в Московском обществе истории и древностей российских за 1895 г. Однако на стр. 1—9 напечатан здесь текст, которого нет в рукописи. Откуда он взят — неизвестно. Вторично части IV тома рукописи изданы в XIII томе Полного собрания русских летописей, вторая половина, 1906 г.

[3] Отрывок из нее издан в III томе Русской исторической библиотеки (стр. 161 и след.), вторично — в XIII т. Полного собрания русских летописей, вторая половина 1906 г.

[4] Полн. собр. русск. лет., т. XIII, вторая половина, стр. 363.

[5] Воскресенск. лет., Полн. собр. русск. лет., т. VIII, стр. 230.

известие об отъезде Ивана IV в Александровскую слободу, списки городов и областей, отошедших в опричнину, и множество второстепенного материала: разряды, маршруты государевых поездок с перечислением поименно лиц, встречавших Грозного, и т. д. Наконец, сведения о печатях,[1] о приложении рук на приговорных списках и т. д., и т. п. Специальный интерес летописца вызывают все изменения в делопроизводстве посольского приказа. Летописец подробно описывает новые печати, сделанные по распоряжению Грозного для Юрьева[2] и Новгорода,[3] рисунок клейм и отмечает, для каких надобностей предназначались эти печати.

В летописи уже нет, по существу, ничего летописного. Нет обычных для летописи описаний сражений: сведения о них даются в строго приказном стиле, нет обычных характеристик и т. д. Известие о смерти митрополита Макария не сопровождается обычной для летописи характеристикой умершего, зато приводится полный обширный текст его прощальной грамоты, которую Макарий приказал прочесть при своем погребении „во услышание всем, ту стоящим“.[4]

Можно думать, и на основании самого содержания летописных записей, и на основании ряда косвенных признаков, что летопись, вернее то, что ею называлось, но, что, по существу, летописью уже не было, велась при Посольском приказе. В „Описи царского архива“, изданной в „Актах Археографической экспедиции“[5] и относящейся ко второй половине XVI в., значатся и материалы для официальной летописи, очевидно, составлявшейся здесь при архиве.

В описи одного из ящиков значатся списки „черные, что писати в летописец лет новых“.[6] Очевидно, что это и были

---

[1] Полн. собр. русск. лет., т. XIII, вторая половина, стр. 377, 379, 386.

[2] Там же, стр. 386.

[3] Там же, стр. 398.

[4] Там же, стр. 374.

[5] Там же, т. I, № 289, стр. 335—355.

[6] „Летописец лет новых“, очевидно назван так в отличие от другого официального летописца — „Летописца начала царства“, о котором выше.

те подготовительные материалы для летописания, которые в Царственной книге называются „памятными книгами времени“.[1]

Ядро этого государственного архива, насколько об этом можно судить по „описи“ дел, составляли дела Посольского приказа. Очевидно, что государственный архив — „казна“ — находился именно при Посольском приказе, документы которого имели значение важнейших государственных актов. Здесь в архиве посольского приказа хранились и летописи: „Летописец литовский“,[2] „перевод с летописца полского и перевод с Космографии...“[3] и, очевидно, русские летописцы. В самих посольских книгах обычно встречаются записи летописного характера.[4]

Насколько можно судить по летописи, изданной А. Лебедевым, и Александро-невской летописи, официальное московское летописание второй половины XVI в. превратилось в служебное предприятие государственного архива. Ее общенациональное значение утрачено; летописец не различает малого от великого, заносит в свою запись входящие и исходящие документы, главным образом касающиеся посольских дел. Летописание утратило отличительные особенности своего содержания, стиля, языка.

На смену московскому летописанию в той же Москве приходят исторические произведения нового характера. Исторические повести о „Смуте“ начала XVII в. — произведения

---

[1] Стр. 141.

[2] Акты Археографической экспедиции, т. I, № 289, стр. 343.

[3] Там же, стр. 353.

[4] „Того же лета 7063 (1555) июля 30, в неделю, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии по крымским вестям пошел на свое дело на Коломну против своего недруга, крымского царя Девлет-Кирея. Июля 2 прислал ко царю и великому князю Макарий, митрополит всеа Русии, грамоту литовскую“ (Сборник Русск. историч. общ., т. 59, стр. 466). Или: „Лета 7066 [1558], февраля, пришли ко царю и великому князю вести, что царевич крымской повоевал в Литовской земле на Подолье многие места...“ и т. д. там же, стр. 539).

совсем иного типа, чем летопись, не только по своей форме, но и по трактовке исторических событий: факты не только излагаются авторами, они ими тут же обсуждаются, оцениваются, взвешиваются, связываются в общую историческую картину. Авторы исторических повестей имеют уже иные представления об исторической причинности, чем те, которые имел летописец.[1]

Но традиции летописания не прервались. Они продолжали жить по областям, сохранялись отчасти в исторических повествовательных произведениях нового типа, например, в „Степенной книге царского родословия".

---

[1] См. об этом: „Д. Лихачев. „Национальное самосознание древней Руси (очерки из области русской литературы XI — XVII вв.)", Л., 1945, стр. 11? — 119.

VI. ЛЕТОПИСЬ В XVII в.

Глава 20

ОТРАЖЕНИЕ ЛЕТОПИСНЫХ ПРИЕМОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XVII в.

1

В СЕМНАДЦАТОМ веке государственное значение летописания гаснет. Летописание, которое в предшествующие века было не только историей Русского государства, но и государственной историей, велось государственной заботой, — отныне становится по преимуществу частным делом отдельных авторов. Летописание утрачивает свой официальный характер и сохраняется лишь по областям — в Новгороде, в Пскове, по монастырям, отдельным церквам, в архиепископиях и т. д.

Московское летописание прекращается, однако, не потому, что исчезла потребность в работах исторического характера, а, наоборот, вследствие необычайного роста этих потребностей, их усложнения и разнообразия. Летопись уже не может удовлетворить запросов исторической мысли, а запросы эти шли не только со стороны обычных читателей: к историческим справкам вынуждены постоянно прибегать московские дипломаты, особенно в дипломатической борьбе за киевское наследие[1] с поляками и в сношениях с другими западными госу-

[1] См.: В. Савва. „Московские цари и византийские василевсы", 1901.

дарствами; к сложным и подробным историческим справкам вынуждены обращаться московские приказы, архивы, московская патриархия и т. д. Так, например, в 1606 г. при отправке русского посольства в Польшу был составлен очерк событий русской истории последнего времени.

Вместе с тем, все отчетливее становилась потребность в создании общих обзоров русской истории, строго подчиненных единой официальной точке зрения на события, — обзоров воспитательного и учебного характера. Политика русского правительства нуждалась в историческом обосновании, более сжато и более определенно сформулированном, чем это могли дать летописи. Никоновский летописный свод был произведением исключительным. Создатели его ставили себе задачей ответить на все запросы государственной исторической мысли своего времени. Но при всей своей грандиозности и огромных затратах, он не выполнил предназначенной ему роли: был слишком громоздок, вместе с тем не точен, неудобен к пользованию для сотен нуждавшихся в нем государственных чиновников.

На смену летописания в XVII в. прочно утвердились исторические повести, хронографы и степенные книги с продолжениями, охватывающими события последних лет. Попрежнему делаются попытки создать сложные и пространные исторические компиляции: „Латухинская степенная книга", „Новый летописец" и др. Но, по существу, эти исторические компиляции далеки от задач, которые ставили себе прежние летописцы.

О том, как в XVII в. осуществлялись эти попытки создания официальной историографии, дает представление история Записного приказа, организация которого была освещена в специальном исследовании С. Белокурова.[1]

Записной приказ был образован в 1657 г. указом Алексея Михайловича. Задачей его было написать „степени и грани"

[1] „О Записном приказе": С. А. Белокуров. „Из духовной жизни Московского общества XVII в.", М., 1903; Л. В. Черепнин. „«Смута» и историография XVII в.", Исторические записки, № 14, 1945.

русской истории, начиная от царя Федора Ивановича „по нынешний по 166-й год“ (т. е. по 1657 г. н. э.). Поручение это было возложено на дьяка Тимофея Кудрявцева. Ему в помощники было назначено 8 человек подъячих: два старых и шесть молодых. Но и это число считалось небольшим, так как Кудрявцев постоянно хлопотал об увеличении числа своих помощников. Характерно, что бумагу для этого приказа (в немалом количестве) приказано было взять из Посольского приказа; кроме того, материалами Посольского приказа в первую очередь следовало пользоваться для нового исторического труда. Таким образом, возрождая историческую работу, московское правительство пыталось возродить и те прочные связи, которые существовали в XVI в. между летописанием и Посольским приказом. Однако дьяки Записного приказа — Кудрявцев, а впоследствии сменивший его Кунаков — намеревались вести не летопись, а создать произведение типа степенной книги. Это видно не только из формулировок указа о задачах приказа („записывати степени и грани“), но и из того материала, который подбирался дьяками для их работы: искали степенные книги, хронографы, Временник дьяка Тимофеева и др.

Навыки и приемы летописания, вытесняемые и в самой летописи иными стилистическими особенностями, шедшими и от документа, и от исторических повестей, не исчезают бесследно. Вытесняемые из летописания, они начинают оказывать заметное влияние вне его пределов. Приемы летописания, лежащие в его основе исторические принципы и методы оказывают воздействие на все виды исторических жанров, многие из которых еще воспринимались читателями, как летописные.

Таким образом, даже после того как летописание распалось и утратило в литературе свои центральные „московские“ позиции, оно продолжало воздействовать на другие исторические жанры. Летописание не перестало быть ведущим жанром русской литературы даже после того, как оно фактически перестало существовать в Москве. Это парадоксальное положение создалось потому, что летописание прекращало свое

развитие не потому, что исчезли потребности в нем, а наоборот, вследствие такого увеличения и усложнения этих потребностей, когда фактически ведение летописания в необходимых размерах и формах становилось невыполнимым, хотя принципы и приемы летописания и оставались действительными.

2

Обратимся к примерам. Бурные события начала XVII в. вызвали огромный подъем исторической мысли. О событиях начала XVII в. появилось огромное число исторических произведений, частью современных „Смуте", частью составленных вскоре же после нее. Мы почти не можем назвать летописей, кроме псковских и новгородских, в которых бы события эти нашли свое отражение, однако влияние и летописной формы, и летописной мысли ярко ощущается во всех исторических произведениях о „Смуте".

Прежде всего следует обратить внимание на то, что, хотя историческая повесть начала XVII в. стремится отойти от формы погодового изложения летописи и достигнуть связного внутренне и внешне цельного повествования, годовые статьи летописи продолжают оставаться действенными и для нее.

Исторические повести о „Смуте" нигде не отступают от строго хронологического способа изложения. Хронологическая последовательность изложения событий попрежнему остается своего рода литературным принципом. Дьяк Иван Тимофеев в своем „Временнике" объявлял главным долгом исторического писателя описывать события по порядку, не смешивая хронологии: „... не вем бывших: кое-что был коего попреди, ли последи; и поносно бо есть писателю, не ясно ведуще, сущая вещи описывать, извет полагая постижении, и бывшая деянии неиспытне воображати, предняя последи писати, последняя же напреди, ниже подробну".[1]

[1] Русск. истор. библ., т. XIII, 1892, стр. 470.

Наиболее ранняя из исторических повестей о „Смуте" — Повесть 1606 года представляет и наиболее типичные случаи зависимости от летописной формы. В отличие от житийной литературы и Хроники Манассии, давших Повести 1606 г. образцы литературной разработки исторических сюжетов, в ней значительно больше точных хронологических ссылок; в известной мере она еще зависит от летописной манеры описания событий по годам. Летоисчислительная форма, точные даты — попрежнему сохраняют свое устойчивое *положение* в повествовании. Повесть 1606 г. начинается следующим образом: „Божиим изволением, паче же его человеколюбивым хотением, б ы с т ь в л е т о 7092-е, в нем же преставися благоверный и христолюбивый и во благочестии пресветло сияющий государь царь и великий князь Иван Васильевичь, всеа Русии самодержец, м е с я ц а м а р т а в 18 д е н ь".[1]

Как повесть 1606 г., так и всё Иное Сказание в целом пронизано этими точными хронологическими ссылками. Наряду с ними такою же точностью и подробностью отличаются и все топографические указания; тщательно перечисляются лица, явившиеся участниками исторических событий, их положение, полки, приведенные к битве, пути передвижения войска и т. д.[2]

Часть статей Иного Сказания сразу после своих названий указывает хронологические даты — в тех же выражениях, в которых это делается и в летописи: „О сонмищи мятежников на царя Василия. В лето 7118, февраля в 17 день, в суботу Сырныя недели...".[3] Или: „О чюдеси бывшем. В четвертое

[1] Русск. истор. библ., СПб., 1892 г., т. XIII, стр. 1.

[2] „И во 112 году, августа в 15 день, поиде злонравный в Росийския пределы двема дороги: от Киева чрез Непр реку, а иныя идоша по Крымской дороге. И во 113 году, ноябрь в 26 день, пришед под Муромеск град..." Русск. истор. библ., т. XIII, 1892 г., стр. 26. Или: „Князь же Василей да князь Иван Васильевичи Голицыны, да Михайло Салтыков, да Петр Басманов со всеми своими полки прежде всех скоро *поехаша*, и паки с ними дети боярские и дворяне Ляпуновы с иными детми боярскими, яко к битве, скоро устремишася". Там же, стр. 41.

[3] Там же, стр. 120.

лето царства царя Василия, октября в 20 день, с четвертка на пятницу, в полунощную годину, во церкви Архистратига Михаила...".[1]

По летописному подводится в Ином Сказании счет годам царствования, войны, пленения и т. д. „Царствова на Московском государстве 4 лета и 2 месяца" (о Василии Шуйском).[2] Или: „И тако Литовския люди обладаша Москвою 2 лета и месяц 6...".[3]

Ни Повесть 1606 г., ни Иное Сказание в целом не представляют собою исключительного случая: эту точность хронологическую и топографическую, эти тщательные указания на участников событий и хронологические подсчеты мы без труда обнаружим во всех повестях о „Смуте" — и первостепенных, и второстепенных.[4]

Это стремление соблюсти летописную точность нередко вступает в явное противоречие с украшенным, метафорическим и затемненным стилем исторического повествования первой половины XVII в., в особенности когда точное хронологическое указание сопряжено с метафорическим изображением самого события или лирическими восклицаниями. Ср., например, „Того же лета, марта в 19 день, излияся фиял горести..."[5] „О люте, о люте быша нам нынешнего 114-го году, месяца маия в 18 день...".[6] „И в том же в 113-м году, маия в 9 день, воскликнуша в полцех воинские люди Рязанцы...".[7]

---

[1] Там же, стр. 121, ср. также стр. 122 и след.

[2] Русск. истор. библ., т. XIII, 1892, стр. 123.

[3] Там же, стр. 124.

[4] Ср., например, в „Повести, како восхити царский престол Борис Годунов"; „и венчался царским венцем в 107-м году, сентября в 3 день, и царствова лет 7" (там же, стр 153), „пребывшу же ему на царстве 7 лет" (там же, стр. 154). Или в повести кн. Ив. М. Катырева-Ростовского: „Царствова же благоверный царь Федор Иванович на Москве 14 лет мирно и безмятежно" (там же, стр. 565) и др.

[5] Там же, стр. 124 (Иное Сказание).

[6] Там же, стр. 165 („Повесть, како восхити царский престол Бори Годунов").

[7] Там же, стр 250—251.

Надо думать, что уже и сами авторы исторических повестей сознавали резкое противоречие суховатой деловитости точных летописных указаний с лирическою приподнятостью всего изложения в целом, но отказаться, тем не менее, от точных ссылок не могли: точность и хронологическая ясность повествования, попрежнему, как и во времена господства летописной формы, считались необходимым условием исторического повествования. Вот почему авторы повестей делают попытку изменить трафаретную, державшуюся столетиями летописную формулу: „в лето...", украсив ее, изменив и беллетризовав. Так, например, в „Повести о некоей брани, належащей на благочестивую Россию" мы встречаем такое, в высшей степени примечательное место: „В лето от создания всенародного Адама 7116-го году, в царьство благочестивыя державы Богом венчаннаго, и Богом помазаннаго, и Богом почтеннаго и христолюбиваго поборника..."[1]

3

Влияние летописи на исторических повестях, посвященных „Смуте", сказывается не только в заимствовании хронологической формулы летописной погодной статьи или в летописной точности и подробности записей, как бы стремящихся не упустить документальности в описании событий. Значение летописания для исторических повестей сказывается в самом отношении к ним — как к произведению общенародной памяти об исторических событиях.

В самом деле, сколько бы труда ни положил летописец на составление летописного свода, — он не рассматривает его как произведение личное, им только созданное и законченное. Летописные труды постоянно дополнялись, разрастались новыми записями. История никогда не имела для русских людей законченных периодов, а всегда продолжалась современностью. Каждый летописец всегда стремился довести летописные записи

[1] Там же, стр. 250—251.

до своего времени. При этом летописцы продолжали своими записями не только собственные исторические труды. Вот почему летопись — это жанр без конца; его конец в постоянно ускользающем и продолжающемся настоящем. Эта особенность русского летописания неразрывно связана с тем поразительно острым чувством историзма, которое пронизывало собою всю русскую жизнь до XVII в. Настоящее, как продолжение истории, как живой и вечно продолжающийся итог: это своеобразное историческое восприятие постоянно сказывалось также и в исторических повестях о „Смуте".

В большинстве случаев, несмотря на резко отличную от летописи форму, исторические повести рассматривались и самими авторами, и их читателями как своеобразные летописи: они постоянно дополнялись совершенно так же, как дополняются летописи — документами, частями, продолжающими основное повествование, и чисто летописными заметками. Это — своеобразные своды, построенные в композиционном отношении так же, как строятся своды летописные. Больше того, иногда исторические повести представляют собою единовременные композиции. Таково, например, Иное Сказание.[1]

Основное ядро Иного Сказания — Повесть 1606 года. Замечательно, что уже самое это ядро носит характер летописного построения, поскольку в него внесены без всяких изменений документы („Извет старца Варлаама"[2] и три грамоты Лжедмитрия,[3] писанные им до прихода в Москву). Факт внесения целиком документов в текст повести — не имеет себе аналогий ни в византийской исторической, ни в чисто повествовательной литературе: он идет целиком от летописи. К основ-

---

[1] В противоположность С. Ф. Платонову, считавшему Иное Сказание произведением, сложившимся постепенно путем разновременных наслоений, Е. Н. Кушева выдвинула взгляд на Иное Сказание, как на единовременно (после 1623 г.) составленный компилятивный памятник („Из истории публицистики Смутного времени", Ученые записки Саратовского Гос. университета, вып. 2, Саратов, 1926).

[2] Там же, стр. 42.

[3] Русск. ист. библ., т. XIII, 1892, стр. 18 и след.

ному ядру Иного Сказания — Повести 1606 года были присоединены некоторые правительственные грамоты, объясняющие свержение Лжедмитрия и воцарение Василия Шуйского, после чего текст вновь получил продолжение. Заключалось Иное Сказание краткими заметками вполне летописного типа, сделанными, очевидно, читателями. Эти летописные заметки заключались в основном списке известиями о вступлении на престол Алексея Михайловича (1645 г.), а в списке Ленинградской Публичной библиотеки доводились до вступления на престол Петра I. Автором последних заметок был новгородец: в Новгороде прочнее, чем в Москве, держалась древнерусская летописная традиция.

По царе Алексее Михайловиче воцарился сын ево Федор Алексеевичь всеа Руси в лето 7184-го году.

По немь, царе, воцарился брат ево Иоан Алексеевичь всеа Русии. И брат ево воцарился Петр Алексеевичь всеа Русии.[1]

Заключительные приписки к Иному Сказанию отчетливо показывают, что читатели долго еще считали его летописью и, соответственно, дополняли его своими заметками, заполняя пустое пространство между повествованием Сказания и своею современностью.

Мы привели в пример Иное Сказание — как самый значительный памятник исторического повествования XVII в., но тот же летописно-компилятивный характер композиции может быть легко усмотрен в пространном Сказании о поставлении на патриаршество Филарета Никитича[2] и в хорошо известных: повести „О рожении князя Михаила Васильевича Скопина Шуйского“, в „Сказании“ Авраамия Палицына,[3] в „Истории о первом Иове, патриархе московском“ и мн. др.

---

[1] Русск. ист. библ., т. XIII, стр. 144.

[2] Дополнения к Актам историческ., II, № 76.

[3] Как реминисценция летописной композиции особенно характерно „Сказание“ Авраамия Палицына. Палицын дополнял свое произведение по мере развития событий, оно представляет собою, по существу, собрание („свод“) исторических произведений, выполненных Палицыным в разное время (см.: С. Ф. Платонов. „Древнерусские сказания и повести о Смутном времени“, 1913, стр. 223).

4

Самое начало XVII в. дало огромный подъем историческому повествованию и вместе с тем нанесло жестокий удар по летописанию. Впоследствии, во второй четверти XVII в., интерес к летописанию вновь вырастает. Многие из произведений исторического характера, созданные в первые годы XVII в., дополняются заметками чисто летописного характера. Возникают такие произведения, как, например, Новый Летописец („Книга, глаголемая Новый Летописец“). Отнюдь нельзя считать Новый Летописец — летописью в собственном смысле этого слова. С. Ф. Платонов так характеризует его форму: „...Новый Летописец не есть летопись в строгом смысле этого слова. Его повествование представляется читателю не рядом разновременных записей, сделанных по годам, а довольно цельным рассказом, составленным, так сказать, за один прием“[1] (около 1630 г.). Однако ряд признаков сближает все же Новый Летописец с летописью более, чем другие произведения. В нем чрезвычайно отчетливо выдержан характер „свода“ отдельных сказаний и вместе с тем не в малом количестве соединены чисто летописные заметки.

Если же в Новом Летописце, то в многочисленных приписках к более ранним историческим произведениям возрождается и чисто летописная форма годовых статей. Неоднократно цитировавшееся нами выше Иное Сказание дает тому любопытные примеры. Годы царствования Михаила Федоровича даны заметками летописного типа. Летописный характер этих заметок выдержан с полной точностью. Автор их считает для себя абсолютно обязательным давать самые точные указания, и если не может точно сослаться на день, в который совер-

---

[1] С. Ф. Платонов. „Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в.“ СПб., 1913, стр. 316. Близость Нового Летописца к Степенной книге, к „Сказанию“ Авраамия Палицына и т. д. явствует и из работы Л. В. Черепнина: „«Смута» в историографии XVII века“, Исторические записки, № 14, 1945.

шилось то или иное событие, то оставляет в тексте пропуск для последующего заполнения.

„Того же году, октября в « » день..."[1]
„Того же лета, апреля в « » день..."[2]
„В лето 7136-го апреля в « » день..."[3]
„В лето 7137-го февраля в « » день..."[4]
„Тоя же весны, апреля в « » день..."[5]
„В лето 7142-го, октября в « » день..."[6]
„Во 147-м году, генваря в « » день..."[7]
„был на патриаршем престоле 6 лет и « » месяц..."[8]
„Во 152-м году, генваря в « » день..."[9]

Формула точной даты сохраняется не только в этих заключительных приписках к Иному Сказанию; их можно встретить, напр., в Сказании о царстве царя Феодора Иоанновича[10] и в других произведениях этой же эпохи второй четверти XVII в.

Прием этот как бы возвращает нас к самому началу русского летописания, когда летописец оставлял незаполненными часть годов: „В лето 6361. В лето 6362. В лето 6363..." и т. д.[11]

Глава 21

ЧЕРТЫ МЕСТНОГО ЛЕТОПИСАНИЯ В XVII в.

Утратив свой официальный характер, летописание сохраняется по областям, по монастырям и постепенно переходит в частные руки.

---

[1] Русск. историч. библ., т. XIII, 1892, стр. 139.

[2] Там же, стр. 139.

[3] Там же, стр. 140.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же, стр. 142.

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] Там же, стр. 143.

[10] „Лета 1114 году, сентября « » день венчался царским венцем царь Борис Феодоровичь..." (там же, стр. 793).

[11] Лаврентьевск. лет.

Усилившаяся роль областей в начале XVII в. и впечатляющие события „Смуты“ привели даже к некоторому подъему в начале XVII в. местной летописной литературы. Следует отметить, однако, что развитие местных литературных сил было в различных областях далеко не одинаковым. Летописная работа ведется по преимуществу в двух древнейших книжных центрах — в Новгороде и в Пскове, где в начале XVII в. продолжается еще летописная работа и где в большей мере, чем в других городах, сохранялась книжная ученость.

Поразительно, что перестав быть официальными, областные летописи во многом возвращаются к старым, традиционным формам летописания. Простота разговорного, лишенного риторических украшений языка, проникновение фольклора, рассказы очевидцев, используемые в записях, — все это продолжает составлять характерную черту новгородско-псковских летописей.

1

Для областных новгородских летописей типично отчетливое отражение в ней социальной борьбы, происходившей между молодшими и большими людьми городского населения. Причин этого внимания новгородско-псковской литературы к явлениям социального порядка было несколько. В первую очередь оно явилось следствием чрезвычайного обострения классовой борьбы в начале XVII в. именно в Новгороде и Пскове, где социальная рознь была особенно резкой в связи с тем обстоятельством, что мелкому люду коренного населения противостояла переселенная из Москвы боярско-купеческая верхушка, стремившаяся захватить в свои руки как можно больше из былого богатства этих городов. Новгородские и псковские летописи, ведшиеся несомненно местными летописцами, нередко стоят на стороне мелкого люда против „властительские неправды и грабления, и обиды“.

Летописание Новгорода и Пскова в отличие от предшествующих столетий становится все менее официальным, демо-

кратизуется и дает широкий доступ выражению антибоярских взглядов молодших людей. Все более ощутимо сказывается в ней патриотическая тенденция, все более интенсивно проходит идея необходимости решительного отпора иноземным войскам. Чувство единства русского народа никогда еще не сказывалось в новгородско-псковской литературе с такой силой, как именно в это время. С этой стороны замечательна сама близость новгородской псковской литературы к фольклору. С фольклором сближает новгородскую литературу отношение к Скопину-Шуйскому, отношение к боярам, изменнически ведшим себя при осаде Пскова и Смоленска, угнетавшим население Новгорода и Пскова. Вслед историческим песням этой поры новгородско-псковская литература впервые становится на общерусскую точку зрения, рассматривая и Новгород, и Псков как неотъемлемые части Русской земли.

Так, постепенно, литература Пскова и Новгорода теряет местные черты и вливается в литературу общерусскую. Чем шире становился круг авторов, чем разнообразнее их интересы и сложнее стиль, тем больше стирались границы, отделяющие одну областную литературу от другой. Постепенное иссякновение местных особенностей не было результатом обеднения местных литературных сил. Наоборот, оно явилось как следствие наплыва различных общерусских литературных влияний, в первую очередь, московских, растворявших характерные черты местных школ; оно явилось как следствие демократизации летописания, как результат общего подъема патриотического настроения. Теряя местные черты, областная литература приобретает черты общенациональные, постепенно находя общие точки соприкосновения с народным творчеством.

Такова псковская летопись. Псковская летопись за годы „Смуты" не претендует на широкие исторические обобщения и не пытается выяснить причины „Смуты", как это делало историческое повествование в Москве. Внимание псковского летописца привлекают, главным образом, события родного города, о которых он рассказывает запросто, как бы беседуя с читателем. Демократичная в стиле летопись демократична и по содер-

жанию. Летописец умело передает тревожную обстановку своего времени: городские волнения, пытки, казни, доносы, конфискации имущества, панические слухи и „всякая несказанная“,[1] творившееся в Пскове от „несоветия“[2] псковичей.

Событиям псковской „Смуты“ летописец предпослал небольшой рассказ о знамениях, предшествовавших ей. „Родила корова теля о дву главах, о двух туловах и двои ноги. Родила жена отроча, тело едино, голова едина, хребты вместе, руки двои и ноги двои“.[3] По зиме вошли в Псков два волка. Все это свидетельствовало, по мнению летописца, о наступающем несогласии и раздвоении в царстве.

События псковской смуты начинаются летописцем с 1606 г., когда „Литву отпустиша на псковской рубеж с Москвы с провожатыми“.[4] Роспуск этого иноземного войска, приведенного в Москву Михаилом Скопиным-Шуйским, и послужил началом бедствий. От Литвы и от немец пошло „всякое разорение грех ради наших“.[5] С тех пор, говорит летописец, „померче всякая добродетель, а вся злая покрыша землю Рускую“, а во Пскове „начальное развращение“ и „нелюбовное житие“ стало.[6]

На покрытие этих убытков Василий Шуйский просил с купцов и с великих людей, „богатством кипящих“,[7] денег. В Пскове, однако, деньги собирали не только с богатых, а „по раскладу“ и с больших, и с меньших, и даже „со вдовиц“.[8] С этими деньгами послали в Москву пятерых, снова нарушив обычай „не по выбору“, а назначив тех, кто перечил большим людям „о грацком житии и строении“ и заступался за бедных сирот. Вслед за этими людьми — Самсоном Тифинцем, Федором

---

[1] Полн. собр. русск. лет., т. IV, СПб., 1848, стр. 326.
[2] Там же, стр. 327.
[3] Там же, стр. 322.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же.

Умойся-Грязью, Еремкой Сыромятниковым, Овсейкой Ржовым, Илюшкой Мясником[1] — отправили в Новгород отписку, предназначенную для Шуйского: „Мы тебе гости псковские радеем, а сии пять человек тебе государю добра не хотят“.[2] По этой отписке посланных в Новгороде схватили и посадили в тюрьму. Не посадили только Еремку Сыромятника, так как имя его не было упомянуто в отписке: „а добра ему похотел Петр Шереметев [псковский воевода], а написал ево, что на его много всякого рукоделья делал без найму“.[3]

Вернувшись в Новгород, Еремка Сыромятник рассказал псковичам о судьбе посланных и об „изменной“ грамоте. Да и купец Григорий Щукин проговорился, похвалившись словом: „которые де поехали с казною и тым Живоначальные Троицы верха не видать и во Пскове не бывать“.[4] „И с тех мест развращение быть велие во Пскове: большии на менших, меншии на болших; и тако бысть к погибели всем“,[5] замечает летописец.

С явным несочувствием изображен в летописи псковский воевода Петр Шереметев, не только подозрительно относившийся к меньшим людям и потакавший во всем большим, но и склонный к измене, чему противопоставлен патриотизм мелких людей. „Петр Шереметев многажды псковичь спрашивал и думы от них просил, что де у вас дума? Скажите мне! И у Пскова думы не было никакие. А о немцах он говорил, что будут де во Псков. И псковичи ему отказали: мы де не хотим немец и за то помрем. А Петр Шереметев надеялся на больших людей во всем. А оне ему во всем льстили и потакивали, а на мелких наносили и обиду чинили. А мастеровые люди даром делали на него всякое рукоделие“.[6]

---

[1] Там же.

[2] Там же, стр. 323.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же, стр. 324.

В 1607 г. воевода Шереметев и дьяк Грамотин „села дворцовые лутшие себе взяли в поместья и в кормление всех крестьян, и прочие воеводы кто ж себе“.[1] Не взлюбили Шереметева псковичи и за то, что он „темницы лютые поставил во ограде; а преж были простые без ограды“.[2] Недовольство воеводами уже задним числом сказывается и в записи 1611 г. Описывая тяжелое положение Пскова, окруженного немцами и Литвой, когда Пскову не было ниоткуда помощи, летописец говорит: „в те лета смутные воевод не было во Пскове; един был дияк Иван Леонтеевичь Луговской, да посацкие люди даны ему в помочь; и с теми людьми всякие дела и ратные, и земские росправы чинил, и божиею милостию иноземцы не совладели ни единым градом псковским; а совладели — как воевод во Пскове умножило, и Псковщину пусту сотвориша, и городы поимаша“.[3]

Описывая воеводские „неправды и грабления, и обиды“, летописец обычно прибавляет, что все это чинилось в согласии с большими людьми, что большие люди не отставали от своего воеводы во всякого рода насилиях, хватали „винных и неповинных“, мучили их пытками, бросали в ров, сажали в тюрьмы. „А хто молвит про то, что неповинно мучат, и тово прихватят, глаголюще: и ты такой же, за изменника стоишь“.[4] Зато сочувственно изображен в летописи вождь восставших „мужик простой именем Тимофей, прозвищем Кудекуша Трепец“.[5] Этот Кудекуша, будучи схвачен, „стоял крепко у пыток“ и хотя ему „далося пуще всех“, не смалодушествовал и воеводам „указывал“.[6]

Язык псковской летописи за эти годы прост и выразителен. Зачинщиков восстания летописец называет „кликунами“, о внезапно возникшем слухе говорит „промчеся слово“, при-

---

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 329.

[4] Там же, стр. 327.

[5] Там же, стр. 326.

[6] Там же.

ехавшего в Псков в 1609 г. воеводу Ивана Луговского характеризует: „добрый муж, в разуме и в сединах".[1] Летописец умеет с неожиданной теплотой сказать о присланных во Псков царем Василием пленниках из северных городов: „и тех псковичи поили, и кормили, и одевали, и плакали на них смотря".[2] Через два года, когда их выпустили, летописец снова повторяет, что псковичи их „и напоили, и накормили, и одели",[3] а затем дали им возможность уйти в „таборы" под Москву.

2. Сибирские летописи

В XVII в. резко усилился интерес к истории новых, теперь колонизуемых земель — главным образом к истории Сибири.

В течение всего XVII в. для многочисленных русских посольств в Китай подбираются справки о маршрутах и описания Сибири в Посольском и Сибирском приказах и в самой Сибири. Так, например, известно, что для задуманного в 1675 г. путешествия Николая Спафария тобольский воевода Салтыков опрашивал русских и бухарских купцов о дороге в Китай.

Особая литература о Сибири возникла в связи с многочисленными заказами московского правительства на карты. В делах Сибирского приказа сохранились указании на сотни чертежей, составлявшихся в Сибири в течение всего XVII в. Чертежи эти делались на местах, главным образом, на основании расспросов различных „землепроходцев", купцов, бывалых людей, знающих местных жителей и даже иноземцев. Так, например, чертежи сибирских земель 1668 г. были сделаны не только „за свидетельством всяких чинов людей, которые в сибирских во всех городах и острогах, хто где бывал и горы, и остроги, и урочища, и дороги, и земли знают подлинно...", но „также по свидетельству иноземцев и приезжих бухарцев, и служилых татар".

---

[1] Там же, стр. 325.
[2] Там же, стр. 323.
[3] Там же, стр. 325.

Все эти люди, привлеченные со стороны к составлению чертежей, давали сведения о торговых путях и различных маршрутах, часто сообщали описания виденных ими земель, рассказывали местные легенды, предания о походах Ермака. По заведенной традиции чертежи Сибири снабжались описаниями, в которые заносились этнографические, географические и исторические сведения, полученные изустно или списанные из предшествующих сочинений.

Рукописи с географическими и историческими описаниями Сибири во множестве находились в Сибирском и Посольском приказах в Москве, в Тобольской приказной палате и по другим местам. Описания Сибири проникают в космографии, в степенные книги, составляют самостоятельные сочинения, широко распространенные не только в официальной среде, но и среди „снискательных" читателей.

Отдельные исторические сведения о Сибири можно было найти в писцовых и переписных книгах сибирских уездов, в „ясачных книгах", в „доездах" служилых людей об осмотренных ими или покоренных „новых землицах", в „статейных списках" посольств в мунгальския, калмыцкия и другие земли, даже отчасти в росписях сибирским городам и острогам. На основании всей этой литературы и новых расспросов в связи с требованиями правительства на новые чертежи время от времени составлялись более или менее обширные своды — городовые летописи, географические описания с историческими сведениями. К 1672 г. относится чертежное описание: „Список с чертежа Сибирския земли", текст которого, кстати сказать, повлиял на описание путешествия Николая Спафария. Около 1683 г. было составлено „Описание новыя земли, сиречь сибирского царства", где наряду с географическими сведениями были привлечены и исторические, частью схожие с Ремезовскою летописью. От конца XVII в. сохранилась рукопись „Описание новые земли Сибирского государства" и т. д. Само собой разумеется, что в такого рода описания, конечными основаниями которых были устные сведения, в обилия проникал фольклор, местная легенда, предания, более

или менее искаженные или урезанные последующими компиляторами.

Во всей этой массе географической и исторической литературы о Сибири особенно выделяются сибирские летописи. Их история замечательна: они возникли по местной, но официальной инициативе, почти так же, как возникли русские летописи в предшествующие века. С течением времени в создании сибирских летописей начинает играть все большую роль частная инициатива. Частные лица создают новые летописи и перерабатывают старые. Летописи демократизируются: в языке, в точке зрения на события. В них все чаще проникают народные предания и песни о Ермаке.

В 1621 г. была организована сибирская архиепископия. Первый сибирский архиепископ — Киприан Старорусенков — прибыл в Тобольск из Новгорода, где он перед тем играл заметную роль в политической жизни города: вел переговоры со шведами и одновременно добивался воссоединения Новгорода с Москвою. Существенно, что Киприан был энергичным сторонником традиционной новгородской церковной теории о превосходстве церкви над светской властью. Сам он отличался гордым, заносчивым и чрезвычайно властолюбивым характером. Впоследствии, будучи новгородским митрополитом, Киприан был очень озабочен созданием пышного окружения митрополичьей кафедры, организовал свой митрополичий двор, вовсем подобный царскому, присвоил себе титул „государя", в церкви стоял „с большой гордостью", вечерню и заутреню слушал сидя, ездил летом в санях, приказывая в торжественных случаях возить их за собою в шествиях, и не исполнял царских и патриарших указов.[1]

В Тобольске Киприан деятельно занялся умножением церковных земель, постройкой новых церквей и монастырей. Одним из главных дел Киприана во время его кратковремен-

---

[1] С. В. Бахрушин. „Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.", М., 1927, стр. 2—3; А. Н. Зерцалов. „О неправдах и непригожих речах новгородского митроп. Киприана", Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1896, т. 1.

ного пребывания в Сибири было основание Софийского собора по образцу новгородского. Тобольская София должна была стать, по мысли Киприана, во всем подобной новгородской. Так же как и в Новгороде патрональная святыня города должна была явиться центром местного летописания.

Во второе лето своего пребывания в Тобольске Киприан „повеле разпросити ермаковъских казаков, како они придоша в Сибирь, и где с погаными были бои, и ково где убили погании в драке. Казаки ж принесоша к нему написание, како придоша в Сибирь, и где у них с погаными бои были, и где казаков и какова у них имянем убили".[1] На основании этого казачьего „написания" был составлен для тобольской Софии пространный синодик, текст которого сохранился в сибирской Есиповской летописи. Синодик этот сам по себе представлял собой краткую летопись — сжатый конспект событий похода Ермака. Кроме того, архиепископ приказал „кликать" раз в году в неделю православия вечную память убитым казакам. Позднейшая — Ремезовская — летопись упоминает и еще один источник Киприановского синодика — какие-то татарские записи.

Итак, вот ясное свидетельство того, что еще до 20-х годов XVII в. существовало особое казачье „написание" о походе Ермака. Существование этого казачьего „написания" вскрывается и на основании других данных, к которым мы еще вернемся. Характер „написания" наложил прочный отпечаток на всё последующее сибирское летописание.

Сличение сибирских летописей (Есиповской и Строгановской) позволяет установить, что, помимо синодика, на основе того же казачьего „написания" и татарских записок, при том же Киприане была составлена также и первая официальная сибирская летопись, отличавшаяся от казачьего „написания" большею пышностью слога, риторическими оборотами, вымышленными диалогами и несколькими новыми статьями: описа-

---

[1] „Сибирские летописи", СПб., 1907, стр. 163: Есиповская летопись, глава 36.

нием Сибири, *торжественным* введением и заключительной частью о торжестве христианства в Сибири. Эта последняя статья и рисует основную идею киприановского свода: Сибирь, *которая* была раньше местом „вогнеждения“ зверей и „водворения“ сиринов, стала теперь прибежищем христианам.

На основании татарских летописей в киприановском своде была составлена статья с генеалогией татарских царей и рассказана известная история о гибели Ермака. Строгановская летопись, ближе всего сохранившая текст киприановского свода, донесла до нас почти в неизменном виде и текст этого *повествования* о смерти Ермака от лица самих татар: „последи жнецы глаголют от язык [т. е. татары] *о том, яко* воспрянув ту храбрый ваш [т. е. русских] воин Ермак *от сна своего* и виде дружину свою от нас [т. е. от татар] побиваемых, и *никоея надежди* мошно имети *ему* животу своему, и побеже в струг и не *може доити* своих си, понеже бо в дали растояние, и тут ввержеся в реку и утопе“.[1] В самом конце XVII в. Семен Ремезов сверил обе версии о гибели Ермака — русскую и татарскую, изложенную в „сказке“ Аблая-тайши для его отца Ульяна Ремезова — и пришел к выводу об их полном сходстве.[2]

И киприановская летопись, и синодик сохранили основную идею казачьего „написания“. Казачье „написание“ изображало покорение Сибири как дело Ермака, предпринявшего этот поход на свой риск и страх, без участия Строгановых. Эта тенденция особенно резко сказалась в той части синодика, где было записано, что „не от славных мужь, ни царска повеления воевод... но от простых людей избра бог и вооружи славою, и ратоборством, и волностию атамана Ермака Тимофеева сына Поволскаго и со единомысленною, и предоброю дружиною храбровавшею“.[3]

---

[1] „Сибирские летописи“, СПб., 1907, стр. 38.

[2] См. Ремезовскую летопись, статью 118. Там же, стр. 348.

[3] Там же, стр. 64—165.

В 1637-1538 г., когда по ходатайству тобольского архиепископа Нектария „прославление“ Ермака и его казаков приобрело общерусский характер, на основании летописи Киприана 1622 г. архиепископским подъячим Саввою Есиповым, привезенным в свое время Киприаном из Новгорода, была составлена новая обширная официальная сибирская летопись, сохранившаяся сейчас во многих списках. Цель составления этой летописи аналогична цели составления киприановского синодика: прославить новую христианскую землю Сибирь и окружить ореолом мученичества ее покорителей. На первом плане в Есиповской летописи попрежнему „велемудрый ритор Ермак“ с товарищами, ходивший по всей сибирской земле „стопами свободными“. Основная тема повествования — „о мужестве и о храбрости рускаго полка, собранного и водимаго атаманом Ермаком Тимофеевым“.[1] Согласно с торжественной целью своего повествования, Есипов значительно „распространил“ витийством „прежнее писание“, т. е. киприановскую летопись, которая по его мнению была слишком „стесняема речью“. Есипов вставил в свою летопись примеры из Библии, ссылается на Троянскую историю, на „кронику латынскою“, рассуждает о происхождении названия Сибирь и т. д. Картины боя описаны Есиповым в традициях воинской повести. Здесь и „тмочисленные стрелы“, и болота, собравшиеся „от истекших кровей“, здесь и обычная воинская формула: „за руки емлюще сечахуся“.[2]

Возможно, что в связи с установлением всероссийского поминания убитых при покорении Сибири казаков Есиповская летопись предназначалась для отсылки в Москву. За это говорит то пространное описание Сибири, которое было в ней предпослано изложению похода Ермака. Есипов пишет о сибирской природе в тех восторженных выражениях, которые стали впоследствии обычными для всех русских писателей о Сибири. Есипов говорит об Уральском хребте „зело превысочайшем“, который стоит „яко стена граду утвержена“, пере-

---

[1] Там же, стр. 105.
[2] Там же, стр. 130.

числяет зверей, водящихся в Сибири — одних на „снедение“, других „на украшение ризное“ (т. е. для одежд), описывает реки „пространны зело и прекрасны“, прокопавшие твердый камень, воды их „сладчайшия“, обилие рыбы, леса́, стоящие у источников рек; упоминает „сладкопесневыя птицы“ и „травныя цветы“. Его внимание остановила также вечная мерзлота в устье Оби: „в сих же устьях леди искони состарешася а ни коли же таяще от солнца и непроходимо место, и не знаемо чадию“. Сообщает Есипов и этнографические сведения: о народах, населяющих Сибирь, об их вере, одежде, пище и средствах передвижения: „ездят остяки на псах, самоядь же на еленех“ и т. д.[1]

Приблизительно в начале 70-х годов (до 1673 г.) была составлена и другая сибирская летопись на основе той же киприановской летописи. Летопись эта по своей идейной ориентации получила название в научной литературе — Строгановской. Основная цель Строгановской летописи — доказать участие Строгановых в покорении Сибири. Для этого она дополнила киприановский летописец большим количеством справок, сделанных на основе хранившихся в архиве Строгановых грамот. Для придания большего веса своим доказательстаам летописец цитирует грамоты иногда дословно, а затем всегда упоминает имена дьяков, скрепивших их, число и год их подписи, приводит имена бояр, которые приказали их выдать по царскому указу, иногда говорит даже о золотых царских печатях, которыми они были снабжены. Однако, как показали разыскания исследователей, эта якобы точная документация грамот не всегда соответствует действительности. На подлинных грамотах не оказалось многих из тех „подписей“ и „приписей“, на которые ссылается летописец. Все это введено в Строгановскую летопись, чтобы всячески подчеркнуть помощь, которую оказывали Семен, Максим и Никита Строга-

---

[1] Есиповская летопись. Глава 1: „Сибирстей стране“. Там же, стр. 108—113.

новы „буйственным и храбрым“ казакам Ермака.[1] Идиллически изображено снаряжение их в поход. „И отпевше соборне молебная пения... и удоволиша их мздою, и одеянии украсиша их и оружием огненым пушечки, и скорострелными пищалми семипядными, и запасы многимы, и всеми сими довольно сподобиша их, и вожев, ведущих той сибирский путь, и толмачев бусурманского языка им даша, и отпустиша их в Сибирскую землю с миром“.

Текст Строгановской летописи в общем строже следует тексту киприяновской летописи, чем Есиповская. Однако и в ней основное повествование о походе Ермака подверглось некоторому витийственному распространению. Повидимому, к Троянской истории Гвидо де Колумна восходят в летописи два прекрасных описания расцветающей весенней природы, — сходные с соответствующим местом Повести Катырева Ростовского.[2]

На основании той же киприяновской летописи была составлена и сибирская часть „Нового летописца“, рассмотрение которой не входит, однако, в задачу настоящей главы. Таким образом, казачье „написание“ о покорении Сибири Ермаком послужило основанием для составления в первой половине XVII в. пяти летописных произведений: киприяновского синодика, недошедшей киприяновской летописи, Есиповской летописи, Строгановской летописи и повести о покорении Сибири в „Новом летописце“. Были, впрочем, и другие летописные

---

[1] А. М. Ставрович. „Сергей Кубасов и Строгановская летопись“, Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову, П., 1922, стр. 285, 291. Точку зрения Ставрович поддержал и развил А. И. Андреев: „Очерки по источниковедению Сибири, XVII век“, Л., 1939—1940, стр. 131 и след.

[2] А. С. Орлов. „Повесть Катырева-Ростовского и Троянская история Гвидо де Колумны“, Сб. статей в честь М. К. Любавского, М., 1917. На основании этих сходных описаний весны в Строгановской летописи и в Повести Катырева-Ростовского делались, между прочим, различные предположения о принадлежности Строгановской летописи то Кубасову, то Катыреву-Ростовскому.

памятники, связанные с аналогичными казачьими „написаниями“. *О них мы скажем ниже.*

* * *

Демократическое, казацкое происхождение сибирских летописей способствовало постепенному обрастанию их фольклорными темами. Уже первое казацкое „написание“, поданное казаками архиепископу Киприану, было, по существу, *произведением* народной, демократической литературы. „Написание“ это было составлено на основании воспоминаний очевидцев о событиях, которые еще были свежи в памяти всех и потому не включило в себе материал легендарный и песенный о Ермаке. Надо думать, что к тому времени его почти и не было. Однако народная основа этого „написания“ ясно проступает в самой точке зрения на поход Ермака. Точка зрения эта и освещение событий разительно схожи и в „написании“, и в народных песнях о Ермаке. Мы знаем теперь, что в конце XVI и в начале XVII в. покорение Сибири не всегда приписывалось *Ермаку. Так, например,* Исаак Масса, хорошо осведомленный в русских делах, в своих книгах о Московии вовсе не упоминает Ермака, приписывая покорение Сибири *другим лицам. Между тем,* и казацкое „написание“, и народная поэзия изображают Ермака единственным инициатором похода на Сибирь, народным героем, идеализируют его. В *народной* поэзии Ермак превратился в богатыря, сражающегося с Калиным и с бабой Мамашиной, помогает Грозному *взять* Казань. Сила, побитая Ермаком, так велика, что „ведь серому-то волку в день-то не оскакать, черному ворону в день не облететь“. Ермак вошел в былины киевского цикла, став по некоторым вариантам племянником Ильи Муромца. Разбойничьи песни называют его родным братом Степана Разина:

> Атаманом быть Ермаку Тимофеевичу,
> Есаулом *быть его братцу родимому* Степанушке.

Сама биография Ермака дала не мало сюжетов для разбойничьих песен. Так, например, как это доказано А. Н. Лозановой,[1] мотив прощения вин разбойнику навеян соответствующим эпизодом из биографии Ермака.

Вышедшие из казацкого „написания" сибирские летописи — Строгановская и Есиповская — получили широкое распространение, многократно переписывались и, постепенно утрачивая свой официальный характер, обрасли различными фольклорными сюжетами. Во вступительной части летописей согласно с народными песнями подробнее рассказывалось о разбойничестве Ермака на Волге, некоторому усложнению подвергся рассказ о смерти Ермака, соответственно каким-то устным рассказам в позднейшие варианты сибирских летописей вставлялись рассказы об убийстве на пиру русскими татарина Сейдяка, поперхнувшегося в момент, когда он пил заздравную чашу за многолетие Федора Иоанновича. Особенный интерес имеет вставка в Толстовский список XVIII в. Строгановской летописи песни о Ермаке, многократно записанной впоследствии от донских и уральских казаков, в Сибири и в Олонецкой губернии. Глава 8 Толстовского списка рассказывает, как Строгановы, прослышав „о буйстве и храбрости поволских казаков и атаманов Ермака Тимофеева с товарыщи, како на Волге на перевоех нагайцов и ардабазарцов громят и побивают и дело гораздо по Волге храбруют",[2] послали к ним „людей своих с писанием и з дары многими", чтобы шли „в Чюсовские городки и острожки на помогание им противу неверных супостат". Казаки обрадовались приглашению и собрались в круг „и начаша думати и советовати со единомысленою и предоблею своею дружиною: итти ли им на помогание к Строгановым или нет". Затем идет запись самой песни, иногда прерываемая вставками переписчика летописи:

---

[1] „Народные песни о Степане Разине", Саратов, 1928.

[2] „Сибирские летописи", СПб., 1907, стр. 55 — здесь и ниже.

И собрався на устье матки Самары реки
На крутом на красном на берегу
На желтом на сыпучем на песочку.
Не ратная труба протрубила,
Говорил атаман Ермак Тимофеевичь:
„О, есте, братцы атаманы и казаки донские,
Яицкие, волские и терские,
Думайте думу, братцы, с цела ума,
Чтоб нам не продуматца:
На Волге нам жить — ворами слыть,
А на Дону нам жить — казаками слыть,
А на Яик итти — переход велик..."

Обычно в записанных вариантах этой песни следует:

А в Казань итти — грозен царь стоит
Грозен царь асударь, Иван Васильевич...[1]

Переписчик пропустил эти строки согласно с данными своей летописи, которая ничего не сообщала о желании Ермака итти под Казань на помощь *Грозному*. Но его смутило и другое: „переход велик" был не только до Яика, но и до Сибири, а поэтому, чтобы внести разницу между этими двумя переходами, он *добавил после* слов „а на Яик итти — переход велик" — разъяснение; „а се добычи нет", нарушив тем песенный ритм. После этой вставки снова следует текст песни:

Да нам же не гораздо шуточка нашутилась,
Что разбили мы лотку коломенку
И громили казну государеву;
Из тово мушкета немецково
Вылетала пулка свинцовая,
Из тово кафтана камчатово
Выносила бумагу хлопчатую,
Убила посла государева...[2]

Дальше текст песни сохранен лишь частично: вставлено титулование „государя царя и великого князя Ивана Василье-

[1] „Сибирские летописи", стр. 56; В. Миллер. „Исторические песни русского народа XVI—XVII вв., „Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. 93, П., 1915, стр. 482; ср. также 476, 491, 497, 509 и др.

[2] „Сибирские летописи", стр. 56.

вича всеа России" и рассуждение Ермака о необходимости итти „на помогание" „честным людем" Строгановым — явно в интересах последних. Мотивировка его решения всё же своеобразна: „и мы толко ныне не поидем таким честным людем на помогание, и они на нас станутъ писать к Москве непослушание... и государь на нас раскручинитца, велит нас переимать и по городом разослать и по темницам розсажать, а меня Ермака велит государь царь повесить: потому что большому человек большая и честь бывает".[1] Эти последние слова характерны для разбойничьих песен. Мотив царского пожалования молодца „тремя столбами с перекладиною" встречается и в песнях о Степане Разине, и в песнях о Пугачеве. В отличие от народных песен, составитель Толстовского списка вводит новый мотив не непосредственного прощения вин Иваном Грозным Ермаку „с товарищами", а через заступничество Строгановых. Ермак надеется, что в случае, если он с казаками пойдет „на спомогание" Строгановым, „они об нас станут писать милостивыя и благоприятныя словеса к государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Росии, и государь царь до нас умилитца и отдаст нам пеню великую вину". В таком же роде говорит и атаман Иван Колцов: „И взговорил атаман Иван Колцов: «Добро нам итти на помогание таким честным людем, а толко нас Господь Бог помилует и неверных нам Бог покорит под нозе наши, и Сибирское государство возмем, и град поставим, и святыя божия церкви воздвигнем, и соберем себе славу вечную, и укупим живота вечнаго, и в предъидущия веки. Аминь».[2]

Итак, народная песня о Ермаке, включенная составителем Толстовского списка в Строгановскую летопись, подверглась здесь значительному искажению в пользу Строгановых. Тем не менее целиком сохранившиеся отдельные строки этой песни представляют существенную ценность как первые

[1] Там же.

[2] Там же.

записи фольклора о Ермаке, *сложившегося* еще, повидимому, в первой половине XVII в.

Тому же составителю Толстовского списка принадлежит и любопытная, составленная в народном стиле, концовка повествования о Ермаке: „Такова, братие, сия дивная повесть написася во славу божию, а в ползу чтущим, с о с т а р е в ш и м с я л ю д е м н а п о с л у ш а н и е, а м л а д ы м л ю д е м в н а у ч е н и е и п о о щ р е н и е, а г л а г о л ю щ и м м н о г а г о р а з у м а н а в н и м а н и е, в о и н о м н а х р а б р о с т ь, а д р е в н и м н а п а м я т ь“.[1]

* * *

Как можно видеть по обилию позднейших вставок и переделок в различных списках Строгановской и Есиповской летописей, фольклор о Ермаке особенно интенсивно начал проникать в сибирские летописи во второй половине XVII в. Местная казацкая среда, в которой было немало лиц, имевших основание причислять себя к потомкам завоевателей Сибири, деятельно поддерживала этот интерес к истории Сибири. Многочисленные путешественники и завоеватели новых земель на востоке и юге Сибири живейшим образом интересовались историей первого завоевателя Сибири, чье дело они фактически продолжали. Именно из этой казацкой военной среды вышли и первые исследователи сибирской старины, знатоки своего края. О наличии таких лиц мы можем судить хотя бы по работе голландца Витзена о „Тартарии“.[2] В своеобразную географическую хрестоматию Витзена были включены сведения, сообщенные Витзену из Соли Камской, из Тобольска, из Селенгинска, даже из Мангазеи и т. д. Корреспонденты Витзена не были простыми носителями фольклора или просто *бывалыми* людьми, — скорее их можно назвать исследователями своего края. Это было люди нового времени, с новым подходом к истории и географии своей страны. Для них уже не существовало сомнений в необхо-

---

[1] *Там же, стр.* 95.

[2] „Noord en Oost Tartarg“, 1692 г.

димости использовать для изучения Сибири местные „бусурманские истории", предания, памятники материальной культуры. Сама жизнь толкала их к использованию данных непосредственного наблюдения и практического опыта.

Одним из таких местных знатоков Сибири был в конце XVII в. Семен Ремезов. Ремезов родился около 1664 г. в Тобольске. Интерес к истории родного края Семен Ремезов перенял от своего отца — стрелецкого сотника Ульяна Ремезова, который, как мы увидим впоследствии, также занимался собиранием сведений о Сибири, был „снискателен" и „хитр о делех". Семен Ремезов отличался чрезвычайно разносторонней одаренностью. Он был живописцем, знаменщиком, выдающимся картографом, архитектором, своеобразным этнографом и археологом.

В 1693—1694 г. Ремезов „написал выносную часовню для поставления на реке Иртыше иорданного освящения воды", в следующем году он „сверх служеб, сработал, сшил, и написал мастерски конным и пешим полкам седмь камчатых знамен..." На основании приговора Сибирского приказа 1696 г. Семен Ремезов составляет чертеж всей Сибири, в 1701 г. он заканчивает грандиозный атлас Сибири, рисует „державцов российских портреты" и т. д. Помимо этого Ремезов составляет этнографическую карту Сибири с соответствующим описанием. В чертежах Ремезов указывает мольбища, кочевья, следы древних поселений и опустевших городов (на притоке реки Торгая „град пустой", в вершинах Енисея „город каменной старой, две стены целы, а две развалились, а которого города, того не знаем" и др.), места сражений (отметки: „костей много", „кости"), местные легенды о кладах (в устье Амура Ремезов помечает: „до сего места доходил царь Александр Македонский, ружье спрятал и колокол оставил"). Ремезову же принадлежит географическое описание Сибири, проекты каменного Тобольска, копии с „чюдцкого письма" на реке Ирбите и т. д.

В эпоху Петра Ремезов явился одним из первых и самых горячих поклонников его дела. В одном из своих сочинений

он подробно передает содержание петровского наказа посланным в 1696 г. за границу молодым людям и тут же сочиняет восторженный панегирик наукам. Чтобы оценить этот порыв Семена Ремезова, надо учесть, что он был постоянным жителем *одной* из самых отдаленных окраин и, кажется, только раз побывал в Москве.

Во время своих работ над чертежами Сибири Ремезов познакомился с различными местными легендами, с описаниями Сибири, с различными официальными документами о ее прошлом и настоящем. Но особенное значение имело для него постоянное обращение к живым устным рассказам. В 1696 г. Семен Ремезов был послан в Тобольский уезд „допрашивать и описывать" расстояние сел, деревень, рек, озер и ясачных волостей. „И в посылке Семен Ремезов многих людей, русских и иноземцев, сторожилов, бывальцов и ведомцов, про урочища допрашивал и остроги, и волости описал". Об энергии, с которой Семен Ремезов собирал все, что касалось Сибири, ее истории и географии, говорит следующий случай. Тотчас по приезде в Тобольск завоевателя Камчатки казака Атласова, подавшего в Тобольский приказ „сказку" о походе, Ремезов явился в приказную избу и попросил разрешения у воевод „списать" эту „сказку" для себя. О „скасках" сведущих людей Ремезов упоминает также и в „Описании чертежной книги". В частности, он упоминает о „доезде" атамана Ивана Петрова, который побывал в Сибири „для проведывания земель" еще „преж Ермакова взятия Сибири". „Доезд" этот, как говорит Ремезов, и „доднесь в Тобольску у снискателей носится". На основании приведенных данных можно видеть, что Семен Ремезов представлял собою выдающегося знатока Сибири и сибирских преданий.[1]

Собранные в разное время Ремезовым сведения о Сибири от „памятливых сторожилов" и по различным рукописям пригодились ему в составлении „Истории сибирской". Точно

---

1 См. подробно биографию С. Ремезова у А. И. Андреева: „Очерки по источниковедению Сибири", Л., 1939—1940, стр. 45 и след.

время ее составления неизвестно, но по ряду признаков можно предполагать, что она была выполнена им одновременно с его картографическими работами по Сибири и, во всяком случае, до 1703 г., после которого кем-то, возможно сыновьями Ремезова, к ней добавлена „Кунгурская летопись".

Авторство „Истории сибирской" устанавливается по приписке, сделанной в конце рукописи шифром: „писал Семен Ремезов".[1] Композиция „Истории" оригинальна: она представляет собою ряд небольших статей, каждая из которых надписана над определенной иллюстрацией, выполненной самим Ремезовым. Иллюстрации предшествовали по выполнению тексту; места для текста не всегда хватало, отчего он повидимому, подвергался некоторому сокращению. Содержание рисунков иногда шире содержания текста. Совсем без текста остались любопытные изображения воспитания Ермака: мальчик Ермак борется, стреляет в цель из лука, из пистолета, упражняется с мечом и т. д.[2]

„История сибирская" использовала в качестве своей канвы Есиповскую летопись, дополненную значительным количеством различных материалов, попавших в руки С. Ремезова во время его длительной работы над чертежами Сибири. Ремезов использовал для нее документы Сибирского приказа, тобольской съезжей избы, рассказы „памятных бывальцев" и „старожилов", „бусурманские" повести и истории, т. е. татарские предания и татарские летописи, местные топонимические легенды, сведения о древних поселениях, городах, курганах, мольбищах и т. д. Рассказывая о бегстве вогулич „за Яскалбинские непроходимые болота и озера", Ремезов свидетельствует: „яко видимо и по днесь зарослые болота и озера идущему на лыжах валы бывают напреди и созади".[3] Карто-

[1] „Сибирские летописи", стр. XXXV.

[2] Ремезовская летопись издана фотолитографически Археографической комиссией в 1880 г. Хранится в Библиотеке Академии Наук СССР, шифр 16. 16. 5.

[3] „Сибирские летописи", стр. 331.

графические интересы Ремезова сказались в летописи в стремлении подробно обозначать маршруты походов, дать точные указания на географическое расположение мест событий. Эта склонность особенно резко сказалась в отчетливых иллюстрациях к „Истории сибирской“, представляющих собою своеобразные карты-панорамы, в которых изображения рек обычно более или менее сходно соответствовали реальному их течению.

Особенный интерес представляют для нас те устные, татарские и русские предания и песни, которые были использованы Ремезовым в его „Истории“. Любопытным историческим источником для Ремезова явились татарские плачи. Татары оплакивали в них покорение Сибири и рассказывали о Ермаке: „и тако чуден и страшен, егда глаголати им и в повестех между собою, без слез не пробудут“.[1] Использовал Ремезов и проповеди магометанских шейхов. Он приводит легенду, которую рассказывали шейхи о видении, бывшем до покорения Сибири Ермаком. Боролись два зверя — большой белый и маленький черный. Маленький зверь убил большого, но большой вновь ожил через три дня. „И по сему проклятии бусурманы о Сибири велми блазнятца, понеже шихи их в повестех истолковаша им, яко малой зверок, Ермак, бусурманство, яко большаго зверя, и 3 день мертвой оживя, то по времени паки возмут Сибирь бусурманы во владение не надолго“.[2] Вошли в Ремезовскую летопись и различные татарские поверия, описания обрядов и обычаев. К сожалению, включая весь этот разнообразный материал в краткие надписи к рисункам, Ремезов его чрезвычайно урезал, придал ему крайнюю лаконичность и сухость.

Исключительный интерес имеет рассказ о двух панцырях, подаренных Ермаку царем Иваном Грозным. Царский подарок казаку-разбойнику Ермаку оказывается таким же роковым, как и традиционное в разбойничьих песнях ироническое

---

[1] Там же, стр. 316.

[2] Там же, стр. 328.

пожалование разбойника „двумя столбами с перекладиною“. Тяжелый царский подарок мешает Ермаку вскочить в струг в то время, когда татары заманили Ермака в ловушку. Ермак тонет: „бежа в струг свой и не може скочити, бе одеян двема царскими пансыры“.[1] О тех же панцырях в Ремезовской „Истории“ приведены и татарские „повести“, переданные Семэну Ремезову его отцом — стрелецким сотником Ульяном Ремезовым. Рассказ отца Семена Ремезова интересен тем, что рисует самый процесс перехода местного предания в книжность. Монгольский тайша Аблай, кочевавший со своим народом недалеко от русских границ на юго-востоке и господствовавший над русскими путями в Ергень, в Китай, в Монголию и в Бухару, обратился в Тобольск в 1658 г. с просьбой передать ему панцырь, принадлежавший служилому татарину Кайдаулу-мурзе. Аблай-тайша считал этот панцырь Ермаковским и верил в его таинственную силу. Почитание панцыря было традиционным в его роду. С той же просьбою обращался в Тобольск и отец Аблая — Вайгиш-тайша, но получил отказ. В 1660 г. Аблай-тайша вторично настойчиво просил в Тобольске выдать ему этот панцырь. Не желая ссориться с могущественным соседом, тобольской воевода князь Буйносов Ростовский отправил обнаруженный у сына умершего Кайдаула панцырь Ермака. С посольством в „ургу“ к Аблаю-тайше был отправлен и отец Семена Ремезова — Ульян. „История“ рассказывает о встрече Ульяна с Аблаем. Аблай торжественно принял панцырь Ермака, поцеловал, поднял его на голову, „хваляще царское величество и любов“, а затем спросил: „Знаеш ли, Ульян, где ваш Ермак лежит?“ „И нача Аблай повести деяти о нем по своей истории, как приехал в Сибирь и от Кучюма на перекопе побеже и утопе, и обретен, и стрелян, и кровь течаше, и пансыри разделиша и развезоша, и как от пансырей, и от платья чюдес было, и как татара смертной завет положиша, что про него русакам не вещати“. Ульян просил Аблая дать ему „сказку“ обо всем этом „за

[1] Там же, стр. 344.

его знамены и печатью",[1] что Аблай и сделал через некоторое время.

Сведения этой „сказки" Аблая-тайши Ремезов и сообщает в своей „Истории". Труп Ермака, рассказывает Аблай, всплыл и был прибит к берегу Иртыша под „Епанъчинские юрты". Некий татарин Яныш, наживлявший в это время перемет, увидел у берега „шатающесь человеческие ноги".[2] Накинув на ноги переметную веревку, Яныш вытянул труп на берег и по панцырям догадался, что казак не простой. Яныш побежал к юртам и созвал жителей. Старый Кайдаул-мурза догадался, что труп этот Ермака, так как знал, что „государь прислал ему, 2 пансыря, и каковы видеша".[3] Тело Ермака кровоточило, как живое. Его раздели и положили на „лабаз". Все, кто ни приходил, по обычаю („по завету") мстили Ермаку, вонзая в него стрелы и „кров свеже течаше, птицы же облеташа, не смея прикоснутися ему".[4] Приехал и сам царь Кучум с мурзами, кондинские и обдаринские князья и также вонзили в Ермака свои стрелы. Ермак являлся в видениях татарам, даже самому „Сейдяку царю", завладевшему в это время Тобольском, и требовал погребения. „Овии жь от него решишася ума; и именем его и до днесь божатся и кленутся".[5] Затем описывается погребение Ермака „под кудрявою сосною" и тризна, для которой татары зарезали 30 быков и 10 баранов, учинив „жрение по своему извычаю".[6] Под конец Аблай поведал о чудотворениях от тела и платья Ермака и о видениях над его могилой. „Се же видев абызы и мурзы, что закон их скверней и престает чюдотворение, запретиша всем от мала и до велика же поминать имя Ермаково, да задлитца честь и слава, и могила его не явлена будет. Бе же видитца бусурманом и до днесь во вселенские суботы огненной столп

---

[1] Там же, стр. 348

[2] Там же, стр. 345.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же, стр. 346.

[6] Там же.

до небеси, а по простым — свеща велия, горяща над главою его: се же бог своих проявляет".[1] Надо полагать, что внесение этих рассказов в „Историю сибирскую" диктовалось стремлением изобразить деяния Ермака как подвиг святого.

Любопытно, что чертами житийного стиля отмечены и некоторые другие рассказы „Истории сибирской", например о битве Ермака с Кучумом, во время которой знамя Ермака с образом Спаса само двинулось вперед и провело казаков невредимо под берегом. Мотив защиты казаков Ермака от татарских стрел Спасом[2] неоднократно повторяется в „Истории сибирской", являясь, очевидно, церковным переосмыслением аналогичного фольклорного мотива о Ермаке:

> И тому татары дивовалися,
> Каковы русски люди крепкие,
> Что ни едино убить не могут их:
> Каленых стрел в них, как в снопики, налеплено,
> Только казаки все невредимы стоят.[3]

Как и другие „летописные истории" завоевания Сибири „История сибирская" приводит географическое описание Сибири, быта и нравов населяющих ее народов и дает краткую родословную татарских царей.

Составлена „История сибирская" языком простым, сжатым, скорее канцелярским, чем летописным.

В конце „Истории", очевидно сыновьями Ремезова, помогавшими отцу в ее составлении, приложены несколько статей, в которых в витийственной манере говорится о загробном воздаянии воинам, подыскиваются аналогии Ермаку в русской истории, приводятся примеры „покорения язык [народов] христианом", рассказывается „о храбрости воинской", о „среднем царском пути" и т. д. Всё это сделано с явным стремлением придать „Истории" Ремезова нравоучительный характер.

---

[1] Там же.

[2] Там же, стр. 324.

[3] „Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым", М., 1938, стр. 83; ср.: Вс. Миллер, „Исторические песни...", стр. 484.

Исторические сведения на основе местного сибирского фольклора встречаются и в других работах С. Ремезова. Например, в частично восстанавливаемом на основе поздней Черепановской летописи „Описании о народах Сибири“ приведены любопытные татарские сказания — „о начале Сибирской земли“ и „о начале происшествия народов Сибири“. Отлично от „Истории сибирской“ излагаются С. Ремезовым некоторые эпизоды завоевания Сибири в составленной им к чертежам „Повести об окончательном покорении Сибири“.

Позднее в „Историю сибирскую“ были вплетены листы Кунгурской летописи. Как это установлено С. В. Бахрушиным,[1] Кунгурская летопись, повидимому, была найдена С. Ремезовым в 1703 г., во время составления им в Кунгуре чертежа Кунгурского уезда.

Название „Кунгурская“ имеется в самой рукописи. Кунгур — построен в 1648—1649 гг. Это был главный пункт нового пути в Сибирь, которым охотно пользовались, несмотря на правительственные запрещения, во второй половине XVII в. в обход официальному пути через Верхотурскую таможню. Таким образом, Кунгурская летопись, получившая, как видим, свое название не ранее второй половины XVII в., не могла быть официальной городовой летописью. Само положение Кунгура говорит за то, что летопись эта попала в этот полуофициальный город с пришлым населением откуда-то со стороны. Ближайшее рассмотрение характера этого памятника показывает, что в нем мы имеем дело с единственным сохранившимся до нас образцом казачьего летописания. По отрывкам Кунгурской летописи, сохранившим несомненные признаки древности, мы можем приблизительно судить о том, каким могло быть то „написание“, которое казаки подавали в 1622 г. в Тобольске архиепископу Киприану.

Составлена Кунгурская летопись языком сжатым, простым, точным, отчасти приказным. В летописи встречаются чисто

---

[1] С. В. Бахрушин. „Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.“, М., 1928, стр. 26—30.

народные выражения „частой елник“,[1] „темной елник“.[2] Попадаются следы казацкой военной терминологии: походы за ясаком рассматриваются как походы за „добычей“, плыть по течению — плыть „напоплав“,[3] первое воровское предприятие Ермака названо „заворуем“,[4] о тех или иных предприятиях Ермака или его пятидесятника Богдана Брязги обычно говорится, что они были решены не просто Ермаком, а непременно „с товарищами“,[5] сам Ермак называется иногда „Ермачко“ с прибавлением клички „Поволский“,[6] про первую попытку Ермака с товарищами проехать в Сибирь шутливо говорится, что казаки „обмишенилися“,[7] приводится также и поговорка казаков, не любивших долго дожидаться ясака или возвращаться за ним на обратном пути: „что мимоходом урвал, то и наша добыча“ и т. д. Несмотря на очень незначительные размеры сохранившихся отрывков, примеры лексического своеобразия летописи могли бы быть значительно умножены. Язык Кунгурской летописи по своей выразительности и непосредственной связи с живым разговорным языком не имеет себе равных среди сибирских летописей. Надо, впрочем, отметить, что в языке Кунгурской летописи сохранились признаки довольно поздней переработки, повидимому, начала XVIII в. („полномочным“, „несостоятелная спона“, „подданные“, „слово и дело“).[8]

В отличие от других сибирских летописей Кунгурская летопись дает идеализированную характеристику не только Ермака, но и всей его дружины. Сжато, немногими фактами обрисовывает летопись нравы дружины „Ермачка Поволского“ с ее своеобразным „артельным“ строем, строгими донскими

[1] „Сибирские летописи“, стр. 334.

[2] Там же, стр. 342.

[3] Там же, стр. 335.

[4] Там же, стр. 313.

[5] Там же, стр. 314.

[6] Там же, стр. 313.

[7] Там же.

[8] Там же, стр. 313, 314.

законами, суровой моралью и несложным бытом замкнутого разбойничьего круга. За проступки наказывали „жгутами“, а за дезертирство — смертною *казнью*: „*насыпав песку в пазуху* и посадя в мешок, в воду“. „Больши 20 человек с песком и камением в Сылвы угружены“, замечает по этому поводу *летописец*.[1] „Блуд“ и „*нечистота*“ были у Ермака „в великом запрещении“. Провинившихся сажали „на чепь“ и держали на ней три дня.[2] Подробно перечисляет Кунгурская летопись участников Ермаковского „заворуя“; „было у Ермака два сверсника — Иван Кольцо, Иван Гроза, Богдан Брязга и выборных есаулов 4 человека, тож и полковых писарей, трубачи и сурначи, литаврыщики и барабанщики, сотники и пятидесятники, и десятники с рядовыми, и знаменщики чином, да три попа, да старец бродяга“.[3] „Старец бродяга“ особенно останавливает на себе внимание летописца, придающего его пребыванию в дружине, повидимому, *большое значение*. Старец этот „ходил без черных риз, а правило правил и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал“.[4] Колоритная фигура этого „*старца бродяги*“, бывшего, очевидно, знатоком казачьих традиций („правило правил“), исполнявшего какие-то религиозные функции, и, вместе с тем, ведавшего „*припасами*“ и *варкою* „*каши*“, вносит очень живую черту в наши представления о дружине Ермака.

В отличие от других летописей значительно более резкими чертами *изображены* взаимоотношения казаков и Строгановых. Кунгурская летопись настойчиво проводит ту точку зрения, что помощь Строгановых Ермаку была вынужденной. Казаки „с пристрастием“ отнимают у Максима Строганова необходимые им для похода запасы, „а не вовсе в честь иля в займы, но убити хотеша и жита его разграбить, дом его и при нем живущих разорити в конец и приступить к Максиму грозом

---

[1] Там же, стр. 316.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

(гызом)“.[1] Казаки прямо угрожают Максиму Строганову расстрелом. „Из них же войска паче всех Иван Колцев с есаулы крикнуша: «О, мужик, не знаешь ли — ты и тепере мертв возмем тя и ростреляем по клоку...»“. „Максим же страхом одержим“ отворял амбары и день, и ночь выдавал казакам по их запросу на струги. Припасов было выдано столько, что казацкие струги не выдержали и стали „под берегом тонуть“.[2] Тогда казаки „излегчили примать запасов помене по стругам“ и приправили им „набой“, т. е. наколотили борта. Все эти подробности явно легендарного характера, но замечательно, что излагая их, автор летописи все-таки полемизирует с какой-то другой версией истории сборов Ермака, утверждающей, что Ермак брал у Максима Строганова припасы „в займы“ и „в честь“.[3]

Все эти особенности Кунгурской летописи находятся в связи с фактом несомненной близости к фольклору. Целый ряд событий в Кунгурской летописи рассказан совсем так, как в исторических песнях о Ермаке — особенно в тех из них, которые были записаны в Западной Сибири.[4]

От Кунгурской летописи сохранился законченный повествовательный отрывок о походе пятидесятника Богдана Брязги „с товарищами“ вниз по Иртышу. Повествование это отличается большою точностью и реальностью наблюдения. Очень живо передан характер расправы казаков с местным населением при сборе ясака в Аремзянской волости. Богдан „городок крепкий взял боем и мнъгих лутчих мергеней повесил за ногу и растрелял“, а затем „ясак собрал за саблею и положил на стол кровавую, и велел верно целовати за государя царя“. Татары были настолько напуганы этим, что „и за страх

---

[1] Там же, стр. 315.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Ср., например, маршрут похода Ермака в Кунгурской летописи и у Вс. Миллера, № 159; упоминание о покинутых лодках „коломенках“ и др. Ср. также „Древние российские стихотворения“ Кирши Данилова, 1938, стр. 81 и след.

грозы не смели не токмо руки поднять, ниже слова молвить во всей волости Надцынской".[1]

Этнографически интересно рассказано в этом отрывке о камлании шамана: „проклятаго связавше крепко и уткнут саблею или ножом в брюхо скрозь, и держат связана дондеже по вопросу всем скажет, и тогда выдернут из него нож или саблю, шейтаншик же став, наточит пригоршни крови свои, выпьет и вымажется, будет весь цел, что и язв не знать".[2] Любопытны также рассказанные в этом отрывке сведения о культе „богыни древней",[3] о ворожбе, о попытке казаков похитить остяцкого бога, о камне, насылающем непогоду, в основе чего лежит реальное мусульманское поверие, затем о гадании Ермака у шамана и т. д. Чрезвычайная точность описаний всех деталей похода, мелочность некоторых указаний (например, что приносившие ясак были в „цветном" платье и др.) заставляют предполагать, что первоначальная запись о походе Богдана Брязги была сделана кем-то из участников. На эту же мысль наводит сама форма рассказа от первого лица в описании одной из битв: „егда же начахом приступати на косогор",[4] а также своеобразное сокращение изложения, которое мог допустить только очевидец, уставший рассказывать обо всем, что он видел: „а кои бои и были по дороге на низ пловучи, и тех всех описать трудно подробну: вои убитых нет, а раненых кажной многащи".[5] Те же следы записей очевидца заметны и в двух других отрывках Кунгурской летописи. Таково, например, точное описание местности в конце одного из отрывков: „стояще в прикрыте за речкою в трех верстах и менши, в темном диком суземье, при речке крутой и топкой велми; по ней же Кучум учинил брод широкий как в три или в четыре телеги проехать, в одном месте

[1] Там же, стр. 333.
[2] Там же, стр. 326.
[3] Там же, стр. 336.
[4] Там же, стр. 334.
[5] Там же, ст-. 336.

каменьем и песком засыпал плотно; а хто не угодает, утопает".[1]

Поражает и обилие дат в Кунгурской летописи, причем ни в датах, ни в описании самих событий не видно зависимости ее от других сибирских летописей. Все это заставляет предполагать какой-то особый своеобразный и, уж во всяком случае, очень древний источник Кунгурской летописи.

Один из эпизодов, рассказанных в этой летописи, возможно, явился основанием для соответствующего мотива в эпосе об Ермаке. Во время сборов ясака местный князь Елыгай привел Ермаку „прекраскую дочь свою в честь и в дар. Ермак же не приял и отверг, и прочим запретил". „Та бо девка роду ханска Саргачыка царя прекрасна".[2] „Прекрасная дочь" Елыгая, не есть ли это прототип той песенной „души красной девицы, молодой Урзамовны",[3] дочери „мурзы турскова", которую казаки Ермака отпускают не обидев? Не ясна связь с этим эпизодом дальнейшего рассказа о „царицыном плаче". В происшедшем вслед затем бою казаки потеряли пятерых убитыми. „И о тех пяти человеках, — говорит Кунгурская летопись, — татара поют с плачем при беседах в песнях, припеваючи: «яным, яным, биш казак, биш казак», сиречь: «воины, воины, пять, пять человек победиша и разориша». И сия песня их словет царицын плачь".[4]

Концу XVII в. принадлежит любопытная историческая повесть о завоевании Сибири Ермаком, включенная в „Описание Новые земли Сибирского государства", составленное, повидимому, в Москве в Сибирском приказе. Повесть эта была в конце же XVII в. использована в известной голландской книге „О северной и восточной Тартарии" Витзена.

---

[1] Там же, стр. 343.

[2] Там же, стр. 342.

[3] Вс. Миллер. „Исторические песни русского народа XVI — XVII вв.", Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. 93., П., 1915, стр. 478. Ср. также: Кир. Данилов, „Древние российские стихотворения", 1938, стр. 76.

[4] „Сибирские летописи", стр. 342.

Повесть эта не похожа ни на одну из сибирских летописей — ни по содержанию, ни по стилю. Она включает в себя различные народные рассказы о сибирском походе Ермака, изложена языком простым и вместе с тем вполне литературным, ритмичным.

История завоевания Сибири начинается со взятия Казани, чем подчеркивается обычная для народных песен о Ермаке связь этих двух событий. На основании народных рассказов повествуется здесь о „мужике Строганове“,[1] помогшем Ермаку, о золоченых стрелах, которые разослал царь Кучум своим воинам, оповещая их о приближении Ермака, о двух пушках Кучума, которые по казакам „стрельбы не дали“, за что Кучум велел их свергнуть „с высокие горы вниз, в реку Иртыш“.

Фольклорной гиперболизацией звучит рассказ повести о том, как Ермак, спасаясь от татар и перескочив через три струга, упал „в воду в великую реку Иртыш в яр в глубокое место“ и пошел камнем ко дну.[2]

> Он Ермак похотел перескочити
> На другую свою коломенку
> И ступил на переходню обманчувую...

В народном характере составлена отписка Ермака царю о завоевании Сибири, речи казаков и Ермака с утешениями друг друга перед битвой с Кучумом и т. д. Наконец, легендарно звучит и рассказ о том, как Кучум после гибели Ермака велел сетями, баграми и „всякими снастями“ искать в омуте тело Ермака: „А как сыщется, велю тело его, вора атамана Ермака, в части изрезать, и сам мясо его с родителями своими стану ясти, такова разорителя своего царства“.[3]

---

[1] Там же, стр. 368.

[2] Там же, стр. 377. Ср. смерть Ермака в народных песнях: Вс. Миллер. „Исторические песни...“, стр. 487.

[3] Там же, стр. 377.

От конца XVII в. дошел до нас и ряд других сочинений: погодная летопись Тобольска, „Сказание о великой реке Амуре“ и мн. др.

Исторические, географические и этнографические сочинения о Сибири явились одним из самых популярных чтений древне-русского читателя.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летопись возникла на Руси вместе с письменностью. Письменность же появилась на Руси с принятием христианства и на первых порах носила по преимуществу церковный характер. Вот почему и летопись зародилась в недрах церковно-учительной литературы. Однако проблема христианства на Руси была при Владимире I, Ярославе и его преемниках проблемой широкого политического значения по преимуществу и определяла собою отношения Руси и Византии, стремившейся через церковную организацию к установлению политической гегемонии над русским народом.

Первое русское историческое произведение, условно называемое нами „Сказанием о первых русских христианах", охватывало русскую историю больше, чем за столетие и было по преимуществу посвящено истории христианства на Руси. Это первое произведение по русской истории доказывало право Руси на церковную и политическую самостоятельность, доказывало равноправие Руси и Византии, было тесно связано с передовыми политическими идеями своего времени.

Связь русской исторической мысли и русской действительности впоследствии все росла и сравнительно быстро привела к образованию всех оригинальных особенностей русской летописи, резко отделяющих ее от западно-европейской и византийской анналистики. Русское летописание развивалось под влиянием разнородных факторов, но все они шли от реаль-

27*

ной действительности и лишь очень немногие — от литературной традиции. Русская летопись и русская жизнь были самым крепким образом связаны на всем протяжении. Именно эта связь определила собою и факт удивительной живучести самой летописи, ее удивительную способность ответить на самые разнообразные запросы политической действительности.

Под влиянием самой жизни сложился язык летописи: простой и доступный. Он образовался на основе развитой традиции устного языка своего времени (язык посольств, воинские речи, вечевые речи и т. д.). Влияние живой устной речи сказалось в особенности на прямой речи летописи, широкое введение которой в изложение составляет характерную черту именно русской летописи. На первых порах существенное значение для русской летописи имел фольклор. Под влиянием фольклорного диалога выработался диалог летописи. Исторические формы фольклора (в родовых преданиях, в местных легендах, в дружинных песнях) сыграли важную роль и в форме, и в содержании первых летописей.

В дальнейшем форма летописи, ее стиль, типичный состав, характер работы летописцев и т. д. постоянно менялись. Они были различны в разное время, различны по областям, различны в зависимости от того, в чьих руках находилось летописание и чьим целям оно служило: но всегда и всюду в период своего расцвета летописание находилось в тесной зависимости от самой жизни.

Политические идеи первых летописцев были связаны не с верхами киевского общества, а в известной мере отражали собою идеи широких масс населения. Именно это определило собой поразительно быстрый рост общественного влияния летописи. Киевские князья, вынужденные считаться с летописью, сперва вмешиваются в летописную работу, а затем берут ее в свои руки, отдавая ее ведение своим сторонникам.

С этой поры, с конца XI — начала XII в. летопись приобретает официальный характер. Она отражает официальные

воззрения верхушки феодального общества, становится политическим документом первостепенной важности. Первою официальною киевскою княжескою летописью была Повесть временных лет, соединившая в себе старые принципы летописания с новыми. Официальный характер придал летописи грандиозный размах, вооружил ее сдержанностью, позволил привлечь в состав летописи документы, отрывки византийских хроник, различных литературных произведений. Работа составителя Повести временных лет была связана со сложнейшими разысканиями по родной истории. Летописец осмыслил русскую историю с точки зрения исконного единства Русской земли и княжеского рода и вывел Русь на мировую историческую арену. Вместе с тем в Повести временных лет нашли себе отражение и те прежние летописные своды, которые выражали не официальную точку зрения на русскую историю, а точку зрения управляемых. Благодаря этому Повесть временных лет смогла стать полной, широкой и народной историей Руси. Вот почему на ней воспитывались многие поколения русских людей, вот почему именно отсюда черпали они политические идеи, прогрессивно определявшие их политическую деятельность.

Последующая история русского летописания вся зависит от местных тенденций феодализирующейся Руси. В XII и XIII вв. происходит интенсивный процесс политического дробления Руси. Вместе с тем дробится по областям и русская культура. Свои формы летописания создаются в Чернигове, в Галиче, в Новгороде, во Владимире и т. д.; ведением собственных летописей озабочены князья, городские организации, монастыри, даже отдельные церкви. В XII в. вырабатываются новые формы летописания — семейные, родовые и личные летописцы князей. В центрах сильной княжеской власти создаются летописи, ставившие своею целью прославление князя или его рода, создаются княжеские жизнеописания. В Новгороде летописание демократизуется, отражает узкоместные интересы, приобретает антикняжеский характер. Помимо летописного изложения исторических событий за боль-

ший или меньший промежуток времени, создаются исторические произведения, посвященные только одному событию, послужившему причиной княжеских раздоров — обличительные исторические повести, специально включаемые в летопись в целях оправдания одной из враждующих сторон и осуждения другой. Они типичны для эпохи феодальной раздробленности Руси и по своей форме, и по своему содержанию.

Замечательно, что, несмотря на господство центробежных сил, чувство единства Русской земли не покидало русских летописцев даже в период наибольшей феодальной раздробленности. На протяжении многих веков русское летописание постоянно служило целям национального объединения. Летописание нового в XII—XIII вв. политического центра Руси — Владимирского-суздальского княжества — неуклонно стремится стать летописанием общерусским. Это свое стремление владимирское летописание сохраняет и после разгрома Владимира татаро-монголами. Владимирское летописание переживает даже самый город Владимир, разрушенный ордами Батыя. Как летописание великокняжеское и владимирское, оно переходит после разгрома Владимира в 1237 г. в Ростов, в Тверь и, наконец, в Москву.

Москва подхватывает идею общерусского летописания. Идейное собирание Русской земли совершилось в московском летописании раньше, чем оно произошло в политической жизни. Москва в конце XIV—XV вв. соединяет в своем летописании областные летописи — новгородские, тверские, ростовские, нижегородские и т. д. Она ведет свое летописание не как местное московское летописание, а как летописание всей Руси. Значение общерусского московского летописания в этот период собирания Москвою русских земель огромно. Москва возрождает традиции общерусского киевского летописания и передает идеи единства Руси даже в те области, которые оставались отъединенными от Москвы. На основе московских сводов в Новгороде, в Твери, в Пскове, в Ростове создаются общерусские своды. Так, идея единства Руси побеждает в историческом сознании всех русских областей еще

до их окончательного объединения в едином Русском государстве. Создание общерусских летописных сводов в Москве, а затем в Новгороде, в Твери, в Пскове — было своеобразной идеологической подготовкой создания общерусского государства.

С выходом Русского государства в конце XV—XVI вв. на широкий простор европейской политики, усложнившиеся дипломатические сношения не могли больше ограничиваться теми историческими материалами, которые давала летопись. Летопись становится выразительницей строго официальной точки зрения на русскую историю, но вместе с тем она утрачивает свое значение важнейшего государственного документа, тем самым подрывается и ее государственное значение в целом. Государственный архив, архив посольского приказа становится конкурентом летописи. Делопроизводство московских приказов отражается в летописи.

Вместе с тем, утратив свое значение, как исторического документа, летопись все больше и больше становится чисто литературным произведением. В летопись широко проникают повествовательные приемы, идущие из переводных хронографов. В задачу летописи в основном входит уже воспитание читателей в духе официальных политических воззрений.

Обе тенденции — одна, идущая от приказного делопроизводства, от архивных материалов, и другая, идущая от чисто повествовательной литературы, постепенно укрепляются в летописи. Под влиянием этих двух тенденций московская летопись перестает существовать: она выделяет из себя историческое повествование типа Степенной книги, исторических повестей и сказаний, а с другой стороны — сводится к описи архивного исторического материала. Таким образом, конец московского летописания был вызван не прекращением потребности в нем, а таким ее усложнением, которому уже сама летопись не могла удовлетворять.

Итак, в центре — в Москве — официальное летописание постепенно прекращается. Оно уступает место непосредственно документу и, с другой стороны, — исторической беллетристике.

Ни исторические повести и сказания о „Смуте“, ни „Новый летописец“, ни „Летопись о многих мятежах“ и др. по существу уже летописями не являются.

Летопись уходит из Москвы, но сохраняется еще по областям. „Смута“ развязала центробежные силы в Русском государстве и повела к некоторому усилению летописания в Новгороде и в Пскове. Но местное летописание в XVII в. не носит уже официального характера, или носит его лишь отчасти. В ведении летописей в XVII в. все более и более сказывается частная инициатива и демократические тенденции, а вместе с ними проникает в летопись и стихия фольклора. Таким образом, летопись, угасая, вернулась в XVII в. к тому же фольклорному источнику, которым пользовалась при своем начале.

На всем протяжении семи веков своего действенного существования, летопись постоянно была связана с русской жизнью. Русские летописи чутко отражали все общественно-политические сдвиги — и по содержанию, и по форме. Именно благодаря этому летописание отличалось такою живучестью и имело такое огромное влияние в русской действительности.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНЕЙШИЕ СПИСКИ И ГРУППЫ СПИСКОВ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

Лаврентьевская летопись — одна из самых древних и ценных русских летописей — получила свое название по имени монаха Лаврентия, переписавшего ее в 1377 г. по заказу Суздальского и Нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича с „ветхого" летописца, заканчивавшего свое изложение на 1305 г. Ветхость летописца, с которого Лаврентий делал свой пергаменный список, была *немалой:* в ней не было конца изложения событий 898 г. и следующих лет до 922, не было изложения от 1263 г. — с середины жизнеописания Александра Невского — и до 1283 г., не было текста от 1288 г. до середины повествования 1294 г. Во всех этих местах Лаврентий вынужден был делать пропуски.

Лаврентьевская летопись была куплена в 1792 г. известным собирателем древних рукописей гр. Мусиным-Пушкиным вместе с целым возом старых книг. По имени Мусина-Пушкина Н. М. Карамзин называет Лаврентьевскую летопись в своей Истории государства российского — Пушкинской. Ныне рукопись Лаврентьевской летописи хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде (F. IV. № 2).[1]

Первое издание Лаврентьевской летописи было предпринято в 1804 г. Обществом истории и древностей российских

---

[1] *История приобретения Лаврентьевской летописи гр. Мусиным-Пушкиным рассказана К. Ф. Калайдовичем в „Вестнике Европы"* (1813, № 21) и в „Записках и трудах Общества истории и древностей российских" (ч. II), в последних иначе, чем в Вестнике Европы.

при Московском университете под редакцией Чеботарева и Черепанова, но затянулось и было приостановлено в 1810 г. Часть листов этого издания была уже отпечатана (от начала и до 907 г.) и сохранилась. Лаврентьевская летопись была дана в них с вариантами по Радзивиловской и сгоревшей в 1812 г. Троицкой (см. ниже).

В 1810 г. решено было издавать Лаврентьевскую летопись по новому плану, под редакцией Тимковского. Но в пожар 1812 г. сгорели многие собранные для издания рукописи. В 1824 г. отдельные листы этого издания (доведенные до 1020 г.) были выпущены Обществом истории и древностей российских.

В 1846 г. вышел I том Полного собрания русских летописей, заключавший в себе текст Лаврентьевской летописи под редакцией Бередникова. К вариантам текста Повести временных лет были привлечены сохранившиеся остатки Троицкой (по первому изданию Лаврентьевской), Ипатьевский, Радзивиловский и Хлебниковский списки.

Второе издание I тома Полного собрания русских летописей, вышедшее в 1872 г., исключило из вариантов Ипатьевский и Хлебниковский списки, как самостоятельную группу летописей.

Третье издание, представлявшее собою перепечатку второго, вышло в 1897 г. Перепечатка его в части, обнимающей Повесть временных лет, вышла в 1910 г. Фототипическое издание той же части вышло в 1872 г.

Последнее издание I тома Полного собрания русских летописей появилось в 1926 г. под редакцией акад. Е. Ф. Карского. Несмотря на всю тщательность издания Лаврентьевской летописи, оно вызвало справедливые нарекания. В частности, указывали, что план издания повторил план второго издания, и к вариантам не была привлечена найденная А. А. Шахматовым в 1900 г. Симеоновская летопись, по которой, как было доказано А. А. Шахматовым, можно было бы восстановить все пропуски текста Лаврентьевской от 1177 по 1305 г. (т. е. указанные выше пропуски с 1263 по 1283 г. и от 1288 по 1294 г.).

История текста Лаврентьевской летописи внимательно изучалась А. А. Шахматовым,[1] а затем — М. Д. Приселковым.[2] Выводы исследования М. Д. Приселкова могут быть суммированы в следующем виде.

Андрей Боголюбский в последние годы своей жизни задумал составить летописный свод. Владимирский летописец — составитель этого свода — соединил в своем летописании летописные записи, ведшиеся во Владимире (систематически они начали вестись с 1158 г.) и летопись южно-русскую — Летописец Переяславля Русского, в начале которого находилась Повесть временных лет в редакции Сильвестра 1116 г. (игумен Киево-печерского монастыря Сильвестр был с 1119 г. епископом Переяславля Русского). Закончен этот летописный свод был уже после убийства Андрея Боголюбского в 1177 г. при Всеволоде Большом Гнезде.

Свод 1177 г. с дополнениями летописных записей до 1193 г. был положен в основание нового свода, выполненного в 1193 г. Составитель свода 1193 г. вновь привлек летопись Переяславля Русского, но на этот раз не епископскую, а княжескую — летописец переяславского князя Владимира Глебовича. В начале этой княжеской переяславской летописи читалась Повесть временных лет в редакции Мстислава 1118 г. (Мстислав был одно время князем Переяславля Русского и перенес туда свое летописание).

Такое двукратное привлечение летописных материалов Переяславля Русского объясняется тем, что последний рассматривался владимирскими князьями как своя отчина. Оно привело, во-первых, к тому, что Повесть временных лет в Лаврентьевском списке оказалась в редакции, соединившей редакцию Мстислава (1118 г.) и редакцию Сильвестра (1116 г.),

---

[1] А. А. Шахматов. „Обозрение русских летописных сводов XIV — XVI вв.“, Л., 1938, гл. 1.

[2] М. Д. Приселков. „Лаврентьевская летопись (история текста)“, Ученые записки Ленингр. Гос. университета, № 32, Серия историч. наук, вып. 2, Л., 1939.

а, с другой стороны, — к многочисленным дублировкам южнорусских известий. Эти дублировки объясняются не только тем, что дважды было привлечено летописание Переяславля Русского, но и тем еще, что между переяславским епископским и переяславскими княжескими летописцами существовало различие в хронологии. Вот почему получилось так, что поход русских князей на половцев записан в Лаврентьевской летописи под 1110 и под 1111 гг., смерть Олега Святославича под 1115 и под 1116 гг., вокняжение Глеба в Киеве под 1168 и под 1169 гг., поход Михалка на половцев под 1169 и 1171 гг. Ошибочная хронология имелась, повидимому, в княжеском летописце — это следует иметь в виду при пользовании Лаврентьевской летописью за XII в.

Новый этап владимирского летописания представляет собою владимирский свод 1212 г., составленный Юрием Всеволодовичем в целях прославления памяти своего отца — Всеволода Большое Гнездо. Свод этот отразился, главным образом, в Радзивиловской летописи (см. ниже), а в Лаврентьевской лишь незначительно.

Другой этап северо-восточного летописания, как предполагает М. Д. Приселков, — свод 1239 г. Ярослава Всеволодовича. Свод этот был составлен не во Владимире, к тому времени разгромленном ордами Батыя, а в Ростове. В основу его было положено летописание Ростова — ростовского князя Константина и его сыновей, с владимирским сводом 1193 г. во главе. Свод 1212 г. был привлечен к этому ростовскому своду 1239 г. лишь отчасти. Вот почему в Лаврентьевской летописи в большей мере отражен владимирский свод 1193 г., чем владимирский свод 1212 г.

В дальнейшем изложении до 80-х годов XIII в. Лаврентьевская летопись отражает, главным образом, ростовское летописание (по предположениям М. Д. Приселкова — свод 1263 г. и свод 1281 г.).

Известия Лаврентьевской летописи с 1284 по 1305 г. ведут нас к своду, составленному уже в Твери при дворе великого князя. В основе этого свода лежал семейный летописец твер-

ского князя, семейный летописец смоленского и ярославского князя Федора Ростиславича Черного, летописные известия новгородские и рязанские. Этот тверской свод, доведенный до 1305 г., был соединен тверским летописцем с предшествующим ростовским летописанием. Он-то и дал тот текст, который переписывал в 1377 г. Лаврентий с уже „ветхого" летописца, как гласит об этом запись самого Лаврентия на 172 листе рукописи.

Ипатьевская летопись. Ипатьевский список начала XV в. писан полууставом, повидимому, в Пскове (Библиотека Академии Наук СССР 16. 4. 4), открыт Н. М. Карамзиным. Принадлежал раньше Ипатьевскому монастырю в Костроме. Текст Ипатьевского списка впервые был издан во II томе Полного собрания русских летописей в 1843 г. с вариантами по *Хлебниковскому* XVI в. (Публичная библиотека в Ленинграде № 40; принадлежал коломенскому купцу Хлебникову) и *Ермолаевскому* (Публичная библиотека в Ленинграде) спискам. Издание это было выполнено неудовлетворительно: начало рукописи до 1111 г. не было издано вовсе. Второе издание II тома Полного собрания русских летописей вышло в 1871 г. (под редакцией Е. Палаузова). Ипатьевская летопись была издана в нем полностью с вариантами по Хлебниковскому списку XVI в. и *Погодинскому* — конца XVI в. (Публичн. библиотека в Ленинграде, Погодинское собрание, № 1401). В 1908 г. вышло издание Ипатьевской летописи под редакцией А. А. Шахматова. Оно было повторено в 1923 г. с тем отличием от изданий 1871 и 1908 гг., что варианты в нем подведены по одному Хлебниковскому списку (Список Погодинский оказался неисправной копией Хлебниковского, а Ермолаевский, использованный в издании 1871 г., оказался позднейшей переработкой Погодинского). Кроме уже отмеченных списков, Ипатьевский сходствует еще с *Краковским* XVIII в., но последний представляет собою переписанную латинскими буквами копию с Погодинского. Фототипическое издание Повести временных лет по Ипатьевскому списку вышло в 1871 г.

Таким образом, основных списков Ипатьевской летописи два: Ипатьевский список и Хлебниковский. Оба эти списка восходят к южно-русскому летописному своду конца XIII в. (по определению М. Д. Приселкова) или XIV в. (по определению А. А. Шахматова).[1]

Ипатьевская летопись (южно-русский свод) распадается на три главных части. Первая часть содержит Повесть временных лет, близкую к третьей редакции и доведенную до 1117 г. Вторая часть обнимает события 1118—1199 гг. Она представляет собою свод, составленный в 1200 г. в Выдубицком монастыре. Свод этот заканчивался описанием торжества по случаю построения князем Рюриком Ростиславичем в 1199 г. каменной монастырской стены. Здесь, под 1199 г., полностью приведена речь игумена Моисея с похвалою Рюрику Ростиславичу. В свод 1200 г. была включена семейная летопись этого Рюрика Ростиславича (известия 1173, 1174, 1180, 1185, 1187, 1194, 1197, 1198 и 1199 гг.), затем черниговская летопись Игоря Святославича, включившая в свой состав переяславский летописец Владимира Глебовича (см. выше, часть III, главу 11). В свод 1200 г. была включена также летопись Киево-печерского монастыря, включившая в свой состав киевскую княжескую летопись. Кроме того, в этой второй части Ипатьевской летописи имеется ряд заимствований из галицко-волынской летописи (под 1141, 1144, 1145, 1164, 1187, 1188, 1189, 1190 и 1197 гг.). Неясно, были ли эти известия включены уже в свод 1200 г., или они представляют собой позднейшие вставки, сделанные составителем южно-русского свода конца XIII в.

Третья часть Ипатьевской летописи доводит повествование до 1292 г. и представляет собою в основном галицко-волынскую летопись с привлечением некоторых ростово-суздальских

---

[1] Определение М. Д. Приселкова кажется нам более достоверным. В своем отнесении свода к XIV в. А. А. Шахматов исходил из предположения, что составитель южно-русского свода пользовался „Владимирским Полихроном" начала XIV в. Однако, самое существование этого „Владимирского Полихрона" вызывает большие сомнения.

летописных статей, и, возможно, пинских летописей последней четверти XIII в. Галицко-волынская летопись, в основном состоящая из ряда княжеских биографий (Л. В. Черепнин[1]), не имела обычной разбивки на годовые статьи. Обычная летописная сеть годов в Хлебниковском списке отсутствует с 1201 г. вовсе. Составитель Ипатьевского списка расставил года, но неловко — иногда с ошибками до 4 лет.[2]

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись. Список Радзивиловской или Кенигсбергской летописи находился в XVII в. во владении Радзивилов. В 1671 г. поступил в Кенигсбергскую библиотеку от князя Януша Радзивила. В 1716 г. Петр I приказал снять с него копию (хранится в Библиотеке Академии Наук СССР) в связи с возникшей у Петра (еще в 1703 г.) мыслью о печатании русских летописей. В 1758 г. президент Академии гр. Разумовский при занятии русскими войсками Кенигсберга вытребовал оттуда Радзивиловский список.

Радзивиловский список (Библиотека Академии Наук СССР, № 34. 5. 30) писан полууставом в конце XV в. и имеет 617 миниатюр, из них 4 наклейки (обычно число иллюстраций неправильно считается — 604).[3]

Первое издание Радзивиловского списка вышло в 1767 г. под заглавием „Библиотека Российская историческая, древние летописи". Вышла только 1 часть. В 1902 г. весь текст Радзивиловского списка из страницы в страницу был издан фотомеханически Обществом любителей древней письменности, чем было значительно облегчено его изучение. К нему приложены подробные статьи палеографического характера и исследование А. А. Шахматова. Статья Н. П. Кондакова о миниатюрах в том же издании теперь устарела и имеет много неточностей.

---

[1] Л. В. Черепнин. „Летописец Даниила Галицкого", Исторические Записки, № 12, 1941.

[2] М. С. Грушевский. „Хронологія подій галицко-волинскої літописи", Зап. Наук. тов. ім. Шевченка, т. XVI, 1901.

[3] См. поправку в исследовании А. В. Арциховского: „Древнерусские миниатюры как исторический источник", М., 1944, стр. 6.

Радзивиловский список оканчивает изложение на 1206 г. и на всем своем протяжении сходствует с *Московско-академическим списком* конца XV в., доведенным до 1419 г. (б. Библиотеки Московской духовной академии № 5/182; теперь в Гос. Историческом музее).[1] Как установлено А. А. Шахматовым, годы 1206—1238 восходят в Московско-академическом списке к Софийской летописи, а с 1239 по 1419 г. Московско-академический свод заимствует свой текст из Ростовской летописи (см. ниже).

Сравнительное изучение основного списка Радзивиловской летописи и Московско-академического списка в пределах до 1206 г. позволило А. А. Шахматову установить, что оба списка восходят к общему, недошедшему до нас, протографу. Протограф Радзивиловского списка и Московско-академического принято теперь называть Радзивиловской летописью. Эта Радзивиловская летопись также была иллюстрирована. Это видно по тому, что в Московско-академическом списке сохранились следы, указывающие на то, что оригинал, с которого она списывалась (т. е. Радзивиловская летопись), был иллюстрирован так же, как и Радзивиловский список. Так, например, текст, находящийся в Радзивиловском списке между двумя миниатюрами (1024 г.), в Московско-академическом пропущен. Очевидно, что в Радзивиловской летописи этот текст находился также между миниатюрами, и писец Московско-академического списка принял его за подпись к рисунку. Кроме того, самый характер миниатюр Радзивиловского списка убеждает искусствоведов в том, что в их основе лежат более древние изображения.[2]

Когда снимались копии, Радзивиловская летопись была уже ветхой: последние листы утратились, предпоследние листы

---

[1] Московско-академический список издан в I томе Полн. собр. русск. лет. до 1206 г., как варианты к Лаврентьевской, а с 1206 г. до конца (1419 г.) в дополнении к этому тому. В первом издании I тома Полного собрания русских летописей Московско-академический список назван Троицкою I.

[2] А. В. Арциховский. „Древнерусские миниатюры как исторический источник", М., 1944.

оторвались и были вложены внутрь. Поэтому в Радзивиловском списке изложение 1205—1206 гг. оказалось переписано ранее 1203—1205 гг. Ту же путаницу имеет и Московско-академический список.

В последнее время А. А. Шахматов считал Радзивиловский список *сделанным* в Смоленской области, основываясь на языковых данных.[1] Но вывод этот нельзя считать абсолютно достоверным.

Радзивиловский и Московско-академический список сходствуют также с так называемым *„Летописцем Переяславля Суздальского“*, изданным в 1851 г. кн. М. Оболенским (сборник Московского главного Архива иностранных дел XV в., № 902/1468).[2]

Издание Оболенского имеет много неточностей и ошибок в передаче текста рукописи. Язык рукописи во многих случаях модернизован (реже архаизован). Нередки исправления по смыслу. Приведу примеры главнейших искажений издания (орфографию упрощаю). Стр. 1, стк. 11—12 сн.: „С того же лесу поиде Влъга на въсток“ — слова эти написаны на поле со знаком вноски (лист 481 рукописи). Стр. 6, стк. 9 сн.: „Тако же“. В рукописи: „Како же“ (л. 484). Стр. 6, стк. 6 сн.: „иже и Лев прозвася“. В рук.: „их и Лев прозвася“ (л. 484). Стр. 8, стк. 13 св.: „Леон Царь на Оугры и на Блъгары“. В рук. „на Оугры и“ надписаны над строкою другими чернилами (л. 485). Стр. 14, стк. 8 св.: „и седе княжа тоу в Переяславци“. В рук.: „и седе княжа тоу с переяславци“ (л. 488 об.). Стр. 15, стк. 12 сн.: „и рече един Деревлянин“. В рук.: „и рече един девин“ (л. 489). Стр. 18, стк. 3 св.: „В лето ҂ѕ҃. у҃. ч҃. а҃“. В рук.: „На ҂ѕ҃. у҃. ч҃. а҃“. (л. 490 об.). Стр. 18, стк. 9 сн.: „боудуть вси мужу милы“. В рук.: „боудуть вси милы мужу“

---

[1] „Заметка о месте составления Радзивиловского (Кенигсбергского) списка летописи“, Сборник в честь Д. Н. Анучина, М., 1913.

[2] Летописец Переяславля-Суздальского в Полное собрание русских летописей не вошел и больше не переиздавался.

(л. 491). Стр. 21, стк. 7 св.: „локот т҃“. В рук.: „локот ӏ҃“ (л. 492 об.). Стр. 23, стк. 6 сн.: „И по нем пророчьствова сын его Соломан“. В рук.: „И по нем сын его пророчьствова: Соломан“ (л. 494). Стр. 39—40: „и брат брата“. В рук.: „и други брат брата“ (л. 503). Стр. 44, стк. 12 св.: „митрополитом Ѳеѡ҃гнтомъ“. В рук.: „митрополитом Ѳеѡ̈нтō“ (л. 505). Стр. 45, стк. 10 св.: „походи по дебрем ищни“. В рук.: „походи по дебрем ища и́“ (л. 505 об.). Стр. 48, стк. 13 сн.: „являющем в снех“. В рук.: „являющеся несвершеным верою являющес в снех“ (л. 507). Стр. 4, стк. 1 сн.: „възбраняти крестом, глаголя“. В рук.: „възбраняти крестом руки глаголя“ (л. 507 об.). Стр. 53, стк. 7 св.: „и мышци“. В рук.: „и мышци и плещи“ (л. 508 об.). Стр. 54, стк. 18—19 св.: „на отчине“. В рук.: „на своеи отчине“ (л. 509 об.). Стр. 55, стк. 5—6 св.: „а им нетерпящим“. В рук.: „а инем нетерпящим“ (л. 509 об.). Стр. 58, стк. 15 св.: „молвят си“. В рук.: „молитва си“ (л. 511 об.). Стр. 60, стк. 11 св.: „всади в людиницю“. В рук.: „всади в темницю“ (л. 512 об.). Стр. 65, стк. 1 сн.: „скори“. В рук.: „скорби“ (л. 515 об.). Стр. 67, стк. 19 сн.: „биющимже ся им“. В рук.: „боящим же ся“ (л. 516). Стр. 77, стк. 5 св.: „Сеи же не токмо не въсхоте“. В рук.: „Сеи же не токмо въсхоте“ (л. 521). Стр. 88, стк. 8 св.: „земли их за правду“. В рук.: „земли за их правду“ (л. 527). Стр. 92, стк. 13 св.: „прият ею“. В рук.: „прият его (л. 529). Стр. 97, стк. 14 сн.: „Князем всем“. В рук.: „Князем же всем“ (л. 532). Стр. 98, стк. 5—6 сн.: „да възненавидят тебе“. В рук.: „да не възненавидят тебе“ (л. 532 об.). Стр. 100, стк. 11 св.: „Он же оустаився“. В рук.: „Он же оутаився“ (л. 535 об.). Стр. 105 между строками 8 и 9 св. пропущено: „Тое же осени преставися князь Черниговскыи Володимиръ“ (л. 535).

Летописец Переяславля Суздальского сохранился только от 1138 по 1214 г. Сравнительное изучение всех трех списков привело А. А. Шахматова к выводу, что Радзивиловская летопись есть летопись Переяславля Суздальского, доведенная до 1214 г., но утерявшая в рукописи свое окончание. Эта летопись Переяславля Суздальского, как показал

М. Д. Приселков,[1] имела в своей основе владимирский свод 1212 г., подвергнутый некоторой переяславской обработке.

Есть *основания предполагать,* что уже этот владимирский свод 1212 г. был иллюстрирован[2] (см. выше) и, таким образом, миниатюры Радзивиловского списка являются копией с копии же (впрочем, копирование рисунков было весьма свободным).

Составитель Радзивиловской летописи, как предполагает М. Д. Приселков, сблизил текст Переяславского свода с Лаврентьевской летописью. Отсюда ряд переяславских чтений заменен в Радзивиловском списке и в Московско-академическом более древними чтениями.

Троицкая летопись сгорела в Московском пожаре 1812 г. вместе с библиотекой Общества истории и древностей российских тогда же, когда сгорела и рукопись Слова о полку Игореве.

По свидетельству Н. М. Карамзина, нашедшего ее в библиотеке Троицкого монастыря, она была харатейной, т. е. пергаменной и заканчивалась описанием нашествия Эдигея на Москву в 1409 г.

Текст этой исчезнувшей летописи ныне восстановлен и подготовлен к печати М. Д. Приселковым. М. Д. Приселков использовал для восстановления Троицкой летописи выписки из нее в примечаниях Н. М. Карамзина к его „Истории государства российского" (в первых 5 томах). Выписки из летописей иногда снабжались Карамзиным указанием того, откуда они сделаны, а иногда лишь глухо упоминали об источнике. В этих последних случаях М. Д. Приселков, путем различных соображений, сумел уточнить их происхождение, собрав все выписки из Троицкой. Кроме выписок из Троицкой, М. Д.

---

[1] М. Д. Приселков. „Лаврентьевская летопись (история текста)", Ученые записки Ленинградского университета, № 32, Серия исторических наук, вып. 2, Л., 1939.

[2] Н. Н. Воронин. Рецензия на работу А. В. Арциховского: „Древнерусская миниатюра как *исторический источник*", Вестник Ак. Наук СССР, 1945, № 9.

Приселков использовал варианты, сделанные по ней же в приготовленных к печати листах Лаврентьевской летописи (над изданием Лаврентьевской летописи работали в начале Чеботарев и Черепанов, а с 1811 г. Тимковский). Наконец, твердую опору для восстановления Троицкой летописи М. Д. Приселков нашел в сходных по составу летописях. Такой сходной летописью, использованной М. Д. Приселковым в первую очередь для восстановления Троицкой, послужила найденная А. А. Шахматовым в 1900 г. Симеоновская летопись (см. ниже). На пространстве от 1177 г. (с которого она начиналась) и до 1390 гг. ее текст оказался тождественным с Троицкой летописью. Исключение составляли лишь три места Симеоновской — 1235—1237, 1239—1247 и 1361—1164 гг., где текст Троицкой оказался замененным текстом более поздним.

Троицкая летопись представляет собою общерусский свод, составленный при дворе московского митрополита в 1409 г. Она начала составляться еще при митрополите Киприане, а была закончена уже после его смерти. Главным источником Троицкой летописи послужил „Летописец великий русский", до нас не сохранившийся, но упоминаемый в Троицкой под 1392 г.: „и аще хощеши распытовати, разгни книгу Летописец Великий Руськый — и прочти от Великого Ярослава и до сего князя нынешнего". Летописец этот был княжеским и доводил изложение до 1389 г. включительно. Затем в состав Троицкой были включены записи по истории Литвы (православная часть которой была подчинена в церковном отношении московскому митрополиту) и местные русские летописи: ростовская владычняя, рязанская княжеская, новгородская, княжеская тверская, княжеская суздальская, смоленская, летопись Троицкого монастыря и летописец князя Владимира Андреевича Серпуховского.[1]

---

[1] См.: М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XVвв.", Л., 1940, стр. 128 и след.

Симеоновская летопись найдена А. А. Шахматовым среди дефектных рукописей Библиотеки Академии Наук в 1900 г. Она находится в сборнике (16. 8. 25) исторического содержания. На одной из его страниц имеется запись одного из ее владельцев XVII в. — справщика Никифора Симеонова, по имени которого А. А. Шахматов и назвал летопись. Главная часть сборника, содержащая летопись, может быть отнесена, по определению Н. П. Лихачева, к первой половине XVI в.

Летопись начинается с 1177 г. (начало летописного текста в ней отсутствует).

Симеоновская летопись особенно важна тем, что со своего начала (1177 г.) и по 1390 г., как это утверждает А. А. Шахматов [1] и как подтверждено исследованиями М. Д. Приселкова, [2] она представляет текст сгоревшей в 1812 г. древнейшей московской летописи 1409 г. — так называемой (см. выше) *Троицкой*. Троицкая пергаменная летопись, представлявшая исключительный интерес для истории московского летописания, была известна только по тем выпискам из нее, которые сохранились в примечаниях Н. М. Карамзина к „Истории государства российского". Все выписки из Троицкой, сделанные Н. М. Карамзиным, совпали в указанных пределах с текстом Симеоновской. Исключение составляют только годы 1235—1237, 1239—1247 и 1361—1364.

Начиная с 1412 и по 1479 г. текст Симеоновской передает текст московского великокняжеского свода 1479 г. (см. ниже). Вот почему в этих пределах Симеоновская летопись почти тождественна Эрмитажному списку (см. ниже) и Ростовской летописи (см. ниже). По этому же московскому своду 1479 г. сделаны в Симеоновской летописи вставки в тех

---

[1] „Симеоновская летопись XVI в. и Троицкая начала XV в.", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1900, кн. 2.

[2] „История русского летописания XI—XV вв., Л., 1940, стр. 100 и след. Восстановление текста Троицкой летописи на основании Симеоновской и других источников произведено М. Д. Приселковым в рукописи, хранящейся в библиотеке Института истории АН СССР.

местах, где она расходится с Троицкой 1409 г. (т. е. под годами 1235—1237, 1239—1247 и 1361—1364).

Часть Симеоновской летописи с 1390 по 1412 г. является, повидимому, извлечением из Тверской летописи, в которой подвергся, между прочим, переработке московский свод 1409 г. (Троицкая летопись). Годы 1390—1409 в Симеоновской летописи представляют собою тверскую переработку свода 1409 г., предпринятую в 1413 г.[1]

М. Д. Приселков предполагает, что и самый текст повести 1409 г. о нашествии Эдигея принадлежит авторству летописца тверича,[2] и что свод Киприана (свод 1409 г.) заканчивался на 1408 г. Продолжаем, однако, думать, вслед за А. А. Шахматовым, что повесть о нашествии Эдигея принадлежит московской летописи, лишь обработанной в Твери, и что именно на этой повести, читающейся ныне в Симеоновской и Рогожской, заканчивалась Троицкая летопись (см. выше главу 16).

Синодальный список Новгородской первой летописи принадлежал Московской Синодальной библиотеке (№ 786), ныне в Гос. Историческом музее. Древнейший из дошедших до нас списков русских летописей.

Первое издание Синодального списка вышло в 1781 г. под заглавием „Летописец Новгородский, начинающийся от 6525 (1017) года, и кончающийся 6860 (1352) годом". Второе издание вышло в 1819 г. под тем же названием. Оба эти издания неудовлетворительны, как и третье, вышедшее в 1841 г. в III томе Полного собрания русских летописей, где текст Синодального списка напечатан со значительными пропусками. В 1888 г. „Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку" вышла под редакцией П. И. Савваитова (есть неточности и опечатки). Кроме того, еще в 1875 г. под наблюдением того же П. И. Савваитова вышло светотипическое воспроизведение всей рукописи Синодального списка.

---

[1] М. Д. Приселков. „История русского летописания XI—XIV вв"., Л., 1940, стр. 115.

[2] Там же, стр. 116 и след.

Синодальный пергаменный список составлен, по палеографическим наблюдениям А. И. Соболевского, в XIV в. Он доведен до 1330 г., после чего в нем идут приписки, сделанные разными почерками (последними записаны события 1337, 1345 и 1352 гг.). В начале рукописи нехватает первых 15 тетрадей. Текст начинается с середины статьи 1016 г.

В „Обозрении русских летописных сводов XIV—XVI вв." и в работе „Общерусские летописные своды XIV—XV вв."[1] А. А. Шахматов следующим образом определяет источники Синодального списка: официальная архиепископская летопись, позднейший извод свода Германа Вояты, соединившего в XII в. архиепископскую летопись с киевской, и Полихрон начала XIV в. Позднее, в „Разысканиях о древнейших русских летописных сводах" (1908 г.) А. А. Шахматов пришел к выводу, что Герман Воята не был составителем свода, что он лишь сократил в своей летописи официальную архиепископскую летопись.

Согласно наблюдениям автора этой работы,[2] история Синодального списка может быть представлена в следующем виде. В годы княжения в Новгороде внука Мономаха Всеволода (1118—1136 гг.) был составлен свод, соединивший летопись, ведшуюся в Новгороде с начала XI в., с третьей редакцией Повести временных лет (редакцией отца Всеволода — новгородского князя Мстислава, сына Мономаха). После изгнания Всеволода в 1136 г. летопись его была подвергнута строгой ревизии при Софийском архиепископском дворе. Мономашья Повесть временных лет была заменена антикняжеским Киево-печерским Начальным сводом 1093 г. (архиепископ Нифонт, ставший после переворота 1136 г. во главе новгородского государства, был печерянином). В начале новгородской архиепископской летописи оказалось антикняжеское предисловие

---

[1] Журнал Мин. нар. просв., 1900, № 11.

[2] „Новгородские летописные своды XII в.". Автореферат этой работы напечатан в Известиях отделения языка и литературы Ак. Наук СССР, 1944, т. III, вып. 2—3.

Начального свода. Название Начального свода — „Временник Русской земли“ — было изменено на „Софийский временник“ и с тех пор стало традиционным названием новгородской софийской архиепископской летописи. Непосредственным выполнителем этого свода был Кирик — доместик Антониева монастыря и один из приближенных Нифонта, составивший, кроме свода, специальную работу по хронологии „Учение им же ведати числа всех лет“ (данные этой работы отразились в своде Кирика).

В начале XIII в., после 1204 г., был составлен новый свод архиепископской летописи, привлекший известия киевского летописания. Свод этот заканчивался повестью о взятии Константинополя крестоносцами в 1204 г. В своде этом в предисловии Софийского временника (перешедшем из Начального свода) были вставлены имена последних греческих императоров Алексея и Исаакия Ангелов, царствовавших в самом начале XIII в.[1] Имеются и другие следы сводов архиепископского летописания, один из которых присоединил к архиепископской летописи известия рязанского летописания (а не Полихрона начала XIV в., как думал А. А. Шахматов).

Новгородское архиепископское летописание несколько раз отражалось в летописании уличанской церкви Якова в Неревском конце, основанной в память победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, одержанной в Неревском конце Новгорода 23 октября 1069 г. „на святого Якова“. Первым летописцем, соединившим архиепископскую летопись с летописными записями церкви Якова, был ее настоятель Герман Воята — также один из приближенных Нифонта (Герман Воята служил в церкви Якова с 1044 по 1088 г.). Другими летопис-

[1] Такой точки зрения держался А. А. Шахматов. Однако в работе „Предисловие к Начальному Киевскому своду́ и Несторова летопись“ (Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1908, кн. 1) А. А. Шахматов высказал мнение, что под Олексой и Исаакием предисловия следует разуметь Алексея I Комнина и его брата Исаакия севастократа. Впоследствии А. А. Шахматов вновь вернулся к своему первоначальному мнению (в неопубликованной работе о Начальном своде).

цами церкви Якова, систематически пополнявшими ее летопись на основании летописи архиепископской, были — *пономарь* Тимофей, сделавший о себе запись в летописи под 1230 г., и сам составитель Синодального списка. Соединение двух летописей (архиепископской и церкви Якова) и многократное обращение к архиепископской летописи повело к многочисленным дублировкам в составе Синодального списка.

Таким образом, Софийский временник составился не в XV в., как думал А. А. Шахматов, а в XII в. Он постоянно дополнялся, и из него черпались известия для летописания церкви Якова, от которого дошел до нас Синодальный список.

Новгородская первая летопись младшего извода. К этой группе Новгородской первой летописи (к старшему же изводу Новгородской первой принадлежит один Синодальный список) относятся: *Комиссионный* (Археографической комиссии XV в., ныне в Институте истории Академии Наук СССР), *Академический* второй половины XV в. (ранее принадлежавший Татищеву, Библиотека Академии Наук СССР, 17. 8. 36), *Толстовский* XVIII в. (из собрания Ф. А. Толстого, Публичной библиотеки в Ленинграде F. б. о. IV, № 233). Комиссионный список издан в составе издания „Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку“ (1888): до 1016 г. самостоятельно (на месте утраченной части Синодального списка), с 1016 по 1074 в соединении с Синодальном списком (для восполнения кратких статей Синодального списка), с 1075 по 1332 г. в вариантах к Синодальному списку, а с 1333 г. (на 1333 г. кончается Синодальный список) по 1446 г. вновь самостоятельно. В том же издании в вариантах к Синодальному и Комиссионному спискам изданы и остальные перечисленные выше списки.

Комиссионный список писан двумя почерками. Основной протограф его доходил до 1432 г. и представлял собою свод, составленный на основании Синодального списка и Софийской летописи владычнего двора (А. А. Шахматов прибавляет к этому еще Софийский временник, но мы видели выше, что Софийским временником как-раз и называлась летопись

владычнего двора). Свод 1433 г. был переработан по Новгородско-софийскому своду („своду 1448 г.“), причем текст до 1439 г. взят из дополнений к этому своду. Так составился Комиссионный список.

Другие списки Новгородской первой летописи младшего извода представляют собою дальнейшее усложнение Комиссионного списка.[1]

Новгородская вторая летопись известна по единственному списку конца XVI — начала XVII в., принадлежавшему А. Малиновскому, от которого она поступила в библиотеку Московского Архива коллегии иностранных дел (теперь в Гос. Архиве феодально-крепостнической эпохи). Она начинается с 911 г. и доведена в основном до 1573 г. Н. М. Карамзин ссылается на эту летопись, называя ее Новгородской летописью Малиновского. При переплете рукописи страницы ее были перепутаны, известия разных годов соединены вместе небрежно и т. д. При первом ее издании в III томе Полного собрания русских летописей в 1841 г., и позднее в издании 1879 г.[2] издатели стремились восстановить хронологический порядок изложения и „исправляли хронологические ошибки“, чем затруднили возможность изучения этой летописи по изданию.

Состав Новгородской второй летописи до сих пор изучен слабо. Одним из источников ее был, без сомнения, летописец, переписанный монахом Геронтием в 1450 г. в новгородском монастыре Рождества Богоматери на Лисичьей Горе, что видно из записи на обороте 145 листа рукописи. Впрочем, новгородская летопись до XVI в. выступает в рукописи в сильно сокращенном виде со множеством дублировок известий. Лишь известия XVI в. и, в особенности, второй половины XVI в. представляют собой более или менее пространные повествования.

---

[1] См. „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.“, Л., 1939, главы XI, XII, XIII.

[2] „Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая и Новгородская третья летописи)“, СПб., 1879.

Новгородская третья летопись в рукописях носит название: „Книга, глаголемая Летописец Новгородской в кратце, церквам Божиим“.

Летопись эта известна в нескольких списках, перечисленных при ее издании.[1] По своему содержанию летопись представляет собою довольно полные выборки из разных источников (некоторые из которых, очевидно, не сохранились) по преимуществу о церковных делах. Окончательную редакцию летопись получила вероятно около 1673 г., на котором прекращается большая часть списков, но некоторые из них заходит и в XVIII в.

Новгородская четвертая летопись. Под этим названием известна целая группа весьма обширных летописных списков. Из них к древнейшему изводу новгородской четвертой летописи принадлежат списки б. *Новороссийского университета* последней четверти XV в. (№ 81), *Голицынский* первой половины XVII в. (*Публичной библиотеки в Ленинграде* Q. XVII. № 62) и *Толстовский* конца XV — начала XVI в. (Публичной библиотеки в Ленинграде Q. IV. № 138). К более позднему изводу принадлежат четыре списка: *Строевский*, последней четверти XV в. или начала XVI в. (Публичной библиотеки в Ленинграде, Погодинского собрания № 2035), *Синодальный* 1544 г. (собрания б. Синодальной библиотеки № $\frac{152}{46}$, ныне в Гос. Историческом музее), *Фроловский* XV—XVI в. (Публичной библиотеки в Ленинграде F. IV. № 235) и *Академический* первой половины XVI в. (Библиотеки Академий Наук СССР 16. 3. 2).

Новгородская четвертая летопись была впервые напечатана в 1848 г. в IV томе *Полного собрания русских летописей*. Кроме Новгородской четвертой, в этом же томе была напечатана и Псковская первая. Ногородская четвертая летопись была здесь напечатана по Строевскому списку с вариантами по академическому, Синодальному, Фроловскому, Толстов-

[1] „Новгородские летописи (так называемая Новгородская вторая и Новгородская третья летописи)“, СПб., 1879.

скому и, кроме того, особому списку — *Хронографическому* (Синод. № 280, о нем см. ниже). Хронографический список представляет собою особую летопись, поэтому привлечение его заставило издателей давать его текст отдельными отрывками (1385—1403; 1447—1496 гг). Издание было неудачно и в других отношениях. Оно заключало в себе только ту часть Новгородской четвертой летописи, которая начинается с 1113 г. Кроме того, те места летописи, которые находят себе соответствие в Новгородской первой, второй и третьей, летописях Лаврентьевской, Ипатьевской и Троицкой (напечатанной в I томе Полного собрания русских летописей), были опущены. Были опущены и некоторые вставные памятники („Рукописание“ Магнуса, повесть о кончине митрополита Киприана), уже напечатанные в V томе Полного собрания русских летописей. Основной текст напечатан только до 1477 г., а отдельные окончания списков даны в приложении,

Новое издание Новгородской четвертой летописи начало выходить в 1915 г. (вышли выпуски I, III). Хронографический список выделен в особую летопись (Новгородскую пятую) и к изданию не привлечен. В основу издания положен все тот же Строевский список, несмотря на то, что он относится к более позднему изводу летописи. К этому побудила неисправность древнейшего из списков старшего извода — Новороссийского.

Четвертая Новгородская летопись очень близка по тексту к Софийской первой (см. ниже). Однако нельзя считать, что одна из этих летописей произошла от другой, так как, с одной стороны, в Новгородской четвертой оказываются места более древние, чем в Софийской первой, а, с другой стороны, в Софийской первой также имеются места явно более древние, чем в Новгородской четвертой. Отсюда ясно, что Новгородская четвертая и Софийская первая восходят обе к недошедшему до нас летописному своду.

Каков был объем и характер этого свода, лежащего в основе Новгородской четвертой, Софийской первой и целого ряда других летописей?

Последнею общею статьей между Новгородской четвертой и Софийской первой летописью оказывается статья 1418 г. После этого в Новгородской четвертой идут известия новгородские, которых нет в Софийской первой, а в Софийской первой — известия московские, которых нет в Новгородской четвертой. Однако такое окончание общих статей на 1418 г. А. А. Шахматов считал случайным и предполагал (по ряду соображений), что общий источник Новгородской четвертой и Софийской первой оканчивался на 1422 г.[1] Эти соображения А. А. Шахматова не представляются нам, однако, убедительными.

По своему составу этот свод, легший в основание Новгородской четвертой и Софийской первой летописей, состоял из новгородской летописи, доведенной до 1418 г. Этот систематически использованный новгородский источник, судя по сохранившемуся предисловию, назывался Софийским временником. Затем сюда же был привлечен обширный общерусский московский свод, доведенный также до 1418 г. И А. А. Шахматов, и М. Д. Приселков[2] определяют этот московский источник как свод, составленный при митрополите Фотии. А. А. Шахматов датирует его 1423 г., а М. Д. Приселков относит его более убедительно к тому же 1418 г. Третьим источником свода, легшего в основание Новгородской четвертой и Софийской первой, был ростовский владычный свод, составленный при ростовском архиепископе Григории (1396—1416 гг.).

Все источники свода, положенного в основание Новгородской четвертой и Софийской первой, указывают как будто бы на то, что свод этот был составлен либо в конце первой четверти XV в., либо, по крайней мере, в начале второй четверти XV в. Однако, в основных печатных работах А. А. Шахматова и у М. Д. Приселкова свод этот датируется точно 1448 годом. Под названием „свода 1448 г." — свод этот широко вошел в литературу. Основанием к этому послужило следующее соображение. Под 1380 г. в Софийской первой

---

1 „Обозрение...", стр. 153.

2 „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 143.

летописи и в Новгородской четвертой читается заметка: „А Благовещение бысть в велик день [т. е. на Пасху]; а перво сего, бысть за 80 лет и за 4 лет, а потом будеть за 80 лет без лета, а потом будеть за 11 лет". Эта заметка, как предполагал первоначально А. А. Шахматов, читалась в том самом своде, который лег в основание обеих летописей. Совпадение Пасхи и Благовещения действительно было в 1380 г., а затем действительно через 79 лет (за 80 лет без лета) — в 1459 г. Следующее совпадение должно было наступить только в 1543 г. Отсюда А. А. Шахматов делал вывод, что последняя приписка к последнему расчету — „а потом будеть за 11 лет" — относится к совпадению 1459 г. и означает, что она сделана в 1448 г. Так как по предположениям А. А. Шахматова приписка эта непременно сделана составителем свода, общего для Новгородской четвертой и Софийской первой, то отсюда следовал вывод, что свод этот составлен в 1448 г.

Однако в последних своих работах (в статье о летописях для Нового энциклопедического словаря и в I томе „Повести временных лет") в тех случаях, где прежде им упоминался свод 1448 г., А. А. Шахматов говорит о Софийско-новгородском своде 30-х годов XV в. Архивные материалы показывают, что такое изменение датировки свода, легшего в основание Новгородской четвертой и Софийской первой, вызвано было частным письмом к А. А. Шахматову А. В. Маркова. А. В. Марков писал: „Обратившись к новгородским летописям, я тоже сначала успокоился на цифре 1448 — выведенный Вами год составления новогородского свода. Но потом пришлось разувериться и в этом, так сказать, летописном этапе, ибо 11 лет отсчитаны летописцем не вперед (как полагаете Вы), а назад: слова «а потом за 11 лет» попали не на место, читать следует так: Благовещение бысть в Велик день; а первее сего бысть за 80 лет и за 4 лета (6804), а потом за 11 лет (6793),[1] а потом будет за 80 лет без лета (6888 + 79 = 6967). Самый расчет сделан не в Новгороде, где год был мартов-

[1] В 1285 (6793) г. Пасха и Благовещение действительно совпадали.

ский, а вероятно, в Москве, почему новгородские переписчики его и исказили". По поводу этого письма А. А. Шахматов писал в неопубликованной работе „Киевский Начальный свод 1095 года":[1] „... покойный А. В. Марков в письменном сообщении опроверг мое предположение и верно указал на то, что... [здесь в рукописи А. А. Шахматова пропуск]. Поэтому признаю датировку свода 1448 годом неправильною, несмотря на всю ее соблазнительность, соблазнительна же она в виду именно того, что Новгородская 4-я летопись содержит ясные указания на то, что летописный рассказ в основном списке одного из двух семейств ее, а следовательно, возможно, и в Новгородском его источнике был доведен до 1447 года. Определить время составления свода можно, кажется в неопределенных пределах..."

Итак, датировка свода, легшего в основу Новгородской четвертой и Софийской первой, 1448 годом не может быть признана правильной. Поэтому, в дальнейшем описании других списков название „свод 1448 года" принимается нами условно. Мы предпочитаем, вслед за А. А. Шахматовым, называть его Новгородско-софийским сводом, хотя М. Д. Приселков и считал его составленным в Москве.[2]

Возвращаясь к спискам Новгородской четвертой летописи, отметим прежде всего, что основные списки древнейшего извода (Новороссийский и Голицынский) доводят изложение до 1437 г. Они оканчиваются известием о поездке в Москву новгородского архиепископа Евфимия, после чего в Новороссийском списке следует обычная заключительная молитва писца,

---

[1] Архив Акад. Наук СССР, фонд 134, оп. 1, № 227.

[2] „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, стр. 150. Однако, в отличие от московских сводов, например, 1409 или 1418 г., дававших сведения о Новгороде, касающиеся только его внешне-политической истории, свод, легший в основание Новгородской четвертой и Софийской первой летописей, подробно останавливается и на событиях внутренней жизни города, что, конечно, могло интересовать только новгородца. Это был, несомненно, новгородский свод.

а в Голицынском следует продолжение, писанное другим почерком.

Основные списки более поздней группы (Фроловский и, возможно, Академический) оканчивались на 1447 г.

Обе группы списков имеют самую тесную связь до 1428 г. включительно, после чего следуют некоторые различия. Отсюда можно предположить, что Новгородская четвертая летопись в основной своей редакции заканчивалась 1428 годом, хотя прямых указаний на то, что основная редакция заканчивается именно на 1428 г., нет. Эта основная редакция была продолжена в одном случае до 1437 г., а в другом до 1447 г.

Изучая состав Новгородской четвертой летописи относительно Софийской первой, А. А. Шахматов пришел к выводу, что составитель Новгородской четвертой еще раз обратился к официальной владычней новгородской летописи — Софийскому временнику, откуда сделал ряд дополнений, приведших к некоторым повторениям известий.[1] Затем составитель Новгородской четвертой еще раз обратился к ростовскому летописанию и ввел в Новгородскую четвертую дополнения из Ростовского владычнего свода времени архиепископа Ефрема 1427—1453 гг.; предшествующий Новгородско-софийский свод использовал ростовскую летопись в предшествующей же редакции Григория, — см. выше).

Новгородская пятая летопись. Так называл А. А. Шахматов свод, близкий по своему составу к Новгородской четвертой летописи.[2] Основной список Новгородской пятой летописи — так называемый *Хронографический* (Синодальная библиотека № 280; ныне в Гос. Историческом музее) начала XVI в. Хронографическим список этот назван потому, что он следует

---

[1] См. „Обозрение ...", стр. 185 и след.

[2] „Обозрение...", стр. 196 и след. Замечания о Новгородской пятой имеются также в работе „Общерусские летописные своды XIV—XVI вв.", в „Отзыве" о труде С. К. Шамбинаго („Отчет о XII присуждении премий митроп. Макария в 1907 г.", СПб., 1910, стр. 102 и 130), а также в предисловии к вып. 1 части II тома IV Полного собрания русских летописей.

в рукописи за хронографическими статьями Еллинского и Римского летописца второго вида.

Хронографический список был частично использован при издании т. IV Полного собрания русских летописей в вариантах к Новгородской четвертой летописи. К Хронографическому близки следующие списки: *Погодинский № 1404-а* второй половины XVI в. (Публичной библиотеки в Ленинграде), *Погодинский № 1402* конца XVI в. (там же; по определению А. Н. Насонова копия или копия с копии Погодинского 1404-*а*), *Академический 34.4.32* (Библиотеки Академии Наук СССР) и некоторые другие.

Общая часть Хронографического и Погодинского списков № 1404-*а* доходит до 1446 г., т. е. до того же места, до которого доходит основная часть списков второй редакции Новгородской четвертой летописи. Эту вторую редакцию Новгородской четвертой летописи и следует признать основным источником Новгородской пятой летописи. Остальные источники ее менее ясны. Повидимому, составитель ее пользовался еще Комиссионным списком Новгородской первой летописи (как думал одно время А. А. Шахматов), заменившим частично текст Новгородской четвертой (955—971, 972—996 и 1384—1405 гг.).

Продолжение Хронографического списка от 1446 до 1496 г. восходит, повидимому, к Ростовскому владычнему своду. Погодинский № 1402 с 1447 по 1547 г. дополнен по псковской летописи, причем составитель сократил текст новгородской летописи.

А. Н. Насоновым изучен целый ряд списков Новгородской летописи в соединении с псковской.[1]

Софийская первая летопись представлена двумя группами списков. К одной группе принадлежит *Карамзинский* список конца XV—начала XVI в. (ныне принадлежит Публичной библиотеке в Ленинграде под шифром Q. IV. № 298)[2] и *список*

[1] „Псковские летописи", вып. 1, Л., 1941, стр. XLVII и след.

[2] Раньше принадлежал Засецкому и под его именем упоминается Карамзиным в „Истории государства российского".

Оболенского XV в. (б. Государственного Древнехранилища, отд. V, руб. 2, № 3). Ко второй редакции относятся списки *Толстовский*, *Воронцовский*, *Бальзеровский*, *Горюшкинский*.

Софийская первая была издана в V и в VI томах Полного собрания русских летописей в 1851 и в 1853 гг. В тексте этого издания много пропусков со ссылками на другие летописи. Новое издание было предпринято в 1925 г. (вышел 1 выпуск).

Содержание первой редакции целиком восходит к Новгородско-софийскому своду („своду 1448 г.“), лишь несколько его сокращая (впрочем М. Д. Приселков думает, что не только сокращая, но и перерабатывая.[1] В изложения событий XIII—XV вв. Софийская первая летопись никакими другими источниками не пользовалась, обрываясь на 1418 г.; в следующих затем недатированных приписках можно усмотреть след того, что первая редакция Софийской первой заканчивалась на 1422 г.[2] Однако в изложении событий XI и XII вв. имеются следы пользования каким-то другим источником. Против многих из этих лишних, сравнительно с Новгородской четвертой летописью известий имеются отметки: „ищи в Киевском“ или „а писано в Киевском“. При ближайшем рассмотрении этот Киевский летописец имеет сходство с Ипатьевской летописью.

Вторая редакция Софийской первой летописи была доведена в основном своем списке до 1456 г. Она явилась результатом переработки первой редакции, как думает А. А. Шахматов, или общего с ней протографа, как думает М. Д. Приселков. Дополнение изложения до 1456 г. было сделано на основании московской митрополичьей[3] летописи. Но та же митрополичья летопись была употреблена и для некоторой переработки текста более ранних известий — до 1418 г. М. Д. Приселков

---

[1] „История русского летописания...“, стр. 153.

[2] „Обозрени ...“, стр. 209 и след.

[3] Определение московской летописи как „митрополичьей“ сделано М. Д. Приселковым („История русского летописания XI—XV вв.“, стр. 154); А. А. Шахматов определяет ее как „московский свод“, близкий к княжескому своду 1480 г. („Обозрение“..., стр. 217).

предполагает, что на этом 1456 г. митрополичье летописание и обрывалось,[1] уступая место московскому великокняжескому летописанию. Однако думается, что основательные наблюдения А. Н. Насонова о наличии митрополичьего летописания в XV и XVI вв.,[2] а С. Ф. Платонова о продолжении его в XVII в.[3] противоречат этому категорически заявленному мнению М. Д. Приселкова.

Софийская первая летопись, хотя и основана на Новгородско-софийском своде („своде 1448 г."), но в основном является летописью московской, составленной в Москве и москвичами. Так, например, *вторая редакция* Софийской первой опускала и перерабатывала различные антимосковские известия. Под 1319 г. опущено известие о том, что московский князь Юрий написал многие лжесвидетельства против тверского князя Михаила; под 1395 г. воеводы московского князя, не сумевшие отстоять Нижний от татар, названы воеводами суздальского князя и т. п.

Софийская вторая летопись, изданная в VI томе Полного собрания русских летописей, известна в двух списках — в *Архивском* (без начала) и *Воскресенского Новоиерусалимского монастыря*.

Архивский список представляет более древние чтения, чем Новоиерусалимский. Архивский список оканчивается на 1518 г., а Новоиерусалимский имеет продолжение до 1534 г.

Наблюдения А. А. Шахматова показали, что в основании обоих списков лежат разные редакции Софийской второй. Редакция Архивского списка должна быть признана более древней. Первоначально Софийская вторая оканчивалась

---

[1] „История русского летописания XI—XV вв.", Л., 1940, *стр*. 162—164.

[2] А. Н. Насонов. „Летописные памятники Тверского княжества". Известия Академии Наук СССР, 1930, № 9, *стр*. 21 и 723.

[3] С. Ф. Платонов. „Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как исторический источник", СПб., 1913, стр. 312 и след. (о летописании „*патриаршем*").

на 1518 г. — на том году, на котором кончается Архивский список и Львовская летопись.

Текст Софийской второй летописи в части до 1393 г. вполне тождествен с Толстовским списком Софийской первой летописи (младшей редакцией Софийской первой). Начиная же с 1393 г. или еще резче с 1397 г. Софийская вторая заимствует свое содержание из свода 1518 г. — того самого свода, на котором основывалась и Львовская летопись. Этим объясняется сходство Софийской второй летописи и Львовской на всем протяжении от 1397 по 1518 г. Однако, во многих случаях Софийская вторая полнее Львовской (1393, 1394, 1395, 1404, 1406, 1420, 1421, 1422, 1423, 1440 гг.; под 1446—1453 гг. рассказ о борьбе Василия II с Шемякой изложен иначе, чем в Львовской, затем тексты обеих летописей почти тождественны до 1480 г.). Все эти лишние известия А. А. Шахматов признает вставками младшей редакции Софийской первой летописи. Кроме того, в Львовской нет отрывков из жития Сергия, нет Хождения за три моря Афанасия Никитина,[1] нет выписок из жития Варлаама, Никона, нет грамоты Фотия 1431 г., послания Пия II 1458 г., сочинений Родиона Кожуха и др.

Русский Хронограф по терминологии А. А. Шахматова[2] или иначе „Хронограф первой редакции" по терминологии А. Н. Попова[3] — издан в 1911 и в 1914 гг. в XXII томе Полного собрания русских летописей С. П. Розановым. Первый выпуск XXII тома занимает первая редакция Русского Хронографа — редакция 1512 г., изданная по трем спискам. Второй выпуск занимает вторая редакция — западно-русская, изданная по двум спискам.

---

[1] В издании Львовской летописи 1910 г. текст Хождения за три моря воспроизведен по рукописи Эттера (см. ниже).

[2] А. А. Шахматов. „Пахомий Логофет и Хронограф", Журнал Мин. нар. просв., 1899, № 1; его же. „К вопросу о происхождении Хронографа", Сборник II Отд. Акад. Наук, т. LXVI, № 8, 1899; „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.", Л., 1939, стр. 133.

[3] А. Н. Попов. „Обзор хронографов русской редакции", вып. I, М., 1866; вып. II, М., 1869.

Как доказано В. М. *Истриным*,[1] обе редакции восходят к одному общему источнику. А. А. Шахматов доказал, что этот общий источник обеих редакций возник в России.[2] Он составлен на основании нескольких старших хронографических компиляций и целого ряда памятников византийской, сербской и русской литературы, в том числе русских летописей, излагая всемирную историю от сотворения мира.

Редакция 1512 г. названа так по дате, которая выставлена ее составителем в статье „О отложении мяса...“[3] Она разделена на 208 глав и имеет относительно обширную часть русских известий, восходящих к русским летописям.

Редакция западно-русская не имеет этого разделения на главы, значительно сократила свою русскую часть и относится, повидимому, к концу XVI в. (по определению А. А. Шахматова) или к началу второй половины XVI в. (по определению С. П. Розанова). Начинается эта редакция Александрией, а заканчивается обширным извлечением из западной Хроники всего света Мартина Бельского.

Составителем Русского Хронографа, легшего в основу редакции 1512 г. и западно-русской, А. А. Шахматов признал Пахомия Серба (или Логофета). Пахомий Серб внес в хронограф выборку русских известий из общерусского митрополичьего свода, а затем ряд произведений сербских и болгарских писателей второй половины XIV — начала XV вв.: Евфимия Тырновского, Григория Цамблака, Константина Костенчского. Такое большое внимание, которое уделил Пахомий Серб истории южно-славянских стран, стоит в связи с ярко выраженной в Хронографе идеей всеславянского единства. Составитель Хронографа искал родственных связей Руси со славянскими

---

[1] „Александрия русских хронографов“, М., 1893, стр. 283—288.

[2] См. его статью: „Пахомий Логофет и Хронограф“, Журнал Мин. нар. просв., 1899, № 1.

[3] Полн. собр. русск. лет., т. XXII, вып. 1, стр. 330: „Феодор Студит был по седмом соборе за седмьсот лет без двадесяте до скончания седмыя тысяща, а до сих времен за седмь сот“.

народами, отчетливо сознавал себя славянином и шире — частью исторического человечества в целом.

Русский Хронограф, помимо двух основных редакций (1512 г. и западно-русской), восходящих к Пахомиевской, сохранился во многих других редакциях, установление и исследование которых, несмотря на обстоятельные труды А. Н. Попова, А. А. Шахматова и С. П. Розанова, не может считаться еще законченным.

Замечательно, что Русский Хронограф лег в основу сербского летописания. Исследованные И. В. Ягичем наличные юго-славянские хронографы все оказались позднейшими сокращениями из известных нам русских хронографов.[1] К этому же выводу пришел М. Н. Сперанский,[2] и он же был подтвержден исследованиями А. А. Шахматова.

Московско-академический список Суздальской летописи. Так называется летописный свод, находящийся в рукописи XV в. б. Московской духовной академии № 5/182 (ныне в Библиотеке им. Ленина). Свод этот в своей первой части близок к Радзивиловской и Лаврентьевской, и потому был принят для вариантов к I тому Полного собрания русских летописей, содержащему Лаврентьевскую летопись.

Состав Московско-академического списка определяется довольно ясно. В нем резко выделяются три части. Первая часть до 1206 г. родственна Радзивиловской летописи и повторяет даже ее описки. А. А. Шахматов считает ее, однако, не копией с Радзивиловского списка (как он считал лишь первоначально), а копией протографа последнего.[3] Вторая часть с 1205 г. по 1237 г. представляет собою точное заимствование из первой редакции Софийской первой летописи (с описками последней). Третья часть обнимает период с 1237 г. по 1418 г. включительно и представляет собою ростовский

[1] Arch. für slav. Philol., Bd. II, SS. 1—109.

[2] Чтения в Общ. истории и древн. российских, 1894; Русск. филолог. вестн., 1896.

[3] „Обозрение...", стр. 228 и след. См. об этой части Московско-академического списка выше, в разделе о Радзивиловской летописи.

свод архиепископа Ефрема, несколько, впрочем, сокращенный. Этот ростовский свод был первоначально создан при ростовском архиепископе Григорие 1396—1416) на основании летописи архиепископского двора и московской общерусской митрополичьей летописи (свода 1409 г.) Впоследствии этот свод был дополнен и переработан при владыке Ефреме (1427—1454) по более позднему своду того же московского общерусского летописания с дополнением ростовских известий последних лет.

Типографская летопись. Под этим названием известна рукопись первой половины XVI в. Типографской Синодальной библиотеки № 789 (старый номер XVIII в. — 48;[1] теперь в Гос. Историческом музее). Впервые Типографская летопись была издана в 1784 г. под заглавием „Летописец, содержащий Российскую историю от 6714 (1206) до 7042 (1534) лета, то есть, до царствования царя Иоанна Васильевича, который служит продолжением Несторову летописцу“. Издание это было повторено в 1853 г. Однако изданный текст не соответствует рукописи: издатели делали произвольные вставки и дополнения из других источников, не оговорив их ни в тексте, ни в предисловии. В 1921 г. Типографская летопись была издана в составе Полного собрания русских летописей, где заняла том XXIV. Варианты в этом издании подведены по рукописи XVII в. — так называемой *Толстовской летописи*, хранящейся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде под номером F. IV. 218 (Толстовское собрание I № 191). Рукопись в основном писана двумя почерками на бумаге конца XV в. (по определению А. Е. Преснякова). Первая часть доведена до 1500 г. почерком начала XVI в., вторая часть начинается с 1503 г. и оканчивается статьей 1528 г., после которой следуют приписки. А. А. Шахматов рассматривает вторую часть, начинающуюся с 1503 г., как дополнение к первой, и считает, что она составлена после 1536 г.

Толстовская летопись, писанная почерком XVII в., почти тождественна с Типографской в пределах до 1484 г. включи-

[1] В „Обозрении русских летописных сводов XIV—XVI вв.“ А. А. Шахматова ошибочно указан № 43.

тельно: затем тексты Типографской и Толстовской летописей расходятся.

Как показало исследование А. А. Шахматова,[1] в основании этой общей для Типографской и Толстовской летописей части в пределах до 1484 г. лежит Ростовский свод, относящийся ко времени ростовского архиепископа Тихона (1489—1505 гг.). В своде Тихона А. А. Шахматов определяет две части, разделяющиеся на 1423—1425 гг. Общерусские известия первой части (в пределах до 1423 г. включительно) восходят к московскому своду (возможно, к великокняжескому своду 1479 г.), но с сокращениями последнего. Кроме того, в основание первой части легла какая-то ростовская летопись (в пределах до 1262 г.), сходная с Лаврентьевской, но в некоторых чисто ростовских известиях более подробная, чем последняя (ср., например, летописную статью 1152 г.). Вторая часть (с 1425 по 1484 г.) основывается на погодно ведшихся в Ростове летописных записях, а также на вологодских, поскольку Вологодское княжество в церковном отношении было подчинено Ростову. Происхождение общерусских известий этой части еще неясно.

Как предполагает А. Н. Насонов, в известиях конца XV в. и первых десятилетий XVI в. в Типографской летописи отразилось митрополичье летописание.[2]

Рогожский летописец был найден акад. Н. П. Лихачевым в старообрядческом книгохранилище Рогожского кладбища в Москве в составе сборника разнообразного содержания. Рогожский летописец был опубликован Н. П. Лихачевым в 1922 г. в составе Полного собрания русских летописей, где он занял первый выпуск XV тома. Данные филиграней (т. е. „водяных знаков“ бумаги) побуждали Н. П. Лихачева относить рукопись летописца к исходу первой половины XV в.[3] Однако Н. П. Попов

---

[1] „Обозрения...“, гл. XXII: „Тихоновская редакция Ростовского владычного свода“.

[2] „Летописные памятники Тверского княжества, ч. I“, Известия Ак. Наук СССР, 1930, № 9, стр. 721—722.

[3] Полн. собр. русск. лет., т. XI, вып. 1, стр. VIII.

по данным палеографических наблюдений относит рукопись к концу XV или к самому началу XVI в.

Как показало исследование А. Н. Насонова,[1] в основе Рогожского летописца лежит общий протограф с Тверским сборником (см. *ниже*). Этот общий протограф представлял собою сокращенную редакцию обширного Тверского свода, составленную в княжение тверского великого князя Бориса Александровича приблизительно в 50-х годах XV в. Составитель этого протографа использовал для первой части своего свода в пределах до 1375 г. обширную тверскую летопись, начало которой можно видеть еще под 1288 г. Эту тверскую летопись составитель протографа сокращал, главным образом, до времени княжения тверского великого князя Михаила Александровича (приблизительно до 60-х годов XIV в.). Кроме того, здесь же были использованы „Краткие извлечения из «свода 1448»"[2] в соединении с известиями хронографа и какой-то суздальский летописный материал.

Этот протограф Рогожского летописца и Тверского сборника составителем Рогожского летописца был соединен с протографом Симеоновской летописи. С 1328 и по 1374 г. тверская летопись соединена в Рогожском летописце с известиями, близкими к Симеоновской летописи, а с 1375 г. и до конца (1412 г.) Рогожский летописец содержит текст, в основном сходный с Симеоновской.

Тверской сборник. Так называется летопись, изданная в 1863 г. А. Ф. Бычковым в XV томе Полного сборника русских летописей. Рукопись Тверского сборника хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде под № 970; принадлежала раньше М. П. Погодину. По определению А. Ф. Бычкова, она писана „четкою белорусскою скорописью начала XVII в".

---

[1] „Летописные памятники Тверского княжества, ч. I", Известия Академии Наук СССР, Серия гуманитарных наук, 1930, № 9.

[2] Напомним, что в своих последних работах А. А. Шахматов определял свод, легший в основание Новгородской четвертой и Софийской первой летописей не 1448 годом, а 30-ми годами XV в., называя его Новгородско-софийским (см. выше).

Как доказал А. А. Шахматов,[1] Тверской сборник представляет собою механическое соединение двух летописных сводов. Первый из них сохранился в части до 1255 г. и был составлен в 1534 г., на что имеются указания в самом тексте.[2] Второй начинается с 1247 г. (годы 1247—1255 повторяются) и представляет собой, главным образом, летопись тверских событий. Обе части независимы одна от другой и не объединены даже редакторски. Составление сборника относится к середине или даже концу XVI в.

В состав первой части Тверского сборника — свода 1534 г. входили летописи, близкие к Новгородской первой и Софийской первой, затем ростовский летописный материал и протограф Львовской летописи (или, как уточняет А. Н. Насонов, — митрополичье летописание первых десятилетий XVI в.). Самостоятельный киевский источник, предполагавшийся А. А. Шахматовым в своде 1534 г., повидимому, как это устанавливает А. Н. Насонов, отсутствовал.[3] Основным источником второй части Тверского сборника, как утверждает А. Н. Насонов, послужила сокращенная редакция Тверского свода 50-х годов XV в. — того самого, который составил, на ряду с Симеоновской также и основной источник Рогожского летописца. Кроме того, во второй части Тверского сборника имеются Ростовский епископский свод, „летописный отрывок 1276 г." и житие митрополита Алексея Свод 1534 г. во второй части Тверского сборника до 1375 г. почти не отразился.

Псковские летописи. Впервые псковские летописи были изданы в 1837 г. М. Н. Погодиным по трем спискам. В основу положен *Архивский 2-й список* середины XVII в. (рукопись

---

[1] „Отчет о сороковом присуждении наград графа Уварова", СПб 1899, „Разбор сочинения И. А. Тихомирова".

[2] Составитель свода 1534 г. — ростовец родом — несколько раз говорит о себе в первом лице. Под 988 г. читаем „ныне же начал переписывати сие в лето 7042". Под 1239 г.: „От того до ныне без пяти лет 300 лет".

[3] „Летописные памятники тверского княжества, ч. I", Известия АН, 1930, № 9, стр. 711—712.

6. Московского архива Министерства иностранных дел № 69/92 (90), ныне в Центральном Гос. Архиве древних актов), варианты подведены по двум спискам только главные. Конец и начало основного списка опущены.

В 1848 г. в IV томе Полного собрания русских летописей в одном томе с Новгородской четвертою летописью была издана Псковская первая летопись по восьми спискам. *Синодальный список* Псковской летописи (Синодальное собрание № 154, ныне в Гос. Историческом музее в Москве) был выделен в особую — вторую Псковскую летопись и издан отдельно в V томе Полного собрания русских летописей вместе с Софийской первой.

Недостатком этого издания было то, что первая Псковская летопись печаталась без точного плана: издатели переходили от одного списка к другому, давали в примечаниях только главнейшие разночтения и таким образом лишали читателей представления о списках в целом.

В последнее время А. Н. Насонов предпринял новое издание псковских летописей, из которого вышел уже том I (М. — Л., 1941), посвященный Псковской первой летописи.

А. Н. Насонов располагал несравненно большим количеством списков (всего 24), чем первые издатели псковских летописей. А. Н. Насонов обратил особое внимание на *Тихановский* список (Гос. Публичная библиотека в Ленинграде, рукопись первой половины XVII в. из собрания П. Н. Тиханова № 201), не привлекавшийся дотоле исследователями. „Наличие неизданной псковской летописи по Тихановскому списку, представляющей собой новую редакцию (1469 г.) и содержащей новый материал псковского летописания, — пишет А. Н. Насонов, — позволило мне выделить особую псковскую летопись, разбить списки не на две псковские летописи, как сделано в ПСРЛ (Псковскую 1-ю и Псковскую 2-ю), а на три (Псковскую 1-ю, Псковскую 2-ю и Псковскую 3-ю), причем Тихановский список я положил в основание Псковской 1-й летописи, издаваемой в настоящем 1 вып. «Псковских летописей». Свод 1469 г., представляемый Тих. списком, возможно, был

составлен, согласно моему исследованию, лицом, близким к «купецкому старосте»".[1] Таким образом, Псковская первая летопись, изданная А. Н. Насоновым, не соответствует Псковской первой, изданной в IV томе Полного собрания русских летописей.

Отдельные наблюдения по истории псковского летописания имеются в работах Н. Костомарова,[2] Ив. Тихомирова,[3] А. Шахматова,[4] В. Иконникова[5] и В. Адриановой-Перетц.[6] Однако впервые попытка полной истории псковского летописания сделана только в работе А. Насонова „Из истории псковского летописания" (Исторические записки, №18, 1946). Ввиду того, что в предшествующем изложении псковское летописание не рассматривалось вовсе, ниже привожу целиком резюме этой работы А. Н. Насонова.

„Изучение истории псковского летописания — пишет А. Н. Насонов, — привело меня к следующим наблюдениям и выводам. Очистив псковские летописные тексты от заимствованного летописного материала, я получил ряд древнейших местных известий, попавших в псковские своды из местных псковских записей. Первое из них, с точной датой, было помещено под 6746 (1238) г. В XIII в., одновременно с экономическим подъемом и ростом Пскова, рождалось стремление к политической независимости от опеки Новгорода. Такое стремление могло выразиться и в попытках поставить себя самостоятельно во внешних делах, и в желании получить князя по собственному выбору, и в борьбе за выборное посадничество.

---

[1] „Псковские летописи", вып. 1, М. — Л., 1941. Введение, стр. XXVII.

[2] Н. Костомаров. „Лекции по руской истории", СПб., 1861.

[3] И. Тихомиров. „О первой псковской летописи", Журнал Мин. нар. просв, 1883.; № 10.

[4] А. Шахматов. Несколько заметок об языке псковских памятников XIV—XV вв., Журнал Мин. нар. просв., 1909, № 6; А. Шахматов. „К вопросу о происхождении хронографа", СПб., 1899.

[5] В. Иконников. „Опыт русской историографии", т. III, вып. 1, Киев, 1908.

[6] Главы о псковской литературе XIII—XVI вв. в „Истории русской, литературы", изд. Институтом литературы АН СССР, часть 1-я тома II, 1945.

В этой связи получает объяснение зарождение самостоятельного летописного дела в Пскове. Ряд данных и соображений приводит к предположению, что начальным псковским летописанием руководили местные выборные власти и что с начала XIV в., когда должность посадника стала фактически выборной, направляли летописную работу посадники. Мы уже выше указывали [см. стр. 291 работы А. Н. Насонова], что основная работа по собиранию летописного материала производилась при церкви св. Троицы и являлась делом, носившим официальный характер, что летописные известия носят следы записей, которые велись при церкви св. Троицы, и записей, заимствованных из особых отчетов или реляций, представлявшихся на вече, и как все важнейшие документы Пскова, хранившихся при церкви св. Троицы. В XIV—XV вв., когда Псков занял в значительной мере независимое от Новгорода положение, естественно, что при составлени летописей, как цельных литературных памятников, в процессе редакционной обработки материала были опущены известия 50-х годов XIII в., напоминавшие об отношениях зависимости Пскова от Новгорода.

Псковский летописный свод, послуживший протографом дошедших до нас летописных сводов, был составлен в 50-х или в начале 60-х годов XV в. Сравнительное изучение сохранившихся псковских и непсковских летописей обнаруживает, что свод представлял собою обширную компиляцию, составитель которой помимо псковского материала использовал хронологический материал, сокращенный Новгородско-софийский свод [так наз. „свод 1448 г.“], Новг. 5-ю летопись и смоленско-литовский источник. Согласно данным двух списков, псковскому своду XV в. была предпослана биография Довмонта в качестве своеобразного предисловия... Изучение и сравнение летописи Авраамки, Рогожского летописца, новгородских, псковских и некоторых других летописей приводит к выводу о соприкосновении и взаимодействии летописной работы в Новгороде, Пскове и Смоленске.

Псковское летописание в XV в. обнаруживает стремление выйти за пределы „областного“, „местного“. Это симптома-

тично. В XV в. в той или иной мере становятся общерусскими летописные своды в разных городах, в разных областях России. Такой вывод представляет интерес и для изучающего процесс образования национального государства...

Летописная работа в Пскове при церкви св. Троицы продолжалась во второй половине XV в., и можно предполагать, что к псковскому летописному своду, составленному в начале 60-х годов XV в., делались приписки, что он был продолжен известиями последующих лет. На основе этого свода вырастали также летописные своды конца XV — начала XVI в., в эпоху, когда влияние Москвы стало расти. Так появился свод 1464 г., кончавшийся известием о том, что псковичи просили великого князя московского об учреждении в Пскове особой епископии (он послужил общим протографом Погодинского и Тихановского списков). Так появился свод 1469 г., дошедший до нас в списке XVII в. (Тихановский). Так появился свод 1481 г., установленный Шахматовым.[1] Так появился свод, составленный в конце 80-х годов XV в., сохранившийся в Синодальном списке. В начале XVI в. в Пскове обращалось несколько «летописцев», к которым посадники и псковичи отнеслись, как к памятникам, имевшим официальное, политическое значение. Летописная работа при церкви Св. Троицы продолжалась до событий 1510 г.

После катастрофы 1510 г. псковское летописание в значительной мере удержало независимое направление. Встречаем резко враждебные выпады или по адресу московской центральной власти (великого князя), или чаще — московской администрации в Пскове. В XVI в. образовались две ветви псковского летописания. Одна из них представлена Строевским списком, т. е. сводом 1567 г. Он сложился в Псково-печерском монастыре, был составлен игуменом Корнилием, казненным Грозным, и отражал настроения боярства, оппозиционные московскому государю. Другая ветвь представлена Погодин-

[1] [А. Шахматов. „К вопросу о происхождении Хронографа", СПб., 1899. (Примеч. мое. — *Д. Л.*)].

ским списком, содержащим текст свода 1547 г. — свода иной политической окраски и настроений, сочувственных власти московских государей, но обличающего деятельность московских наместников. Это направление сродни тому общественно-политическому направлению, которое представлял в Пскове «старец» Филофей. Откуда вышел свод 1547 г., мы не знаем; он мог выйти из Елизарова монастыря.

Свод игумена Корнилия был продолжен известиями до 40-х годов XVII в. и с приписками, сделанными в середине XVII в. в Псково-Печерском монастыре, попал к коллекционеру рукописью В. Н. Собакину, сыну псковского воеводы. Свод 1547 г. был также продолжен (см. список Оболенского). Его использовали и в Новгороде при новгородско-софийском соборе, где в XVI в. он подвергся переработке на общерусском материале и, переработанный, дошел до нас в нескольких редакциях XVI—XVII вв.“[1]

Летопись Авраамки. Так называется ныне утраченный сборник, принадлежавший Виленской Публичной библиотеке и изданный в XVI томе. Полного собрания русских летописей в 1889 г. В конце его, перед особой западно-русской летописью („Летописью великих князей литовских“) помещена приписка: „В лето 7003 написана бысть сиа книга, глаголемый летописью, во граде Смоленсце, при дръжаве великого князя Александра, изволением божием и повелением господина владыки епископа Смоленъскаго Иосифа, рукою многогрешнаго раба божиа Авраамки“.

С этим списком сходствуют следующие: *Синодальный № 154* (Гос. Исторического музея), *Толстовский I № 189* (Публичной библиотеки в Ленинграде) и *Супральский* (б. Московского Главного архива Министерства иностранных дел).[2]

---

[1] А. Н. Насонов. „Из истории псковского летописания“, Исторические записки, № 18, 1946, стр. 292—294.

[2] Супральский список издан в 1836 г. Оболенским. Им пользовался Н. М. Карамзин, называя его „Архивской Киевской“.

Историю возникновения перечисленных памятников А. А. Шахматов рисует в „Обозрении" в следующем виде.[1] В 1495 г., по повелению смоленского епископа Иосифа был составлен лицом, именующим себя Авраамкой, летописный свод, скомбинировавший три следующих летописных памятника: 1) краткий, очень древний хронограф особого состава с приложенными к нему краткими извлечениями из новгородского свода 1448 г. (впоследствии свод 1448 г. А. А. Шахматов называл Новгородско-софийским сводом 30-х годов XV в.), 2) Новгородская пятая летопись, доведенная до 1446 г. и 3) Новгородская четвертая летопись с продолжением до 1469 г. и с приложенными к ней родословными и иными статьями.

Впоследствии, впрочем, А. А. Шахматов изменил свои взгляды и считал, что летопись Авраамки лишь копия со свода, составленного в Пскове, где были более доступны новгородские летописные источники.[2] Кроме того, А. А. Шахматов разделял впоследствии первый источник и считал, что хронограф был использован не составителем краткого извлечения из „свода 1448 г.", а непосредственно самим Авраамкой в отдельном виде.[3]

„В основание свода, — пишет А. А. Шахматов, — положен хронограф; вслед за хронографом списана летопись в части до 6817 (1309 г.); за ней помещен текст Новгородской 5-й летописи (6817—6954 гг., 1309—1446 гг.). Таким образом, получился полный свод, доведенный до 1446 г. Но Авраамка не пожелал оставить неиспользованною и Новгородскую 4-ю летопись, тем более, что в ней имелся рассказ о позднейших событиях, включительно до 1469 г."[4] Из Новгородской четвертой были сделаны выписки событий 945—988 гг. и 1446—

---

[1] „Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., Л., 1939, стр. 231.

[2] В том же убеждал А. А. Шахматова и язык Виленского сборника („Несколько заметок об языке псковских памятников". Журнал Мин. нар. просв., 1909, № 7).

[3] „Обозрение...", стр. 244.

[4] Там же, стр. 252.

1469 гг. *В приложениях к своей летописи* Авраамка дал некоторые статьи, имевшиеся в конце кратких извлечений из „свода 1448 г.“ и в конце Новгородской четвертой летописи. *После этого он поместил приведенную* выше запись о своей работе. „Но, кажется, уже за этой записью составителя было помещено краткое извлечение из Новгородской 5-й, имевшее задачей дать перечень важнейших смоленских событий“.[1]

Наиболее близко труд Авраамки передает Виленский список, однако вместо краткого извлечения из Новгородской пятой, содержавшего зародыш смоленского летописания, в Виленском списке помещена обширная „Летопись *великих князей литовских*“ и сделаны некоторые другие изменения.

В начале XVI в. дефектный экземпляр сборника Авраамки был использован в Пскове, дав *Синодальный список № 154*. Составитель Синодального списка несколько сократил труд Авраамки, а выборки из Новгородской четвертой летописи заменил текстом *псковской летописи*.

Толстовский I № 138 и Супральские списки составлены в Белоруссии. Супральский — копия с Толстовского (с некоторыми *добавлениями*). Толстовский передает свод Авраамки в некоторой переработке.

Летописец епископа Павла входит в состав сборника разнообразного содержания XVII в., находящегося в Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук СССР и принадлежавшего когда-то епископу Павлу.

Текст летописца сходен с вышеразобранной летописью Авраамки. Основная часть Летописца *Павла (до 1309 г.)* представляет собою тоже краткое извлечение из новгородского „свода 1448 г.“ (Новгородско-софийского), которое читается и в Летописи Авраамки *до 1309 г. Однако* в Летописце Павла текст извлечений переходит за эту грань. Извлечения из новгородского свода читаются в летописце Павла вплоть до 1461 г. А. А. *Шахматов предполагал*, что в основу выборок из свода 1448 г., использованных затем и в Рогожской

[1] Там же.

летописи, и в Летописи Авраамки, и в Летописце Павла, лег не самый „свод 1448 г.“ а „свод 1448 г.“ и его продолжение, доведенное до 60-х годов XV в.

Повидимому, Летописец епископа Павла был составлен в Новгороде — за это говорит то, что в выборках из новгородской летописи в нем полнее представлены новгородские известия, чем в Летописце Авраамки. Между тем, Летописец Авраамки опустил кое-что из известий узко новгородских, не представлявших интереса для смоленского читателя.

Ермолинская летопись. Так названа А. А. Шахматовым летопись, ранее принадлежавшая Троицкой Лавре под № 17.[1] Первая часть сборника, занимаемая Ермолинской летописью, писана тремя почерками второй половины XV в., причем последним почерком от 1481 по 1485 г. писаны приписки к основной части летописи, обнимающей события до 1481 г.

Исследованием А. А. Шахматова установлено, что для замечательного русского строителя второй половины XV в., В. Д. Ермолина, в 1472 г. была написана копия летописи, доведенной до 1472 г., причем в части 1462—1472 гг. она была дополнена известиями, касающимися строительной деятельности самого Ермолина, и не находящими себе параллелей в других летописях. Эта летопись, составленная для Ермолина, была переписана двумя писцами, работавшими одновременно не ранее 1481 г., причем один из писцов прибавил по другим источникам изложение событий от 1472 по 1481 г.

Ермолинская летопись издана в 1910 г. в XXIII томе Полного собрания русских летописей. Варианты к ней подведены по *Уваровскому списку* второй четверти XVI в. (по описанию рукописи Уварова № 188, сходному с Ермолинской) до 1417 г., и по *Кирилло-Белозерскому*, содержавшемуся в сборнике № 247 Археографической комиссии (Институт

[1] См. подробное исследование А. А. Шахматова: „Ермолинская летопись и Ростовский владычний свод“, Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1903, кн. 4 и 1904, кн. 1.

истории Академии Наук СССР) третьей четверти XVI в. Последний список очень краток, варианты по нему подведены только до 1015 г.

В составе Ермолинской летописи использовано ростовское летописание, отразившееся во многих летописях второй половины XV в. Ростовское летописание вошло в Ермолинскую летопись через ростовский владычний свод Трифона (1462—1467 гг.) и представлено здесь с наибольшей полнотой.

Летописный свод 1479 г. Изучая сборник Московского Главного архива Министерства иностранных дел № 20—25, в начале которого находится летопись, названная Н. М. Карамзиным Ростовскою, А. А. Шахматов нашел, что она представляет собою слияние новгородского свода, составленного в 1539 г., и московского, составленного в 1479 г.[1] Насколько точным был этот вывод А. А. Шахматова, показали его позднейшие открытия: А. А. Шахматову удалось впоследствии найти рукописи, отразившие и этот новгородский свод 1539 г., и московский свод 1479 г. Новгородский свод 1539 г. был обнаружен А. А. Шахматовым в рукописи Публичной библиотеки в Ленинграде F. IV. 238, названной А. А. Шахматовым *сводом Дубровского*. Московский же свод 1479 г. А. А. Шахматов нашел позднее в так называемом *Эрмитажном списке № 416б* той же библиотеки. Впоследствии М. Н. Тихомиров нашел еще один список свода 1479 г. (Государственный Исторический музей, Уваровская № 1366 — первой половины XVI в.).

Эрмитажный список не издан. Ростовская летопись издана в виде вариантов к Симеоновской летописи на пространстве 1410—1479 гг. Эрмитажный список представляет собою копию, сделанную в XVIII в. с более древней несохранившейся рукописи, значительно обветшавшей, судя по тому, что в ней были утрачены первые и последние листы. Копия XVIII в. доводит текст до статьи 1478 г., на которой и обрывается.

В основе свода 1479 г. лежит Софийская первая летопись.

---

[1] А. А. Шахматов. „О так называемой Ростовской летописи", М., 1904.

Другим источником московского свода 1479 г. была Троицкая летопись 1409 г., затем Ростовская летопись второй четверти XV в. Четвертым источником московского свода 1479 г., как предполагает А. А. Шахматов, следует считать владимирский Полихрон,[1] т. е. гипотетически восстанавливаемый А. А. Шахматовым общерусский свод начала XIV в., составленный во Владимире при дворе митрополита. Однако гипотеза А. А. Шахматова относительно существования такого свода построена на весьма шатких основаниях. М. Д. Приселков предлагает видеть в своде 1479 г. заимствование не из Полихрона, а из летописи, близкой к Ипатьевской (заимствование из такой летописи, называемой „киевской", видим и в Софийской первой летописи).

Наконец, пятым источником свода 1479 г. выступает систематически ведшаяся московская великокняжеская летопись. Этот источник свода 1479 г., пожалуй, самый важный. Свод 1479 г. составился в несколько этапов, каждый раз дополняясь новыми записями великокняжеской летописи. Первый, предшествующий этап свода 1479 г. — свод 1472 г. (отразившийся в Никаноровской и Вологодско-пермской) определяется и А. А. Шахматовым, и М. Д. Приселковым одинаково, хотя даты более ранних сводов этого великокняжеского летописания у М. Д. Приселкова и А. А. Шахматова несколько различествуют. Возможно, что указанные выше источники свода 1479 г. отразились в нем не непосредственно, а через свод 1472 г., как через связующее звено. Так думал А. А. Шахматов в последнее время, так думал и М. Д. Приселков. На приложенной к главе XXI „Обозрения" таблице, составленной А. А. Шахматовым позднее и не согласной с текстом „Обозрения", в числе источников свода 1479 г. показаны только свод 1472 г. и погодные записи великокняжеской летописи.

М. Д. Приселков считал, что свод 1479 г. был составлен по случаю постройки в Москве нового Успенского собора,[2]

---

[1] См. „Обозрение...", стр. 275 и след.

[2] „История русского летописания XI—XV в.", Л., 1940, стр. 183—184.

рассматривавшегося после падения Константинополя как новый центр вселенского православия.

Особое значение в своде имеет подробное изложение событий 1472—1479 гг.

Никаноровская летопись. Так называется летописная часть сборника Рукописного отделения Библиотеки Академии Наук СССР № 16. 17. 1, писанная во второй половине XVI в. (определение А. А. Шахматова). Сборник составной, остальные его части приплетены позднее и писаны почерками XVII в. По листам летописи имеется запись: „Сия книга Воскресенского монастыря Нового Иерусалима архимандрита Никанора келейная, подписах своею рукою". Текст Никаноровской летописи издан только от 1423 по 1472 г. в вариантах к Симеоновской летописи (Полное собрание русских летописей, т. XVIII).

Изложение Никаноровской летописи доходит до 1472 г. Текст ее сходен с текстом летописи *Великопермской* (в сборнике Рукописного Отделения Библиотеки Академии Наук СССР № 16. 8. 15, — не издана), имеющей продолжение и за 1472 до 1528 г. В этом продолжении (близком к тексту Воскресенской и Никоновской летописей) много известий вологодских и пермских (1481, 1483, 1485, 1491, 1492 и др.), что заставило А. А. Шахматова предположить местом ее составления двор Великопермского епископа (Вологодская область присоединена к Великопермской в 1472 г.). Сходны с Великопермской летописью — *Кирилло-белозерская № 251* (хранится в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, — не издана) и *Синодальная № 485* (Исторического музея в Москве, — не издана) — обе писаны в XVI в. и тождественны между собой до 1538 г. Однако в двух последних летописях, сравнительно с Великопермской, наличествует ряд обширных статей, отсутствующих в Великопермской и Никаноровской: „О взятии богохранимого Царьграда" под 1204 г., „Кальское побоище" под 1224 г., „О взятьи Русской земле от царя Батыя" под 1237 г., „Убиение князя Михаила Черниговского и его Фео-

дора болярина от царя Батыя в орде“ под 1145 г.,[1] „Преставление великого князя Александра Ярославича Невского“ под 1263 г. Под 1380 г., вместо сокращенного рассказа Софийской первой летописи о Донской битве (в Никаноровской и Великопермской), читаем сказание о Мамаевом побоище (в Синодальном[2] и Кирилло-белозерской). Все эти обширные статьи А. А. Шахматов признает вставкой.[3] Сравнительный анализ всех четырех списков привел А. А. Шахматова к выводу о существовании особого московского свода, доведенного до 1472 г.

Кроме того, текст Никаноровской летописи сходствует с Московским сводом 1479 г. в части до 1472 г., на котором Никаноровская кончается. Анализируя Никаноровскую летопись, доведенную до 1472 г., и свод 1479 г., представленный Эрмитажным списком № 416 (см. выше), А. А. Шахматов пришел к выводу, что оба они представляют собой два этапа единой московской великокняжеской летописи. Свод, представленный Никаноровской летописью, старше свода, представленного Эрмитажной.

Впоследствии А. А. Шахматов во вновь найденном *Воронцовском сборнике* обнаружил новый материал, подтвердивший его выводы относительно московского великокняжеского свода 1472 г.[4]

Воскресенская летопись, отличающаяся большой полнотой своих известий, названа так потому, что один из ее списков (Библиотека Академии Наук СССР, 34. 5. 24) был пожертвован в 1658 г. патриархом Никоном основанному им Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю.

---

1 В Никаноровской под этим годом имеется только киноварное заглавие этой статьи.

2 „Сказание о Мамаевом побоище“ по Синодальной № 485 напечатано у С. К. Шамбинаго: „Повести о Мамаевом побоище“, Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. 81, № 7, СПб., 1906.

3 „Обозрение...“, стр. 351.

4 См. А. А. Шахматов: „Несколько слов о Воронцовском историческом сборнике XVI в.“ Сб. статей в честь Д. А. Корсакова, Казань, 1913 г.

Впервые „Русская летопись по Воскресенскому списку“ была издана в 1793—1794 гг. В Полном собрании русских летописей Воскресенская летопись заняла VII том (1851 г.) и VIII (1859 г.).

Воскресенская летопись известна в следующих 5 списках: *Академический XII* (Воскресенский) и *Академический XIII* (так называемый Алатырский — от записи в нем алатырского подъячего) списки доведены до 1347 г., представляют собою первую часть Воскресенской летописи. Их продолжением служит *Синодальный список* конца XVI в. (ныне в Гос. Историческом музее). А. И. Тихомиров[1] и издатели Воскресенской летописи предполагали, что Синодальный список следует считать второю частью Академического XII (Воскресенского) списка, но А. А. Шахматов убедительно показал, что Синодальный список правильнее признать второю частью Академического XIII (Алатырского) списка.[2]

Вторая половина Воскресенской летописи (с 1348 г.) читается также в *Парижском списке* (Национальной библиотеки в Париже) и *Карамзинском* XVII в. *Архивский I I список* начала XVIII в. (б. Московского архива Министерства иностранных дел), указанный в предисловии к VII тому Полного собрания русских летописей, как это доказано А. А. Шахматовым в ряде исследований, является самостоятельной Ростовской летописью, содержавшей свод (1479 г.), бывший также источником Воскресенской.

Как утверждает А. А. Шахматов, Воскресенская летопись составлена, повидимому, в 30-х или 40-х годах XVI в. Анализ оглавлений, приложенных к различным ее спискам, в связи с наблюдениями над текстом, позволили А. А. Шахматову установить следующие три редакции ее. Первая редакция Воскресенской летописи содержала 63 главы (весь текст Воскресенской разбит на главы) и доводила повествование

---

1 „Обозрение состава Московских летописных сводов“, СПб., 1895.

2 „Отчет *о сороковом* присуждении наград графа Уварова“, СПб., 1899, стр. 166—167.

до 1533 г. Вторая редакция оканчивалась на 70-й главе, доводя рассказ до 1537 г. Обе эти редакции до нас не дошли. До нас сохранилась лишь редакция, доведенная до 1541 г. (на 1541 г. оканчиваются Синодальный и Парижский списки).

В основании Воскресенской летописи лежит московский великокняжеский свод 1479 г., сближенный с текстом Софийской первой летописи и списком Царского той же Софийской первой летописи. Карамзинский список Воскресенской летописи дополнен с 1542 по 1552 гг. по Львовской летописи, а дальше до 1560 гг. продолжен приписками.

В некоторых известиях XII в. Воскресенская летопись близка к Ипатьевской. А. А. Шахматов объяснял это тем, что обе летописи пользовались митрополичьим сводом начала XIV в. М. Д. Приселков убедительно показал несостоятельность гипотезы А. А. Шахматова о существовании в начале XIV в. общерусского митрополичьего свода и утверждал, что составитель Воскресенской летописи пользовался списком Ипатьевской. Точно также пользовалась протографом Ипатьевского списка и Софийская первая, где имеются (в первой редакции) отметки: „а писано в Киевском" или „ищи в Киевском".

Львовская летопись первоначально была известна по печатному изданию Н. А. Львова 1792 г., изобилующему подновлениями языка и произвольными заменами в тексте. Издание вышло в пяти частях под заглавием: „Летописец Руской от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. Издал Н. Л." Сама рукопись, принадлежавшая Спасо-евфимиеву монастырю, оказалась впоследствии утраченной. В 1903 г. А. Е. Пресняков нашел рукопись, текст которой оказался тожественным Львовской — так называемый *Эттеровский список* XVI в. Список этот хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде (F. IV. № 144) и принадлежал когда-то Карлу Эттеру. Еще одна тожественная Спасо-евфимиевской рукопись (с утратой первых семи листов) была приобретена Археографической комиссией при печатании нового издания Львовской летописи. Рукопись эта когда-то служила типографским

оригиналом при печатании *Львовской* летописи и является *копией со Спасо-евфимиевской.*

Львовская летопись вновь издана в 1910 г. (часть 1) и в 1914 г. (часть 2) в XX томе Полного собрания русских летописей.

Изложение Львовской летописи доведено до 1560 г. Основным источником ее, как показали наблюдения А. А. Шахматова,[1] был свод, доведенный до 1518 г., главным образом, на основании следующих материалов: суздальского свода 1206 г. по списку, сходному с Радзивиловским, московского свода Фотия в сильном сокращении, Софийской второй летописи от 1392 г. до 1518 г. и одной из редакций Хронографа.

В редакции 1533 г. свод 1518 г. был одним из источников Воскресенской летописи. С 1534 *по 1560 г.* (*т. е. до конца*) текст Львовской летописи тожествен с тем московским сводом, на основании которого дополнены за эти же годы Никоновская летопись и *Карамзинский* список Воскресенской летописи.

Впрочем, сложный состав обширной Львовской летописи не может еще считаться в полной мере изученным.

Никоновская летопись получила свое название по принадлежности одного из ее списков патриарху Никону. Текст Никоновской летописи издан в IX—XIII тт. Полного собрания русских летописей. Первое же издание Никоновской летописи начало выходить в 1762 г. под редакцией Шлецера и Башилова. Всего вышло восемь томов. Издание это неудовлетворительно.

Характеристика списков Никоновской летописи и их взаимоотношений вызвала обширную научную полемику, в которой приняли участие *И. А. Тихомиров,*[2] А. А. Шах-

---

[1] „Общерусские летописные своды", 1900, № 11, стр. 143 и след. и статья для Нового Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, „Летописи".

[2] „Обозрение состава московских летописных сводов", Летопись занятий Археографической комиссии, вып. X, СПб., 1895.

матов,[1] Н. П. Лихачев,[2] С. Ф. Платонов,[3] А. Е. Пресняков,[4] Н. Ф. Лавров,[5] С. П. Розанов.[6]

Наиболее крупные и принципиальные разногласия вызвало определение времени составления и взаимоотношения двух важнейших списков Никоновской летописи — *Патриаршего списка* и *списка кн. Оболенского*. А. Ф. Бычков в предисловии к изданию Никоновской летописи (в 1862 г.) высказал мнение, что Патриарший список древнейший и относится к половине XVI в. Список Оболенского А. Ф. Бычков считал копией с Патриаршего, сделанной в начале XVII в.

Первоначально А. А. Шахматов также считал Патриарший список более древним, но предполагал, что и Патриарший список, и список Оболенского — оба восходят к более древнему тексту, оканчивавшемуся на 1541 г. и составленному в 1553—1554 гг.

Подробное палеографическое описание Патриаршего списка и списка Оболенского привело Н. П. Лихачева к прямо противоположным результатам. Н. П. Лихачев считает список Оболенского основным, Патриарший список его копией. Список Оболенского представляет собою сборник, составленный

---

[1] Отчет о сороковом присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1899 (Летопись занятий Археографической комиссии, вып. X); „Древнейшие редакции Повести временных лет", Журнал Мин. нар. просв., 1897, № 10; рецензия на работу Н. П. Лихачева — „Палеографическое значение бумажных знаков", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, т. IV, кн. 4; „Иоасафовская летопись", Журнал Мин. нар. просв., 1904, № 5.

[2] „Палеографическое значение бумажных водяных знаков", т. I, стр. 319—333.

[3] „К вопросу о Никоновском своде", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1902, т. VII, кн. 3.

[4] Неизданная работа „Иоасафова рукопись", затем „Царственная книга, ее состав и происхождение", Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1900, кн. 3.

[5] „Заметки о Никоновской летописи", Летопись занятий Постоянной историко-археографической комиссии, I (34), 1927.

[6] „Никоновский летописный свод и Иоасаф как один из его составителей", Известия по русск. яз. и слов., 1930, т. III, кн. 1.

из разновременных рукописей. Он делит рукопись на четыре части. Первые две части были составлены не позднее первого — второго года по поставлении митрополита Макария, а последняя часть (судя по бумаге) относится к 70-м годам XVI в. (причем последние приписки по почерку могут быть даже отнесены к началу XVII в.). Патриарший список Н. П. Лихачев считает беловой копией списка Оболенского. Над этой беловой копией работало несколько писцов, писавших свои части одновременно.

Труд Н. П. Лихачева, хотя и вызвал опровержения А. А. Шахматова, сохранил свое значение и по сейчас. Его выводы были в значительной мере уточнены С. Ф. Платоновым. Весьма тщательные наблюдения С. Ф. Платонова над рукописями убедили его, что список Оболенского в первой своей части до 1520 г. есть беловая копия с неизвестного нам оригинала, совершенно независимая от Патриаршего списка. Дальнейшая часть списка Оболенского есть позднейшее дополнение, возможно, имевшее своим оригиналом Патриарший список.

Выводы С. Ф. Платонова заставили А. А. Шахматова пересмотреть свою точку зрения и в значительной мере были подкреплены дополнительными соображениями А. Е. Преснякова.

Н. Ф. Лавров суммировал наиболее прочные выводы предшествующего изучения списков Никоновской летописи и дополнил их собственными наблюдениями. Н. Ф. Лавров рисует историю Никоновской летописи в следующем виде. Первая часть списка Оболенского (до 1520 г.) есть древнейшая, дошедшая до нас, рукопись Никоновской летописи. Составление ее относится к 1539—1542 гг. Она представляет собой беловую копию основной редакции летописи, составленной, возможно, раньше. Остальные части списка Оболенского представляют собою дополнения, сделанные значительно позднее и разновременно. Патриарший список состоит из нескольких одновременно написанных тетрадей, восходящих к разным источникам. До 1521 г. единственным источником его была, пови-

димому, первая часть списка Оболенского; затем, до 1534 г. — Воскресенская летопись, а с 1534 по 1553 г. исключительно интересный летописный памятник — „Летописец начала царства царя и великого князя *Ивана Васильевича*". Этот Летописец ближе всего восстанавливается по двум рукописям Кирилло-белозерского монастыря (*Московской синодальной библиотеки № 486*, ныне в Гос. Историческом музее и *Археографической комиссии № 244*, ныне в Институте истории Академии Наук СССР) и к Воскресенской летописи, начиная с 1542 г. в списке *Публичной библиотеки в Ленинграде F. IV. 144*. „Летописец начала царства" написан в 1553—1555 гг. Он заканчивался описанием торжеств и раздачи царских наград по случаю взятия Казани. Его главное содержание составляет поход на Казань и сокрушение татарского царства, а главную цель — прославление этой победы и ее героя.

Патриарший список и три первые части списка Оболенского вышли из одних рук, и их возникновение следует приписать правительственной инициативе Ивана Грозного.

По своему составу основная часть Никоновской летописи (до 1520 г. включительно) представляет собою грандиозную компиляцию, в которую включены источники, характер и происхождение которых еще до сих пор не совсем изучены. Не установлен состав, в частности, местных летописцев, документов, записей памятников народной поэзии и т. д. Неясно также отношение Никоновской летописи к предшествующим основным летописным сводам. А. А. Шахматов считает, что в основание Никоновской летописи положен дошедший до нас Хронографический список Новгородской пятой летописи. Список этот дополнен по многим летописям, в числе которых был и Лаврентьевский список, а также и по нелетописным памятникам и по нескольким изводам Русского Хронографа.

Вероятно, в 70-х годах составлена лицевая (т. е. иллюстрированная) редакция Никоновского свода. Почти каждая страница ее была снабжена превосходными миниатюрами. В основу текста лицевого свода был положен текст списка Оболенского.

Первая часть лицевого свода посвящена всемирной истории и обнимает собою три тома.

Русская история представлена в шести томах: *Лаптевский том* (когда-то принадлежавший купцу Лаптеву) в Публичной библиотеке в Ленинграде, два *Остермановских тома* в Библиотеке Академии Наук СССР (когда-то принадлежали графу Остерману), *Шумиловский том*, пожертвованный в начале XIX в. купцом Шумиловым в Публичную библиотеку, *Голицынский том* Публичной библиотеки в Ленинграде (в XVIII в. находился в селе Архангельском князя Голицына) и *Синодальный* в Гос. *Историческом музее* (из б. Синодальной библиотеки).

Общее количество рисунков в одних только этих 6 томах достигает огромной цифры — свыше 10000. Лицевой свод обнимает события русской истории с 1114 по 1567 г. Первой части этого свода до событий 1114 г. не сохранилось. Текст лицевого свода был использован при издании Никоновской летописи в вариантах к IX—XI томам Полного собрания русских летописей. Он представляет собою иной раз значительные отступления от Никоновской летописи. Однако варианты Остермановского списка к тексту, который напечатан на стр. 139—234 тома X Полного собрания русских летописей, в издание не вошли.[1]

[1] О лицевом своде XVI в. см. работу А. Е. Преснякова: „Московская историческая энциклопедия XVI века", Известия Академии Наук, 1900, кн. 3.